

**Иван Лазутин**

**Сержант милиции**

## ЧАСТЬ I

1

В узких коридорах Московского университета на Моховой было прохладно. Николай Захаров, студент-заочник третьего курса юридического факультета, ждал вызова к декану. Собственно, дело могло обойтись и без вызова: в заявлении с просьбой направить его на производственную практику он не только указал место, где хотел практиковаться, но и достаточно обоснованно, как ему казалось, изложил мотивы своей просьбы. Прошло более получаса, как секретарша положила заявление будущего практиканта на стол декана, но ответа еще не было, и эта задержка заставляла думать, что декану что-то неясно и он непременно позовет Захарова. В ожидании, чтобы не нервничать, он принялся медленно ходить по коридору.

Природа не обидела Захарова ни ростом, ни телосложением, ни лицом. Она щедро отпустила ему на все. Статный, широкий в плечах, он выглядел несколько старше своих двадцати пяти лет. Густые русые волосы, ниспадая крупными волнами на виски, еще сильнее подчеркивали плавность линий его высокого ясного лба, на котором, как два спелых пшеничных колоса, изгибались выгоревшие на солнце брови. Щеки Захарова были худые, впалые и при ярком электрическом освещении — дневной свет в коридор не проникал — казались серыми, отчего лицо его выглядело утомленным.

Проходя в третий или четвертый раз мимо двери кабинета декана, Захаров заметил, что ее чуть-чуть приоткрыли, вероятно для того, чтобы устроить легкий сквознячок. Большие окна кабинета выходили на юг, а солнце в этот час пекло неизменно. Остановившись у двери, он прислушался. Из кабинета доносился разговор. Один голос был старческий, надтреснутый и переходил временами на фальцет: конечно, это декан. Другой голос — бархатный, сочный и по-волжски окающий — был незнакомым: как заочник, Захаров сталкивался лишь с теми из профессоров и преподавателей, кому приходилось сдавать экзамены, да с персоналом, оформлявшим документацию заочников.

— Он кто — рядовой милиционер? — слышался старческий голос декана.

— Да, сержант. Работает в вокзальной милиции, — с расстановкой ответил волжанин, очевидно, затягиваясь папирсой.

— Как успевает?

— Молодцом. Круглый отличник.

— Ну что ж. Направьте в железнодорожную прокуратуру, раз просится.

Захаров, боясь, что его могут заподозрить в таком несолидном деле, как подслушивание, отошел от двери.

Вскоре из кабинета вышел небольшого роста пожилой мужчина на протезе и с палочкой. Как оказалось, это был новый заместитель декана. Он-то и являлся обладателем незнакомого Николаю сочного голоса.

— Товарищ Захаров?

— Да, я.

— Ваша просьба удовлетворена. — Заместитель декана протянул предписание. — Желаю вам хорошо провести практику.

Николай поблагодарил, аккуратно вложил документ в блокнот и вышел с факультета.

На улице было душно. Пахло перегретым асфальтом, пылью обитой штукатурки — ремонтировали соседний дом, — бензином дымком от машин. Чтобы не терять времени, Захаров решил сразу же ехать в прокуратуру. В Охотном ряду спустился в метро. После уличной жары в подземном вестибюле особенно приятно ощущалась прохлада. Сворачивая к поездам, он увидел веселую толпу с гармонистом впереди. Под залиvistые голоса гармошки тонкий, пронзительный девичий голосок взлетал на самые высокие ноты:

*Дружка в солдаты провожу,*

*В сундук придано положу.*

*Пускай одежда полежит,*

*Пока мой миленький служит.*

«Призывники», — смекнул Николай и как-то сразу позабыл все: предстоящий разговор с прокурором, наказ матери не опаздывать к обеду, обещание позвонить Наташе. Гармошка действовала на него завораживающе.

Толпа остановилась на краю платформы, образовала круг. Тот же девичий голос продолжал выводить:

*Вытку пояс из кручёнки,*

*Маменьке не покажу,*

*Придет милый на беседу —*

*Наряжу да погляжу.*

Николай не раз видел, как девушки подмосковных деревень с песнями под гармошку провожали в армию своих парней. Эти картины всегда тревожили и волновали его. «Вот он, спор железного грохота с человеческой песнью. Кто победит? — подумал Николай, жадно улавливая сквозь гул подходящего электропоезда звонкий, как до предела натянутая струна, девичий голос. — Не сдается... Вынырнул... Живет!..»

*Меня милый не целует,*

*Вот какие новости,*

*А мне его целовать*

*Не хватает совести.*

Николай подошел к толпе.

— А ну, сынки, шире круг! Чего там стесняться? И в Москве, бывало, плясывали, да как еще плясывали! — это говорил маленький ершистый старичок в начищенных яловых сапогах и в белой льняной рубашке, подпоясанной красным поясом. — А ну, кому каблучков не жалко?

Розовощекая озорная девушка, подняв над головой огненную косынку, плавно пошла по кругу. Ее голос задорно звенел, вызывал:

*Ай гулять ли мне,*

*Ай плясать ли мне?*

*Скажет, милый: «Поцелуй»*

*— Целовать ли мне?*

В ответ на этот девичий вызов откликнулся ломающимся баритоном стриженный парень:

*Ты играй, моя тальянка,*

*С колокольчиками,*

*Ты пляши, моя милая,*

*С приговорчиками!*

Ершистый старичок с красным поясом не стоял на месте. Отмахиваясь от своей старухи — ей было сказано, что «рекрута гуляют», — он притопывал каблуком, приговаривая:

— Молодцы! Молодцы, ечмит-твою двадцать!.. По-нашему, по-россейски!.. Гулять так гулять!..

Когда девушка пошла в пляс, Николай почувствовал, что и его подмывает пуститься вприсядку.

Так он пропустил несколько поездов, прежде чем вспомнил, зачем оказался в метро и куда ему надо было ехать.

А через два часа, оформив в железнодорожной прокуратуре предписание, Захаров без стука — майор не любил, когда к нему стучались, — открыл дверь в кабинет Григорьева, начальника уголовного розыска линейного отдела милиции:

— Разрешите?

Не глядя на вошедшего, майор рылся в бумагах, что-то бормоча себе под нос. С хмуро сдвинутыми бровями, отчего две глубокие складки, сходящиеся веером у переносицы, стали еще глубже, он показался Захарову сердитым.

— Что скажешь, старина?

«Стариками» Григорьев звал тех из молодых, которых уважал и с которыми был близок.

— Я к вам, товарищ майор.

— Я так и понял. Что у тебя?

— У меня направление на практику.

— Какое направление?

— В наш отдел. — Захаров подал бумажку, где, кроме размашистой подписи декана юридического факультета Московского университета, в левом углу стояла приписка прокурора железнодорожной прокуратуры, куда Захаров был направлен для прохождения следовательской практики.

Майор и раньше знал, что милиционер Захаров учится на заочном отделении университета, но, прочитав направление, словно в первый раз по-настоящему понял и оценил сержанта.

— Здорово! Вот это я понимаю! Студент третьего курса! И не какой-нибудь там юридической школы или курсов, а Московского университета!.. Молодчина!.. — Подняв от бумаги глаза, он спросил: — Когда должна начаться практика?

— Через два дня, как только будет подписан приказ о дополнительном отпуске.

— Ну что ж, прекрасно. В вашем распоряжении два дня. Хорошенько осмотритесь, подготовьтесь, может быть, не помешает кое-что подчитать из теории по

уголовному процессу. Особенно обратите внимание, как нужно вести документацию. Хотя это — форма, но очень важная форма. К кому вас прикрепить?

Захаров пожал плечами. Об этом он еще не успел подумать.

— А что, если к Гусеницину? — спросил Григорьев и пристально посмотрел на Захарова.

Захаров стоял и не знал, что ответить: если отказаться — майор подумает, что струсил, если согласиться, то... какая это будет практика? «Неужели хочет сравнить? Но зачем, зачем это? А может быть, просто шутит и ждет, чтоб я замахал руками?..»

— Что же вы молчите, студент?

Улыбка Григорьева показалась Захарову насмешливой.

— Хорошо, товарищ майор. Практику я буду проходить у Гусеницина! — твердо ответил Захаров. Глаза его стали колючими.

«С таким вот чувством, должно быть, светские гордецы принимали раньше вызов на дуэль», — подумал майор, глядя вслед сержанту, когда тот выходил из кабинета.

2

С сомкнутыми за спиной руками, Толик ходил по комнате и посматривал на часы. Пожалуй, никогда раньше он не испытывал такого желания ускорить бег времени. «Зачем? Зачем все это? Встречи с ним к добру не приведут... Нужно во что бы то ни стало от него отделаться. Отделаться как можно скорее! Иначе снова влипнешь в такую историю, что потом не выпутаешься...»

Было без пятнадцати пять. Если Князь не придет вовремя, Толик не станет ждать его ни одной секунды. Скорей бы проходили эти пятнадцать минут! Шаги Толика стали нервными, учащенными.

Боялся ли Толик Князя (а за что, и сам не знал) — разобраться он сейчас не мог. В одном только ясно отдавал себе отчет: дальше встречаться, тем более поддерживать дружбу с этим человеком — рискованно. Даже опасно. Князь — вор, убежденный рецидивист, случайно выпущенный по амнистии на свободу. Еще там, на Колыме, Толик не однажды был свидетелем того, как Князь открыто, с какой-то надменной горделивостью проповедовал свою философию, смысл которой сводился к тому, что настоящий вор не должен работать. За него это обязаны делать «трудяги», а ему, вору, самой природой уготовано особое, высшее назначение — ценою постоянного риска «брать от жизни все», что она может дать сегодня, и не думать о завтрашнем дне. Там, за колючей проволокой, одни боялись Князя и сторонились его (это были «трудяги»), другие беспрекословно, хотя и с затаенным внутренним протестом, подчинялись ему. Правда, сам он никогда не злоупотреблял своим положением: по сохранившимся легендам тюремного фольклора он хорошо знал печальную участь Магерона, известного в 30-е годы вора, который погиб от своих же друзей, когда, возгордившись, поднял однажды руку на собрата.



Совсем иное у Толика. За всю жизнь он не украл ни одной копейки, ненавидел воров, сторонился их. И вдруг... непонятная дружба с Князем.



После четырех лет лагерного заключения Толик научился ценить свободу. И теперь, когда можно снова начать жизнь и честным трудом зачеркнуть позорное прошлое, на ногах его снова повисли невидимые гири. Князь... С ним он ехал до Владивостока на одной палубе парохода. От Владивостока до Москвы почти две

недели тряслись на соседних полках жесткого вагона, пили из одной кружки байкальскую воду, играли в карты, на весь вагон славились мастерами домино... Было в Князе что-то неуловимо властное. Медленный и уверенный жест, неторопливая речь и взгляд — то нахально озорной, то тоскующе усталый; иногда вдруг выражалось в этом взгляде безрассудное, неукротимое буйство, которое, если ему прорваться наружу, может стать роковым для того, кто не угодил Князю.

Толик не боялся патриарха Колымы, но вместе с тем чувствовал над собой власть этого тяжелого и сурового человека. Князь был старше и больше видел. «Что ему нужно от меня? Почему он держит меня в своих клещах?»

Толик остановился у комода и уставился в одну точку на стене, будто ища там ответа. Потом, словно опомнившись, взглянул на часы. Без двух минут пять. Придет или не придет? Больше всего он боялся услышать сейчас шаги Князя — его ботинки скрипели, как рассохшаяся телега на неровной дороге. Толик принялся считать секунды. Стук в дверь отдался в его сердце щемящим холодком. Пришел...

— Войдите! — отозвался Толик и присел на широкий подоконник.

Князь был точен. В комнату он вошел неторопливо, с какой-то особенной осторожностью прикрыл за собой дверь. Поздоровался одним взглядом, небрежно бросил пиджак на спинку стула, неторопливым жестом откинув на лоб русую прядь густых волос, отливающих ржаной желтизной, устало сел на диван. Откинувшись на спинку и заложив руки за голову, он принял позу озабоченного домашними хлопотами хозяина. Заговорил не сразу. На Толика не глядел, как будто его и не было в комнате.

— Как только в такую жару люди ухитряются работать? Сейчас заглянул в газету, и стало дурно. Напечатали там какого-то чучмека в бараньей шапке и в бешмете. Жарища, а ему хоть бы хны, пасет себе овец. И ведь не где-нибудь на нашей Колыме, а на Кавказе.

Толик, скрестив на груди руки, продолжал сидеть на подоконнике, в упор рассматривая Князя. «Скажи, чем, какими веревками ты путаешь меня? — мысленно спрашивал он себя и чувствовал, как в душе поднималось и вскипало озлобление. — Какой-то гипноз... Но шалишь, голыми руками ты меня не возьмешь! Я тебе не карманный воришка...»

И чтобы досадить Князю, он с расстановкой, нарочито спокойно сказал:

— Да, порядочные люди работают. Потеют у доменных печей, у паровозных топков, роют каналы в пустынях.

Князь покачал головой, словно желая сказать: «Мальчик, как ты наивен». Присвистнул и положил ногу на ногу:

— Что касается меня, то от этой радости увольте.

— Это почему же?

— От одной мысли об этих раскаленных пустынях и всяких там доменных печах у меня сохнет в глотке.

— Что же ты думаешь делать? Снова за старое?

— Что я думаю? Ты не то спрашиваешь, Толик. Настоящий вор не думает. Он чувствует... Он любит.

— Что же ты любишь? — По губам Толика проползла кривая усмешка.

Князь встал, сладко, точно со сна, потянулся, медленно зашагал по комнате:

— Что я люблю? Много кое-чего я люблю на свете. А больше всего люблю летние прохладные ночи. Люблю огни ресторанов. Из открытых окон тянет легоньким

сквознячком. На столе вино, много вина!.. Оркестр играет что-то немножко грустное... Ну, скажем, медленное, плавное танго. На сердце в такие минуты чертовски здорово! Люблю!.. За один такой вечер не жалко отдать годы!

— Для ресторанов нужны деньги. — Голос Толика прозвучал сухо.

— Открыл Америку! — Князь улыбнулся, но улыбка получилась вымученной. — Нужны деньги... А кому они не нужны? Покажи мне человека, который бы сказал, что ему наплевать на деньги. Помню, когда я сидел в одиночке в Томске, один мой корешок, когда нас выводили на прогулку, как-то продекламировал: «Что слава? — Яркая заплата!.. Нам нужно золото, золото, золото!..» Классно кто-то сочинил.

— Но чтобы водились деньги, нужно работать. — Толик знал, что он говорит прописную истину, которая сейчас могла особенно разозлить Князя.

— Почему же ты не работаешь?

Этого вопроса Толик не ожидал. Он не предполагал, что от защиты Князь перейдет в наступление. Вот уже четвертый месяц Толик ищет работы, и все впустую. Князь знал об этом и всякий раз, при удобном случае, издевался над неудачами Толика. Вот и теперь он не захотел лишиться себя этого удовольствия. Не дожидаясь, пока Толик ответит, Князь скривил такую физиономию, точно хотел сообщить что-то чрезвычайно важное.

— Поди-ка сюда! — поманил он пальцем приятеля.

Толик продолжал сидеть на подоконнике. Он ждал от Князя очередного подвоха, о чем догадывался по ехидному выражению его лица.

— Я слушаю, говори.

Князь подошел вплотную к Толику, озабоченно склонил набок голову:

— Есть вакантная должность заместителя министра ликеро-водочной промышленности. Говорят, бедняга сгорел в цистерне со спиртом. Пил и перекувырнулся.

Довольный, что эта плоская острота выбелила щеки товарища, Князь захохотал, подперев бока руками. От натужного смеха на глазах у него выступили бисерные слезинки.

— Во всяком случае, воровать не собираюсь, — спокойно сказал Толик. И после некоторой паузы еще тише добавил: — А свои семьсот законных всегда заработаю у станка.

Князь изменился в лице. Втянув голову в плечи, он бросил угрожающий взгляд на Толика. Можно было подумать, что в следующую секунду он ударит его по лицу.

— О каком это станке ты говоришь?

— О самом обычном, токарном.

Князь снова залился неприятным, взхлеб, смехом. А когда вдоволь нахохотался, добродушно махнул рукой:

— Чудак ты, ей-богу, чудак. Наивен, как те мальчишки, которые за убийство получают по двадцать лет и в первый же год из лагерей пишут во все места письма, что они осознали свою вину, что не дайте загубить их молодость... Пишут членам правительства, в Верховный Суд, даже писателей и тех жалобят слезами.

Князь засунул руки в карманы и, глядя в пол, снова принялся ходить по комнате. Лицо его как-то сразу постарело. От глаз разбежались узенькие тропинки морщинок.

— Запомни раз и навсегда: никакой работы ты здесь не получишь! Хоть лоб расшиби, а эта стена, — Князь постучал согнутыми пальцами по толстой кирпичной стене, — даже не шелохнется. Это тебе не Магадан, а Москва!.. Здесь с чистой биографией людей хватает. А ты чего захотел!.. — Он осуждающе покачал головой. Помолчал. — Да неужели ты не понимаешь, что на тебя смотрят, как на пугало, как на разбойника со старой Муромской дороги! С твоей статьей нужно подаваться куда-нибудь на Север или... — Он неожиданно замолк и, остановившись, полез за папиросой.

— Что «или»?

Толик напряженно ждал, что последует за этим «или».

Князь ответил не сразу. Он подошел к окну и пустым, невидящим взглядом уставился на пыльную мостовую. От одного вида раскаленного на полуденном солнце булыжника было и душно, и тоскливо.

— Что «или»? — переспросил Толик.

Князь круто повернулся:

— Или принять мою веру.

— Веру вора?

— Да!

— Это исключено! Я никогда не был вором.

— Я это знаю. Знаю и другое.

— Что же ты еще знаешь?

— Ты можешь быть хорошим вором. Ты умный и смелый парень. А это главное, когда ведется настоящая, крупная разработка.

— Ты кончил?

— Да! — Князь глубоко затянулся папиросой. — И рекомендую сделать это сейчас. Чтобы не мучить себя. Рано или поздно — все равно наши дороги сойдутся. Тебя загонят в этот мешок!

— В какой мешок?

— В каком ты видишь меня.

— Кто загонит?

— Люди.

— Какие люди?

— Те, кто дает тебе заполнять анкету, где черным по белому написан один каверзный вопрос: «Имели ли судимость? За что?»

Толик подошел к столу и взял папиросу из портсигара Князя. Все это время он крепился, не желая просить у того папиросу (не курил с утра, не было денег), но теперь не выдержал.

— Князь, скажи честно, ты когда-нибудь думал о работе? Было у тебя хоть раз в жизни просветление?

Князь осторожно стряхнул с папиросы пепел в перламутровую раковину. Сел на диван и, положив ногу на ногу, закрыл глаза. Лицо его стало отрешенно-скорбным.



— Ты думаешь, я не искал работы? Не хотел работать?.. Никогда не забуду, как после первого срока вернулся домой. Решил: теперь-то я покажу себя! Теперь-то я заживу! Но оказалось, я тогда был наивен, как ты теперь. — Князь открыл глаза, посмотрел на Толика. Тот прислонился спиной к плитам голландской печи и смотрел куда-то сквозь стену. — Куда бы я ни обращался — я слышал одно и то же: «Вор!.. Вор!.. Вор!..» Слышал не ушами, затылком. В глаза этого не говорили, а я знал, что отказывают везде из-за судимости. Три месяца обивал пороги в отделах кадров. Куда только не совался! И везде одно и то же: «Пока не требуется», «Вчера был нужен слесарь-водопроводчик, сегодня взяли...». Потом все это так осточертело, что я решил: будь что будет! Помню, попал в какую-то «малину», пили двое суток напролет, потом проснулся в отделении милиции. Как ограбили меховую мастерскую — не помню. Через две недели судили за групповую. Оказалось, что, кроме мехового ателье, мы нечаянно задели мозги какому-то фраеру. Дали десять лет. Вот с тех пор я уже больше и не ищу работу. Пусть на меня лошади и дураки работают.

Проникновенный тон, скорбное выражение глаз, тяжелый вздох усталого человека, неожиданная многозначительная пауза — все это придавало словам Князя силу и убедительность, в которые нельзя было не верить. И Толик верил. Верил, хотя Князь красиво лгал, ударяя по самым больным, чувствительным струнам товарища. Князь никогда не хотел работать.

Все, что он только что рассказал Толику, было рассчитано на то, чтобы вышибить из-под ног того последнюю надежду поступить на работу.

С минуту Толик сидел с закрытыми глазами, запрокинув голову, потом порывисто встал, шагнул к двери, заглянул в коридор. Убедившись, что разговор их никем не подслушан, он подошел к Князю:

— У тебя с собой записная книжка? Та самая, куда ты записал еще в Магадане мой адрес?

Князь не понял вопроса Толика.

— Зачем тебе моя книжка?

— Дай мне на минутку.

Князь достал маленький потертый блокнот в клеенчатой обложке. Толик спокойно раскрыл страницу на букве «М» и, видя, что рядом с его фамилией нет никаких других записей, вырвал листок из блокнота. Сделал это не торопясь. Возвращая Князю блокнот, сухо и хмуро проговорил:

— Вот так, дружище! Забудь меня и мой адрес. Нам с тобой не по пути. Ты не обижайся, Князь, продавать я тебя не собираюсь, но топать с тобой в одних оглоблях мне тоже не по душе. Меня ждет завод. — Словно стряхнув наконец с себя тяжелую глыбу, Толик облегченно вздохнул.. — А насчет долга — повремени. Я верну тебе его сразу же после первой полочки.

Правая щека Князя, через которую проходил свежий розоватый шрам, задергалась в нервном тике, к лицу прихлынула кровь. Но он не подал и вида, что решение Толика задело его за живое, флегматично и устало улыбнулся, потом зевнул:

— Ну что ж, вольному — воля, пьяному — рай. Я тебя не принуждаю. Если передумаешь — приходи, свой адрес из твоего блокнота я вырывать не стану. Пока. — Князь встал, не торопясь поправил тенниску и как-то изысканно вежливо и подобострастно поклонился. На прощание, уже с порога, он повернулся и сказал:

— Ты просил вчера еще займы денег. При себе сейчас нет. Если будет нужда — заходи. Можешь сегодня вечером. Не будет меня, спросишь у сестры.

Толик хорошо знал повадки Князя и понимал, что тот неспроста ушел и раскланялся с ним как обиженная казанская сирота.

Немного спустя Толик вышел на улицу и направился к телефонной будке. «Что скажут сегодня? Неужели опять отказ?» Вот уже две недели, как тянут с ответом, не говорят ни да ни нет. К чему-то присматриваются, что-то выясняют... А что выяснять-то? Вся жизнь как на ладони. В четвертый раз заполнил пространный «Листок по учету кадров», написал подробную автобиографию, приложил к заявлению все свои хвалебные характеристики, которые получал еще до судимости, письменные благодарности и даже почетные грамоты за хорошую работу в лагерях... Казалось бы, что еще нужно, чтобы решить: принять или не принять? Два раза вызывали в отдел кадров для «уточнения биографических данных» и для личной беседы. И все тянут. Вчера Толик звонил самому начальнику отдела кадров завода. Тот велел позвонить сегодня утром. Звонил сегодня — начальник был занят, сказал, чтобы обратился попозже. «Неужели Князь прав и я стучусь лбом о каменную стену? Неужели и здесь передумают и тоже солгут, что в рабочей силе не нуждаются? А впрочем... Люди с такими лицами, как у начальника цеха Капитонова, не лукавят. Они или сразу говорят: «Нет, ты нам не нужен», или уж если поверят в тебя, то поверят до конца».

Толик закрыл за собой стеклянную дверь будки, набрал номер, затаил дыхание. Длинные гудки, ох какие они длинные! Но вот щелчок в аппарате и чей-то голос. Толик узнал: с ним говорит заместитель начальника отдела кадров. У него смешная украинская фамилия: Ломиворота. В какую-то долю секунды он отчетливо представил себе лицо человека с маленькими потухшими глазками и тонкими, еле заметными бесцветными губами. Его он видел два дня назад.

Толик назвал свою фамилию. Вначале Ломиворота не мог вспомнить, кто такой Максаков, и некоторое время из трубки слышалось лишь глуховатое покашливание да легкий шелест бумаг. Потом или кто-то подсказал, или он сам вспомнил... И тут-то!.. Лучше бы не звонить!

Из телефонной будки Толик вышел с чувством, будто на него взвалили тяжелую ношу и заставили идти в гору. Не хватало дыхания. Четвертый отказ. Пятый месяц он живет на иждивении матери. Ему уже стыдно смотреть ей в глаза и ежедневно брать на папиросы и на дорогу. Анна Филиппова отлично знала причину отказов, но делала вид, что не догадывается. Она простодушно поругивала деревенских жителей и людей, приезжающих из других городов, жалела коренных москвичей, которым приезжие мешают устроиться на работу...

Вместе с обидой в душе Толика смутно зыбилось озлобление. На кого, на что — он еще и сам ясно не осознавал. Вспомнилось открытое и строгое лицо начальника цеха Капитонова. «Неужели это только хороший актер, который разыгрывает из себя благородного папашу, а за кулисами рубит головы даже тем, кто и без того лежит на земле?»

Толик вернулся домой, лег на диван и больше часа лежал недвижимо, остановив бездумный взгляд на трещинке в штукатурке потолка.

После шести часов к нему зашел сосед, дядя Костя, который помогал ему устраиваться на завод. Толика он знал с детства, а поэтому без всяких колебаний рекомендовал его в сборочный цех.

Поглаживая свои прокуренные, с прозеленью усы, дядя Костя откашлялся и спросил:

— Ну как? Что тебе сказали сегодня? Когда выйдешь на работу?

Толик посмотрел на дядю Костю, и ему почему-то стало жалко этого доброго, всеми уважаемого в многонаселенной квартире пожилого человека, к которому всегда бежали кто за чем: кто за стамеской, кто за отверткой, кто занять десятку до полочки.

— Отказали, дядя Костя.

— Как отказали?

— Очень просто. Говорят, пока не требуется рабочая сила.

— Да что ты городишь-то?! — Дядя Костя даже привскочил на стуле, — Вчера вечером своими ушами слышал, как начальник цеха дал в отдел кадров заявку на токарей.

Долго еще возмущался старый рабочий, размахивая руками и переходя временами на ругань.

— Вот что, Анатолий, давай-ка садись и пиши письмо самому Владимиру Ефимовичу Родионову. К этому Ломивороту на паршивой козе снизу не подъедешь. К нему нужно с верхов начинать.

— А кто этот Родионов?

— Секретарь парткома завода. Пиши сейчас же, а я завтра сам с этим письмом к нему пойду. Сам поговорю! Не имеют права! Ну и скорпион, ну и жила этот Ломиворот! Я ему покажу, дай только дождаться первого партсобрания!

Дядя Костя разошелся так, что грозил добраться чуть ли не до секретаря райкома партии. Перед уходом он еще раз наказал Толику, чтоб тот немедленно написал Родионову.

— Да особо не стесняйся. Пиши с перчиком, он это любит. Пиши от души, рабочему.

После ухода дяди Кости Толик сел за стол и раскрыл ученическую тетрадь в косую линейку. Как школьник, тер он пальцем переносицу и время от времени макал перо в чернила, которые быстро высыхали. Нужные слова не приходили. Не зная, с чего начать, он мысленно обращался к незримому собеседнику: «Нет!.. Не так-то просто сломать меня, товарищ Ломиворот! Я еще постою за себя! Я тебя заставлю сказать правду, почему не берешь на работу».

Вспомнив, как пишутся заявления, Толик в верхнем правом углу неровными, взрвалку поставленными буквами начал:

*«Секретарю парткома Московского механического завода тов. Родионову от Макасова Анатолия Александровича, отбывшего срок исправительно-трудовых работ, имеющего в прошлом судимость.»*

*Заявление*

*Товарищ секретарь парткома! Простите меня, если я чего-нибудь не так напишу. Но то, что напишу, от чистого сердца.*

*В прошлом я судим. Отбыл срок наказания и вернулся домой, в Москву. Вернулся с надеждой, что честным трудом своим покрою обидные ошибки молодости. У меня рабочие руки и профессия токаря пятого разряда. Если верить объявлениям, какие вы развешиваете в Мосгорсправке, то в этой профессии у вас большая нужда. Да и не только у вас, но и на некоторых других предприятиях. Но куда бы я ни обращался, меня не принимают, как только доходит дело до анкеты. Отказали мне и на вашем заводе, хотя я точно знаю, что токари вам до зарезу нужны.*

*Вас я как коммуниста и как одного из руководителей завода хочу спросить: что остается делать здоровому человеку, когда его лишают главного в жизни — трудиться на благо Родины, для своего народа? Ваш заместитель начальника отдела кадров Ломиворот сказал мне, что вам нужны люди с хорошей биографией, люди проверенные и надежные. Так что же остается делать тем, у кого биография с пятнами, кто в молодости однажды ошибся и всю жизнь не забудет этой ошибки? Неужели его за старые провинности нужно еще сильнее втоптывать в грязь и плевать в лицо обидные слова?*

*Я ничего у вас не прошу, тов. Родионов. Прошу только одного — ответьте мне на мое письмо: что мне делать? Нехорошие мысли точат иногда мою голову, и я начинаю бояться за себя.*

*Прошу не отказать в моей просьбе.*

*Мой адрес: Ременный переулок, дом 17, квартира 3.*

*Праздношатающийся Максаков Анатолий».*

Толик перечитал заявление, запечатал его в конверт и задумался: как скоротать вечер? Катюша сегодня не придет: она работает в ночную смену. Денег ни копейки. Нет папирос. В комодке лежит неразменная сотенная бумажка. Мать придет еще не скоро. Никогда в жизни Толику не хотелось так выпить, как сейчас. Повертел в руках новенькую, хрустящую сотню и положил назад. А что, если еще раз... последний раз занять у Князя? Ведь он обещал...

Толик отправился в Измайлово. Всю дорогу он молил об одном: не застать бы его дома. Деньги даст сестра.

Но Князь был дома. Приходу Толика он нисколько не удивился. Спокойно открыл дверь и, не обращая на него внимания, будто тот выбегал за папиросами в магазин, вернулся к столу, за которым сидел незнакомый рыжеволосый парень. В грязных и потных пальцах его ходила колода потертых карт. Играли в очко.

Толик молча прошел к столу и сел на свободный стул. Карты перешли к Князю. Он начал банковать. Перетасовав колоду, дал карту и Толику. Тот отодвинул ее:

— У меня нет денег.

Князь небрежно отсчитал ему двести рублей:

— За тобой пятьсот. В банке червонец. На сколько? Толик посмотрел карту и молча протянул руку к колоде:

— Давай.

К тузу пришла десятка.

...В этот вечер Толик впервые за четыре месяца после возвращения из лагеря напился. Напился так, что многое не помнил: как пили, где пили, что делали... Домой его привез узкоплечий парень с рыжей челкой, с которым они играли в очко. Князь называл его Серым.

Утром, лежа с головной болью в постели, он мучительно вспоминал подробности прошедшей ночи. В воображении неотступно сновала колода карт. Мелькали короли, дамы, семерки... К тузу приходила десятка, к семерке — восьмерка, потом шестерка... И челка, слипшаяся рыжая челка свисала на веснушчатый узкий лоб Серого. Смутно припоминалось, как ехали в такси, поднимался по крутым ступеням тускло освещенной лестницы, доставал ключ, открывал дверь, как увидел перед собой большие, испуганные глаза матери... Дальше все словно провалилось в какую-то черную бездну. В голове кружило, подташнивало... И, точно сквозь густой молочный туман, вспомнил, что условился с Князем встретиться сегодня в три часа у входа в Казанский вокзал...

Толик лежал неподвижно, боясь открыть глаза. Самое страшное в эту минуту было для него встретить взгляд матери. Испуганный, страдальческий взгляд.

3

Тот, кому в лютые январские морозы доводилось собственными боками испытать, что такое теплушка военных лет с тремя рядами нар, тому еще долгие годы будет казаться удобным, как родной дом, даже плохонький, дребезжащий на стыках рельсов зеленый вагон старого российского образца. А если к тому же есть своя

отдельная полка да хорошие соседи, которые не прочь забить «морского козла», то и время летит незаметно. Пассажиру, подсевшему на одной из станций, трудно бывает отличить, кто здесь родственники, а кто просто дорожные спутники. Нигде с такой душевной искренностью не живет хлебосолье, как в дороге, под крышей жесткого вагона.

С волнением подъезжает пассажир к Москве. Много разных планов промелькнет в голове его, пока он, отлежав бока, ожидает столицу, рисуя ее в своем воображении та кой величественной, какой она обычно выглядит на открытках, в киножурналах и в рассказах восторженных бывальцев.

...Последнюю ночь перед Москвой многие почти совсем не спали. Мужчины целыми часами простаивали в тамбуре и без конца курили. Не было уже тех бойких разговоров и шуток, которые оживляли вагон, когда он стучал по рельсам за тысячи километров от столицы. А последние часы в вагоне чувствовалось какое-то особенное напряжение и озабоченность. Матери сосредоточенно наряжали в лучшее платье детей, солдат-отпускник, еще в части припасший флакон цветочного одеколона, здесь его распечатал и, не жалея, почти умылся им. Молодой матрос, в течение двух последних суток прессовавший под матрацем складки на широченных брюках, был ими очень доволен. Когда кто-то из соседей по купе пошутил: «Тронь — обрежешься», матрос с минуту не мог прогнать широкую улыбку со своего обветренного и загорелого лица.

Лишь один студент из Ленинграда, до фанатизма влюбленный в свой город, с подчеркнуто равнодушной позой лежал на средней полке и демонстрировал перед товарищем москвичом безразличие к этому, как он выразился, «безалаберному и купеческому городу с кривыми улицами». О том, какой город красивее — Москва или Ленинград, они начали спорить еще от Новосибирска; вспомнили около десятка крылатых высказываний классиков литературы об этих двух городах, но спор так и остался нерешенным. Когда же в окнах замелькали подмосковные дачи, ленинградец не выдержал и, незаметно прошмыгнув со своим рюкзаком к выходу, где уже толпились с узлами и чемоданами нетерпеливые пассажиры, прилип к окну и залюбовался окрестностями Москвы.

Алексей Северцев не менее других чувствовал, как с каждой минутой нарастает его волнение.

Вскоре поезд остановился у перрона Казанского вокзала.

Бывает какая-то трогательная и наивная растерянность на лице человека, который первый раз ступает на московскую землю. Растерялся и Алексей, выйдя из вагона.

Перрон был залит утренним солнцем, пестрел букетами цветов и нарядами женщин, гудел говорками уральцев, вятичей, окающих волжан и акающих москвичей. У последних вагонов, если внимательно присмотреться, можно было заметить двух-трех таксистов, воровато озирающихся по сторонам. Вопреки инструкции, они зазывали к себе пассажиров, только что сошедших с поездов. Охотнее всего они приглашали «пинжачков».

«Пинжачками» такие шоферы называют деревенских, которым никогда в жизни не приходилось пользоваться такси и которые не знают Москвы. Выйдя из вагона, такой «пинжачок», обвешанный мешками и узлами, раскрылившись, начинает метаться по перрону и расспрашивать, как доехать до другого вокзала, где ему предстоит пересадка. Вот тут-то и идет «дипломатическая обработка» провинциального гостя. И не дай бог, если он окажется добродушно-податливым и не посмеет отказаться от предложения услужливого таксиста «с ветерком» доехать до другого вокзала на «Победе». Наверняка ему придется исколесить пол-Москвы и заплатить за проезд вдвойне: по счетчику и столько же за багаж.

Начав знакомство с Москвой таким образом, робкий провинциал кряхтит, выворачивая карманы, вздыхает и старается вырваться из столицы как можно быстрее. А приехав домой, в родную деревню, он долго будет вспоминать свою

поездку и не без важной гордости рассказывать знакомым, как «прокатился за четвертную на легковушке».

От приглашения доехать до университета на такси Алексей отказался: еще в дороге ему объяснили, что лучше всего добираться до университета на метро. До последней минуты он помнил маршрут следования, но, оглушенный шумом и гамом людского завихрения, забыл все.

С виду Алексею можно было дать больше его восемнадцати лет. Одет он был просто: помятый темный костюм, светлая косоворотка, на ногах — сандалии. В руках держал небольшой фанерный чемоданчик с висячим замком. Чтобы не быть сбитым людским потоком, он отошел в сторонку. Огляделся.

— Товарищ милиционер, как мне добраться до университета? — обратился Алексей к проходившему мимо сержанту милиции.

— Вниз в метро, доедете до Охотного ряда, подниметесь вверх и спросите Моховую, девять, — ответил тот и пошел дальше.

— Спасибо, — поблагодарил Алексей, но, отстраненный носильщиком, который шел, сгибаясь под тяжестью узлов, тут же забыл все, что ему сказали. Неподдалеку стоял другой милиционер. Алексей обратился к нему с тем же вопросом.

— Метро «Охотный ряд», Моховая, девять, — как давно заученную фразу отчеканил сержант и механически приложил руку к козырьку фуражки.

Влившись в волну сошедших с поезда, Алексей скрылся за углом привокзального строения.

4

В зале транзитных пассажиров у билетных касс металась молодая женщина. Ее русые волосы были растрепаны, на лице — испуг.

— Дочка моя... Нина... Господи! Граждане, вы не видели девочку? Дочь потеряла... Дедушка, присмотрите, пожалуйста, за моими вещами, — обратилась она к старику, сидевшему на крепком деревянном чемодане. Оставив чемодан и сумку, женщина выбежала из зала.

Всякий, кто видел горе матери, потерявшей ребенка, отнесся к этому сочувственно, хотел помочь добрым советом или утешением. И только двое молодых людей, на глазах которых эта сцена происходила, были равнодушны к несчастью женщины. Они только ждали удобного случая, чтобы «увести» чемодан, оставленный на хранение старику.

Два вора, два закоренелых рецидивиста — Князь и Серый. От настоящих имен они уже отвыкли. В воровской среде принято называть друг друга кличкой.

В свои двадцать восемь лет Князь треть жизни провел в лагерях, под следствием, в тюрьмах и в бегах. Он был высокого роста и, как принято говорить, хорошо скроен и крепко шит. Из него мог бы получиться неплохой спортсмен, если бы не бессонные ночи и кутежи, которые продолжались неделями, пока были деньги. Когда деньги кончались, пьяный разгул сменялся лихорадкой воровства с постоянным риском для жизни. Белки серых глаз Князя были воспалены, на его худых щеках не по возрасту рано проступала мелкая сетка склеротического румянца.

Если б даже сам Ломброзо, признанный современниками великим физиономистом, стал изучать лицо Князя, он наверняка отнес бы его череп к типу людей с возвышенным и благородным интеллектом. Высокий и открытый лоб, на котором свисала светлая прядь волнистых волос, хорошо развитые надбровные дуги, энергический и в меру широкий подбородок — все сказало бы ученому о том, что перед ним человек незаурядного ума и возвышенных страстей. Только взгляд,

беспокойный и бегающий взгляд серых глаз и особые, свойственные людям преступного мира, по театральному ленивые движения выдали бы в нем человека сомнительной профессии. Такие обычностораживают.

Серый был грубее и проще. Природа его обидела и ростом, и внешностью. Маленький и узкоплечий, он носил нависшую до бровей челку, модную в двадцатых годах среди беспризорников, а сейчас встречающуюся разве только у подростков с очень ограниченным и убогим вкусом. Что-то тупое и скотское проступало в лице Серого. А его гортанный, с хрипотцой голос неприятно резал слух. Серый не говорил, а шипел, причем делал он это с особым выпячиванием нижней челюсти, полагая, что, чем грубее и надсаднее будет его речь, тем сам он станет от этого солидней и внушительней. Неосознанно он подчинялся только одному — грубой силе. Втайне он завидовал высокому и стройному Князю и ненавидел его за интересное лицо, на котором девушки иногда задерживали взгляды дольше, чем на других прохожих. А с каким затаенным ликованием и злорадством взирал Серый две недели назад на забинтованную щеку Князя, глубокий шрам на которой, по его расчетам, должен обезобразить лицо.

Князь на Серого смотрел с подчеркнутым пренебрежением и с чувством громадного превосходства, и Серый каким-то особым чутьем слабого и подчиненного принимал эту власть как должное и, может быть, только потому никогда не выходил из повиновения у главаря, что постоянно читал на его лице печать приказа: «Гляди ты у меня, прибью!» Бил Князь Серого всего два раза, но бил жестоко. И не без причины. Однажды — это было месяца два назад — Серый струсил в такую минуту, которая чуть не стоила Князю жизни.

Опершись на металлические поручни барьера, защищавшего от напора очереди тонкую стенку билетных касс, двое друзей вели самый безобидный разговор, посматривая время от времени в сторону толпы, образовавшейся вокруг женщины, потерявшей ребенка.

Когда Князь заметил, что женщина оставила свои вещи неизвестному пассажиру, он вмиг оживился, глаза его сузились.

— Слушай, Серый, — тихо, но внушительно заговорил он, — я займу старикана, а ты прихвати чемоданчик. Только без шума. Вопросы есть?

Серый молча покачал головой.

Рядом со стариком на дубовом диване были свободные места. Князь сел на диван, а Серый, нагнувшись, стал расшнуровывать ботинок.



— Далече едем, дедунь? — весело спросил Князь.

Своим обликом, кряжистой фигурой старик походил на вывороченный вешней водой корень срубленного старого дуба. Века могуче сидел он в земле, но подмыла вода крутой берег, сграбастала, поднатужилась и одним духом вытолкнула тысячелетнее корневище своей упругой грудью на песчаную отмель. Вытолкнула, а сама тут же схлынула, ушла. Солнце подсушило мореную кору, а ветер, как гребешком, расчесал налипшую на нее седовато-серую водянистую траву. Пропитанный подземными солями, настоящий на бражных черноземных соках, корень затаил в себе немую свинцовую силу.



Большие, узловатые, с почти негнушимися пальцами руки старика держали свернутую из газеты самокрутку, отчего сила в его руках обозначалась еще резче: уж слишком контрастны были клешнястые пальцы и самокрутка.

Поняв, что обращаются к нему, старик настороженно поднял (он сидел с опущенной головой и полудремал) свои кудлатые седеющие брови и посмотрел на

Князя ясными серыми глазами. Никак не сочетались эти по-детски светлые глаза с прокопченным и обветренным лицом, изборожденным глубокими морщинами. Глаза на этом лице казались чужими, а потому и улыбались они как-то неуверенно и робко, не так, как улыбались губы — твердо, наверняка.

Но замешательство старика продолжалось недолго. Ответная широкая и задушевная улыбка незнакомого парня, его интеллигентная внешность сразу подкупили.

— Неужто разбудил? — извинительно спросил Князь.

— Да нет, так что-то, разморило вроде бы.

— Куда едем-то?

Старику вдруг почему-то особенно захотелось поговорить. Артельный по своей натуре, он истосковался по хорошей, душевной беседе. За весь день еще ни с кем не перекинулся словом.

— Домой, на Урал, — охотно ответил старик, забирая в ладонь лопатистую серую бороду. Он очень не хотел, чтобы разговор на этом оборвался, и ждал, чтобы его спросили еще о чем-нибудь.

— Да что ты?! Неужели уралец? — удивился Князь.

— Он самый и есть. Из Горноуральска, — с гордостью ответил старик, самым искренним образом, всей своей большой и трудной жизнью уверовавший, что настоящие люди живут прежде всего на Урале.

— Вот здорово! — Князь расплылся в улыбке и развел руками. — А у меня там братень работает. На центральной улице живет. Как ее... Фу ты, черт! Неужели забыл?

— Пролетарская? — оживился еще больше старик, искренне обрадованный тем, что встретил в Москве чуть ли не земляка...

— Да, да, Пролетарская! Пролетарская! Вот память. А ведь прошлое лето гостил в вашем городе. Хорош городок! Может, там где и видались, да разве знали, что вот здесь судьба сведет? Ну, как живете в своих краях? Люблю уральцев. Честно говорю. Сильный народ!

Польщенный дед хотел было пуститься в воспоминания, но, заметив, как неизвестный взял чемодан, оставленный ему, деду, на сохранение, словно поперхнулся:

— Держите! Чемодан!.. Украл чемодан!.. Держите!

Серый спокойно, даже не оглянувшись на этот крик, не сворачивая в сторону и не замедляя шага, подошел к милиционеру, стоявшему у выхода, и опустил рядом с ним чемодан.

Вытирая платком лоб, он сказал:

— Товарищ старший сержант, это чемодан гражданки, которая потеряла ребенка. Она сейчас сама не в себе. В горе бросила свои вещи первому попавшемуся пассажиру. Народ всякий бывает, сами знаете. Пусть он лучше побудет при вас.

В ту самую минуту, когда Серый подошел к милиционеру, в зал вбежала женщина с глазами, полными ужаса. Ее серые губы пересохли, лицо было бледным. Глотая воздух, она бросилась к сержанту.

— Гражданка, — обратился к ней Серый, — почему вы доверяете вещи кому попало?



Но женщине было не до вещей.

— Товарищ милиционер, я потеряла дочку, помогите мне, помогите, ради бога!

Сержант, как видно, был впечатлительным человеком и новичком в органах милиции. Он забыл, что передачу чемодана в подобном случае следовало оформить специальным актом, и видел перед собой только мать, потерявшую ребенка.

— Гражданка, — сказал он, — не волнуйтесь, пройдемте со мной, ваша дочь найдется. — Взяв чемодан, сержант направился к выходу.

Серый стоял, пока милиционер и женщина не вышли из зала. Когда же те скрылись, он подошел к старику:

— Ты чего раскудахтался, деревенщина?

— Да нешто я со зла? — стал оправдываться старик, но Серый его оборвал:

— Знаем мы вас, охранничков. Береги свой сидор, а на чужой не зарься.

Что-то наивно-виноватое проступало в лице уральца.

— Насчет моего сумления ты, парень, эт-та... меня не обессудь. Думал, шпана потащила чемодан.

Как и во всяком деле, связанном с риском и опасностью, у воров есть своя этика и своя тактика. Обычно средний вор, если его только заподозрили, немедленно покидает опасное место и выбирает другое. Мелкий воришка иногда не учитывает этого золотого правила своей профессии и продолжает шкродить в третий и в четвертый раз на одном и том же месте. Этой слабостью особенно страдают карманные воры.

Но есть и еще одна категория воров — это вор высшего класса, вор, рискующий принципиально. К этой породе относил себя и Князь. Он считал, что, кроме смекалки и смелости, вор должен владеть мастерством актера.

Сейчас Князь был раздражен и злился на себя. Он понимал, что Серый «сработал чисто», а чемодан оказался упущенным по его вине: он не сумел заговорить старика. Судя по тому, что на пальцах женщины блестели золотые кольца и перстень, а чемодан был заграничный и кожаный, Князь предполагал, что в нем находились ценности и, возможно, деньги, которые, как правило, в камеру хранения не сдают.

С похмелья у Князя болела голова, во рту ощущался неприятный осадок табака и водочного перегара. Его слегка подташнивало. Обшарив карманы, он нашел всего-навсего три измятых, засаленных рубля и несколько монет.

А нужно было опохмелиться, позавтракать и купить папирос. Лицо старика Князю вдруг показалось неприятным. Испытывая чувство голодного человека, у которого прямо изо рта вырвали кусок хлеба, он ненавистным взглядом покосился на широкую седую бороду уральца, на его косматые брови, нависающие над ясными и молодыми глазами. Перед уходом Князю захотелось хоть чем-нибудь, да насолить старику. Мысль о том, что теперь необходимо покидать вокзал (а его Князь считал местом «королевской охоты»), вызвала еще большую неприязнь к «земляку». «Ну, старик, держись! Иду на фигуру высшего пилотажа!» — решил он и взглядом дал понять Серому, чтоб тот посильней «нажал» на уральца.

Серый нахохлился, сплюнул сквозь зубы на пол и, выпятив вперед нижнюю челюсть, продолжал наступать на старика:

— Ты вот что, пахан, держи язык за зубами, если даже что узрел. Это тебе Москва, а не Мытищи. Понял?

— Да оно, конечно, так, сынок... Ты думаешь, как лучше сделать, а оно выходит —

обмишурился. Думал, утащили чемодан.

— Думал, думал... — передразнил Серый. — Индюк тоже думал, да в суп попал.

Князь, видя, что уралец не обращает на него внимания, достал из брючного кармана записную книжку, в которой у него обычно хранились бритвенные лезвия. Пока Серый напирал на деда, а дед оправдывался, он так ловко срезал с него полевую сумку, что никто этого не заметил.

Ценного в сумке ничего не оказалось, и Князь аккуратно приткнул ее между чемоданом и мешком спящей женщины. Остаться дальше было уже рискованно — ремень полевой сумки свободно болтался на плече старика, не оправившегося от конфуза.

Князь встал и, вежливо улыбаясь, распрощался с уральцем:

— Ну, дедунь, если буду в Горноуральске, обязательно зайду в гости. А сейчас — пока, бывай здоров.

Вслед за Князем отошел и Серый. Никто не обратил внимания, как они скрылись в монотонно гудевшей толчее вокзала.

Не прошло и полминуты после их ухода, как старик обнаружил пропажу.

— Вот те раз. Вот те раз. Ремень здесь, а сумки нет! — кружился он на одном месте, еще не сообразив, что произошло. Но, поняв, что его обокрали, он закричал: — Милиция! Обокрали! Обокрали!..

Когда на шум подоспел милиционер, старик совсем случайно увидел кончик ремня своей сумки в вещах спящей соседки.

Рывком он вытащил сумку из-под ее мешка и запричитал еще громче:

— Вот она! Вот она, воровка!

Испугавшаяся спросонья женщина в первую минуту не могла ничего сказать и лишь водила по сторонам большими глазами.

— Гражданин, успокойтесь. Женщина тут ни при чем. Она спала, — вмешался сержант и оттащил старика в сторону.

— Спала?! А как в ее мешках моя сумка очутилась? Ишь ты, спала!.. Знаем мы, как они спят! — не утихал уралец, проверяя, всели в сумке цело.

Немного успокоившись, старик заметил, что ремень был перерезан чем-то острым, так как места пореза глянцевито блестели, и понял, что соседку обидел напрасно.

— Вот шпана! Ну и шпана! Под самым носом срезали. Заговорили и срезали...

5

В то время как разыгралась история с сумкой, привлекая внимание многих пассажиров, Князь и Серый в другом зале преспокойно тянули за стойкой буфета пиво и смеялись над стариком.

Посматривая на часы, Князь изредка бросал тревожный взгляд в сторону, откуда они только что пришли. Он знал, что оставаться в вокзале сейчас рискованно, но и уходить не хотел. Он любил этот вокзал.

Размешивая в пиве соль, Князь решил сделать «третий заход». Его чистая работа с сумкой, которая Серым была признана «люксовской», разожгла в нем спортивный азарт вора.

— Что, пойдём под занавес? — многозначительно спросил Серый и поставил

кружку.

Выходом под занавес у них было принято называть третью рискованную кражу после двух неудавшихся.

Князь не ответил и продолжал пристально всматриваться в глубину вокзала.

Стараясь смягчить чем-нибудь неприятное молчание, Серый снова вспомнил старика:

— А все-таки зря ты не прихватил нюхательный табачок. Вот бы дед дорогой тосковал без него.

— Да, до этого я не додумался, — отозвался Князь и глубоко затянулся папиросой.  
— Сегодня ты, Серый, остроумен.

— Зато я кое-что захватил: уральское сальце. Ветчинка, Люблю пиво под ветчинку.  
— Серый, подмигнув левым глазом, вытащил из кармана кусок ветчины, завернутый в чистую холщовую тряпицу.

Князь видел эту тряпку торчащей из правого кармана старика.

Молча, сверху вниз посмотрел он на Серого, потом на ветчину. Но это молчание для Серого было хуже всякой брани. Он охотнее бы принял крепкую оплеуху главаря, чем этот его взгляд. Все так же молча Князь вырвал из рук Серого ветчину и бросил ее в урну.

— Ты что, засыпаться хочешь? — тихо, почти шепотом спросил он и улыбнулся так, что Серый втянул голову в плечи.

Серый не отвечал. Князь видел, какими жадными глазами взглянул он на урну с вокзальными отбросами.

— Подлюга! Сколько раз я тебя уродовал, а ты все за свое, — прошипел Князь.

«Гражданка, потерявшая ребенка по имени Нина, зайдите в детскую комнату отделения милиции вокзала», — разнесся под сводами мощный голос диктора.

А через пять минут Князь и Серый видели, как мимо них прошла та самая молодая женщина, которая совсем недавно металась у билетных касс в поисках дочери. В ее глазах стояли слезы. Прижимая к груди девочку, она шла в зал транзитных пассажиров. Ее чемодан нес молоденький сержант милиции. Он был обрадован не меньше матери.

— На выход под занавес не больше десяти минут. Начнем с этого, — сказал Князь и показал глазами на высокого юношу у буфета.

Это был Алексей Северцев. Стоя в очереди в камеру хранения ручного багажа, он захотел пить, и это привело его в буфет. Поставив чемодан, он попросил бутылку фруктовой воды.

Князь взглядом дал знак Серому, чтоб тот пока отошел. Когда будет нужно, он его позовет.

Серый смерил взглядом высокую фигуру парня у буфетной стойки, впился глазами в деревянный сундучок у его ног, скорчил недовольную мину (всем своим видом он говорил: «Что нашел ты в этом деревенском дундуке?!») и вразвалку отошел от Князя. Тут же присел на дубовом диване и принялся издали наблюдать. А Князь входил в свою новую роль — он импровизировал. Поравнявшись с незнакомцем, встал за его спиной:

— Разве московские гости пьют фруктовую воду?

Алексей повернулся на голос, прозвучавший мягко и приятно. Перед ним стоял

незнакомый интеллигентный мужчина.

Незнакомец продолжал в дружеском тоне:

— Пиво! Рекомендую! Такого пива, дружище, ты у себя в деревне не пил.

Северцев застенчиво улыбнулся и вместо фруктовой воды попросил кружку пива.

— А первое дело к пиву — это бутерброд с икоркой, — мягко поучал Князь. — Нужно, брат, привыкать к столичной культуре.

Северцев благодарно улыбнулся и заказал бутерброд с икрой. По натуре он быстро сходился с людьми, а сосед оказался ему добродушным и общительным.

О московском пиве Северцев был наслышан еще в деревне от своего хвастливого соседа, хромого Никанора, которому раза два в жизни довелось проезжать через Москву, где он досыта, как он выражался, «до завязочки, как паут», наливался пивом. Причем, рассказывая, Никанор так аппетитно причмокивал губами, так самозабвенно закатывал под лоб белесые глаза, словно в ту минуту он пил какой-то особый, чудодейственный напиток.

После первых же глотков Северцев скривил рот и не знал, что ему делать: допивать через силу или поставить кружку на стойку? «Какая дрянь!.. Что в нем находят хорошего?» — подумал он и уже хотел было отказаться от угощения, но решил быть мужчиной до конца. Видя, с каким смаком тянет из толстой пол-литровой кружки сосед, как он блаженно трясет при этом головой и слизывает красным языком с губ белую пену, допил до дна.

Через минуту Алексей почувствовал, как по телу приятными волнами побежал прохладный бражный хмель. «А что, если осилить как-нибудь еще одну? — подумал он. — Не разорюсь». Глаза его блеснули. Ему вдруг до зарезу захотелось поговорить, высказать свои впечатления о Москве. И он заказал буфетчице еще две кружки.

— Прощу вас выпить со мной, — обратился он к Князю, который смотрел на него и улыбался.

— Не смею отказаться. С удовольствием. Только прежде нужно познакомиться. А то неприлично, пьем, вроде как приятели, а друг друга не знаем. — Князь протянул руку и представился: — Константин Сергеевич, инженер Московского станкоинструментального завода, ну а для вас просто Костя.

— Алексей Северцев. Приехал поступать в университет.

— О, по такому торжественному поводу, — Князь повернулся к буфетчице, — налей-ка нам, красавица, по сто грамм московской. Вы не возражаете, — обратился он к Северцеву, — если мы выпьем за ваше поступление? Хорошая, говорят, примета.

Алексей замялся:

— Нет, нет, не надо, что вы!.. Я только с поезда, мне нужно в университет.

— Чепуха! Сто грамм для такой фигуры — как слону дробина. Пока доедете — все выветрится. Ну, за наше знакомство и за ваше поступление!

Князь чокнулся и, почувствовав на своем плече чью-то руку, обернулся. Сзади стоял Серый.

— О! Ваше студенческое крещение мы можем провести в настоящем студенческом кругу. Знакомьтесь. Мой старый приятель Геннадий Серов. Способностей самых заурядных. Хотел стать хирургом, да душонка слабовата. Из операционной его всегда выносили на носилках. При виде крови ему делается дурно. Теперь студент-фармацевт. Не огорчайся, друг, аптекарь из тебя получится потрясающий.

Пока Северцев, застенчиво краснея и переминаясь с ноги на ногу, знакомился с Серым, Князь заказал сто граммов водки и для него.

Северцев еще раз попытался отказаться, но тут его знакомые выразили такую обиду и так принялись уговаривать, что устоять он не смог.

— Ну, друзья, пьем! Пьем за новую студенческую единицу. — Князь чокнулся с Алексеем и Серым. Морщась и фыркая, он поднес ко рту дрожащей рукой стакан. Пил тяжело, с дрожью, как пьют алкоголики.

Выпил и Северцев.

Подкладывая ему бутерброд с икрой, Князь сказал:

— Хорошо, Алешенька, что ты встретил нас. Мы тебе можем помочь. Москва — это столица. — Он вздохнул и, что-то вспомнив, оживленно продолжал: — Да, кстати, в Московском университете у меня дядя, правда, не директор, но делами ворочает большими. Будут недоразумения — рассчитывай на меня.

Северцев уже чувствовал опьянение. Тронутый вниманием своих новых знакомых, он не находил слов благодарности.

— Спасибо. Я очень рад, что встретил вас. Только мне пора ехать. Ведь я еще не определился с общежитием. А родственников в Москве нет.

— Голубчик! — перебил его Князь. — У тебя в Москве есть друзья! Ты что, не веришь в возможности своих друзей?..

— Нет, почему же? Я рад, что познакомился с вами, но мне не хотелось бы стеснять вас.

Князь укоризненно покачал головой и перевел вопросительный взгляд на Серого:

— Алеше с дороги нужно отдохнуть. Ты это можешь организовать?

Серый часто заморгал рыжеватыми ресницами, не зная, что ответить. Потом под нажимом все того же диктующего взгляда Князя поспешно забормотал:

— Ну, конечно, о чем разговор. У тетки моей можно остановиться. Все найдется: и кровать, и одеяло.

Ответом Серого Князь остался доволен.

— Ну вот, а ты волновался. Только учти, Алеша, до сентября еще полтора месяца. Придется пока без стипендии. Выдержишь?

— Ничего, выдержу. В прошлом отчетном году получили неплохо, по десять рублей и по килограмму меду на трудовень. Хватит на харчи и на квартиру.

Словно что-то подсчитывая в уме, Князь сморщил лоб и поднял глаза к потолку.

— Это я на всякий случай, Алешенька. Москва хоть и большая деревня, а у родной тетки не пообедаешь.

С буфетчицей за всех рассчитывался Серый. Когда Северцев полез в карман за деньгами, Князь остановил его:

— Не горячись, Алеша, твои тугрики тебе еще пригодятся. А сейчас, братцы, я предлагаю перейти в ресторанчик и перехватить чего-нибудь горяченького. Только не здесь, не на вокзале. Алешенька, тебе не показалось, что на этом вокзале пахнет онучами и лошадиным потом?

Северцев улыбнулся, но ничего не ответил.

— Э, брат, чтоб это унюхать — нужно быть москвичом. Ты взгляни — нет почти ни одного солидного пассажира, одни мешки, котомки да сундуки. Уж если в ресторан, то лучше «Чайки» не найдешь. Там стены дышат ландышем, а официантки!.. Эх, Алешенька, начинай жить по-студенчески, по-столичному, а главное — держись за друзей и умеешь ценить дружбу.

Упоминание о ресторане в первую минуту насторожило Северцева, но, когда Князь упрекнул его в неуважении к друзьям, он махнул на все рукой и решил предоставить себя во власть своих новых знакомых.

Алексей нагнулся, чтобы взять с пола свой чемодан, но Князь вежливо и настойчиво отстранил его руку и с упреком посмотрел на Серого.

— Ты только сегодня невнимателен или вообще невоспитан? Алеша устал с дороги, а ты не можешь поднести его чемоданчик.

Серый молча взял чемодан Северцева, и они направились к выходу.

Северцев хмелел быстро. По его счастливой улыбке можно было судить, что ему все нравилось: Москва, новые друзья, шум города и этот особенный, лихорадочный ритм движения людей и машин, который свойствен только столице.

Князь посмотрел на часы. Было без пяти три. В три часа он условился встретиться с Толиком у входа в метро. Вспомнил вчерашний разговор с ним. «Никуда не денешься, мальчик. Примешь мою веру. Посмотрим, как запоешь ты сегодня. Не таких ретивых укрошал...»

Князь издали увидел Толика. Он стоял в стороне от потока прохожих и, прислонившись к стене, курил.

«Ага, ждешь?! Значит, припекло, родимый!» — пронеслась ликующая и злобная мысль в голове Князя.

6

Виктор Ленчик со студентками-однокурсницами ждал электропоезд на Малаховку, где у его родителей была дача. В воздухе дрожало знойное марево. У тележек с газированной водой стояли длинные очереди. Люди спешили скорей вырваться из раскаленных стен города в дачную свежесть Подмосковья.

Прохаживаясь по перрону, Виктор рассказывал спутницам о том, как профессор Киселев на экзамене по уголовному процессу незаслуженно снизил ему отметку. Высокий ростом, Ленчик был красив. Кожа его нежного, холеного лица была бледновато-матовой. Говорил он быстро и запальчиво, отчего его и без того выразительные и нервные губы дрожали в изломах, сдвигались в гримасах пренебрежения и иронии. Длинный серый пиджак в крупную клетку, узенькие короткие брючки, зеленый галстук с ярко-красной полосой посередине обращали на себя внимание прохожих. Даже маленькие темные усики, напоминающие крылья бабочки, и те как бы кричали: «Взгляните!» И кое-кто взглядывал.

— Я отвечал ему блестяще! Обоснованные положения, богатые иллюстрации и, представьте себе, — тройка. Да, да, тройка! Нет, это возмутительно! Гробить за то, что я не посещал его скучные лекции, — это хамство!

У входа в вокзал Ленчика остановил сержант милиции Захаров. Взяв под козырек, он вежливо проговорил:

— Молодой человек, ведь есть же урна для этого...

— Какая урна? При чем здесь урна? — удивился Ленчик, точно не понимая, о чем идет речь.

— Та, мимо которой вы бросили окурочек.

— Ах, вот оно что, окурочек, — с издевкой протянул Ленчик, незаметно кося взглядом на девушек. У него мелькнула мысль: «Завтра девчонки обязательно разнесут по факультету, как Ленчик ловко разыграл милиционера».



Увлеченный этой своей ролью, он сочувственно покачал головой: — Вот ведь беда-то какая — промазал. Метил в урну, и на вот тебе — промах. Пардон. — Ленчик круто повернулся и, вскинув голову, направился к девушкам.

— Гражданин, вернитесь, — приказал Захаров.

Не повернувшись на оклик, Ленчик прибавил шагу.

— Гражданин! — строже и громче окликнул Захаров и короткой трелью свистка остудил пыл Ленчика.

Ленчик вернулся. Всем своим возмущившимся существом он как бы вопрошал: «Ну что ты привязался? Чего тебе нужно, Степа-лёпа?..»

— Я вас слушаю. — В голосе Ленчика по-прежнему слышалась издевка.

Это высокомерие в тоне и барские манеры выхоленного молодчика не столько взбудоражили в Захарове его мужское самолюбие, сколько обдали грязью милицейский мундир, службу, пост... «Ах, ты так, пижон? Тогда держись! Будем разговаривать по инструкции...»

— Поднимите окурочек.

— Что-о-о?

— Поднимите окурочек!

— Да, но рядом с урной два окурочка, и я вряд ли узнаю, какой из них мой. — На лице Ленчика появилась презрительная усмешка.

Строгий тон милиционера не допускал шуток.

— Последний раз предупреждаю, гражданин, поднимите окурочек!

Девушки засмеялись.

Мгновенно Ленчик вообразил, какой гомерический хохот они поднимут, когда он, Ленчик, кого девушки зовут Чайльд Гарольдом, будет подбирать окурочки.

— Товарищ милиционер, — с расстановкой ответил Ленчик тоном, каким обычно взрослые отчитывают провинившихся детей, — научитесь уважать достоинство молодых людей, когда они в обществе девушек!

Сержант хотел что-то сказать, но Ленчик перебил его:

— Конечно, в ваших милицейских кодексах этого нет, а следовало бы вам с этими неписаными нормами познакомиться. Это — во-первых. Во-вторых, там, где валяются окурочки и мусор, — там есть дворники и милиционеры!

Довольный собой и тем, с каким замиранием следили за ним девушки, Ленчик снял шляпу, гордо тряхнул шевелюрой и пошел прочь. Сержант снова достал свисток. Раздалась тревожная трель.

— Придется прочитать ему лекцию об этикете, — небрежно бросил Ленчик девушкам и снова подошел к сержанту. — Чем могу быть полезен?

— Ваши документы.

— Зачем они вам? При чем тут документы?

— Гражданин, ваши документы!

Слово «гражданин» на Ленчика подействовало гипнотически.

— Пожалуйста... — И он подал студенческий билет. — Я полагаю, что студенту вы сделаете скидку? Я понимаю. Я виноват, — уже тихо, чтобы его не слышали девушки, говорил Ленчик. — Но войдите в мое положение. Ведь я не один.

— Ваш паспорт.

— С собой не ношу.

— Пройдемте!

— Простите, но куда и зачем? И что я такого сделал? Какой-то несчастный окурок и вдруг... Вы простите меня, товарищ сержант, — уже юлил Ленчик и покорно шел за сержантом.



Спутницы Ленчика спрятались за газетный киоск и ждали, что будет дальше.

Проходя мимо комнаты, где размещалась оперативная группа, Захаров увидел через полуоткрытую дверь лейтенанта Гусеницина. Нахохлившись, он что-то писал. Перед ним сидел широкоплечий молодой человек с забинтованной головой.

В дежурной комнате Ленчику предложили заплатить штраф. Денег не оказалось. Он попросил разрешения позвонить. Ему разрешили.

Ленчик быстро набрал номер телефона, и заискивающий тон, которым он только что обращался к сержанту, сменился повелительным:

— Мама, у меня неприятность! Меня задержала на вокзале милиция. Что? Детали потом. Мне нужны деньги заплатить штраф. Мама, еще раз повторяю — подробности потом! А сейчас поторопись в отделение милиции на вокзал. Захвати с собой деньги!

— Кто ваши родители? — спросил дежурный лейтенант.

— Отец — профессор, мать — домохозяйка.

— На каком факультете учитесь?

— На юридическом.

— Так-так, значит, будущий блюститель законности. Странно, учитесь в Московском университете, а заявляете, что милиция создана для того, чтобы подбирать мусор и окурки. Ну что ж, сообщим в деканат, в комсомольскую организацию. Пусть помогут вам пересмотреть ваши взгляды. Вы комсомолец?

— Да, — уныло ответил Ленчик, и его лицо заметно вытянулось. Он вспомнил недавнее комсомольское собрание курса, где его прорабатывали за отрыв от коллектива и, как выразилась Лена Туманова, за «чванливый аристократизм и самомнение».

И нужно же случиться этой скандальной истории! Всего-навсего какой-то жалкий окурок!

— Товарищ лейтенант, не делайте этого, — упавшим голосом просил Ленчик. — Поймите меня, я не мог поднять окурок. Ведь я был с девушками.

С минуту в дежурной комнате стояло молчание.



— Понимаю вас, вы были с девушками. Причина уважительная. Верно. Но сейчас вы без девушек. Сейчас вы можете поднять окурок? — неожиданно спросил лейтенант.

Этим вопросом Ленчик был смят.

— Ну как? — повторил лейтенант.

Несколько секунд Ленчик топтался на месте, поправлял галстук, откашливался и наконец заговорил:

— Конечно, если это нужно. И потом я отлично понимаю, товарищ лейтенант, что будет в Москве, если каждый начнет бросать мусор. Но я вас прошу...

Лейтенант не дал договорить.

— Сержант, проводите гражданина. Он понял свою ошибку, и он ее исправит.

Захаров молча кивнул Ленчику, и тот покорно последовал за ним.

У злосчастной урны сержант взглядом указал на землю:

— Пожалуйста.

Озираясь по сторонам, Ленчик нагнулся, но, когда дотронулся до окурка, за его спиной раздался взрыв хохота девушек. Кровь бросилась ему в лицо. Распрямившись, он со злостью швырнул окурок в урну. Но тот с силой ударился о железный обод и отскочил еще дальше в сторону.

Это была мучительная минута. Ленчик растерялся, но сержант так же спокойно и невозмутимо посоветовал:

— Не волнуйтесь. Попробуйте сделать это еще раз, и поспокойнее.

Всей пятерней Ленчик сгреб окурок и, стиснув зубы, осторожно опустил его в урну.

А несколько минут спустя, когда Виктор Ленчик сидел на широкой скамье в дежурной комнате и чувствовал себя так, как будто его голого высекли на Манежной площади, новенькая легковая машина «зис» плавно остановилась у вокзала, и из нее вывалилось тучное тело Виктории Леопольдовны Ленчик.

Широкополая соломенная шляпа с цветными перьями, ярко накрашенные губы, цветное газовое платье, с драгоценными камнями перстни и золотые кольца, нанизанные на пухлые пальцы, — все это переливалось, играло различными оттенками и напоминало громадную морскую медузу, которая при ярком солнечном освещении несет в себе все цвета радуги. Было что-то до тупости властное в лице этой уже немолодой женщины, которая, по всему видно, в продолжение многих лет злоупотребляла косметикой. Еле заметные продолговатые шрамы на лице говорили о том, что Виктория Леопольдовна прибежала и к пластической операции омоложения.

Виктора, своего единственного сына, она любила фанатично, и если бы он когда-нибудь позвонил и сказал ей, что он на Луне и ему угрожает опасность, то Виктория Леопольдовна поставила бы на ноги все, чтобы через полчаса быть на Луне.

— Саша, съезди на рынок и посмотри, нет ли чего-нибудь из дичи. Только не задерживайся. Через десять минут будь на месте, — бросила она шоферу и быстро направилась в вокзал.

Шофер Саша был безответным двадцатидвухлетним парнем, который хорошо знал, что его фактическим хозяином является не профессор Андрей Александрович Ленчик, а Виктория Леопольдовна. Выпадали дни, когда с утра до самого вечера

ему приходилось колесить по всем комиссионным Москвы за какой-нибудь модной горжеткой или оригинальными римскими сандалетами, которые, по словам знакомых Виктории Леопольдовны, должны быть где-то и кем-то проданы. Попытался однажды Саша пошутить, что добытые заграничные застёжки не стоят сожженного бензина, так Виктория Леопольдовна сделала ему такое внушение, что он твердо решил впредь свое удивление носить в себе. Зато в шоферском кругу, простаивая часами у подъездов, Саша иногда отводил душу: каких только словечек и эпитетов не находил он для своего «хозяина». Викторию Леопольдовну он терпел только потому, что глубоко уважал кроткого и доброго Андрея Александровича.

Когда Виктория Леопольдовна вошла в дежурную комнату милиции, ее сын, уже забыв пережитый стыд, о чем-то беседовал с сержантом.

— Что случилось? Сколько вам нужно штрафа? — с гонором обратилась она к лейтенанту и достала из сумки сторублевую бумажку.

— Мама, не волнуйся, — сказал ей Виктор и совсем тихо, чтоб никто, кроме нее, не слышал, добавил: — Это тебе не с папой.

— Хватит? — Виктория Леопольдовна бросила сторублевку перед лейтенантом, но тот спокойно вложил деньги в студенческий билет Ленчика и, не глядя на Викторию Леопольдовну, так же спокойно возвратил ему документ:

— Так вот, товарищ будущий юрист, если образованные люди начнут так некультурно вести себя, то что же останется делать неучам? Но коль уж вы поняли свою ошибку — на первый раз прощается. Можете быть свободны.

Выходя, Ленчик раскланялся, а мать негодуя хлопнула дверью, не распрощавшись:

— Крючоктворы!..

Виктория Леопольдовна хотела было спросить сына, за что его задержали, но он не дал ей и рта раскрыть.

— Я тороплюсь. Обо всем расскажу вечером.

И исчез в толпе.

7

Подозрительно осмотрев соседей по купе, старик уралец поплотней уселся на нижней полке рядом со своим чемоданом, который поставил на попу к стенке, и отвернулся к окну.

Набирая скорость, поезд покидал Москву. Многолюдный перрон, привокзальные постройки, туннели, мосты — все оставалось позади. А через полчаса, когда за окном уже ничего, кроме подмосковных дач, не попадалось на глаза, начался обычный вагонный разговор: куда, откуда, каковы виды на урожай, какие цены на фрукты...

Рядом с уральцем сидела полная, лет сорока, женщина.

Зажав зубами шпильки, она поправляла сползающий с головы новый шелковый с красными маками полшалок и, прихорашиваясь перед зеркалом, говорила о том, какой только нет в Москве мануфактуры.

— Это ужась, ужась!.. И бязь, и сатин, и майя... А ситец — какой хошь. Про шелк и говорить нечего, все как есть завалено, как радуга, переливается, да только не по нашему карману, зуб не берет.

— Брось, тетка, приbedняться, — донесся откуда-то сверху мужской голос. — Погляди, платок-то на тебе какой — жар-птицей горит, а все плачете. Ситец, ситец... Знаем мы вас. Небось тысчонку с одного только базара выручила да из

деревни, поди, приехала не с пустым карманом.

Говоривший, стоя на четвереньках на самой верхней полке, мастерил себе местечко на ночь. Хотя третья полка даже в общих вагонах предназначена для вещей, парень, видать, не растерялся и захватил ее целиком.

— А то как же, тыщу, держи карман шире! Это небось вы тыщами гребете, а мы весь прошлый год работали за палочку.

— Эх, маманя, маманя, несознательный вы человек, радио не слушаете, газет не читаете, а стало быть, перспективы не видите, — вздохнул парень, слезая с полки.

Тут в разговор встрял мужичок неопределенных лет, обросший густой щетиной:

— Ну и Москва!.. Правда, что Москва! Перехожу третьего дня улицу возле вокзала, да, как на грех, загляделся не туда, а он как подкатит ко мне, да как дуднёт изо всех сил — я аж мешок с чугуном чуть не упустил. Ох и напужал же, сукин сын...

— Это что!.. Это только напужал, — отозвался типичным тамбовским говорком пожилой мужчина, сидевший за столиком. Круто посолив две разрезанные половинки огурца, он усердно, до пены, натирал их друг о друга. — Вот меня однова в Тамбове хлобыстнуло дак хлобыстнуло. Так вдарило, что я с покрова до самого Михайлы архангела провалялся с сотрясением мозгов. Жалко мне стало тогда шофера, семья у него большая, ну я всю вину и взял на себя. А не то яму тюрьмы не миновать бы.

Парень, забыв что-то, снова полез на верхнюю полку. Копируя тамбовский говор, он спросил:

— А тебе, отец, жана из сяла смятану носила в мяшке или в махотке? — Сказал и сам рассмеялся.

Парень с верхней полки был, видимо, из породы Теркиных. В дороге такие люди — первые балагуры, весельчаки и заводилы.

Сделав вид, что не слышал эту шутку, тамбовец расправил давно не стриженные усы и принялся, аппетитно похрустывая, уплетать огурец с ржаным хлебом. Аромат огурца поплыл по купе и заставил всех на некоторое время замолчать.

Всем захотелось огурцов.

Уж так, видно, устроен человек. Живя десятками лет в городе, он порой не знает, кто проживает над его квартирой этажом выше. Другое дело в поезде. Проехал день — почти родня. Хоть и тесно в вагоне и за курение от женщин влетает, а посмотришь в окно и видишь: не каменная стена соседнего дома перед тобой, а даль. Без конца и края слегка холмистая даль. Все открыто, все нараспашку. На десятки километров лежит перед тобой русская равнина, перекатывая на солнце свои пшеничные волны поспевающих хлебов. Где-нибудь высоко-высоко в небе парит на распластанных крыльях степной орел. А иногда, пак реликвия дедовской старины, раскрывается где-нибудь на пригорке за деревней ветряная мельница, да так вдруг шевельнет в душе память далекого детства, что в такие минуты хочется обнять все: и небо, и землю, и людей на этой земле... А если кто-нибудь в купе намекнет «поддержать компанию» в честь отъезда из столицы, то тут не устоит и строгий диетик. Даже чересчур экономные жены и те в такие минуты добреют. Вмиг сооружается столик, со всех сторон поступают хлеб, консервы, огурцы, колбаса... Выпили по стопке, по другой... И вдруг один, что посмелее да поголосистее, затянул песню. Не подержать ее нельзя. Сама душа в это время становится песней. Через минуту песню подхватили другие, и вот она рвется в открытые окна, в просторную степь. И нет на душе у человека в эту минуту ни тайн, ни дурных мыслей...

В вагоне один лишь старик уралец не вступал в общий разговор. Прошел уже час, а он все сидел и не отрывал глаз от окна.

Высокий молодой человек лет двадцати трех, худощавый и длинноволосый, подсел к нему и попытался разогнать его грусть.

— Далеко едем, папаша?

— Отсюда не видать, — ответил уралец, не поворачивая головы.

Его соседке в цветастом платке стало жалко сконфуженного юношу, и она ответила за деда:

— Мы домой, в Горноуральск.

Дед строго посмотрел на соседку, но молодой человек, не поняв значения этого взгляда, обрадованно воскликнул:

— О, да нам вместе! У меня туда назначение. На завод. Может быть, вы мне о городе расскажете, ведь вы, очевидно, местный, уралец?

Старик молчал. Юноше стало неудобно. Он понял, что с ним не хотят разговаривать. Бесцельно шаря по карманам, он вытащил бритвенное лезвие и от нечего делать стал подрезать ногти.

Увидев в руках молодого человека лезвие, старик нащупал ремень своей полевой сумки и вкрадчивым голосом спросил:

— Ты вот ответь мне сначала — зачем у тебя эта бритовка?

Молодой человек недоуменно смотрел на деда.

— Да-да, зачем? Ни один путевый человек бритвой ногти не обрезает.

— Папаша, вы явно не в духе, — сказал молодой человек и застенчиво улыбнулся.

— Знаем мы эти разговорчики! Говорил я в Москве с одним субчиком. Про все говорил: и про Урал, и про брата, и про Пролетарскую улицу. До того договорился, что чуть без сумки не остался. Тоже вот с такой бритовкой ходит.

Видя, что разговора не получилось, молодой человек извинился и полез на свою среднюю полку, сопровождаемый все тем же подозрительным взглядом уральца.

— Да, так оно будет верней, — бойко заключил дед и, отвернувшись снова к окну, добавил: — И сумка будет целей.

Последних слов уральца молодой человек не слышал. Улыбнувшись причудам старика, он поудобнее лег на своей полке, положил голову на скрещенные руки и через минуту, залюбовавшись бескрайней равниной, которая вдали казалась неподвижной, забыл о старике из Горноуральска.

8

Громадные стрелки часов, вмурованных в расписную стену, показывали одиннадцать вечера.

Тосты, тонкий звон сдвинутых бокалов, пробочные выстрелы шампанского, приглушенная песня за дальним столиком, горячие споры, восторженные излияния чувств — все это, переплетаясь во что-то единое, сливалось в монотонное гудение, характерное для первоклассного столичного ресторана в вечерние часы. Это гудение напоминало гуд басовой струны гитары. Дернули струну и не остановили.

С подносами на вытянутых руках между столиками сновали официанты. В черных пиджаках и белых манишках с черными галстуками, они чем-то напоминали артистов оперетты.

В конце зала на невысокой эстраде под оркестр молодая стройная певица в длинном декольтированном платье пела веселую песенку:

*...Когда сирень*

*И майский день*

*Друг друга, не стыдясь, целуют.*

*Пускай смешно.*

*Пускай грешно,*

*Но я тебя ревную...*

Алексей был уже изрядно пьян. Пряди его потных волос падали на лоб, отчего он поминутно встряхивал головой:

— Друзья! Какие вы счастливые, что живете в Москве!

Он встал и, намереваясь продолжить изливание своих чувств, сделал широкий жест рукой. Подбежавший официант перебил его:

— Чего прикажете?

— Шампанского!.. — распорядился Алексей.

— Слушаюсь... — Официант шаркнул ногой и засеменял от столика.

— Смотри не разорись, Алеша, — посочувствовал Князь. — Я, как назло, с собой денег не захватил, а эта братва — сам видишь, студенты.

— Ерунда! Я плачу, — махнул рукой Северцев. — Этот вечер — мой первый вечер в Москве. На всю жизнь он останется в моей памяти. О нем я обязательно напишу стихи. Толик, вы любите стихи? Помните:

*ОМосква, Москва!... люблю тебя, как сын,*

*Как русский, — сильно, пламенно и нежно!*

*Люблю священный блеск твоих седин*

*И этот Кремль зубчатый, безмятежный.*

Толик выпустил сизое кольцо дыма, болезненно поморщился и ничего не ответил. На душе у него было недоброе предчувствие. Неужели Князь хочет обидеть этого парня?

Чтобы заглушить в себе поднимающийся стыд, он решил выпить. А там, когда будет пьян, все встанет на свои места. Сгладятся шероховатости, потонут обиды, растает жалость. Останутся звуки джаза, огни люстр и легкое, приятное кружение в голове.

Толик, не глядя на Алексея, чувствовал, что тот смотрит на него и ждет ответа. Но что мог ответить ему он, москвич, которому прочли великолепные стихи о Москве? Толик налил из графина в фужер водки и выпил одним залпом. Это был уже второй фужер.

Князь посмотрел на Толика и покачал головой:

— Ого!.. Ты сегодня машешь лошадиными дозами! Как находишь Алешины стихи?

Толик по-прежнему молчал, вперив рассеянный взгляд в стол. Вмешался Серый. Жадно уплетая заливную осетрину с хреном, он исподлобья посматривал то на Князя, то на Северцева.

— Мировые стишки, аж за душу берут. Я тоже люблю Москву. Неужели сейчас сочинил?

Алексей сконфуженно улыбнулся и отбросил прядь волос, упавшую на потный лоб.

— Нет, они написаны давно, и не мной, а Лермонтовым. Я очень люблю Лермонтова.

— Да, Лермонтов — это сила! — в тон подхватил Князь. — Я тоже, когда был студентом, сочинял стихи. Да еще какие стихи!.. Эх, Алешенька, помню, читаю их студенткам — плачут... Подлец буду, плакали. Давай выпьем за поэтов. Хорошие они ребята.

Когда официант с выстрелом раскупорил бутылку шампанского и разлил вино по бокалам, Северцев снова встал.

Серый, не обращая ни на кого внимания, жалобно скулил пропитым голосом:

*Ты уедешь к северным оленям,*

*В знойный Туркестан уеду я...*

— Друзья! — Алексей перебил гнусавое причитание Серого. — А помните у Пушкина:

*Меж сыром лимбургским живым*

*И ананасом золотым...*

Какой блеск, какая музыка! Выпьем за то, что Пушкин родился на русской земле!

— Уважаю земляков, — поддакнул Серый и чокнулся со всеми.

Свой бокал Князь выпил последним и подозвал официанта:

— Отец, рассчитаемся.

— Четыреста семьдесят рублей семьдесят копеек, — сказал официант и положил на стол счет.

— А точнее? — Князь скривил пьяную улыбку с прищуром.

— Можете проверить. — Официант пожал плечами и начал скороговоркой перечислять вина, закуски, цены, но его остановил Алексей:

— Друзья, не будем мелочными. Папаша, получите, пожалуйста. — Он достал бумажник и вытащил из него пачку сторублевков.

Глаза Серого загорелись. Он уже потянулся к бумажнику, но Князь вовремя успел на него цыкнуть:

— Убью, подлюга!..

Недовольный, Серый принялся ковырять вилкой в холодной закуске.

Алексей отсчитал пять сотенных бумажек и протянул их официанту. Официант долго не мог подсчитать сдачу. Путаясь, он начинал снова и снова перебирать мятые и замусоленные рубли.

— Оставьте это себе, отец. — Алексей отодвинул сдачу. — Вы замечательный человек. И вообще все красиво... Как в сказке. — Вставая, он пошатнулся, но Князь поддержал его. — А можно попросить оркестр сыграть что-нибудь такое, чтоб...

— А что бы ты хотел, Алеша?

— Ну, скажем, «Тройку».

— Алеша, по заказу оркестр играет только вот за это... — Князь потер большим пальцем об указательный. — Бросать их на ветер не стоит, они тебе еще пригодятся.

— Ерунда! Вы не правы! Прав Блок. «Вся жизнь встает в шампанском блеске». «Тройку»! закажите, пусть играют «Тройку». — Алексей уже совсем было направился к оркестру, но Князь его удержал:

— Алешенька, ты устал и изрядно выпил. Домой, домой... Не забывай, что ты еще в университете не был.

— Да, да, да... — словно чего-то испугавшись, ответил Алексей, — я еще не был в университете. Не был. Не бросайте меня.

— Как тебе не стыдно? Что ты говоришь? Бросить тебя в такую минуту?!

Князь взял под руку Северцева, позвал Толика и подал ему номерок от гардероба.

— Возьми Алешин чемодан и подходи к такси. Да побыстрее.

Толик был окончательно пьян. Он смутно понимал, куда и кого он должен провожать.

— Постой, постой... провожать? — Толик кулаком тер лоб. — Кого нужно провожать?

— Как кого? Кто тебя сегодня угощал? Ты, Толик, что-то последнее время стал рассеянным.

Только теперь Толик заметил, что рядом с ним стоял Алексей.

— Куда мы должны его проводить?

— Ясное дело куда. Нужно устроить человека, он только с дороги. Серый договорился насчет местечка у родственников.

Словно чем-то холодным скребнули по душе Толика. И где-то там, в глубине, заныло. Он понял: нехорошее дело затевал Князь.

— Князь!.. Я прошу тебя... Ты слышишь, прошу! Не делай этого. Ты видишь, кто перед тобой? — Толик смотрел на Князя и видел два одинаковых лица. В глазах его двоилось. На каждом из лиц в нервном тике дергалась раздвоенная шрамом щека.

— Будь спокоен. Мое слово — олово. Сказано — сделано! Раз я обещал Алеше, значит, крышка. Бери Алешин чемодан, и поехали.

Толик взял у гардеробщицы деревянный чемоданчик с висячим замком, и все четверо, поддерживая друг друга, пьяной походкой направились к выходу.

*Не плачь, мой друг, что розы вянут,*

*Они обратно расцветут.*

*А плачь, что годы молодые*

*Обратно путь свой не вернут...*

Пьяный голос Серого звучал гнусаво, с надрывом.

Вино, музыка, огни, громадные дома, потоки машин — все смешалось и завертело Северцева. Ему казалось, что он не идет, а плывет мимо чего-то разноцветного и

ослепительно сверкающего. Вдруг на какое-то мгновение вспомнилось детское «кино», которое Алексею привезла из города мать, когда ему было десять лет. По очереди всем классом рассматривали они тогда эту диковинную игрушку, которая со стороны казалась обыкновенной трубочкой из картона со стеклянными доньшками с обеих сторон. Сколько ни крутили они эту трубочку с разноцветными, радужно переливающимися кристалликами, всякий раз сочетание цветов казалось все новым и новым.

Как шли к остановке такси, как садились в машину, зачем и куда ехали — сознавалось смутно.

Позже, когда Северцев силился вспомнить свою первую ночь в Москве, на память ему назойливо приходили лишь одни огни. Огни слева, огни справа, впереди, в небе... Те, что были впереди, стремительно неслись навстречу, потом, поравнявшись с машиной, в одно мгновение проваливались куда-то назад. Дальние огни проплывали медленней.

Пытался вспомнить Северцев поведение и разговор своих новых «друзей» после того, как вышли из ресторана, но, кроме жалобного, с надрывом мотива какой-то полублатной песенки, которую пел Серый, да учащенного нервного тика правой щеки Князя, ничего не приходило в голову.

Из такси все четверо высадились на пустынной улице окраины Москвы, рассчитались с шофером и свернули по тропинке в рощу. Где-то неподалеку, так же как по вечерам в деревне, за огородами, тоскливо квакали лягушки. Из-за облаков выплыла луна.

Чемодан Северцева нес Толик. Он шел последним. Шел с трудом. Последний телефонный звонок не давал ему покоя. «Нет, я к тебе еще приду! Я с тобой встречу! Я заставлю тебя сказать правду! Токари нужны, товарищ Ломиворота! Я за себя постою!..»

Князь и Серый, поддерживая Алексея под руки, вошли в березовую рощу.

Метров пятьдесят шли молча, потом Алексей, споткнувшись в темноте о какую-то корягу, остановился и огляделся:

— Куда мы попали? Это же лес дремучий.

— Пустяки, осталось еще две минуты ходу, — сказал Князь.

Вдруг Алексей почувствовал, как рука Серого бесцеремонно шарит в его левом брючном кармане. Почудилось недоброе, под сердцем защемило.

Стиснув щуплую и тонкую кисть Серого, он остановился:

— Что вы лазите по карманам? Дальше я не пойду.

В следующую секунду цепкие руки Серого, который шел сзади, замкнулись на груди Алексея. Инстинктивно Алексей сделал шаг вперед, потом совсем неожиданно для Серого быстро присел и одним рывком отшвырнул его метра на три в сторону.

«Бежать», — мелькнуло в голове Алексея, но не успел он сделать и двух шагов, как Князь со всего плеча ударил его по голове чем-то тяжелым.

Северцев упал.

— За что?.. — простонал он.

— Лежи, с-сука! — угрожающе прошипел Князь и, навалившись всем телом, принялся душить его.

Собрав последние силы, Алексей попробовал вырваться, но в ответ посыпались



тупые, глухие удары.

— Не бейте, возьмите все... Оставьте документы, — прохрипел Алексей, когда Князь чуть ослабил руку на горле.

— Замри, подлюга! — Князь крепче сжал горло Алексея и снова принялся наносить удары.

Толик стоял метрах в десяти в стороне и, обняв березу, чувствовал, как по щекам его текут теплые слезы: «За что они его?! За что?! Не дам!..» И он рванулся вперед, в темноту, туда, где на распятых руках Алексея сидели Князь и Серый.

Толик сделал несколько шагов и рухнул на землю. В голове все поплыло, закружилось... Звуки, доносившиеся до его слуха, потеряли смысл.

А Князь и Серый, с каждой минутой все более и более стервенея, с каким-то садизмом продолжали избивать Северцева.

Алексей перестал ощущать боль. Удары казались далекими, будто обрушивались они не на его голову, а на что-то чужое, постороннее. Он задышался. По раслабленному телу поплыла приятная теплота, голову заволакивало. Вдруг перед глазами встала мать. Утирая платком слезы, она спешила за вагоном. «Сынок, береги себя...» — отчетливо слышал он ее слова. Алексей хотел сказать ей что-то хорошее, но оказалось, что за вагоном не мать бежит, а катится упавшее с неба солнце. Разрастаясь в громадный шар и пылая нестерпимым зноем, оно катилось прямо на Алексея.

Северцев потерял сознание.

9

Глубокой ночью к Алексею вернулось сознание. Сквозь темную листву берез он увидел звездное небо. «Жив», — была первая радостная мысль, которая разбудила в нем инстинкт жизни. Некоторое время он лежал молча и не шевелясь. Дышать было трудно. Убегая, грабители заткнули ему рот тряпками. Кончики их свисали на подбородок. По щеке тонкой струйкой стекала кровь. Попробовал встать, но ноги и руки были связаны, при каждом движении бечевка больно врезалась в тело. Попытался подтянуть колени к подбородку, чтобы с их помощью вытащить изо рта тряпки. Но и это не удалось. На лбу выступили мелкие капли пота.

Алексей быстро устал. Что же делать? Неожиданно он наткнулся на корень дерева, выступавший из земли. Конец корня был острый. Зацепив за него тряпкой, Алексей освободил рот. Вдохнул полной грудью. Теперь нужно было избавиться от бечевки. Несколько минут он отдыхал, потом, изогнувшись в нечеловеческих усилиях, достал ее зубами и принялся разгрызать. Разбитые губы кровоточили.

Разогнулся Алексей только тогда, когда изжеванная бечевка лопнула. Дрожа всем телом, он поднялся на ноги и, шатаясь, пошел на огоньки.

Вышел на улицу, остановился. Навстречу торопливо шла женщина.

— Гражданка, — обратился к ней Северцев, — развяжите мне руки. — Голос его был неуверенный, просящий. Женщина остановилась, но, увидев его окровавленное лицо, шарахнулась и перебежала на противоположную сторону улицы.

Другой прохожий заметил Алексея еще издали. Опасливо озираясь, он обошел его и скрылся в переулке.

— Странное дело. «Каждый умирает в одиночку», — вслух произнес Алексей название книги, которую знал лишь по заглавию, и подошел к палисаднику, сколоченному из заводских металлических отбросов. Ржавые грани железных пластинок от дождя и времени были в зазубринах, как будто специально

предназначенных для перепиливания веревок. Встав спиной к изгороди и сделав несколько движений, он почувствовал, как его связанные руки освободились.

Железная бочка, стоявшая под водосточной трубой, была полна воды. Алексей подошел к ней, умылся, вытер лицо.

«Куда теперь?» — подумал он. Проходящий мимо трамвай ускорил решение. Алексей на ходу прыгнул в вагон. На вопрос, идет ли трамвай до вокзала, полусонная кондукторша утвердительно кивнула, продолжая дремать на своем высоком сиденье.

— Вы меня простите, но я не могу заплатить за билет, у меня случилось несчастье, — обратился к ней Северцев.

Кондукторша сонно подняла глаза и ужаснулась:

— О господи, кто же это тебя так?

Алексей ничего не ответил.

Кроме кондукторши в вагоне сидела молодая, лет тридцати, женщина. Опасливо посмотрев на вошедшего, она крепко сжала в руках свою черную сумочку, шитую бисером, и успокоилась только тогда, когда Алексей прошел в другой конец вагона и сел на скамейку.

Все, что было дальше, Алексей помнил смутно. Вагон гремел, на каждой остановке кондукторша выкрикивала одну и ту же фразу: «Трамвай идет в парк», за окном мелькали электрические огни, редкие запоздалые пешеходы...

С полчаса Алексей бродил у вокзала, куда его не пускали, так как у него не было билета. Потом милиционер потребовал документы. Документов у Северцева не оказалось, и его привели в отделение милиции вокзала.

Сильная боль во всем теле, головокружение и звон в ушах мешали Алексею правильно ориентироваться в происходящем. Он делал все, что его заставляли, но для чего это делал — понимал плохо.

В медицинском пункте молоденькая сестра долго прижигала и смачивала его раны и ссадины чем-то таким, что очень щипало, потом так забинтовала лицо, что открытыми остались только глаза да рот. Самым неприятным был укол.

В течение всей перевязки Алексей не сказал ни слова. А когда сестра, чтобы не молчать, стала объяснять ему, что укол сделан против столбняка, то и к этому он отнесся безучастно. Ему хотелось одного — быстрее бы кончалась вся эта процедура с бинтами, йодом и зеленой жидкостью и как можно скорей, с первым же утренним поездом уехать домой. Хоть в тамбуре, хоть на крыше вагона — только домой!

Потом начался допрос.

Дежурным офицером оперативной группы был лейтенант милиции Гусеницин. Больше часа бился он над тем, чтобы установить место ограбления, и все бесполезно. Показания Северцева были сбивчивые, а порой противоречивые. Гусеницин уже начал раздражаться:

— Как же вы не помните, где вас ограбили?

Алексей пожал плечами:

— Не помню. Что помню, я уже все рассказал.

— В Москве очень много садов, парков, скверов. Постарайтесь припомнить хотя бы номер трамвая, на котором добирались сюда из этой рощи.

Алексей покачал головой.

Гусеницин встал, подошел к карте города, которая висела на стене, и принялся внимательно рассматривать нанесенные на ней зеленые пятна садов и парков.

— Да, это хуже, — вздохнул он. — Но ничего. Не вешайте голову, будем искать. Будем искать!

На лейтенанта Северцев смотрел такими глазами, как будто вся его судьба была в руках этого военного человека.

10

Много приходилось на своем веку секретарю парткома Родионову получать писем. Письма были разные. В каждом из них — своя радость и боль, своя забота и интерес. Но в горячке дел острота далее тревожных писем порой притуплялась. Совсем иное было с письмом, которое Родионов получил два дня назад от незнакомого ему Максакова.

Вначале письмо Максакова показалось секретарю парткома обычной жалобой человека, незаконно ущемленного в правах. Помогите, разберитесь, вмешайтесь... Но было в нем и что-то такое, что заставляло еще и еще раз задуматься. Перед Родионовым зримо вставал образ молодого парня, написавшего эти не совсем ровные, но твердые строки. Он видел его открытое лицо, видел растерянный взгляд человека, перед которым суровый, недобрый хозяин захлопнул дверь.

«Обязательно зайду к директору и поговорю с ним. Нужно помочь парню», — с мыслью об этом Родионов завтракал, с этой же мыслью вошел на территорию завода и опустился в кресло у директорского стола. Сухо поздоровавшись с Кудияровым, положил перед ним заявление Максакова.

Кудияров читал медленно, точно взвешивая каждую строчку. А когда дочитал до конца, то не сразу поднял на Родионова свои притушенные и всегда утомленные глаза. Вызвал секретаршу. Та впорхнула в просторный кабинет, как красивая, пестрокрылая бабочка, и, хлопая длинными накрашенными ресницами, остановилась, ожидая приказа.

— Начальника отдела кадров!

— Он болен, Николай Васильевич.

— Его заместителя.

Секретарша взмахнула черными щетками ресниц и молча вышла из кабинета.

Затрещал белый телефон. Звонили из министерства, спрашивали о результатах выполнения квартального плана. Не успел закончиться разговор по белому телефону, как затрещал под самым носом черный, с холодным вороненым отливом. Инструктор райкома партии напоминал, что завтра в десять утра бюро райкома и вторым вопросом стоит сообщение Кудиярова о подготовке завода к предстоящему празднику и о ходе предпраздничного соревнования. Потом звонила жена старого больного пенсионера Иванова, более пятидесяти лет проработавшего на заводе. Она жаловалась, что обещанную ее мужу курортную путевку заместитель председателя месткома отдал главному бухгалтеру. Кабинет был гулким, к телефону подключен усилитель, а поэтому Родионов отлично слышал дрожащий старческий голос женщины, которая, волнуясь, с трудом сдерживала слезы. Кудияров пообещал ей разобраться и сделал запись в календаре. Звонил еще кто-то, но на этот звонок директор ответил холодно и резко.

Секретарша доложила о приходе Ломивороты.

Порог директорского кабинета заместитель начальника отдела кадров переступил с опаской. За последние четыре года Кудияров не вызывал его ни разу. Бесцветные

тонкие губы Ломивороты стянулись в морщинистый узелок.

Директор жестом предложил сесть. Ломиворота примостился па кончике кресла.

— Как у вас с кадрами? Почему до сих пор не укомплектован сборочный цех?

Ломиворота развел руками:

— Все делаем, Николай Васильевич. Два месяца объявления висят па досках Мосгорсправки, сообщали по радио, давали объявления в «Вечерней Москве»...

— А были случаи отказов, когда к вам обращались за работой?

— Не без того, Николай Васильевич. — Эти слова Ломивороты произнес так, как будто отвечал на вопрос: «Верно ли, что Волга впадает в Каспийское море?» — Уж такая наша кадровая работа.

— Основания отказа? — Тон, каким Кудияров задавал вопросы, несколько напоминал разговор следователя с допрашиваемым.

— Всяческие. — Ломиворота через силу улыбнулся и посмотрел на Родионова, ища у него поддержки: — У кого профессиональная неподготовленность, у кого со здоровьем неладно, ну а кого... вы сами понимаете.

— Что? — Вопрос директора прозвучал раздраженно.

— Биографические данные не позволяют.

— А именно?

Ломиворота отвечал, как школьник, не уверенный, до конца ли он прав:

— Оккупированная территория, репрессированные родители, судимость, в плену были... Да мало ли причин бывает! Мы при отборе подходим строго. Лучше недобрать, чем потом отвечать за такого.

— За какого? — с расстановкой спросил Кудияров, стараясь заглянуть в глаза Ломивороты, но тот избегал его взгляда.

— Николай Васильевич, да вы просто шутите. Спрашиваете о том, что сами прекрасно знаете.

Директор перевел взгляд на секретаря парткома и, точно не ручаясь за себя, проговорил:

— Объясните, пожалуйста, ему, Владимир Ефимович. Вы в курсе дела.

Родионова давно подмывало вмешаться в беседу, но он молчал, считая не совсем тактичным вклиниваться в разговор. Теперь же, когда ноздри Кудиярова раздулись и стали похожи на речные ракушки, он понял, что по своей вспыльчивости директор может наговорить лишнего, и был внутренне доволен, что тот обратился к нему.

— Много обращалось таких, кому вы отказали? — спросил он.

— Да, обращались... И откуда их несет, никак не пойму. На других заводах не берут — так они все прут к нам.

Родионов встал, прошелся вдоль длинного дубового стола:

— Почему вы отказали Максакову?

Ломиворота несколько раз взмахнул реденькими бесцветными ресницами:

— Это какому Максакову?

— Максакову Анатолию, токарю пятого разряда.

— А!.. Это что только из тюрьмы вышел?

— Да, тому, что вышел из тюрьмы.

— Вы шутите, Владимир Ефимович. Уж от кого, от кого, а от вас-то, от партийного руководителя, лично я этого никак не ожидал. Вместо того чтобы помочь нам еще строже отбирать кадры, вы задаете такой вопрос. Да если вы хотите знать — на этом Максакове негде клейма ставить.

— Откуда вы знаете?

— Анкета!.. В ней все видно. Судим. Этого Максакова на пушечный выстрел страшно подпускать к нашему заводу. А вы мне — почему отказали? — Ломиворота петушисто поднял голову.

Кудияров сидел молча, царапая спичкой доньшко свинцовой пепельницы.

Разговор продолжал Родионов:

— Товарищ Ломиворота, никто с вами не спорит: нам нужны хорошие, проверенные люди. Но поймите также и то, что... — Родионов круто повернулся и быстро направился к географической карте Советского Союза. — Вот она, Украина, вот, видите, Белоруссия, вот Крым, Кавказ, Смоленск, Ростов... Почти половина России! Видите!..

— Вижу, но не понимаю, к чему все это, Владимир Ефимович...

— А к тому, что половина России, вся Украина, вся Белоруссия были оккупированы. Вы только подумайте, что будет, если мы станем гнать в шею тех, кто в возрасте десяти — двенадцати лет был в оккупации! Кто по молодости совершил однажды преступление и должен за это всю жизнь нести на горбу крест позора... Вы об этом подумали? Ведь вы же член партии. Вы сами когда-то были молодым и знаете, что может случиться порой в молодости... — Родионов отошел от карты и приблизился к столу. — Вот войдите сами в положение Максакова, которому вы отказали в работе. Он только что вышел из заключения. Чтобы жить, ему нужна работа. Он обратился на один завод — ему отказали, обратился на другой — тоже отказали, дали по шее и на третьем, и на четвертом от ворот поворот... А время идет. Хорошо, что у него есть родные, которые с горем пополам еще мирятся с его иждивенчеством. А если нет таких родственников? Что тогда делать человеку? Идти воровать?

— Честный человек найдет себе выход, — откашлявшись, ответил Ломиворота.

— Но ведь честный человек найдет себе выход, если люди поставят его на честный путь. Если ему дадут работу! Но если люди бьют его по зубам да вдогонку еще приговаривают, то о каком выходе вы говорите?

Такой поворот для заместителя начальника отдела кадров был неожиданным. Некоторое время он не мог собраться с мыслями. Но лазейка нашлась и из этого затруднительного положения. Это был избитый ход припертого к стене неправого человека: если его уличали в недобропорядочности — он тут же начинал обижаться, прибедняться, становиться в позу незаслуженно оскорбленного.

— Значит, товарищ Родионов, по-вашему, выходит — Ломиворота нечестный человек? А нечестному не место в кадрах?..

— Бросьте прикидываться... Мы говорим как коммунист с коммунистом. Говорим о деле. Я вас спрашиваю об одном: что бы вы сделали на месте Максакова, если бы вас, как и его, нигде не брали на работу?

Ломиворота искал новый ход, чтобы выйти из тупика, в который его упорно

загонял Родионов.

Дискуссия эта наконец вывела из себя Кудиярова. Его и без того экспансивная натура после хитрых уловок Ломивороты точно получила новый электрический заряд. Кусая губы, он ждал удобного момента, чтобы вступить в разговор.

— Так отвечайте же, отвечайте!.. — раздраженно бросил он.

Ломиворота и на этот раз старался вывернуться. Осенившая его мысль сверкнула холодными острыми огоньками в маленьких глазках. Он даже приободрился:

— Хорошо, Николай Васильевич, сознаю свою вину, что не проявлял должного индивидуального подхода к новым кадрам. В чем грешны, в том уж грешны, не взыщите. Только от вас нужно небольшое распоряженьеице.

— Это какое такое «распоряженьеице»? — спросил Кудияров, продолжая кусать нижнюю губу.

— Распоряжение о том, что мы имеем право принимать на свой завод лиц, некогда проживавших на оккупированной территории, а также лиц, находившихся в плену, в оккупации, в окружении. А также и тех, у которых родители были репрессированы по пятьдесят восьмой статье и в свое время отбыли срок наказания... — Эту длинную фразу Ломивороты не произнес, а почти пропел. — Вы мне бумажку, бумажку дайте! Если будет такое распоряженьеице, то наше дело маленькое, мы кадровики: оформим приказом — и к вам на подпись.

Директор встал. Втянул в плечи голову так, словно хотел сообщить что-то очень важное, секретное. Голос его прозвучал таинственно и вкрадчиво:

— А вам разве директор завода давал письменное распоряжение о том, чтобы упомянутых вами лиц не принимать на завод? — На слове «письменное» он сделал ударение.

Ломивороты замялся:

— Письменного не было, но...

— Что «но»?

— Но ведь установка...

Кудияров чиркнул спичкой о коробок так, что горящая головка серы далеко отлетела в сторону и впиалась в зеленое сукно стола и тут же запеклась коричневым сгустком. Взгляды всех троих скрестились на этом запекшемся сгустке величиной с булавочную головку.

— Вы хотите письменное распоряжение директора, чтобы принимать упомянутых вами лиц?

— Да, иначе мы не можем, мы кадровики. — Лицо Ломивороты выражало детскую наивность.

Кудияров вызвал секретаршу, пододвинул ей лист бумаги:

— Пишите! Максакова Анатолия... — Кудияров пробежал глазами адрес на конверте, — Анатолия Александровича провести токарем пятого разряда в сборочный цех с 26 июня.

Красный карандаш в тонкой руке секретарши бегал по бумаге. Когда она кончила писать, Кудияров распорядился:

— На машинку и мне на подпись. Копию — в отдел кадров.

Секретарша вышла. После минутного молчания директор пристально поглядел на

Ломивороту:

— Вы просите письменное распоряжение?

— Не можем мы без него, Николай Васильевич, никак не можем.

— Хорошо, я дам вам письменное распоряжение. Вот вам ручка, вот бумага. — Кудияров отошел к окну. — Пишите. Приказ. Точка. Подчеркните. С красной строки. За срыв в обеспечении необходимыми кадрами рабочих завода начальнику отдела кадров товарищу Ландихову и его заместителю Ломивороту... Что вы остановились? Пишите!.. Повторяю: начальнику отдела кадров товарищу Ландихову и его заместителю Ломивороту объявляю строгий выговор. Точка. Впредь предупреждаю, если вышеуказанные товарищи не будут должным образом выполнять свои служебные обязанности, дирекция завода вынуждена будет принять по отношению к ним более строгие административные меры. Точка. Директор завода Кудияров.

На лбу Ломивороты выступила испарина, он хотел что-то сказать, но директор оборвал его на полуслове:

— Никаких объяснений! Можете быть свободны! Приказ отдайте моему секретарю, пусть перепечатает, копию повесьте у себя в отделе. Ясно?

Когда Ломиворот почти на цыпочках вышел из кабинета, Кудияров и Родионов долго еще молчали, не зная, с чего начать разговор. Оба чувствовали, что с приказом о выговоре Ландихову и Ломивороту директор погорячился.

— Может быть, вернуть его? На первый раз простить? — спросил Кудияров.

Родионов покачал головой:

— Все на своем месте. Поворот резкий, но он необходим. Иначе эту рутину не прошибешь. А вот за парня вам, Николай Васильевич, спасибо. Отвечу ему сегодня же. Хочу с ним побеседовать сам.

В этот же день секретарша директора выслала по адресу Максакова письмо с копией приказа о зачислении его на завод токарем в механосборочный цех.

...А вечером, придя домой, Родионов написал Максакову короткое письмецо, в котором приглашал зайти в партком, как только тот приступит к работе. Опустив письмо в почтовый ящик, Родионов почувствовал облегчение. Очевидно, такое чувство испытывает санитар, вытащивший с поля боя раненого бойца.

11

Нелады у сержанта Захарова с лейтенантом Гусенициным начались давно, еще с первых дней работы Захарова в милиции вокзала. Не проходило с тех пор почти ни одного партийного собрания, на котором сержант не выступил бы с критикой Гусеницина за его формализм и бездушное отношение к людям.

«Схватываться» по делам службы начальник отдела полковник Колунов считал признаком хороших деловых качеств, чувством ответственности за свой пост. «Спорят, — значит, душой болеют», — говаривал он майору Григорьеву и упорно вычеркивал при этом из проекта приказа о вынесении праздничных благодарностей фамилию Захарова.

— Молод, горяч, пусть послужит, покажет себя пошире, а там и поощрением не обойдем.

Майор Григорьев возмущался, горячился, отстаивая сержанта, и всегда добивался того, что рядом с фамилией Гусеницина в приказе стояла и фамилия Захарова.

Лейтенанта Гусеницина Григорьев не любил. Во всем: в лице Гусеницина, в его голосе, в походке, в манере подойти к начальству — проступало что-то хитроватое,

неискреннее. Не любили лейтенанта и его подчиненные — постовые милиционеры. До перехода в оперативную группу, когда он был еще командиром взвода службы, Гусеницин в обращении с подчиненными слыл непреклонным, а порой до жестокости упрямым.

Полковнику же Колунову это казалось образцом твердости и дисциплинированности командира.



Если вы в сильный мороз глубокой ночью, когда не работает никакой транспорт, кроме такси, на оплату которого у вас нет денег, оказались вблизи вокзала и хотите зайти туда, чтобы погреться, а может, и скоротать там остаток ночи, — вас не пустят, если в это время на работе лейтенант Гусеницин. Без билета вход в вокзал инструкция запрещает. Стуча от холода зубами, вы показываете лейтенанту свой паспорт или студенческий билет, объясняете, что задержались у приятеля или на институтском вечере, вызываете к человеческой доброте Гусеницина — все напрасно. Ответ у него будет один:

— Нельзя! Здесь не ночлежка, а вокзал.

Хоть разрыдайся, хоть ложись у дверей вокзала — лейтенант от буквы инструкции не отступит. Бездушный и черствый, он не видел в человеке человека.

А однажды сержант Захаров был свидетелем, как Гусеницин оштрафовал старика за курение в вокзале. Сухой, высокий и бородатый — незаросшими у него оставались только лоб да нос, — он походил на тех благообразных стариков, за которыми охотятся художники. Видя, что у буфета молодые и хорошо одетые парни в шляпах свободно раскуривают, старик достал кисет с самосадом и свернул козью ножку. Но не успел он сделать и двух затяжек, как к нему подошел Гусеницин:

— За курение в общественном месте с вас, гражданин, взыскивается штраф в сумме пяти рублей.

Сколько ни умолял старик, от штрафа его не избавили.

Захаров хотел тогда подойти к Гусеницину, остановить, урезонить, но устав и дисциплина не позволяли подчиненному вмешиваться в дела старшего начальника.

Случаев, когда Гусеницин, играя на неопытности людей, штрафовал за мелочи, было много. О них уже перестали говорить. Не успокаивался лишь один Захаров, несмотря на то, что лейтенант мстил за критику. А мстил он мелко, эгоистично и без стеснения. Он всегда старался уколоть сержанта за его доброту и внимание к людскому горю. «Добряк», «плакальщик», «опекун», — часто слышал Захаров от Гусеницина, но делал вид, что эти клички его нисколько не трогают. Равнодушие сержанта раздражало Гусеницина.

Зато, когда у лейтенанта и сержанта дежурство совпадало, Гусеницин в полную меру вымещал всю свою злобу и неприязнь к «хвилософу» и «критикану», как он часто называл Захарова. Старался придраться к мелочам, делал замечания за пустяки и всегда злился, что к Захарову трудно подкопаться: он был исполнительным и не вступал в пререкания даже в тех случаях, когда явно видел, что Гусеницин злоупотребляет властью.

Случалось, что уборщица вовремя не приходила убирать, тогда сор из дежурной комнаты приходилось выметать не кому-нибудь, а Захарову. Если в комнате было душно и требовалось проветрить помещение, лейтенант опять заставлял это делать Захарова. Отношения между сержантом и лейтенантом видели и понимали все, кроме полковника Колунова.

Слушая выступления Захарова на собраниях, Колунов потирал свою лысую голову и улыбался. «Так его, так его!.. Кто скажет, что у нас нет критики и самокритики?» — можно было прочесть на лице начальника.



Выступая последним, начальник всегда ставил в пример лейтенанта Гусеницина: у него больше всех задержанных, во время дежурства Гусеницина всегда порядок, книжка штрафных квитанций тает всех быстрее у Гусеницина.

За последний год стычки между Захаровым и Гусенициным участились. Полковник Колунов это видел и, добродушно хихикая, отчего его толстые розовые щеки тряслись, приговаривал:

— Вот петухи! Ну и петухи, один — службист, другой — гуманист. Хоть бы ты их помирил, Иван Никанорович, — обращался он к Григорьеву, — ведь ребята-то оба хорошие, черт подери, а вот не поладят.

Григорьев кивал и отвечал, что примирить их нельзя, да и вряд ли это нужно.

После стычек на собраниях полковник по очереди вызывал к себе Гусеницина и Захарова. Лейтенанту он добрых полчаса читал мораль о том, что к людям нужно относиться чутко, внимательно, что прежде, чем человека задержать или оштрафовать, следует хорошенько разобраться. Вытянувшись, Гусеницин отвечал неизменно: «Есть», «Учту у дальнейшем», «Больше не повторится»... Свою беседу, однако, Колунов всегда кончал строгим напутствием о том, что высшим и единственным критерием правопорядка являются советские законы, постановления и инструкции. «Наша первейшая обязанность — не допускать нарушений этих постановлений и инструкций, регламентирующих поведение граждан в общественных местах» — была его излюбленная фраза.

Полковник любил говорить сам и не любил слушать других. Увлекаясь, он порой забывал о цели приема сотрудника и превращал деловой разговор в лекцию, где подчиненный был покорной и безропотной аудиторией.

Разговаривая с Захаровым, Колунов очень хвалил сержанта за то, что тот внимателен и чуток к людям, но здесь же упрекал за мягкотелость. «Жалости в нашем деле не должно быть, мы обязаны воспитывать, а не жалеть. А если нужно — жестоко наказывать! Карательная политика нашего государства по отношению к правонарушителям имеет и другую сторону — воспитательную. Воспитание через наказание!..»

С тоской и молча выслушивал сержант эти правильные заученные слова.

Остроносый и узкоплечий, лейтенант Гусеницин принадлежал к типу людей, которых называют вездливыми. Старушки цветочницы боялись его как огня. Он умел подойти к бабке неожиданно, врасплох, когда та получала деньги за только что проданный в неполюженном месте букет. Штрафуя, лейтенант гнал старую от вокзала и предупреждал, чтоб больше и ноги ее здесь не было. Одна старушка из Клязьмы, которая еще не выхлопотала пенсию по старости и жила главным образом на то, что выручала за цветы из собственного сада, прозвала его «супостатом».

— Вот он, супостат, идет! — крестилась бабка, завидев издали лейтенанта, и прятала цветы в корзину.

Старушек, которые отказывались платить штраф на месте, Гусеницин приводил в дежурную комнату милиции и мариновал до тех пор, пока наконец они, выплакав все слезы, не раскошеливались и не откупались потертыми рублями, которые, как правило, они завертывают в белые тряпицы или носовые платки, спрятанные за пазуху.

Все это Захаров видел и глубоко возмущался. Однако изменить что-либо, повлиять на начальника отдела он не мог.

Был случай, когда сержант подал на Гусеницина рапорт, но кончилось все тем, что полковник вызвал к себе обоих и, прочистив с песочком, по-отцовски, поочередно похлопав каждого по плечу, наказал «не грызться».

Когда же Гусеницина в порядке повышения в должности перевели оперативным уполномоченным, полковник Колунов успокоился: теперь антагонистам схватываться не из-за чего.

Первые месяцы Гусеницин с головой ушел в свою новую работу и уже стал забывать о тех неладах, которые случались между ним, когда он был командиром взвода службы, и Захаровым. Но это затишье, однако, продолжалось недолго. Оно нарушилось, когда было заведено дело по ограблению Северцева.

Сложных и запутанных дел Гусеницин сторонился. Случалось как-то так, что обычно ему попадали или спекулянты, которых поймали с поличным, и потому расследование шло как по маслу, или карманные воришки, или перекупщики билетов, или нарушители общественного порядка, в отношении которых вопрос решался административно.

Дело по ограблению Северцева лейтенант принял неохотно, хотя внешне этого не показал — майора Григорьева он побаивался.

Первый допрос Северцева не дал ничего.

Часа три после этого Гусеницин ездил с Северцевым на трамваях. У скверов они сходили, лейтенант спрашивал, не узнает ли он место, но Северцев только пожимал плечами и тихо отвечал:

— Кто его знает, может быть, и здесь. Не помню.

Втайне Гусеницин был даже рад, что все так быстро идет к концу. «Искать наобум место преступления в многомиллионном городе, а найдя, встать перед еще большими трудностями: кто совершил? — значит взвалить на свои плечи чертову ношу», — про себя рассуждал лейтенант и уже обдумывал мотивы для прекращения дела.

При вторичном допросе Северцева присутствовал Захаров. Самодовольно улыбаясь, Гусеницин ликовал: Захаров пришел к нему учиться.

— Что ж, давай подучись. Правда, университетов мы не кончали, но кое-как справляемся...

Захаров промолчал и сел за соседний свободный столик. Вопросы лейтенанта и ответы Северцева он записывал дословно.

Сержанту бросилось в глаза, что в протоколе лейтенант записывал одни отрицательные ответы: «Не знаю», «Не помню», «Не видел»...

Вопросов задано было много. Малейшие детали, которые могли бы пролить хоть слабый свет на раскрытие преступления, и те не упустил из виду Гусеницин.

Расспрашивал Гусеницин об одежде грабителей, об их особых приметах, о ресторане, об официантах, о номере такси, на котором они ехали с вокзала, о номере трамвая, на котором Северцев возвращался после ограбления.

Станным Захарову показалось только одно — почему лейтенант прошел мимо кондукторши трамвая, которая фигурировала в показаниях Северцева? Ему хотелось подсказать это, но, зная, что церемониал допроса исключает постороннее вмешательство, он промолчал.

Зато после допроса, когда Северцев отправился обедать в столовую, где его кормили по бесплатным талонам, сержант подошел к Гусеницину и осторожно напомнил ему про кондукторшу.

— Не суйте нос не в свое дело, — грубо оборвал лейтенант.

А через час, когда Северцев вернулся из столовой, Гусеницина вызвал к себе майор Григорьев.

Мужчина уже в годах и с седыми висками, Григорьев грузно сидел в жестком кресле и разговаривал с кем-то по телефону.

Вышел майор из колонистов двадцатых годов, учился наспех где-то на курсах. До всего в основном доходил на практике, но хватка, с которой он принимался за любое сложное и запутанное уголовное дело, и природная смекалка в известной мере восполняли недостаток юридического образования.

О себе майор говорить не любил. Однажды к нему пришли два корреспондента милицейской многотиражки и просили рассказать, за что он награжден шестью правительственными наградами. От этого вопроса майор почувствовал себя неловко. Ему казалось, что никаких подвигов, о которых хотели услышать корреспонденты, он не совершал. Пожал плечами и отделался шуткой.

Когда же корреспонденты спросили, какой день он считает самым памятным в своей жизни, и приготовились записывать рассказ о какой-нибудь сногшибательной операции по борьбе с бандитизмом, то на это майор ответил не сразу. После некоторого раздумья он сказал, что таким в его жизни был день, когда он стоял в почетном карауле у гроба Феликса Дзержинского.

На этом короткое интервью оборвалось: майор торопился на партийное собрание.

Корреспонденты хотели услышать от него многое: о том, как он провел одну опасную операцию в Ташкенте, о которой писали в свое время газеты, о работе в Ашхабаде... Двадцать пять лет в органах милиции и столько наград — это что-то значило.

Положив телефонную трубку, майор спросил Гусеницина:

— Что нового?

— Ничего, товарищ майор. Рано или поздно, но дело Северцева придется прекращать.

— Не поторопились?

— За полдня объездил все парки и скверы, и все бесполезно. Твердит везде одно и то же: «Кто его знает, может быть, и здесь. Не помню».

Была у Гусеницина одна странность: он не мог смотреть в глаза тому, с кем разговаривал. Эту особенность лейтенанта Григорьев заметил давно, но сейчас она показалась ему признаком не совсем чистой совести. С минуту майор внимательно изучал Гусеницина, который стоял с озабоченным и нахмуренным лицом и, скользя маленькими, глубоко посаженными глазами по окнам кабинета, шмыгал носом, будто он только что затянулся крепкой понюшкой табаку.



Первый раз прочитал Григорьев на этом худощавом и до синевы выбритом лице что-то новое, чему еще не нашел определенного названия, но походило это новое на что-то злое и себялюбивое.

Пуговицы на белом кителе лейтенанта блестели. Форма на нем сидела безукоризненно. Видно было, что лейтенант следил за внешним видом.

— А как же быть с парнем? Ведь он за тысячи километров приехал! Вы об этом подумали?

Такого вопроса лейтенант ожидал заранее и поэтому уже приготовил ответ, избавлявший его от упрека в бездушии по отношению к попавшему в беду

Северцеву.

— Звонил в университет, ответили, что без подлинника аттестата разговора о приеме быть не может.

Вспомнив слова полковника Колунова, сказанные месяц назад, почти в подобном случае, когда майор настаивал помочь потерпевшему устроиться на работу, Гусеницин с нажимом добавил:

— И потом, товарищ, майор, я думаю, что вопросы трудоустройства и устройства на учебу не входят в наши хвункции.

— Да, вы правы, не входят, — ответил майор, барабаня пальцами по столу. Прищурившись, он рассеянно смотрел куда-то вдаль, через стены. Ему вспомнился случай из гражданской войны. Тогда он был еще мальчишкой и прислуживал при полевом госпитале — на побегушках. С тех пор прошло более тридцати лет, но случай этот память хранила вплоть до мелочей.

Начальник госпиталя не принял раненого красноармейца, который почти приполз с передовой. Не принял только потому, что он из другого полка. Выхоленный и румяный, начальник протер стекла золотого пенсне и сочувственно сказал, что в его функции не входит обслуживание раненых из других подразделений. Значения слова «функция» Григорьев тогда не понимал, но запомнил его. А через десять минут после того, как начальник отказался принять раненого красноармейца, эта весть обошла весь полевой госпиталь, который размещался в трех комнатах бежавшего от войны аптекаря. За начальником госпиталя раненые послали его, Григорьева. Не успел начальник сделать и двух шагов от дверей, как с угловой койки в него полетел костыль. Его пустил безногий пулеметчик. За костылем полетела грубая солдатская ругань. Как ошпаренный выскочил начальник из палаты и кинулся в приемный покой, где, уткнувшись носом в колени, в углу на грязном полу сидел раненый. Под ним натекла лужа крови. Начальник был готов изменить свое решение, но оказалось уже поздно: боец умер.

Словно очнувшись от набежавших воспоминаний, майор вздохнул, встал и грустно посмотрел на Гусеницина;

— Хорошо, оставьте дело, я посмотрю.

Козырнув, Гусеницин вышел.

Недовольный, лейтенант спустился в дежурную комнату, где в ожидании инструктажа находилась очередная смена постовых милиционеров. Накурено было так, что хоть вешай топор. У окна на лавке сидел Северцев. Его голова была забинтована, на белке правого глаза ярко алел кровоподтек. Захаров, который в этот день дежурил по отделению, подбадривал его:

— Ничего, бывают в жизни вещи и похлестче, и то все устраивается.

Эту фразу вошедший Гусеницин слышал и, криво усмехнувшись, съязвил:

— Ты, Захаров, не просто хвилософ, но и утешитель. Это не с тебя, случайно, Максим Горький своего Луку списывал в произведении «На дне»?

В слове «философ» Гусеницин допускал сразу две сшибки: вместо «ф» он произносил «хв» и делал ударение на последнем слоге.

Над его остротой захохотал только сержант Щеглов. Он всего каких-нибудь полгода прибыл из деревни и в органах милиции был еще новичком. Пьесу «На дне» Щеглов никогда не читал и не видел на сцене, но само имя Лука ему показалось уж очень смешным, чем-то вроде Гапки, Лушки, Парашки...

— Ох, смехотура! — захлебывался он.

— Над чем ты, райская птичка, ржешь? — словно перечеркнув взглядом маленького Щеглова, спросил старшина Карпенко.

— А тебе какое дело? Чудно — вот и смеюсь! Лука! Ха-ха-ха... — Щеглов так раскрыл рот, что можно было сосчитать все его редкие белые зубы. На рыжих ресницах от смеха выступили слезы.

Гусеницин поощрительно посмотрел на Щеглова и, подмигнув, довольно улыбнулся.

Не любил Гусеницин Захарова еще и за то, что тот второй год бессленно избирался членом партийного бюро, а Гусеницина лишь только раз выдвинули, да и то прокатили при тайном голосовании. Сержант Захаров закончил десять классов, а Гусеницин только восемь. С непонятными вопросами милиционеры обращались не к лейтенанту Гусеницину, а к сержанту Захарову. А когда Гусеницин узнал, что Захаров учится на заочном отделении юридического факультета, то как можно чаще стал намекать ему, что он всего-навсего только сержант, а Гусеницин износил уже не одну дюжину офицерских погон.

Тайно презирал Гусеницин Захарова также за то, что тот был любимцем майора Григорьева, который брал сержанта на такие сложные и рискованные операции, в которых лейтенанту бывать не приходилось. Туда, где нужна была смелость, Гусеницина майор не посылал: боялся, что может испортить дело.

Эту антипатию лейтенанта Захаров чувствовал и отвечал тем же, но отвечал тонко, порой с желчной издевкой, к которой формально нельзя придраться.

Когда Щеглов вдоволь нахохотался над остротой лейтенанта, Захаров нашел случай ответить:

— А вы что, товарищ лейтенант, третий год подряд в своей вечерней школе все Горького проходите, коль про Луку заговорили?

Улыбка пробежала по лицам присутствующих. Все в отделении знали, что Гусеницин, просидев подряд два года в девятом классе, не одолел, однако, русского письменного и бросил вечернюю школу. Нынче начальство вновь обязало его повышать свою грамотность, и он по-прежнему по вечерам ходил в тот же девятый класс. Кроме русского письменного, ему не давалась и алгебра, по которой он выше двойки почти не получал.

Не в состоянии парировать слова Захарова, Гусеницин посмотрел на пол и криво усмехнулся:

— Уж больно ты грамотей стал, Захаров. Вот чем сидеть без дела, взял бы веничек да подмел пол. Курить-то мастер, а вот труд уборщицы не уважаешь.

Захаров взял веник и стал заметать сор. Хотя подметал он аккуратно, лейтенант скорчил такую мину, будто он задыхается в облаке пыли:

— Взбрызнуть нужно. Леня-то вперед тебя родилась. Небось дома у себя такую пылицу не подымеешь.

Не прекословя, Захаров снял с бачка большую алюминиевую кружку, налил в нее воды и стал через пальцы разбрызгивать по полу.

Отдав распоряжение дежурной смене, Гусеницин направился к выходу. У двери он вдруг остановился и, не глядя на Северцева, сказал:

— С железнодорожным билетом, молодой человек, мы вам поможем. Только это будет не раньше чем завтра.

Северцев встал, его распухшие губы дрогнули, он хотел что-то спросить, но лейтенант не стал его слушать. Захарову было жаль этого парня с забинтованным

лицом, с печальными синими глазами. Он подсел ближе к Северцеву, и они разговорились.

Слушая тихий голос Северцева, в котором звучали нотки сознания собственной вины, Захаров почувствовал расположение к этому деревенскому парню, который по простоте душевной доверился первым встречным. Больше всего Северцев переживал за комсомольский билет и аттестат с золотой медалью. В беседе выяснилось, что отца у Алексея нет, он погиб на фронте, а мать больна.

Как и в какое мгновение появилось у Захарова решение во что бы то ни стало помочь человеку, попавшему в беду, он не знал, но что такое решение возникло и как-то сразу захватило его целиком, он знал твердо. Нужно помочь. Помочь во что бы то ни стало!

Захаров встал и нервно заходил из угла в угол: так легче и яснее думалось. «Немедленно телеграфировать в Хворостянский отдел народного образования и просить подтверждения в получении Северцевым аттестата с золотой медалью. Сейчас же, срочно! Предупредить, чтобы об этом запросе не ставили в известность больную мать. Получив подтверждение, немедленно с актом об ограблении идти в университет и добиваться, непременно добиваться!.. Главное, не падать духом, доказывать, требовать, стучать! Стучать в самые толстые двери. Только так, только настойчивость побеждает!»

Захаров остановился и в упор посмотрел на Северцева. В этом взгляде и во всем выражении мужественного лица сержанта были вызов и вера. Его душевное состояние передалось Северцеву. Внезапно тот почувствовал, что сержант излучает добрые, сильные чувства брата, на которого можно смело положиться.

— Идея! — воскликнул Захаров. — И как я не додумался раньше?! Нужно немедленно связаться с Хворостянским роно. А там посмотрим. Не пробьем снизу — будем наступать сверху!

Сказал и почти выбежал из дежурной комнаты. По стуку кованых каблучков можно было понять, что сержант направился на второй этаж, очевидно, к майору Григорьеву. Но упоминание о Хворостянском роно вызвало у Северцева совсем иную реакцию, чем у Захарова. «Неужели они не верят, что у меня был аттестат с золотой медалью?» — с горечью подумал он.

Вскоре Захаров вернулся. Он был чем-то недоволен.

— Майор сейчас занят. Но ничего, подождем. А впрочем... Впрочем, запрос может сделать и лейтенант!

Гусеница Захаров нашел на перроне. Медленно и по-хозяйски прохаживаясь вдоль пассажирского поезда, он наблюдал за посадкой. Вторую неделю он охотился за одним крупным спекулянтом, который, по его расчетам, должен выехать из Москвы в Сибирь.

— Товарищ лейтенант, а что, если нам телеграфировать в Хворостянский роно и просить, чтобы они срочно выслали подтверждение о том, что Северцеву был выдан аттестат с золотой медалью?

— Зачем оно вам? — процедил сквозь зубы, не глядя на Захарова, Гусеницин.

— Оно нужно не мне, а Северцеву. Получив такое подтверждение, мы можем обратиться в университет с ходатайством...

— Ясно, можете не продолжать. И когда только вы, товарищ сержант, прекратите разводиться мне свою хвилантропию?

Слово «филантропия» лейтенант однажды слышал от полковника Колунова и считал его за обидное. Как и другие обидные слова, он приберегал его для Захарова. Не учел он только одного, что в этом слове есть проклятое «ф», перед

которым он был бессилён. Выпустив это «ругательное» словечко, лейтенант сразу же пожалел: давно уже на многих скамейках дежурной комнаты и на корках служебных книг кто-то упорно выводил мелом две буквы: «хв».

Оскорбительный тон лейтенанта взвинтил Захарова.

— Какая здесь филантропия? — раздраженно проговорил он, — Северцеву мы должны помочь устроиться на учебу.

— Я сказал, прекратите, — значит, прекратите! — Гусеницин резанул сухой ладонью воздух. — Что вам здесь — милиция или богадельня?!

— При Чем тут богадельня, товарищ лейтенант? Я просто хочу помочь Северцеву поступить в вуз, и не в служебные часы, а за счет личного времени. Я прошу вас сделать запрос в отдел народного образования, где Северцеву был выдан аттестат. Все остальное беру на себя.

— Ни в какие отделы никакие запросы я посылать не буду. Ясно? Все выслушиваетесь? Хотите угодить Григорьеву?!

Последние слова лейтенант произнес на ходу. Эта его нарочито барская манера равнодушия и пренебрежительного безразличия Захарову была знакома и раньше. Но Сейчас она особенно задела его.

— Товарищ лейтенант, я прошу вас по-человечески выслушать меня, — твердо сказал Захаров, поравнявшись с Гусенициным.

— Делайте свое дело и не суйте нос туда, куда вас не просят. Почему вы оставили дежурное помещение?

Гусеницин встал по стойке «смирно» и, остановив взгляд на пуговице гимнастерки сержанта, не приказал, а, скорее, прокричал:

— Марш сейчас же на свое место! И чтобы впредь у меня этого не было!

В спокойном состоянии лейтенант старался следить за своей речью, но когда выходил из себя, то весь его и без того скудный лексикон куда-то точно проваливался и, кроме самых ходовых фраз, вроде: «Ишь вы, пораспушались!», «Вам что здесь — пост или богадельня?!» — на язык ничего не приходило. Пятнадцать лет милицейской службы в столице его чуть-чуть пообтесали, но до шлифовки дело так и не дошло.

— Есть идти на свое место! — козырнул сержант и четко, по-военному повернулся.

Войдя в дежурную комнату, Захаров застал Северцева сидящим на широкой лавке. Голова его была низко опущена.

— Вы на какой факультет хотите поступать? — спросил он.

— На юридический, — ответил Алексей.

Поднимаясь к майору Григорьеву, Захаров ясно представлял себе холодное лицо декана юридического факультета профессора Сахарова.

Молодой белобрысый сержант Зайчик, дежуривший в приемной начальника и его заместителя по уголовному розыску, бойко доложил о Захарове майору Григорьеву. Возвратясь из кабинета, он молча замер на месте и сделал жест, который делают регулировщики, давая знак, что путь свободен.

Кабинет Григорьева просторный, с высоким потолком. Окна были распахнуты настежь, отчего весь привокзальный галдеж, бесконечные трамвайные звонки и гудки автомашин, врываясь в комнату, наполняли ее особым гулом. К этому гулу майор привык и даже считал, что без него живет наполовину.

— Садись, старина. — Майор указал сержанту на стул, а сам встал. — Чем порадуешь?

Захаров продолжал стоять. Сидеть, когда начальство стоит, не полагается — это правило за годы службы в армии и в милиции вошло у сержанта в привычку.

— Когда же у меня начнется практика, товарищ майор? Время идет.

— Да, время идет. Идет... — думая о чем-то своем, проговорил майор и, подойдя к Захарову, положил ему на плечо тяжелую ладонь. — Чем же думает заняться твоя буйная головушка?

Вопрос для Захарова прозвучал неожиданно. Но решение было уже принято.

— Для начала, думаю, делом Северцева.

Майор удивленно вскинул свою крупную широколобую голову. Такая прыть сержанта его удивила. Потом удивление на его лице сменилось сочувственной улыбкой, которая означала: «Мальчик, а по плечу ли рубишь дерево? Не надорвешься ли?..» Наконец лицо майора стало строгим, и он продолжал уже сухо и сдержанно:

— Вы знаете, что лейтенант Гусеницин считает дело Северцева безнадежным? Пострадавший не может указать даже места, где его ограбили. Вы об этом подумали? — Майор пристально посмотрел на Захарова: — Беретесь за это из чувства антагонизма к Гусеницину? Хотите доказать, что Гусеницин поторопился, что Гусеницин, следовательно со стажем, спасовал перед сложным делом? А вот я, мол, всего-навсего студент-практикант, пришел, увидел — победил!.. Так, что ли?

— Нет, не так, товарищ майор. Мне кажется, что лейтенант все-таки поспешил с выводами. Еще не все сделано, чтобы прийти к твердому решению о безнадежности дела.

— Что же предлагаете в таком случае вы?

Глядя прямо в глаза майору, Захаров кратко, но обстоятельно, как рапорт, стал докладывать свой план расследования.

Майор сел и, закрыв глаза широкой ладонью — так он делал всегда, когда о чем-нибудь напряженно думал, — слушал. Наконец он опустил ладонь:

— Все это верно, но трудно. Очень трудно. Кроме официального права на розыск кондукторши, нужны еще большой такт, осторожность, гибкость, а может быть... — здесь майор несколько секунд помолчал, — а может быть, еще и то, что называют талантом располагать к себе людей. Сама, добровольно, кондукторша может и не вспомнить, что сутки назад она везла гражданина с разбитым лицом. Не всякому, скажем прямо, захочется в качестве свидетеля таскаться по милициям, прокуратурам и судам. На поиски кондукторши нужно много времени и воловье терпение.

Майор вынул папиросу, не торопясь размял ее, прикурил и, сделав глубокую затяжку, пустил красивое кольцо дыма.

— Что ж, сержант, давай приступай. Сталь закаляется в огне, опыт, навыки растут в трудностях.

Майор любил иногда в разговоре вставить какой-нибудь крылатый афоризм или пословицу. Была у него слабость, о которой знала лишь одна жена: с молодых лет он выписывал из прочитанных книг в особую толстую тетрадь пословицы, поговорки, изречения.

Когда Захаров направился к выходу, майор задержал его почти в дверях и предупредил:



— Только одно условие — действуйте не для того, чтобы доказать Гусеницину, а для пользы дела. Помните свой долг.

Сержант молча кивнул и вышел.

Как только за ним закрылась дверь, Григорьев позвонил Гусеницину и приказал передать дело Северцева студенту-практиканту юридического факультета университета. Фамилию студента майор не назвал умышленно — он любил сюрпризы даже в работе, если они не мешали делу. На вопрос Гусеницина: «Когда практикант будет принимать дело?» — ответил: «Через тридцать секунд».

Такой ответ озадачил Гусеницина. А через минуту он читал направление, которое Захаров молча положил перед лейтенантом.

Все случившееся он понял лишь после того, как передал дело Северцева и направился домой.

Проходя мимо старушек с цветами, Гусеницин даже не повернул головы в их сторону. Это великодушные особенно удивило бойкую цветочницу из Клязьмы, прозвавшую его «супостатом».

Вздыхнув, она сказала соседке:

— Человеком стал.

Приняв дело Северцева и сдав дежурство, Захаров возвращался домой. По дороге он позвонил Наташе и напомнил ей, что через час будет у нее и они поедут купаться на Голубые пруды.

Был полдень. От горячих каменных стен и раскаленного асфальта в воздухе дрожали волны марева. Над головами прохожих лениво плыли легкие хлопья тополиного пуха, принесенного ветерком со скверика.

На душе у Захарова было легко.

12

Отец Наташи, Сергей Константинович Лугов, генерал-майор танковых войск, погиб в боях под Орлом, когда ей было пятнадцать лет. О героическом подвиге Лугова писали в «Правде». А спустя две недели во всех газетах был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о посмертном присвоении ему звания Героя Советского Союза.

Известие о гибели Сергея Константиновича сильно потрясло Елену Прохоровну, его жену, и Наташу. Наташа сразу стала как-то взрослей и замкнутой. Плакала она редко, но подолгу и тяжело. Случалось даже, что, обессилев от рыданий, она часами лежала на диване, тревожась, что о ее слезах узнает мать.

Елена Прохоровна плакала также тайком от дочери, когда та была в школе, но по ее опухшим векам Наташа обо всем догадывалась. Так дочь и мать скрывали друг от друга свое большое горе. Семье погибшего была назначена персональная пенсия, на которую Елена Прохоровна и Наташа могли жить вполне обеспеченно.

После смерти мужа Елена Прохоровна все чаще стала говорить Наташе, что товарищи во дворе, с которыми она с детства дружила, ей неровня, что теперь, без отца, при выборе друзей она должна быть особенно разборчивой.

«Дочь погибшего героя-генерала достойна солидной партии», — тайком, про себя решила вдова Лугова и чаще, чем прежде, стала навещать с Наташей к портнихе.

Когда Наташа заканчивала десятый класс, для выпускного вечера ей сшили такое платье, в котором ей было стыдно появиться среди девочек-одноклассниц. Белое, длинное, с тонкой кружевной отделкой и слегка декольтированное платье

преобразило Наташу. В нем она выглядела взрослей, выше, стройней. Не один только Виктор Ленчик не сводил с нее глаз. После игры в «почту» маленькая театральная сумочка Луговой оказалась полна записок.

Елена Прохоровна никогда в жизни нигде не работала. Прямо со школьной скамьи в двадцать шестом году она вышла замуж за командира батальона Лугова и с тех пор была его преданной женой. Где только не побывала она за многолетнюю военную службу мужа! В Москву Луговы переехали, когда Сергей Константинович дослужился до командира дивизии и был направлен учиться в Академию Генерального штаба Красной Армии. Это произошло за три года до начала войны с фашистской Германией.

Истосковавшись по оседлой жизни и уюту, Елена Прохоровна почти все деньги тратила на красивую мебель, ковры, картины. Все она делала с душой и не без вкуса. А начав благоустраиваться, вошла в такой азарт, что Сергей Константинович даже диву давался ее энергии и способностям, оставаясь при этом равнодушным к тому, что появлялось в квартире.

Наиболее чувствительным, сложным и трогательным в жизни Сергея Константиновича была Наташа. Так нежно любить дочь, как любил он ее, мог далеко не всякий отец.

Случались иногда такие неприятности по службе, от которых можно потерять сон и аппетит. Но стоило генералу лишь переступить порог квартиры, увидеть улыбающееся лицо Наташи, стремительно летящей к нему навстречу, отчего две светленькие косички на ее голове трепыхались, словно крылья воробушка, на душе становилось мягче, тише, тревоги куда-то уходили, таяли. И через пять минут он уже барахтался с дочкой на ковре, забывал суровый взгляд сердитого командующего, придирчивого поверяющего...

Особенно остро чувствовала Наташа утрату отца, когда ее жалели и напоминали о сиротстве. В подобные минуты ей всегда хотелось плакать. Взять хотя бы случай при поступлении в университет. Вопросы в билете, который она вытащила на экзамене по литературе, были ей настолько знакомы, что в отличном ответе Наташа не сомневалась. Лермонтов и Горький — самые любимые ее писатели. Она боялась только, как бы не увлечься несущественными мелочами и не пропустить главного.

Записывая план ответа, Наташа вдруг услышала свою фамилию. Она насторожилась. Экзаменаторы говорили о ней. «Дочь погибшего генерала-героя, сирота... Ей непременно нужно учиться...»

Эта жалость ее расстроила. Отвечала она сбивчиво и бессистемно. А заметив, какими добрыми и ласковыми глазами смотрела на нее старенькая преподавательница, принимающая экзамен, и совсем чуть было не остановилась. Наташе поставили тогда «отлично», хотя она знала, что в школе за такой ответ ни за что не вывели бы больше четверки.

Без особого восторга Наташа принесла матери эту первую отличную оценку. А когда Елена Прохоровна ушла на рынок за продуктами, Наташа, вспомнив, как ее жалели экзаменаторы, разревелась и долго не могла успокоиться.

Еще в девятом классе Наташа влюбилась. Влюбилась самым настоящим образом. А началось все с того, что ее лучшая подруга Лена Сивцова часто приходила к ней домой и под большим секретом, под честное комсомольское, открывала свою душу. Лена рассказывала, как сильно любит она Николая Захарова, десятиклассника соседней школы, старалась убедить Наташу, что он не такой, как все, а особенный. Она очень переживала, когда узнала, что Николай в одно из воскресений ездил за город на велосипедах с Лилей Крыловой. После этой поездки Лена тайно возненавидела Лилю.

Исповеди Лены становились все откровенней. Она была твердо убеждена, что Николай лучше всех десятиклассников играет в волейбол, красивее всех катается на фигурных коньках, наберет больше всех очков в литературной викторине на общешкольном вечере. Николай всех умней, всех стройней и всех красивей...

Так продолжалось до весны. Весной отца Лены перевели из Москвы в Иркутск. Вместе с семьей переехала и Лена.

Расставшись с подругой, Наташа почувствовала одиночество и стала хуже учиться. Гуляя после уроков по бульвару, она искала встречи с Николаем. И чем чаще она его видела, тем больше о нем думала, не отдавая еще себе отчета в том, что в ней все сильнее и настойчивей просыпалось смутное желание быть с ним рядом. После каждой такой встречи Николай все более казался ей, как раньше Лене, каким-то особенным, не таким, как все.

Перед самыми экзаменами Наташа целую неделю не встречала Николая. Все эти дни она ходила как потерянная. Всюду, где бы она ни была, она ждала, что вот-вот вдруг встретит Николая. Но он не появлялся.

Потом Наташа начала писать стихи. Никогда до этого она их не писала, а здесь словно какая-то тайная сила толкнула ее к тому, чтобы хоть в стихах рассказать о захлестнувшем ее чувстве. Когда дело дошло до стихов, Наташа поняла, что влюблена. Узнала она, что такое бессонные ночи и короткий беспокойный сон, где хозяйничает тот, кто и наяву не дает покоя.

Однако любила Наташа не как Лена, а скрытно, тайно, пряча свои думы и чувства не только от других, но и от себя.

Чем дороже становился для нее Николай, тем постылей делался Ленчик. Он не давал ей проходу, предлагал самые соблазнительные пластинки, достал откуда-то почти всего Вертинского и неаполитанские песни в исполнении Александровича, но Наташа ничего от него не брала. Бывали дни, когда Ленчик удивлял своих товарищей дорогим альбомом почтовых марок или показывал девочкам оригинальные безделушки, от которых те восторженно визжали. То он неудержимо летал по школе, то ходил как туча мрачный только потому, что вычитал из какого-то бульварного романа, что «мрачное молчание» есть признак силы мужского характера и оно нравится женщинам.

Хотя многие девочки из класса тайно вздыхали о Ленчике, но ему никак не удавалось завоевать внимание Луговой.

В июне, когда у Наташи кончились экзамены, она получила письмо от Лены. В большом конверте помимо письма подруге на трех листах, исписанных ровным ученическим почерком, лежал еще маленький конвертик, адресованный Николаю.

Три дня Наташа ходила сутра до вечера с этим письмом, но всякий раз, как только встречала Николая, у нее не хватало смелости подойти к нему. Но на четвертый день, выйдя под вечер на бульвар, она совсем случайно увидела Николая. Он шел навстречу. Казалось, не кровь прилила к лицу, а горячая волна накатилась на нее, понесла, закружила...

С замирающим сердцем Наташа остановилась и поздоровалась.

Все остальное было как в мареве.



Позже, примерно через месяц, Наташа пыталась припомнить начало их знакомства, но это удавалось с трудом. Часа три они бродили по бульвару и говорили о поэзии, о спорте, о Лене, об учителях. Потом Николаю очень не хотелось расставаться, и когда Наташа подала ему руку и пожелала хорошо сдать последние два экзамена, он смущенно спросил:

— Когда мы встретимся, Наташа?

— Вы хотите через меня послать письмо Леночке?

Николай отрицательно покачал головой, но не сказал ничего.

Если в июле Наташа была самой счастливой на свете — не проходило дня, чтоб они не встречались, — то в начале августа она чувствовала себя самой несчастной: Николая призвали в армию. Шел второй месяц войны.

Никогда еще Наташа не испытывала такой растерянности и волнения, как на перроне Ленинградского вокзала, куда она вместе с другими пришла провожать Николая. Были здесь и мать и друзья призывника.

Наташа видела, а скорее, чувствовала, что всей душой он тянется к ней. Взгляд его был рассеян, на вопросы он отвечал невпопад и все время нервно поглядывал на часы.

Мать понимала сына лучше других и не обижалась.

Наступала минута прощания. Наташа за короткое время успела несколько раз покраснеть и побледнеть.

Последние слова, которые Николай бросил с подножки набирающего скорость поезда, были обращены точно в пространство:

— Береги себя... Я буду писать...

Провожающие сочли, что сказано это было Наташе. Только мать думала по-другому.

— Береги себя... — глотая подступившие слезы, повторяла мать вслух и шла все быстрее и быстрее за поездом.

Что-то еще кричал Николай с подножки, но слова тонули в грохоте подошедшего слева воинского эшелона.

Спустя две недели Наташа получила первую весточку.

Пока Николай находился в запасном артиллерийском полку, письма от него приходили редко. Через три месяца, когда его направили на передовую в одну из дивизий первого Белорусского фронта, он стал писать каждую неделю.

Его письма Наташа заучивала наизусть. Закрыв глаза, она ясно представляла себе даже отдельные слова, переносы, знаки препинания. А что бы она отдала за то, чтоб прочитать строчки, густо зачеркнутые чернилами!

О себе Николай почти ничего не сообщал. Наташа больше знала о его друзьях по взводу, чем о нем самом. Но и это не мешало ей строить в своем воображении картины таких сражений, где самая выдающаяся роль отводилась Николаю.

Наташа знала, что он смелый, отважный, и если еще не герой, то только потому, что ему не представилось подходящего случая.

Так месяц за месяцем проходили годы.

Кончилась война, а Николай все еще оставался в армии. Наташа была уже на третьем курсе филологического факультета университета. Виктор Ленчик — тоже на третьем, но на юридическом. Все эти годы он ходил за ней по пятам, как ее тень. Первое время Наташа пыталась запретить ему ухаживать за собой, но, убедившись в бесполезности этого, махнула рукой.

В 1947 году Николай вернулся домой. И в этот же день без всяких предварительных телефонных звонков явился к Луговым.

Наташа ахнула. Засуетилась и Елена Прохоровна. Широкоплечий, возмужавший, с двумя рядами орденских планок на военной гимнастерке, Николай стоял перед Наташей и растерянно молчал. Такой красивой он ее еще не видел.

Выручила мать.

— О! Да вы совсем стали мужчиной. Вас и не узнаешь! — невольно любовалась она Николаем и вела его за руку в комнату.

Обед был праздничный.

На деньги из своей стипендии Наташа купила бутылку кагора. После двух рюмок она так раскраснелась и стала так дурачиться, что матери приходилось ее сдерживать.

Много говорили, вспоминали общих друзей, танцевали, пели. Вечер прошел весело.

Но в этот же вечер самые светлые и чистые чувства и думы Наташи Елена Прохоровна омрачила.

— Он тебе не пара! — закуривая папиросу, сказала она дочери, когда та вернулась, проводив Николая.

— Почему? — одновременно и испугалась и удивилась Наташа.

— По многим причинам. Думаю, что ты и сама скоро в этом разберешься. Пора уже быть взрослой.

Елена Прохоровна ушла в свою комнату, оставив Наташу в недоумении.

С этого времени между матерью и дочерью так и осталась недоговоренность по поводу дружбы Наташи с Николаем. Николай чувствовал холодок со стороны Елены Прохоровны, доходящий порой до неприязни. В декабре, когда райком партии предложил ему пойти работать в милицию — проводилось усиление милицейских органов за счет демобилизованных фронтовиков, — он зашел к Луговым посоветоваться. Елена Прохоровна сделала большие глаза:

— Как? В милицию?! И кем же?

— Милиционером.

— И что же вы думаете делать?

— Думаю дать согласие.

— Дать согласие? — Лицо Елены Прохоровны стало таким кислым, словно она проглотила лимон. — Милиционер? Очень, очень оригинально.

Присутствовавшая при разговоре Наташа молчала, но вечером, когда они возвращались из кино, она спросила:

— Коля, ты в самом деле решил стать милиционером?

— А что, разве это зазорно?

Наташа пожала плечами. От Николая она всегда ждала чего-то особенного, большого, такого, что не всякому по плечу. А тут вдруг — милиционер.

— А ты не думал над тем, что это может помешать... — Наташа замялась.

Но Николай ее понял.

— Помешать? Нет, это не может помешать. Я дал согласие и не жалею об этом.

— Коля, может быть, удастся найти другую работу? А потом, почему ты не хочешь

поступить в институт на очное отделение?

Николай промолчал. Как ей сказать, что у него на иждивении мать и что двое они не проживут на студенческую стипендию?

— Если хочешь, я поговорю с папиными друзьями. Они помогут устроиться.

— Не нужно ни с кем говорить, — мягко ответил Николай. — И вообще, не плачь надо мной, как над покойником. Я еще жив.

В этот вечер они расстались сухо и холодно. Наташа была недовольна тем, что Николай с ней не считается. Он же не мог примириться с отношением Наташи к его будущей профессии, с ее чувством жалости и стыда за него.

Проводив Наташу, по дороге домой Николай вдруг представил себя в милицейской форме, на посту. Мимо идет Елена Прохоровна. Она отвернулась, делая вид, что не замечает. Ей неудобно даже поздороваться. А Наташа? Подойдет или не подойдет? Может быть, и ей будет стыдно признать в милиционере старого друга?

Эта внезапно возникшая картина развеселила Николая.

«Пойду!»

Через неделю он оформился в милиции на одном из московских вокзалов. Вокзал этот был большой, шумный, как, впрочем, и все вокзалы столицы, с той лишь разницей, что правонарушений на нем статистикой было установлено больше, чем на других.

«Ну что ж, — рассуждал Николай, — скучно не будет. Не на пенсию же иду». Ему присвоили сержантское звание.

Милицейская должность Николая окончательно испортила отношение к нему Елены Прохоровны. Она считала зазорным пригласить его к себе, когда у них были гости. Николай это понимал. При встречах Наташа стала грустней и задумчивей. Иногда, перебирая его пальцы в своих руках, она подолгу молчала. Молчал в такие минуты и Николай.

Больно было Наташе, что о ее любимом и Ленчик, и мать говорят так желчно и зло. Сказать об этом Николаю она не могла, так как знала, что этим она его только огорчит.

...Прошел год работы Николая в милиции.

Наташа заканчивала университет.

Сегодня она только что пришла с государственного экзамена и чувствовала себя очень усталой. Утром она звонила Николаю и просила заехать к ней к двенадцати дня. Сейчас уже четверть первого, а его еще нет.

Свернувшись калачиком на тахте, Наташа старалась заснуть, но сон не приходил. Она была под впечатлением экзамена. В памяти назойливо возникали даты, имена литературных героев, детали из биографий писателей... Наташа пыталась освободиться от этого наплыва имен и названий, но усилия были тщетны. Так продолжалось до тех пор, пока длинный звонок в коридоре не разорвал эту цепь непрошенных впечатлений.

Наташа быстро встала и открыла дверь. На площадке стоял Ленчик. В руках у него был большой букет роз.

— Ну как? — прямо с порога спросил он.

— Пятерка.

— Поздравляю, Наташенька, поздравляю! — Ленчик изысканно поклонился и

передал ей букет.

— Спасибо. А ты как?

— У меня недоразумение... — В голосе Ленчика звучала обида. — Четверка. А ты знаешь, кому я вчера сдавал? Киселеву. Ведь это — вот... — И Ленчик постучал пальцем вначале себе по лбу, а потом по столу. — Сухарь и недалекий дядя. А впрочем, все это чепуха! Хочешь, я тебе расскажу презанятную историю? Так вот, слушай. Шел я с девушками из университета. Ну, понятно, какой гвалт поднимает ваш брат, когда вас больше двух. Сплошная ярмарка. У входа в вокзал я имел неосторожность бросить окурок. И что же ты думаешь? Откуда ни возьмись милиционер. Привязался: «Поднимите!» Я вначале думал, что он шутит, ну и, понятно, не обращаю внимания. Он свистеть. Задержал. Меня это так возмутило. Я его так отчитал. Так отчитал, что самому даже стало жалко бедняжку.

— Не нахожу ничего забавного. И зачем ты все это рассказываешь? — возмутилась Наташа.

— Наташенька, ты не сердись. Может, я задел твои большие струны? Но от этого не уйдешь — смешное всегда остается смешным. И потом, разве это в какой-то степени относится к этому... как его?

— Не к этому, а к сержанту милиции. К простому милиционеру. И уж коль ты меня вынудил, то знай: я люблю его... Да, люблю! И он это знает. Знаешь об этом и ты. Знают об этом и другие, — как пощечины, посылая слова Наташа. — А вот тебя я никогда бы не полюбила. Не полюбила бы и в том случае, если б ты стал знаменитым, о чем, кстати, ты мечтаешь.

Опустив глаза, Виктор молча сидел в кресле и растирал пальцами лепестки розы, которую он вытащил из петлицы пиджака. Много дерзостей он слышал от Наташи, но такой горькой отповеди не ожидал.

— Я люблю его со школьных лет. Если бы ты знал, как я ждала его писем с фронта! А вот теперь, когда он милиционер и когда ты и другие вроде тебя иронизируют над ним, я люблю его еще больше. Ты понимаешь — больше!

Наташа хотела сказать что-то еще, но остановилась. По-мальчишески лихо закусив нижнюю губу, она щелкнула пальцами:

— Виктор, ведь ты ни разу не видел его. Хочешь с ним познакомиться? Скажи, хочешь? Я уверена, что он тебе понравится. В нем ты найдешь то, чего не хватает нам. Воли!

— Пожалуйста... — с напускным равнодушием ответил Ленчик. — Но когда и где?

— Сегодня... Сейчас... Здесь! — Наташа посмотрела на часы. — Он должен быть с минуты на минуту.

— Наташенька, но я, право, не знаю, о чем с ним говорить. О литературе? Ты обвинишь меня в непорядочности, скажешь, что я нарочно играю на контрастах. Об искусстве? Еще сложнее. И это, пожалуй, будет для него terra incognita. В чем он больше подготовлен, чтобы не поставить его в неловкое положение?

Наташа звонко рассмеялась. Она вдруг вспомнила случай, как несколько месяцев назад ей пришлось краснеть, когда в споре с Николаем о Бальзаке она уличила себя в таком невежестве, о котором раньше и не подозревала...

— Ничего. Можешь говорить о чем угодно.

— Хорошо, — согласился Ленчик, — я буду вести себя так, как хочешь ты.

Прозвенел звонок. Наташа пошла открывать дверь. «Он», — решил Ленчик, но по доносившимся возгласам и поцелуям понял, что пришла Наташина подруга, Тоня

Румянцева.

— Виктор, посиди один, а мы посплетничаем, — донесся из коридора голос Тони.

Ленчику очень хотелось предстать перед другом Наташи солидно, произвести на него впечатление и раздавить эрудицией. Ведь это соперник: она сама призналась, что любит его.

Он воровато достал из кармана маленькое зеркальце, которое положил в книгу так, чтобы никто из неожиданно вошедших не застал его за этим не совсем мужским делом. Взбил и без того высокий кок, который блестел от бриолина, поправил узелок ярко-красного галстука и, гордо вскинув голову, застыл в позе. Ленчик был доволен собой. Важно развалившись в кресле, он стал рассматривать альбом с репродукциями картин итальянских художников.

«На этой штуке я его наверняка подловлю, — злорадствовал Ленчик. — Искусство — это не Перовский рынок, где среди воришек и спекулянтов он чувствует себя королем. Ты еще посмотришь, Наташенька, игру контрастов».

Прихода Захарова Ленчик не услышал. А когда все трое: Наташа, Тоня и Николай — появились в гостиной, он сделал вид, что очень увлекся картиной, и поднял глаза только тогда, когда Наташа предложила познакомиться.

В первую секунду Ленчик удивился. Подняв брови, он силился что-то вспомнить. И в тот момент, когда Николай, улыбаясь, протянул ему руку, Ленчик на какое-то мгновение перестал владеть собой. Болезненно съжившись, он попятился назад. Удивление на его лице сменилось испугом.

— Виктор... Ленчик, — с дрожью в голосе произнес он и положил свою тонкую вялую кисть в широкую ладонь Николая.

— Захаров, — отрекомендовался Николай, делая вид, что не заметил беспокойства Ленчика.

Наташа и Тоня переглянулись.

— Виктор, что с тобой? — удивилась Наташа.

— Я что-то плохо себя почувствовал... Вы меня извините, но я покину вас, — вяло улыбаясь, проговорил он и обратился к Николаю: — Я надеюсь, что мой уход не испортит ваше веселье... — Поклонившись всем сразу, Ленчик вышел.

— Вечное позерство! — возмутилась Наташа.

— Ты не права, Наташа, вид у него действительно болезненный. Очевидно, человек слишком переутомился, — возразил Николай.

— Больным лечиться, здоровым отдыхать! Едем! — решительно вмешалась Тоня и, подхватив под руку Николая, со смехом потащила его к выходу.

Закрывая окна, Наташа сквозь листву молодых лип увидела, как Ленчик почти бежал по двору через детскую площадку.

— Виктор! — крикнула она вдогонку. — Надумаешь — приезжай. Мы будем на Голубых прудах. Захвати фотоаппарат.

13

Пляж Голубые пруды был полон народу. Люди лежали и сидели в качалках, на пляжных циновках, прямо на песке, на открытом солнце и под грибками, обтянутыми полосатой парусиной.

В стороне, с высоких вышек, делая в воздухе сальто и кульбиты, прыгали пловцы-разрядники. Над водой в брызгах носились надутые волейбольные камеры и



большие разноцветные мячи. А чуть повыше над берегом, под навесом пивного павильона, стояла очередь. Буфетчица буквально разрывалась.

Выбрав удобную позицию в стороне от пляжа, в тени от кустов свисающей над водой бузины, Ленчик устроился на помосте из трех жердочек, сооруженном каким-то рыболовом. Жердочки были тонкие, и ему приходилось балансировать, чтобы не упасть в воду. Присев на корточки, он поднес к глазам бинокль. Военный бинокль стометровое расстояние сократил до пяти-шести метров. Казалось, что стоит только протянуть руку — и можно коснуться кувыркающихся в воде фигур. Медленно ведя биноклем, Ленчик стал разыскивать среди купающихся Наташу.

Он напал на нее довольно быстро. Наташа стояла на берегу у самой воды и звала кого-то к себе. Никогда она не казалась ему такой привлекательной. Ее тонкую фигуру облегал голубой купальник. Даже зеленовато-белые головки ландышей, вышитые на нем, были сейчас необычно красивыми. Голоса Наташи Ленчик не слышал и с досадой подумал о несовершенстве оптики, позволяющей видеть, но не позволяющей слышать. Вскоре около Наташи появилась загорелая фигура Николая. Высокий и широкоплечий, рядом с тоненькой девушкой он казался еще сильнее. Взяв Наташу за руку, Николай побежал с ней в воду. От зависти Ленчик опустил бинокль, но через несколько секунд поднял его снова. Далекий пляж опять приблизился на расстояние вытянутой руки.

Плывать Наташа не умела. Всякий раз, когда Николай пытался завести ее поглубже, она вырывалась и, как полагал Ленчик, визжала.

Да, Наташа действительно визжала — она боялась глубины и всякий раз, как только чувствовала, что дно уходит из-под ног, на нее нападал страх.

— Чего ты боишься, трусиха? — успокаивал ее Николай. — Ведь это же очень просто: работай одновременно руками и ногами. Не бойся. Я буду поддерживать. Плыви. Так, так... Вот и прекрасно! Замечательно! Не части руками. Дыхание, дыхание! Сколько раз тебе говорить об этом?

— Ну хватит же, хватит, — задыхалась Наташа. — Я устала, держи меня.

Ленчик отчетливо видел, как Наташа лежала на ладонях у Николая. Сколько бы он дал за то, чтоб это были ладони его, Виктора Ленчика.

После того как Наташа отдохнула, Николай вновь принялся за урок плавания. По-прежнему поддерживая девушку на своих широких ладонях, он зашел поглубже и там отпустил ее.

— Теперь к берегу! — скомандовал он и отошел в сторону.

Несколько секунд Наташа держалась на воде самостоятельно. Глядя на ее испуганное лицо, Николай от души хохотал.

— Молодец! Замечательно! — подбадривал он. — Еще рывок — и ты у берега. Ноги, ноги! Почему ты не дышишь?

Наташа хотела что-то ответить, но хлебнула воды и закашлялась. Через несколько секунд ее голова скрылась под водой.

— Негодяй, ты ее утопишь! Ты!.. — бесновался Ленчик.

Николай быстро подскочил к Наташе и поднял ее.

Она крепко обвила его шею. Бинокль дрогнул в руках Ленчика. Это было выше его сил. Он заскрежетал зубами. Правая нога его подвернулась, он инстинктивно подался вперед и, не удержав равновесия, полетел в воду.

Плавал Ленчик плохо. Тяжелый военный бинокль и фотоаппарат, висевшие на шее,

тянули ко дну, костюм и ботинки сковывали движения. Он изо всех сил работал руками и ногами, чтобы добраться до мостика. Лицо и волосы его были покрыты тиной и водорослями.

Когда Ленчик, пошатываясь, вышел на берег, первое, что бросилось ему в глаза, был отцовский «зис» и шофер Саша. Саша растерянно смотрел на Виктора и никак не мог понять, что произошло.

— Домой! Быстрее домой! — приказал Ленчик шоферу и, мокрый, в тине и водорослях, плюхнулся на заднее сиденье, устланное дорогим ковром восточного рисунка.

14

Наташа гладила свое любимое платье. Вечером она пойдет с Николаем в театр.

— Мамочка, ты знаешь, ведь Ленского будет петь сам Лемешев. Мне просто повезло.

Но матери было не до оперы и не до Ленского.

Несколько раз Елена Прохоровна пыталась серьезно поговорить с дочерью о ее будущем, но всякий раз Наташа или отшучивалась, или отговаривалась, что замуж ей еще рано, что это-де не в старину, когда выходили в шестнадцать лет. Но на этот раз мать проявила всю свою настойчивость. И это действительно был первый серьезный разговор двух взрослых женщин, где мать тонко поучала, а дочь смело не соглашалась.

Елена Прохоровна начала с того, что попыталась раскрыть перед Наташей неприглядные стороны семейной жизни. Это она делала впервые.

— С милым и в шалаше рай — это верно, — начала она. — Но надолго ли? О том, что бедность — не порок, я не спорю. Но ведь это одни красивые слова.

Выждав, не последуют ли возражения, Елена Прохоровна вкрадчиво продолжала:

— Скажу тебе прямо, Наташа, мне не нравится твоя дружба с Николаем. Рано или поздно, все равно вы должны расстаться. И лучше рано, чем поздно. А вот свое отношение к Виктору ты должна изменить. Ты его просто унижаешь, а этого не следует делать.

Елена Прохоровна бесшумно встала с кресла и так же бесшумно подошла к окну. В комнате повисла тишина.

— Подойди сюда, — снова первой заговорила мать. — Посмотри. — Она указала на улицу, где стояли милиционер и прохожий. Очевидно, прохожий допустил какое-то нарушение порядка. — Ну чего он привязался? Что этот прохожий сделал? Наверное, всего лишь попытался перейти улицу не там, где положено. Эка беда! А ведь он форменным образом придрался. Вот и с твоим так. О боже, как это унижительно!

Оставив утюг на платье, Наташа подняла голову. Некоторое время она безмолвно смотрела на мать. Потом голосом, в котором звучала обида, сказала:

— Мама, как ты не права. Ведь он выполняет свой долг. Он несет государственную службу.

— А разве я возражаю против того, чему вас учат в университетах? Я только хочу, чтобы ты отличала красивое от уродливого, возвышенное от низкого. А то, что там происходит, — унижительно.

Наташа с обидой посмотрела на мать:

— Хорошо, допустим, что у этого гражданина, которого остановили за пустяк,

отвратительное настроение. Пусть ему кажется, что его незаслуженно отчитали, хотя я убеждена, что это не так. Но что будет делать этот гражданин, если, придя домой, он увидит, что его квартира ограблена? Куда он побежит за помощью?

— Ну, разумеется, он заявит в милицию.

— Вот вам первое противоречие, — обрадовалась Наташа. Про уют она совсем забыла.

— Какая ты все еще глупенькая. Разве я оспариваю полезность милиции? Наоборот, я уверена, что она необходима так же, как дворники. Что стало бы без дворников в Москве через неделю? Москва заросла бы грязью. Они тоже несут службу.

— Да, они тоже люди. Также несут службу. Влюбляются, женятся... — Словно споткнувшись, Наташа остановилась. Краска залила ее лицо. — А потом, потом... Я совсем не понимаю, мама, почему ты с каким-то особым наслаждением льешь грязь на нашу дружбу с Николаем? Что он тебе сделал плохого? Тебя не устраивает его зарплата? Что он из простой рабочей семьи? — Наташа поняла, что говорит лишнее, и замолчала.

В комнате уже начинало пахнуть гарью, но ни дочь, ни мать не замечали этого.

В эти минуты Елена Прохоровна особенно остро почувствовала, что Наташа уже взрослая. И это чувство ухода дочери из-под полной и неограниченной власти матери насторожило Елену Прохоровну. Ей хотелось крикнуть: «Да как ты смеешь, негодная! Ты с кем разговариваешь?! Кто я тебе?!» Но она сдержала себя, боясь испортить дело.

— Ты не горячись, Наташа. Если тебя раздражает мой тон, я могу говорить и без тона. Как мать я не допущу ничего серьезного между тобой и Николаем. Вы никогда не будете вместе. Все, что ты от него ожидаешь, то, что он где-то там заочно учится, — это журавль в небе. А вот если бы ты помягче и повнимательней относилась к Виктору, он давно бы сделал предложение.

— Он уже трижды его делал, — выпалила Наташа и покраснела еще гуще.

Елена Прохоровна вздрогнула и резко повернулась к Наташе:

— Как делал? А ты?

— Я трижды отказывала и просила, чтоб он больше не приставал со своим сватовством, а вот Николаю я бы не отказала.

Сказав это, Наташа стыдливо опустила глаза. Так откровенно о своих чувствах к Николаю она говорила с матерью впервые.

— Девчонка! Ты все еще глупая девчонка. Боюсь только одного: когда ты повзрослеешь — будет уже поздно и разговор на эту тему станет излишним.

Елена Прохоровна говорила теперь с нескрываемым раздражением. Пытаясь проникнуть в душу Наташи, она хотела держаться спокойно, но, чем больше она этого хотела, тем сильнее в ней просыпалась жажда власти над дочерью, и это выводило ее из равновесия.

— Да, я забыла, — уже более спокойно сказала Елена Прохоровна. — Виктор сегодня приглашен к нам на пироги. — Сказала как бы между прочим, но с явным намерением подчеркнуть, что власть над дочерью полностью находится в ее руках.

— Кто его приглашал?

— Я.

— Сегодня вечером я иду с Николаем в театр.

— Сегодня вечером ты будешь дома!

— Нет. Я пойду в театр, — На слове «театр» Наташа сделала ударение.

На эту дерзость Елена Прохоровна ничего не ответила, и только прищуренные глаза ее говорили, что разговор между ними не закончен, что в этой скрытой борьбе она еще не пустила в ход все, чем располагает.

После напряженного минутного молчания, закрывая двери спальни, Елена Прохоровна сказала упавшим голосом:

— Ну что ж, поступай как знаешь. Ты взрослая, а мать — старая.

Только теперь Наташа вспомнила про уют и сразу почувствовала запах подпаленной материи. Это платье ей уже никогда не придется надеть: оно было прожжено так, что никакие ухищрения портнихи не были в состоянии его исправить.

15

Часы на Спасской башне показывали половину первого ночи, когда Николай и Наташа возвращались из театра. Свернув с набережной, они медленно поднялись на Каменный мост. От фонарей над набережной в Москву-реку падали огненные столбы, дрожая и переливаясь на поверхности воды.

Николай и Наташа остановились в нише каменного парапета. Было тихо. Лишь изредка внезапно налетавший откуда-то ветерок выхватывал из-под Наташиной косынки пушистый локон, бросал его ей в глаза, щекотал губы. Наташа смотрела вдаль, в темноту ночи, и молчала. Молчать ей не следовало — она знала об этом хорошо, но никак не решалась заговорить. А разговор предстоял тревожный, тяжелый. Под влиянием матери Наташа все больше и больше приходила к мысли, что счастье ее с Николаем из-за его работы в милиции невозможно, что Николаю надо переменить профессию. Обо всем этом она и хотела сказать сейчас. Хотела и не могла.

Наконец решилась.

— Николай, — сказала она, — ты никогда не был рабочим?

Николай, не понимая значения вопроса, поднял на нее глаза. Не глядя в них, Наташа продолжала:

— А как бы хорошо было, если бы ты был рабочий. Простой рабочий. Как бы я ждала тебя по вечерам! Жду, и ты, усталый и чумазый, вваливаешься в квартиру, просишь есть. Какие бы борщи я тебе готовила!.. Я уже купила «Книгу о вкусной и здоровой пище».

Прибегнув к этой маленькой женской хитрости, которая была рождена большим чувством к любимому и которая сейчас могла стать сильнее всяких рассудочных убеждений, Наташа хотела избежать лобовой атаки в этом остром разговоре. Ее голос был настолько проникновенным и искренним — и прежде всего для себя самой, — что она не только верила в истинность своих слов, но и считала, что иного между нею и Николаем не могло и быть.

Мечтательно нарисовав картину их будущей жизни вдвоем, Наташа ласково закончила:

— Тебе уже двадцать шесть, а ты все еще как ребенок. За тобой нужно смотреть да смотреть.

Такой ласковой и откровенной Наташа никогда не была. Никогда Николай еще не чувствовал ее столь родной и близкой. Наивные слова о борще, которым она собирается его кормить, тронули его до глубины души. Если бы не здесь, на мосту,

не в центре столицы, он взял бы ее на руки и понес, как ребенка. Нес бы долго-долго, сколько хватило сил. А сил у него много... Волнуясь и нервничая, он крепко сжал спичечный коробок, который неизвестно почему очутился в руках. Коробок хрустнул, из него посыпались спички. Николай разжал кулак и улыбнулся:

— Ты виновата.

Но Наташа не обратила на это внимания.

— Сегодня я читала в «Комсомольской правде» об одном каменщике. Он строит дома. И почему-то я подумала: если бы ты работал с ним в одной бригаде, ты был бы, как он. Нет, ты был бы лучше его. Ведь ты сильный, умный. — Наташа оживилась: — А как приятно его невесте. Ведь у него непременно должна быть невеста, ему уже двадцать два года. Наверное, она сегодня ликовала, когда шла по улицам: с газетных витрин на нее смотрел ее любимый...

Наташа положила руки на плечи Николая. Взгляд ее умолял. Что-то новое, тревожное уловил Николай в этом взгляде.

— Коля, ну оставь свою работу. Сделай это для меня, ради нашего счастья. Иначе мы не можем быть вместе. Ты знаешь характер моей мамы. И ведь это нетрудно: ты пойдешь на любой завод, даже в бригаду к этому знатному каменщику. Правда, милый? Ты сделаешь?

Наташа замолкла. Она смотрела в сторону, где строился огромный новый дом. Самого дома сейчас не было видно, но о размерах его можно было судить по множеству электрических лампочек, рисующих на фоне ночного неба силуэт здания.

— Этот дом, — продолжала Наташа, — виден из окна моей комнаты. Когда мне станет грустно, я подойду к окну и увижу — там, высоко-высоко, работаешь ты. Что ты молчишь? Почему ты такой мрачный?

Николай по-прежнему молчал. Он не знал, что ответить. Всего лишь несколько минут назад, когда Наташа трогательно нарисовала перед ним картину их счастливого будущего, он чувствовал себя стоящим на гигантской Скале, в поднебесной выси, у солнца и звезд. От этой высоты захватывало дух. Под ним плыли облака... Но это было пять минут назад. Теперь же он безжалостно, почти в одно мгновение был низвергнут с этой сияющей высоты. Низвергнут в темную пропасть. И кем? Той, что мечтой своей подняла его к солнцу. Наташей. Любимой Наташей...

Николай не смотрел на нее. Ему было обидно и тяжело. Раньше она старалась убедить, доказать его ошибку в выборе профессии, кокетничая, дразнила его милиционером, а теперь она просила, умоляла. В ее тихом грудном голосе звучало обещание, что за одну эту уступку она для него сделает все, что он захочет.

— Наташа, — тихо заговорил Николай, — через полгода, а может быть, и раньше этот дом выстроят, и в него въедут жильцы. Бригада твоего знатного каменщика перейдет на другое место и там будет строить новый дом. И этот второй дом будет также выстроен, и в него, как и в первый, вселятся москвичи. Настанет время, когда благодарные потомки вспомнят этого знаменитого каменщика и поставят ему памятник на этой самой набережной, где он заложил первые камни этого дома. Настанет время, когда сырой полуподвал станет печальным воспоминанием нашего поколения. Тогда, может быть, не будет ни тюрем, не будет... Ты улыбаешься? Да, не будет и милиционеров. Все люди будут хорошие, честные, добрые. Не будет краж, убийств, безобразий... Тогда невесты не будут уговаривать своих женихов, чтобы они не возились с ворами и хулиганами. Но это не завтра.

Николай говорил медленно, внешне спокойно. Но за этим видимым спокойствием чувствовалось глубокое волнение.

— А сегодня, — продолжал он уже более резко и строго, глядя на Москву-реку, —

сегодня еще многие живут в трудных условиях, все они пока в этот дом не войдут. И вот там-то, где трудно, где тесно живет, подростки иногда играют в карты. Не в преферанс. В преферанс от безделья играют на курортах да в мягких вагонах. Эти играют в очко. И когда неудачник проигрывается, он идет в магазины, крутится у касс, рыщет по аллеям парка... Как коршун, он вьется над добычей. И когда наступает удобная минута, он ворует, грабит, а иногда даже... убивает человека.

Переждав приглушенный раскат грома, который неожиданно прокатился над Замоскворечьем, Николай продолжал:

— Я никогда не говорил тебе о своей работе. Да ты по-настоящему никогда и не интересовалась ею. Но как ты можешь спокойно отнестись хотя бы к тем негодьям, которых мы недавно задержали. Их было трое, старшему двадцать два года, младшему восемнадцать. Все они здоровые, из обеспеченных семей. Неделю назад в одном дачном поселке эта плесень убила девятнадцатилетнюю девушку-студентку. Если бы ты видела, что они с ней сделали...

За спиной Николай услышал шаги. Он обернулся. Мимо проходил постовой милиционер. Его высокая фигура была затянута ремнями. Суровое и худощавое, уже немолодое лицо милиционера говорило, что за плечами у него не один десяток лет напряженной и опасной работы.

По спокойной и ровной походке постового Николай понял, что они не вызвали у него ни подозрения, ни опасения.

— Вот видишь, — сказал Николай, — сейчас уже глубокая ночь. Москвичи давно спят, а он будет всю ночь ходить по этому мосту. Твой молодой каменщик и его невеста могут без опасения встречать рассвет в самых отдаленных аллеях парка.

— Я умоляла тебя, чтобы ты оставил свою работу, я хотела убедиться до конца, что ты любишь меня, а ты... ты... — Наташа остановилась — ей хотелось найти особые слова, но эти слова не приходили, — Я хочу быть твоей женой, но не могу быть женой милиционера. Ты должен это понять и сделать выбор между мной и своей работой. И сделать это сейчас же, если хочешь, чтобы мы были вместе. Больше к этому разговору я не буду возвращаться...

Щеки Наташи пылали, она ждала, что он ответит. Наступило тягостное молчание. Это было то молчание, которому предстояло или отсчитать последние секунды их дружбы, или стать началом их счастливой жизни. Глаза Николая и Наташи встретились.

— Мой отец был чекист, — медленно, с расстановкой проговорил он. — Старый чекист. Работал с Дзержинским. Погиб на посту. Его убили белогвардейцы. О нем мне много рассказывала мать. По этим рассказам я полюбил отца. С детства я хотел походить на него, походить во всем. Теперь я это могу. Я люблю тебя. И я люблю свою работу. Я хочу, чтоб моей женой была ты. Но я никогда не брошу свою работу. Никогда!

— Ну что ж, ты выбрал. До свидания, — печально, почти шепотом и с тихой усталостью произнесла Наташа и пошла в сторону Александровского сада.

— Я провожу тебя.

Николай догнал ее и хотел сказать еще что-то, но Наташа строго и холодно посмотрела на него и так же строго отрезала:

— Прощу тебя, оставь меня в покое. Оставь навсегда!

Наташа пошла вперед, а Николай остановился, потом вернулся на то место, где они только что стояли, и не замечал, как крупные капли дождя все чаще и чаще стали падать ему на кисти рук, которые он положил на каменный парапет моста. Капли дождя падали на лицо, на плечи... Невидящими глазами он устремился вдаль, где цепь фонарей набережной сливалась в одну светящуюся линию и таяла в

темноте ночи. Зигзаги молний и раскаты грома стали учащаться. Наползли низкие тучи и заволокли огоньки строящегося дома. Пошел сильный дождь, а Николай все стоял и стоял у каменного парапета. В его ушах звучало последнее слово «навсегда». Вдруг кто-то коснулся его плеча. Вздвогнув, он обернулся. Из-под капюшона военного дождевого плаща на него смотрело лицо того самого постового милиционера, который несколько минут назад проходил мимо, когда здесь еще стояла Наташа.

— Товарищ, простудитесь. Идите-ка лучше домой, — мягким голосом сказал милиционер.

Не зная куда и зачем, Николай пошел в ту сторону, куда ушла Наташа. Пока он шел по мосту, постовой милиционер пристально смотрел ему вслед, смотрел до тех пор, пока Николай не скрылся за нависающими над тротуаром кронами тополей Александровского сада.

16

На душе у Наташи было тяжело. Дверь квартиры она открыла бесшумно. В свою комнату шла на цыпочках, чтобы не разбудить мать. В темноте гостиной наткнулась на стул, с которого со звоном полетели на пол какие-то пузырьки и склянки. Наташа вскрикнула и быстро включила свет. На диване лежала мать. Лицо ее было страдальческим. На голове лежало мокрое полотенце.

— Мама, что с тобой, ты больна?

Елена Прохоровна беспомощно простонала:

— Наташенька, подойди ко мне.

Наташа подошла к изголовью.

— Ты прости меня, доченька, — еле слышно проговорила мать. — Если я иногда была не права, ты не сердись. Приходил доктор. Утешить меня ему было нечем. Опять сердце...

Елена Прохоровна подняла глаза и, заметив на щеках Наташи красные пятна, взяла ее руку, поднесла к губам:

— Не сердись на меня, доченька. Я скоро умру. Ты знаешь мои любимые цветы — розы и лилии. Посади их на моей могиле. А ограду сделай деревянную, легкую... Железную не нужно, она тяжелая.

Дальше крепиться Наташа не могла. Спазмы перехватили ее горло. Встав на колени, она прижалась лицом к матери и тихо заплакала:

— Мама... Милая... Прости меня. Во всем виновата я. Я была не права.

— Наташенька, я так хочу, чтоб ты была счастливой. Мне будет спокойней умирать, зная, что судьбу свою ты связала с надежным человеком. — Помолчав, Елена Прохоровна продолжала: — Несколько раз звонил Виктор. Он обещал позвонить попозже.

Слабым прикосновением руки она гладила волосы Наташи.

— Я все сделаю так, как скажешь ты, мамочка. Сегодня я поняла, что Николай меня не любит. Он любит только свою работу. С ним мы никогда не будем вместе. Я так ошиблась в нем.

— Не расстраивайся, доченька, ступай отдыхай. Ведь завтра рано вставать, у тебя экзамены. Да и я устала. Подай мне лекарство и иди.

Наташа подала пузырьки с лекарствами, поцеловала мать и пошла в свою комнату.

Как только за Наташей закрылась дверь, лицо Елены Прохоровны преобразилось. Тихо привстав, она накинула халат на плечи и неслышными шагами вышла на кухню.

Болезнь Елены Прохоровны была тонко задуманной игрой. Она была продолжением того дневного поединка между матерью и дочерью, в котором мать временно отступила, решив сыграть на самом неотразимом — на дочернем чувстве к больной матери.

Наташа стояла перед распахнутым окном в одной ночной рубашке и чувствовала себя бесконечно несчастной. Ее душили слезы. Неизвестно, сколько бы она простояла в этом оцепенении, если б не легкий стук из гостиной.

Наташа бросилась к Елене Прохоровне:

— Мама! Не расстраивайся, родная. Побереги себя. Я сделаю все, чтоб тебе было хорошо.

Стоя на коленях перед матерью, которая теперь выглядела так же болезненно и беспомощно, как и полчаса назад, Наташа рыдала. Волосы ее были распущены, по щекам текли слезы.

— Не плачь, доченька, может, я поправлюсь. Врачи ведь иногда ошибаются. Ну, а если... то ты уже взрослая, скоро будешь работать.

— Не надо, не надо, мамочка. Прости меня, я так несчастлива...

17

Комната Виктора Ленчика была заставлена статуэтками, красивыми вазами и множеством мелких оригинальных безделушек, купленных в комиссионных магазинах. На стене висел дорогой ковер, на ковре — расписной фарфор, ружье, два старинных кавказских кинжала.

Уже полночь, но Виктор не спал. Окна комнаты были раскрыты настежь. Над промытым дождем тополем, который замер перед окном, висела молодая луна. Глядя на нее, Виктор задумался, потом, словно что-то вспомнив, быстро подошел к письменному столу и принялся нервно писать на большом листе. Это были стихи. Он писал, зачеркивал, снова писал. Иногда подходил к зеркалу, проводил рукой по волосам, потом опускался на диван и, закрыв глаза, что-то нашептывал.

Испытывая трудности в подборе рифмы, он приятно и радостно осознавал, что под пером рождается истинная поэзия. «В этой муке есть своя прелесть и сладость», — думал Ленчик, подходя к столу. Ленчик знал, что настоящим поэтам стихи даются нелегко, а потому старался мучиться, как большие поэты. Иногда, записав счастливую строку, он рисовал на полях силуэты гор, женские головки, скачущих всадников...

Виктория Леопольдовна открыла было дверь, но, поняв, что сын переживает муки творчества, побоялась помешать его вдохновению.

Волосы Виктора были всклокочены, взгляд усталый, его клонило ко сну. Откинувшись на спинку дивана, он уже смыкал глаза, но телефонный звонок в гостиной заставил его очнуться.

Звонила Люда Туманова.

— Да, да, Люда. Вечер добрый. Собственно, уже не вечер, а ночь. Конспекты? — Виктор опустился в плюшевое кресло. Посасывая трубку, которая давно потухла, он тоном наставника поучал: — Слушай, девочка, разве можно в такую ночь думать о политэкономии? Ты помнишь, кажется, у Исаковского сказано: «Когда цветет сирень, мне по ночам не спится»? Что, что? Что-нибудь свое? Ну, тебе как современнице я готов прочитать свою последнюю поэму. Я сегодня добр. Даже



сейчас по телефону.

Обрадованный тем, что его согласились слушать, Виктор начал читать. Читал он усердно, размахивая руками, как на эстраде. Выражение лица его при этом каждую минуту менялось. Свои стихи Ленчик читал всегда с чувством. И не дай бог, если застенчивый слушатель из вежливости подхваливал его: тогда Виктора не удержать, уморит любого. Однако на этот раз ему не повезло — чтение быстро оборвалось.

— Что? Тебе не нравится? Ах, в другой раз? Раньше я всегда спорил с Леонидом, когда он уверял, что ты синий чулок. Но теперь вижу, что спорил напрасно.

Виктор был оскорблен, — его стихи не хотят слушать! И кто?

— Обижаться? На тех, кто обижен богом, — грешно, — бросил Ленчик трубку.

Виктория Леопольдовна наблюдала за сыном из коридора через полуоткрытую стеклянную дверь из-за широких бархатных портьер. Это была ее излюбленная позиция, откуда она могла не только подслушивать тайны Виктора, но и видеть игру его выразительного лица. Особенно ее волновали разговоры сына с Наташей Луговой, в которую, как она знала, он уже давно был безнадежно влюблен. В эти минуты настроение сына эхом отдавалось в сердце матери. Два чувства: материнская ревность и обида за сына, с которым, по ее мнению, Наташа обращается жестоко, подмывали ее, и она еле сдерживалась, чтобы не подбежать к телефону и не наговорить дерзостей этой гадкой девчонке.

Оскорбленный разговором с Людой Тумановой, Виктор сидел в кресле. Посмотрев на часы, он решил, что Наташа уже вернулась из театра. Приосанившись перед зеркалом, он снова подошел к телефону. Номер набрал с замирающим сердцем.

— Наташа? Это я, Виктор. Ну, как спектакль, понравился? А ты знаешь, Наташа, я сегодня, как говаривал Есенин, «снесся золотым словесным яйцом». Уверю тебя — эта вещь тебе понравится. Угадай, кому она посвящена? Не можешь угадать? Конечно, тебе! Сгорать от любопытства я тебя не заставлю. Извини, что не все, но кое-что я прочту тебе сейчас.

Наташа, очевидно, что-то пыталась возразить, но Виктор увлекся и не слушал ее.

— Признайся, Наташа, стихи по телефону — это ж очень оригинально. Весьма мило, не правда ли?

Но не успел он прочитать и двух строк, как остановился; непонимающе глядя на портьеры. По неосторожности Виктория Леопольдовна высунулась из-за них больше, чем обычно.

— Короткие гудки! — раздраженно бросил Виктор.

— Телефонная неполадка. Перезвони, — отозвалась мать, делая вид, что очутилась здесь случайно.

Виктор снова набрал номер:

— Алло, Наташа? Нас, очевидно, разъединили. Я и забыл спросить, с кем ты была на спектакле? С Николаем? — Спросил и неестественно расхохотался.



Ленчик не верил в прочность дружбы Захарова и Луговой. Любовь милиционера он считал чем-то вроде оскорбления для такой девушки, как Наташа. Тем более он не допускал возможности их брака. Но, зная характер и взгляды Наташи, в которых он часто обнаруживал самые резкие неожиданности, Виктор, однако, чувствовал в этом милиционере серьезного соперника. Для него Захаров был так же непонятен, как и неприятен.

— Ты спрашиваешь, что смешного? Странная мысль взбрела мне в голову. Был бы жив Лев Толстой, он непременно написал новый вариант «Воскресения». И героиней сделал бы тебя. Почему? А очень просто: в первом варианте он отправил князя Нехлюдова за своей жертвой в Сибирь на каторгу, а в новом — он не менее гениально рассказал бы о том, как девушка, научный работник, влюбилась в милиционера. Модерн!



Довольный импровизацией, Виктор хохотал уже от души.

— Алло, алло, алло... — дул он в трубку. Короткие телефонные гудки изменили его самодовольное лицо. Глаза Виктора бегали, ища помощи со стороны. — Глупец? — громко произнес он, видимо, Наташино слово. — Ну, это ты распоясалась, девочка! Посмотрим, как ты будешь вести себя, когда мое имя появится на переплетах книг.

Только сейчас Виктор вспомнил, что из-за портьер за ним наблюдала мать. А та, чувствуя беду сына, уже спешила к нему на помощь. Он остановил ее:

— Мама, это недостойно! Любопытство — низменное качество. А подслушивание не прощается даже женщине. Ваши опасения за мою нравственность меня уже утомляют. Спокойной ночи.

Отчитав мать, Виктор направился в свою комнату.

— Да, чуть было не запямятовал, — тоном приказа бросил он через плечо, — передай папе, что завтра на целый день мне будет нужна машина.

Оставить сына без внимания в таком душевном состоянии Виктория Леопольдовна не могла. Ей это казалось жестокостью. В щелочку неплотно прикрытой двери она наблюдала за Виктором, которого вновь посетили музы. Как и час назад, он метался по комнате, замирал у окна, присаживался к столу.

*Нет, нет, богиня, вы падете*

*Передо мною ниц!*

*Я демон, я орел на взлете,*

*Я укротитель львиц... —*

донесли слова до Виктории Леопольдовны. «Гениально», — заключила она, и на глазах ее выступили слезы.

Расстроенная, она направилась в кабинет мужа.

Андрей Александрович Ленчик, профессор энергетического института, несмотря на поздний час, работал. Он любил ночные часы — не отвлекали ни телефонные звонки, ни посетители. Профессора Ленчика в стране знали как крупного ученого в области машиностроения. Его перу принадлежало немало капитальных трудов, по его книгам училось не одно поколение студентов. На лекциях, которые он читал всегда на высоком подъеме, аудитория была полна слушателей. В свои пятьдесят лет Андрей Александрович находился в самом расцвете творческих сил и возглавлял большой коллектив ученых, работавших над проблемой вибрации резца при разрушении грунтов. Работа поглощала его настолько, что иногда, засиживаясь в кабинете до самого утра, он так и засыпал в кресле. На работе его называли «голубем». Действительно, это был человек мягкий и отзывчивый. Ни одно письмо от инженера, рабочего, полученное Андреем Александровичем, не оставалось без ответа. Он нередко жертвовал часами своего обеденного отдыха, если к нему в это время заходил посетитель. А однажды, встретив в коридоре института плачущую студентку, профессор так расстроился, что вместе с ней пошел к директору и просил разрешения пересдать экзамен, который девушка сдала на тройку, за что должна была лишиться стипендии.

Знающие семейную жизнь Андрея Александровича, помимо того, что любили его как человека, жалели. Он был несчастным мужем. Про его жестокую супругу в узком кругу знакомых ходили самые невероятные слухи. Говорили, что она посылает профессора в магазин, в ателье, а иногда даже по пустякам объявляет ему недельные бойкоты. Однажды тетя Варя, курьер института, женщина пожилая и далеко не болтливая, сокрушенно вздыхая, под большим секретом рассказала секретарю Андрея Александровича о том, что перед майскими праздниками, когда у профессора на квартире испортился телефон и ей вечером пришлось относить ему какой-то срочный пакет, она увидела, как он вытряхивал из ковра пыль. «Словно некому, кроме него, выколотить. Ведь у них домработница, сама поперек толще», — закончила тетя Варя и горько вздохнула.

Андрей Александрович, углубившись в работу, не слышал, как вошла супруга. Расстройство на ее лице сменилось гримасой затаенной досады.

— Добрый вечер.

Андрей Александрович испуганно поднял голову. Он не смотрел на жену, но скорбное лицо его говорило: «Ну пощадите, ну пощадите же!»

— Там страдает сын, а ты... — Виктория Леопольдовна властно положила ладонь на рукопись Андрея Александровича: — Скоро у Витеньки распределение, его могут послать в Сибирь, а ты ни разу не подумал об этом. До сих пор ты не нашел ему место в Москве. В провинции его талант погибнет. Если ему не придется занять место в литературе, то виной этому будет отец. Родной отец.

Виктория Леопольдовна внезапно размякла и опустилась в кресло. Слезливо высморкавшись, она продолжала:

— Пробовал ли ты когда-нибудь по-настоящему заглянуть в душу сына? А она так сложна! Нет, ты этого никогда не поймешь. Для этого нужно быть отцом. А ты... Ты сидишь вот за своими расчетами и чертежами, над этими мертвыми схемами, которые ты называешь наукой, а рядом, за стеной, рождаются строки, которые, может быть, решат судьбу сына... Говорят о неблагодарных детях. Гораздо ужаснее видеть жестоких отцов...

Растерявшийся Андрей Александрович не знал, что ответить. Он никак не мог оторваться от мыслей, которыми был занят и которые так неожиданно и некстати были нарушены появлением жены. Это его молчание, расцененное Викторией Леопольдовной как равнодушие к судьбе сына, еще больше разожгло в ней состояние озлобления, с которым она переступила порог кабинета.

— Так я вижу, что ты не только не думал, но и не хочешь думать. — Она поднялась, властно взяла его за руку: — Пойдем, и ты увидишь.

Виктория Леопольдовна повела супруга к комнате Виктора. Повинуясь жене, Андрей Александрович пошел на цыпочках, приноравливаясь к ее шагу.

Споткнувшись о ковровую дорожку, он потерял ночную туфлю с левой ноги, и, когда хотел надеть ее, Виктория Леопольдовна так на него посмотрела, что Андрей Александрович быстро отказался от своего намерения.

Приоткрыв дверь в комнату сына, они оба застыли.

— Ну теперь ты видишь? — зловещим шепотом спросила Виктория Леопольдовна.

Серая растрепанная голова Виктора лежала на спинке дивана, рот был широко раскрыт. Во сне Виктор чему-то глуповато улыбался и со свистом всхрапывал. В таком положении можно видеть в общих вагонах Пассажи́ров, утомленных долгой дорогой и засыпающих в обнимку со своими мешками, чемоданами.

— Да, да, вижу, — отозвался Андрей Александрович, готовый согласиться со всем, в чем его упрекала супруга, хотя, кроме храпящего сына, ничего не видел.

Но некоторое время спустя, когда он вновь сидел над расчетами и чертежами, дверь кабинета опять раскрылась, и за спиной раздался властный голос жены:

— Обо всем этом побеспокойся завтра.

Войдя неслышными шагами в комнату сына, Виктория Леопольдовна нежно потрепала Виктора по щеке:

— Витенька, проснись. Перейди в кроватку, сынуля.

Виктор открыл глаза.

— Ложись в постель, глупенький. Устал?

Виктория Леопольдовна разобрала постель и вышла.

Когда Виктор уже лежал под белым шелковым покрывалом, мать снова подошла к нему и поцеловала в лоб нежно, как целовала его на ночь все двадцать два года.

18

Уже двое суток провел Захаров в поисках кондукторши, Часами ему приходилось томиться в проходных будках и диспетчерских комнатах первого и второго трамвайных парков. Детально были изучены графики работ кондукторов, поднята вся необходимая документация в отделах кадров, проведены десятки бесед с пожилыми кондукторами, которые в ночь ограбления Северцева находились на линии. И все бесполезно. Ни в одной из кондукторш Северцев не признал той, что везла его без билета в ночь ограбления.

Во втором часу ночи Захаров и Северцев, усталые и удрученные, вернулись на вокзал. Транспорт не работал, а добираться до дому пешком было далеко.

Захаров устроился на голом дубовом диване и почти всю ночь не спал. Плохо спал и Северцев. Переворачиваясь с боку на бок, он глубоко вздыхал и, причмокивая губами, делал вид, что спит. Эту наивную хитрость Захаров понял: Северцев просто не хотел показать, что и ночь ему не несет покоя.

Заснул Захаров перед самым рассветом, заснул тяжело, с головной болью. А когда проснулся, было еще четыре часа утра — время, когда Москва еще спит и только дворники да милиционеры, если не считать транзитных пассажиров и засидевшихся гостей, наслаждаются ее рассветной прохладой.

Неловко закинутая левая рука онемела. Захаров попробовал поднять ее, но она висела безжизненной плетью. Так было у него уже два раза, и это пугало его. Испугался Захаров и сейчас. Ущипнув онемевшую руку, он не почувствовал боли. Вспомнились слова врача из военного госпиталя: «Вы, молодой человек, хорошо скроены, но плохо сшиты. Бросайте курить, иначе кровеносно-сосудистая система вас может подвести.» Через несколько минут Николай стал слабо ощущать в руке холодноватое пощипывание, напоминавшее муравьиное щекотание. Вскоре рука совсем отошла.

Молоденький белобрысый сержант Зайчик, облокотившись на столик с двумя телефонными аппаратами, клевал носом. Непривычный к ночному дежурству, он с трудом выдерживал рассветные часы, когда сон бывает особенно сладок.

Северцев лежал у окна, заложив руки под голову и вытянувшись во всю длину дубовой скамьи. В этой позе он показался Захарову очень большим.

«Спит или не спит?» — подумал сержант и стал пристально всматриваться в его лицо.

Не прошло и десяти секунд, как Северцев поднял веки, но поднял их не так, как это делает только что проснувшийся: постепенно, щурясь и моргая, а как человек, который закрыл глаза всего лишь на минуту.

— Не спится? — мягко спросил Захаров и, не дожидаясь ответа, выругался: — Дьявольски гудят бока!

Клюнув носом о стол, Зайчик испуганно вскинул голову и растерянно заморгал.

— Доброе утро, Зайчик, — поприветствовал его Захаров.

Зайчик быстро вскочил и начал расправлять под ремнем гимнастерку. В эту минуту он был особенно смешон и казался еще мальчиком, который хочет скрыть свою детскую сонливость.

Зайчиком сержанта однажды назвал майор Григорьев. С тех пор все в отделении милиции называли его так, хотя фамилия сержанта была Холодилов. К этому прозвищу он настолько привык, что удивлялся, когда кто-нибудь из сослуживцев обращался к нему по фамилии.

К Захарову Зайчик относился с уважением. Он видел, что майор Григорьев особо ценит его и как работника, и как человека. А эта оценка для него была определяющей: Григорьева Зайчик любил и считал самым справедливым из начальников.

На стычки Захарова с Гусенициным Зайчик реагировал по-своему и просто: как только проходили слухи о новой «потасовке» между сержантом и лейтенантом, Зайчик тайком выводил мелом на диване, на столе или писал на книге дежурной службы неизменное «хв».

Так мстил Зайчик Гусеницину. Больше всего в людях он любил справедливость, а отношение Гусеницина к Захарову считал помыканием, верхом несправедливости.

Спустившись вниз, в дежурную комнату, Захаров увидел Гусеницина. Тот сидел за столом и рылся в папке с бумагами. Глаза его были воспалены: видно, что последнее время лейтенант мало спал.

«Чего он пришел в такую рань? Неужели опять завал в работе?» — подумал Захаров и громко поздоровался со всеми.

Старшина Карпенко ответил своим неизменным «доброе здоровьице»; он стоял опершись плечом о косяк двери и курил. Гусеницин, не поднимая глаз, еще сосредоточеннее углубился в бумаги:

— Как дела, сержант? — подкручивая кончики усов, спросил Карпенко.

— Как сажа бела! — отозвался Захаров и, заметив, что лицо лейтенанта стало настороженным, подумал: «Вижу, вижу. Ждешь моего провала?»

— Ну как, уцепился за что-нибудь? — попытывался Карпенко, в душе желавший Захарову только добра.

— За воздух, — нехотя процедил Захаров, не спуская глаз с Гусеницина.

— Так ничего и не наклеивается?

— Пока нет.

— Да-а-а... — В протяжном «да» Карпенко, в его вздохе звучало и товарищеское сочувствие, и легкий упрек за то, что Захаров взялся за слишком уж сложное дело.

По лицу лейтенанта пробежала желчная улыбка. Закусив тонкие губы, он весь превратился в слух, хотя делал вид, что занят только своими делами.

Захаров, кивнув Северцеву, вышел из дежурной комнаты.

Вокзальный гул, монотонный и ровный, даже в этот ранний час напоминал

гигантский улей. Гул этот Северцева угнетал. Трое суток, которые он провел в отделении милиции, показались годом. Бесконечные допросы, утомительные поиски кондукторши, нескончаемая вокзальная толчея, назойливо всплывающие в памяти картины ограбления — все это так измучило Алексея, что, будь у него деньги на билет, он, не раздумывая ни минуты, махнул бы на все рукой и уехал в деревню.

Может быть, Северцев уехал бы и без билета, если б не Захаров, который с первого же дня отнесся к беде его сердечно, дружески.

Алексей знал, что сегодня предстоит делать то же самое, что делали вчера и позавчера, — искать кондукторшу.

Первый и второй трамвайные парки были изучены. Оставался третий трамвайный парк.

Шофер синей с малиновой полоской через весь продолговатый корпус милицейской «Победы» только что заступил на работу и еще полудремал за баранкой. Когда Захаров резко распахнул дверцу кабины, он вздрогнул, его рука машинально опустилась на кнопку сигнала.

По дороге в трамвайный парк Захаров снова расспрашивал Северцева о кондукторше, но сведения по-прежнему были скудные: пожилая, с громким голосом, в платке. На такие приметы ухмыльнулся даже шофер: почти все кондукторши в ночную смену повязывают платки, а остановки выкрикивают громко.

В голову Захарова лезли тревожные мысли: «А что, если и здесь впустую? Что, если Северцев ее не признает?» У трамвайного парка он отпустил машину и вместе с Северцевым направился к проходной будке.

Вахтером в проходной был седобородый жилистый старичок в стеганой фуфайке, быстрый и словоохотливый. Лицо его Захарову показалось очень знакомым. Пристально всматриваясь в него, он старался вспомнить, где же видел этого человека. Но чем сильнее напрягал он память, тем туманнее и расплывчатее становился образ того похожего старичка, которого когда-то где-то встречал. «Таких стариков в России тысячи», — решил Захаров, стараясь подавить в себе безотчетное, назойливое желание припомнить двойника вахтера.

Документы, предъявленные Захаровым, старичок изучал внимательно и с какой-то хмурой опаской. А когда уяснил, что перед ним человек из уголовного розыска, то заговорил с таким почтением, что сержант подумал: «Этот расскажет, этот поможет!»

Михаил Иванович — так звали старика — долго тряс руку Захарова:

— Э-э, сынок! Да я, ечмит-твою двадцать, поседел в этой будке, тридцатый годок уже машет, как я здесь стою. Всех знаю как свои пять пальцев. Явится новичок — биографию сразу не пытаю оптом, а потихоньку-помаленечку, за недельку, за две он у меня как на ладони. И кто такой, и откудова, и про семью закинешь...

Захаров спросил у Михаила Ивановича, не помнит ли он, кто из пожилых женщин работал в ночь на двадцать шестое.

Михаил Иванович с минуту помешкал, достал из кармана большой носовой платок и громко высморкался.

— Не помню, так вспомню. Говорите, на двадцать шестое? Из пожилых? — Старик смотрел в пол, что-то припоминая, и качал головой. — Только пожилых-то у нас порядком.

— А кто из них работает на сцепе из двух вагонов?

— Это смотря на каком номере. — Лицо старика стало еще строже,

— Номер трамвая не установлен.

— Это хуже, — протянул Михаил Иванович и, загибая пальцы и не обращая внимания на Захарова, стал называть фамилии пожилых кондукторш, работающих на сцепе из двух вагонов.

Захаров быстро записывал. Их набралось шестнадцать.

— А не помните ли, кто из них в ночную смену повязывается платком? — осторожно выпрашивал Захаров.

Михаил Иванович приложил прокуренный палец к жидкой бороденке и хитровато прищурился одним глазом, точно о чем-то догадываясь.

— Говорите, платок? Случайно, не клетчатый?

Захаров посмотрел на Северцева: тот утвердительно кивнул. Михаил Иванович этого не заметил.

— Да-да, клетчатый, — ответил Захаров внешне спокойно и почувствовал, как сердце в его груди опустилось и несколько раз ударило с перебойми.

— Ну, ечмит-твою двадцать, опять неладно, — махнул рукой Михаил Иванович, — Опять Настя в карусель попала.

Михаил Иванович начал рассказывать о том, что знает Настю уже почти двадцать лет и не было года, чтобы у нее чего-нибудь не случилось такого, за что ее не таскали бы по судам и прокуратурам.

Захаров слушал, а сам думал: «Ну где же я тебя видел, где?»

Старик разошелся и углубился в подробности Настиных бед. Захаров, выбрав момент, мягко перебил Михаила Ивановича и спросил фамилию Насти.

— Фамилия ее Ермакова. — И, видя, как внимательно его слушают, Михаил Иванович начал рассказывать, что живет Настя вдвоем с мужем, что сын в армии, а дочь уехала на Север, что Настя женщина хорошая, старательная, а все ей как-то не везет.

— Кто заезает по пьянке, обязательно лезет под ее вагон. Обрезали сумочку с деньгами — Настю в свидетели. Летось новый начальник чуть было не перевел ее в подсобные, да спасибо на собрании отстояли. А то ходить бы Насте по территории с метелкой.

Взглянув на часы, Михаил Иванович спохватился. Было уже без двадцати пять.

— Сейчас, того гляди, закатится сама, сегодня она в первую смену.

Захаров понимающе улыбнулся и вышел из проходной.

— Я на минутку, — сказал он в дверях и взглядом позвал Северцева.

Этот немой язык следователя Северцев начинал понимать. У маленькой клумбы цветов, разбитой у самого входа в парк, Захаров и Северцев присели на скамейку.

— Следите внимательно за всеми, кто будет проходить в парк. Признаете ту, которую ищем, идите за ней через будку. Идите до тех пор, пока я не окликну.

Северцев кивнул. Когда Захаров скрылся в будке, он поднял с земли оброненный кем-то цветок. Знакомые запахи на мгновение унесли его на родину, в покосы, в тихие деревенские вечера, напоенные сиренью и акацией, облитые лунной голубизной.

Тем временем Захаров вернулся к Михаилу Ивановичу и попросил его, чтобы он подал знак, когда войдет Ермакова.

Михаил Иванович, гордый и точно подросший оттого, что ему, как ровне, доверяют свои тайные дела люди из уголовного розыска, важно крякнул и понимающе — дескать, нам все ясно — провел ладонью по бороде.

Вскоре потянулась утренняя смена.

Каждому проходившему будку Михаил Иванович находил свой знак внимания. Одному с почтением и молча поклонился, у другого спросил о здоровье жены, третью, молоденькую рыжую девушку с озорными глазами, назвал вертихвосткой, а когда та стала оправдываться, он замахал рукой: «Иди, иди, не хочу и слушать». Четвертую, тоже молоденькую девушку, поманил к себе пальцем и на ухо сказал: «Видел, сам все видел. Кто вчера по Оленьим прудам с другим под ручку разгуливал? Все расскажу твоему Санечке. Ох, девка, влетит тебе...»

Минут через пять народ повалил валом. Захаров уже устал всматриваться в лица и одежду проходящих. А Михаил Иванович все сыпал и сыпал не уставая. Свое излюбленное «ечмит-твою двадцать» он так ловко вворачивал при подходящем случае, что казалось, выбрось из его речи это не то междометие, не то поговорку, и все сказанное им лишится крепости, смысла и рассыплется.

— Ну как, Настенька, что дочка-то пишет? — спросил старик вошедшую женщину и многозначительно взглянул на Захарова.

— Ой, Михаил Иванович, у кого детки — у того и забота. Уехала — как в воду канула. Ведь это нужно — за два месяца только одно письмо!

— Да, что и говорить, — сочувственно поддержал Михаил Иванович, — с малыми детками горе, с большими — вдвое.

За спиной Ермаковой стоял Северцев.

«Она, она!» — пронеслось в голове Захарова. Почти не дыша, слушал он разговор женщины с вахтером. «Держись, Гусеницин Хведор! Рано ты хихикаешь. Конец клубка в моих руках», — думал сержант. И вдруг эти мысли оборвались. На смену им пришли другие. Перед ним уже возникла не ехидная и хитроватая улыбка Гусеницина, а властное и по-отцовски строгое лицо майора Григорьева: «Работай не из чувства мести к Гусеницину, а для пользы дела. Помни свой долг». Как он смел забыть об этих словах? Как он смел ликовать только из-за того, что покажет Гусеницину, как нужно работать? «Неужели только неприязнь? Неужели только оскорбленное самолюбие говорит во мне?» — спрашивал себя Захаров. Посмотрев на Северцева, он увидел, что лицо у того напряженное и бледное.

«Нет, не месть, не самолюбие, а долг... Только долг», — твердо решил Захаров и почувствовал прилив новых сил.

Дальше все шло так, как намечалось по плану. Согласовав с дежурным диспетчером подмену Ермаковой, Захаров допросил ее и был очень доволен, что та спокойно и подробно рассказала, как двое суток назад, уже во втором часу ночи, когда трамвай возвращался в парк, к ней на повороте у Оленьего вала на ходу заскочил в вагон высокий молодой человек с окровавленным лицом. Сошел он у вокзала.

Закончив допрос, Захаров устроил очную ставку, в которой Северцев и Ермакова опознали друг друга. А через двадцать минут все трое: Захаров, Северцев и Ермакова — уже ехали на милицейской «Победе» к трамвайной остановке «Большая Оленья».

Дорогой вспомнилось лицо вахтера. Снова мучил неотвязчивый вопрос: «Где же я его видел?» И вдруг, в какое-то мгновение, в памяти всплыл другой старик: в начищенных яловых сапогах, в белой льняной рубашке с красным поясом.



«Молодцы? Молодцы, ечмит-твою двадцать!.. По-нашему, по-россейски!.. Гулять так гулять!...» — лихо звенел голос старичка, обращавшегося сразу ко всем: и к стриженным призывникам, и к голосистым девушкам, и к замороженной коломенскими частушками толпе. «Вспомнил», — облегченно вздохнул Захаров, почувствовав, что он вырвался из каких-то клещей, сковывавших его мысли.

Место, где Северцев прыгнул в трамвай, Ермакова указала сразу. Большого сообщить она не могла.

Захаров поблагодарил кондукторшу за помощь и предупредил, что ее могут вызвать, если в этом будет необходимость. Шофер отвез ее на работу.

Северцеву все давалось труднее. Местность он признал далеко не сразу. Тогда ему все здесь казалось другим. В памяти неотвязчиво стояли зловещие картины дальних огней и ночь, душная, звездная ночь... А сейчас было солнечное свежее утро.

— Нет, не узнаю. А может быть, и здесь. — Алексею становилось жалко Захарова. «Сколько труда и нервов будут стоить ему эти поиски», — думал он, идя следом за сержантом.

Захаров остановился, присел на пенек и закурил.

«При осмотре местности должна быть система. Бессистемными поисками, рысканием можно испортить все дело», — вспомнилась ему грубоватая, но ясная установка профессора Ефимова, старого криминалиста, лекции которого проходили при гробовой тишине аудитории.

После перекура осмотр продолжался.

Обогнув рощу от шоссе до грунтовой дороги, сержант решил вести осмотр по квадратам. Северцеву было приказано следовать в двух шагах позади.

Шаг за шагом, от дерева к дереву Захаров и Алексей прочесывали березовую рощу. Двигались медленно, зорко всматриваясь в каждый камешек, в каждую сухую веточку, валявшуюся в росистой траве.

Дойдя до грунтовой дороги (Северцев не помнил, как трое суток назад он шел по ней), они возвращались назад и так же медленно, так же молча, подавшись чуть в сторону, снова двигались к шоссе. И снова к грунтовой дороге...

Чувство времени терялось. Были секунды, когда Захаров забывал, зачем он здесь, и продолжал поиски автоматически. Вспомнилась Наташа. Иногда из примятой травы лукаво подмигивали глаза Гусеницина, неприятные глаза цвета недозрелого крыжовника. Захаров останавливался, закуривал и, осмотревшись, снова двигался вперед. Северцев отставал. Бессонная ночь, напряженные поиски без завтрака положили под его глазами глубокие сероватые впадины.

Захарову все чаще и чаще приходилось его подбадривать.

Так прошло часов шесть. Солнце поднялось в зенит и палило нещадно, как оно только может палить в середине июля в полдень. Но Захаров не отчаивался. Бегло поглядывая на необследованный клин рощи, он подбадривал себя, что заветное место, где будет раскрыто новое звено в цепи расследования, еще впереди и до него они дойдут обязательно.

Мысленно рассуждая сам с собой, Захаров вдруг остановился и вздрогнул. Шагах в четырех от него лежали две скомканные и ссохшиеся от запекшейся крови тряпки. Рядом валялся грязный носовой платок с синими каемками. Здесь же лежала размочаленная белая бечевка с окровавленной на концах бахромой.

Северцев медленно плелся позади, совсем не испытывая той уверенности, которая жила в Захарове. Он думал в эти минуты о доме, о больной матери, сочинял

оправдание, ко-тое придется ему высказать, когда на собрании будут разбирать вопрос об утере им комсомольского билета. «Эх, ресторан, ресторан подведет. Каждый может спросить: «Зачем ты пошел в ресторан? Почему с поезда, товарищ Северцев, вы подались не в университет, а в ресторан?» Об этом будут спрашивать везде: на собрании, в райкоме, товарищи... Эх, если б не ресторан...»

Поравнявшись с Захаровым, Северцев остановился и увидел скомканные окровавленные тряпки. В первую секунду он в страхе попятился назад.

— Здесь! — выдохнул глухо Алексей и кинулся было вперед, но Захаров остановил его:

— Не троньте, нельзя!

Северцев покорно замер. Захаров слышал его отрывистое надсадное дыхание. Лицо Алексея было бледным.

Волновался и Захаров. Раскрывая планшет, он опять на несколько секунд вспомнил Гусеницина. На этот раз лицо того было настороженное и злое.

Приблизительный, грубый план местности — три березки и тропинка, ведущая к шоссе, — был набросан за минуту.

Ни к чему Захаров пока не притрагивался. Предварительно требовалось самым тщательным образом осмотреть место вокруг этих первых свидетелей преступления. Захаров не ошибся, полагая, что кроме платка и бечевки должны быть обнаружены и другие предметы. В примятой траве лежали светло-зеленая расческа и маленький прокуренный мундштук янтарного цвета. Припав на колени, сержант двумя пальцами бережно взял мундштук. На его полированных гранях были заметны отпечатки пальцев. Расходясь веером, узоры замыкались в полукруг и обрывались у точеных ребер мундштука.

— Ваш? — Захаров повернулся к Северцеву, боясь, что тот ответит: «Да».

Но Северцев отрицательно покачал головой и с той же виноватостью, которая все эти дни сквозила в его голосе, тихо пояснил:

— Я не курю.

Не понять было Северцеву, почему лицо Захарова после этого стало суровее и сосредоточеннее.

В планшете следователя оказался специальный зажим, которым Захаров закрепил мундштук. Он закрепил его так, чтобы не стерлись следы пальцев.

К расческе сержант подбирался, словно к спящей змее, которая может смертельно укусить, если ее взять не там, где полагается. В эти минуты Северцев не только разговаривать — дышать боялся. Он не представлял ясно, для чего Захаров делал все это, но понимал, что это нужно.

Рассматривая расческу на солнце, Захаров обнаружил на ее плоских боках серые извилистые узоры, оставленные чьими-то потными пальцами.

— Ваша? — обратился он снова к Алексею.

— Нет, — ответил Северцев, не подозревая, сколько радости и надежд доставил он сержанту и этим своим отрицательным ответом.



В планшете следователя нашлось место и для расчески. Как и мундштук, она была закреплена торцами в особом зажиме.

Захаров решил вызвать служебную машину и до ее прихода не прикасаться к

платку и бечевке. Опустившись еще ниже к земле, он заметил, что трава в бурых накрапах.

— Кровь, — сказал Захаров и, сорвав несколько таких травинок, положил их в блокнот.

Закончив предварительный осмотр и сфотографировав место преступления, он написал на листке бумаги номер телефона майора Григорьева и подал его Северцеву.

— Звонить умеете?

— Умею, — с готовностью ответил тот, стараясь хоть этим помочь сержанту.



То, что Северцеву следовало сообщить Григорьеву, после того как созвонится с ним, было написано на том же листке: «След найден. Жду у Оленьего вала. Захаров».

Когда Алексей ушел, Захаров сел на траву и закурил. В эти минуты он походил на золотоискателя, который после долгих и мучительных поисков золотоносного места напал наконец на такую жилу, где драгоценный металл лежит в крупных самородках. Так аппетитно Захаров курил только на войне, в передышках между боями. Только тогда, в войну, все было по-иному. Такого вон пруда, набитого загорелыми ребятишками, которые с птичьим гомоном барахтались в воде, он в те дни нигде не встречал. Вместо непрерывно проплывающих с тихим шелестом красивых «зисов» в сорок четвертом и сорок пятом по разбитым дорогам, надрывая слух, грохотали тракторы-тягачи с пушками на прицепе, мощные танки с десантом на броне, «катюши». И не «Беломорканал» из модного портсигара, а моршанскую или бийскую (крепкую, как все сибирское) махорку из атласного вышитого кисета, подаренного ему в сорок четвертом году шефами-школьницами, когда лежал в госпитале, курил тогда он.

Захаров размечтался. Все вокруг было мирное, не фронтовое, а вот настроение каким-то маленьким отзвуком, тонким, отголоском напоминало те далекие, отгремевшие боевые будни. Отдавшись воспоминаниям о прошлом, он сидел до тех пор, пока перед ним не появилась высокая фигура Северцева. Почему он очутился перед ним, сержант вначале не понял. Он впал в секундное забытие — так с ним уже бывало и раньше, когда он переутомлялся. Врачи объясняли это контузией.

Вскоре пришла служебная машина. Из нее вылезли Григорьев, Гусеницин и Зайчик. Последним вышел широкоплечий, небольшого роста, парень с овчаркой.

При виде собаки («ищейка!») у Северцева пробежали по спине мурашки.

У проводника собаки было скуластое монгольское лицо, черные как смоль стриженные волосы и раскосые глаза.

Ни о чем не спрашивая, майор молча, с озабоченным лицом присел на корточки и принялся рассматривать платок, бечевку, траву. Все молчали. В уверенных движениях Григорьева было нечто тайное, непостижимое для других.

— Ясно, ясно, — проговорил он и, встав, отряхнул руки. — Пускайте собаку.

Монгол дал понюхать овчарке носовой платок, издал при этом особый гортанный звук — это была команда «След!», — и собака, покружив вокруг березок, рванулась в глубь рощи, к прудам, почти касаясь кончиком носа земли.

Монгол время от времени издавал какие-то гортанные звуки, его широкие скулы еще больше обострились, раскосые глаза горели, и Северцеву казалось: не будь сейчас собаки, монгол сам поведет людей по невидимому следу.

Григорьев, Гусеницин и Зайчик поспешили за собакой. Захаров и Северцев остались на месте — так распорядился майор.

Минут через десять вернулся запыхавшийся Зайчик и сказал, что след оборвался у стоянки такси недалеко от главного входа в парк Сокольники. Переводя дыхание, он закончил:

— Майор приказал ждать вторую собаку.

Когда след старый или затоптан, собака зачастую теряет его или сбивается на ложный след. В таких случаях для проверки пускают другую собаку — контрольную.

Передав приказание, Зайчик круто повернулся и побежал в сторону парка Сокольники.

Вскоре на шоссе остановилась милицейская «Победа», и из нее с рыкающим львиным клочотаньем выпрыгнула лобастая, с темной спиной овчарка.

Собаку держал высокий пожилой человек с длинным и узким лицом. Его тонкие руки, которые свободно болтались в широких рукавах белого кителя, еле справлялись с нетерпеливым псом. Северцев боязливо отступил за березу и вышел из-за нее только тогда, когда из «Победы» грузно вывалился старшина Карпенко. От его широкой груди, крепких рук и рыжих усов на Северцева повеяло силой и спокойствием.

Овчарку звали Палах. Это был красивый пес с внушительным экстерьером. После того как ему дали понюхать носовой платок, он тоскливо завизжал, покружился на месте, как и первая ищейка, и повел к шоссе. Проводник еле успевал за ним. У кромки шоссе Палах повернул назад и, никуда не сворачивая, повел своего хозяина вначале к прудам, а потом свернул к Сокольникам.

Захарову становилось ясно, что грабители бежали врассыпную, чтобы в случае поисков сбить со следа.

Пока сержант думал, что же предпринять, если и этот след оборвется, прибежал Зайчик. Обливаясь потом, он скороговоркой сообщил:

— И эта привела к стоянке такси. Майор приказал все забрать и идти к нему.

Захаров еще раз окинул взглядом место преступления, аккуратно завернул обнаруженные предметы в пергамент и направился к парку. Только теперь он почувствовал голод и усталость. Сзади покорно плелся Северцев. Лицо его было утомленное и безразличное.

Недовольные потерянными следами, собаки досадно повизгивали. Палах то бросался к лесу, то тянул своего проводника назад и, извиваясь между машинами, всякий раз подводил к «Победе», стоявшей в стороне от других машин. Растерявшийся шофер — он был молод и, как видно, новичок в своем деле — сидел в кабине и, озираясь по сторонам, не знал, что делать: терпеливо ждать пассажира или подобру-поздорову убираться с этого места порожняком.

Майор заметил волнение шофера и успокоил его:

— Не обращайтесь внимания, молодой человек, это к вам не относится. — И, отойдя в сторону, хмуро добавил: — След потерян.

— Да, — в тон, сочувственно подхватил Гусеницин, — как ни прискорбно, но это так.

Никто, кроме Захарова и Григорьева, не уловил в этом сочувствии скрытые нотки радости человека, репутация которого несколько минут назад во многом зависела от того, куда приведет след, обнаруженный Захаровым.

Оставалась еще одна надежда: мундштук и расческа. Об этом Захаров сказал Григорьеву, когда они вернулись в отделение. Майор внимательно рассмотрел находки и снова осторожно закрепил их в зажимах. Вызвав посыльного, он распорядился:

— Вот это немедленно отправьте в научно-технический отдел.

Козырнув, посыльный вышел.

Майор посмотрел на покрасневшие от бессонных ночей веки Захарова, на его ввалившиеся небритые щеки и грустно улыбнулся:

— А что, если и отпечатки ничего не дадут? Предположим, что они принадлежат грабителям. Но ведь может быть и так, что преступники не имели еще ни одного привода. Это во-первых. Во-вторых, может быть, что отпечатки пальцев оставлены не грабителями. Может? — Майор испытующе посмотрел на Захарова.

Сержант выдержал его взгляд.

— Я учел и это, товарищ майор, — твердо ответил он. — Есть еще два пути. Первый — искать гражданина со светлыми волосами и свежим шрамом через правую щеку. Второй путь обнаружен сегодня. Теперь уже ясно, что грабители уехали на такси. В Москве три тысячи шоферов-таксистов. Цифра не малая! Но в ночь, когда был ограблен Северцев, работала тысяча водителей. Значит, две тысячи уже отпадают.

— Но не забывайте, что это было три дня назад.

— У шоферов такси очень хорошая память на пассажиров. У них есть свои любимые стоянки. Они отлично помнят тех, кого везли даже неделю назад. А эта знаменитая тройка не могла не обратить на себя внимания. Они нервничали, они спешили и наверняка хорошо заплатили.

Майор откинулся в кресле. Он не мог не порадоваться сообразительности сержанта. «Молодчина! Умен», — подумал Григорьев и, встав, подошел к нему вплотную:

— Правильно. Только береги себя. Умей рассчитывать силы. А сейчас — отдыхать! Желаю удачи. — И уже тоном более строгим закончил: — Пока не выспишься — на работу не смей являться.

— Есть, товарищ майор, — откозырял Захаров и вышел из кабинета.

Когда он спустился в дежурную комнату, лейтенант Ланцов подал ему свернутую вдвое бумажку. Это была телеграмма из Хворостянского районного отдела народного образования. В телеграмме подтверждалось, что окончившему в этом году Хворостянскую среднюю школу Северцеву Алексею Григорьевичу был выдан аттестат зрелости с золотой медалью.

Захаров бережно свернул телеграмму и положил ее в блокнот. Перед уходом он попросил:

— Товарищ лейтенант, прошу вас, когда Северцев придет с обеда, передайте ему, что завтра в десять утра я за ним приеду. Пусть ждет в дежурной.

Лейтенант кивнул:

— Хорошо, передам.

Было уже четыре часа дня, когда Захаров вышел с вокзала. Всю дорогу домой он придумывал, как бы оправдаться перед матерью и скрыть, что пошли вторые сутки, как он ничего не ел. Но что бы ни придумывал, все получалось неубедительно. Она опять начнет плакать и умолять, чтобы он поберег себя и пожалел мать.

Из метро Захаров и Северцев вышли в Охотном ряду. Зубцы Кремлевской стены, золотые купола старинных церквей, старые бойницы башен и взлетевшие высоко над ними рубиновые звезды — все это разбудило в Алексее новое, не испытанное ранее чувство. Это чувство было непродолжительное, но сильное. Он даже забыл о злключениях, которые с ним произошли, и испытывал восторг человека, впервые увидевшего своими глазами то, что он только смутно представлял воображением.

Манежная площадь была залита утренним солнцем. Моховая улица выглядела особенно оживленной. Она звенела молодыми голосами, пестрела цветными нарядами девушек: отовсюду неслись возгласы приветствий, смех, шутки. Все, что видел Северцев, ему казалось необычайно праздничным и торжественным.

— Вот и университет. — Захаров показал на здание с большим стеклянным куполом.

Алексей в ответ только вздохнул.

Московский университет в июле жил особой, напряженной жизнью. Со всех концов страны и даже из других стран мира съезжалась сюда молодежь, чтобы помериться знаниями на экзаменах. Сколько бессонных ночей проведет какой-нибудь сибиряк в дальней дороге, прежде чем увидит Москву, Кремль, университет!.. И неробкий человек на первых порах растеряется. Все, что когда-то схватывал одним лишь воображением, сейчас лежит перед тобой живое, величественное. Смотри, любуйся, запоминай. Если даже не попадешь в университет, то и в этом случае не зря проездил отцовские деньги: побывал на Красной площади, в Мавзолее видел Ленина.

Больше всего заявлений в университет подавали отличники. Но заглядывали сюда и те, кто не решался подавать документы: с тройками в аттестате нечего тешить себя надеждой. Из любопытства они все-таки расспрашивали, прислушивались, присматривались к тем, кто поступает. Где-то в глубине души даже у троечника нет-нет да и шевельнется дерзкая надежда: «А вдруг проскочу?»

Таких легко отличить по их нерешительным лицам.

С документами, завернутыми в газету, ходит такой середнячок по факультетам, потолкует, узнает о том, как «сыпятся» медалисты, и, облегченно вздохнув, нахлобучит поглубже кепку, чтобы двинуть куда-нибудь попроще.

Не меньше здесь было и болельщиков.

Военные и штатские, старые и молодые, женщины и мужчины — каждый думал: уж если он сам пришел с дочерью или сыном, то это непременно облегчит поступление. Посоветовать, предостеречь, может быть, повидать полезного знакомого — мало ли какие могут встретиться неожиданности, где нужен отцовский или материнский глаз.

Переживали родные не меньше тех, за кого они болели.

Были болельщики и у Алексея Северцева. Это он знал хорошо, и ему от этого становилось легче. А где-то в глубине души даже жила маленькая надежда стать студентом.

— Вот и юридический, — сказал Захаров. — Давайте заявление, будем соблюдать субординацию.

В узких коридорах юридического факультета маленькими группами стояли поступающие. Возбужденные, они о чем-то спорили, размахивая руками.

— Вы подождите, а я пойду к декану. — Николай направился в деканат.

Молоденький, лет восемнадцати, брюнет с пробивающимися усиками выскочил из аудитории, где проводилось собеседование с поступающими, и, поджав руками

живот, захлебывался от смеха. Все повернулись к нему.

— Обождите, дайте в себя прийти...

Наконец он нахохотался.

— Он ее спросил: «Что такое бизония?» А она, — и брюнет снова принялся хохотать, — она подумала и отвечает: «Бизония — это страна, где водятся бизоны».

Взрыв смеха прокатился по коридору.

Северцев стоял рядом с этой веселой компанией, но не слышал, о чем рассказал брюнет с усиками. Теперь, когда, точно сговорившись, все повернулись в его сторону, он залился краской и растерялся. «Неужели надо мной?» — подумал он и, сконфуженный, прошел в конец коридора. Напротив двери в актовый зал остановился. В зале шла репетиция. Лариса Былинкина, студентка второго курса, готовила к смотру художественной самодеятельности гопак. Поджарый и уже немолодой танцмейстер показывал ей какое-то замысловатое па и раздражался, когда у его ученицы оно не получалось.

— Смотрите внимательно, нога в этом повороте должна описывать вот такую линию, — показывал танцмейстер. — А у вас все на манер барыни. Начнем снова. — Он махнул рукой пианисту.

— Получилось? Сейчас правильно? — Лариса подбежала к танцмейстеру.

Но и на этот раз у девушки вышло не то, чего от нее добивался учитель.

Танцмейстер молча собрал ноты, положил их в папку, вытер платком лицо. Выходя из зала, он неожиданно остановился в дверях:

— Мне кажется, вы начали зазнаваться, Лариса. А нужно больше работать. Я вас готовлю к серьезному смотру!

Когда учитель вышел из зала, пианист, тоже студент, принялся успокаивать Ларису, которая, чуть не плача, нервно наматывала на палец косынку.

— Ничего, успокойся, на него иногда находит.

— «Успокойся»! Легко сказать...

Из коридора донесся раскатистый хохот. Ларису словно передернуло. Она быстро подбежала к двери и с силой распахнула ее настежь, чуть было не стукнув высокого плечистого парня с забинтованной головой.

— Что вам нужно? Что вы здесь торчите? — раздраженно закричала она на Северцева

— Я... Я только стою здесь.

— Нечего вам здесь стоять! — Лариса с гневом захлопнула дверь.

Захарова все еще не было, хотя прошло уже более двадцати минут. Алексей, не зная, куда деть себя, подошел поближе к кабинету декана. Прислушался. По обрывкам разговора; доносившегося из-за дверей, он понял, что декан упорствует.

И действительно, разговор у Захарова был нелегким. Он исчерпал почти все доводы, но положительного результата не предвиделось.

Всегда спокойный, декан начал раздражаться.

— Не могу, не могу, — разводил он руками. — Аттестата нет, а на слово верить не могу.

— Я представитель государственной власти и прошу мне верить. Не верите словам, так верьте документам. Вот письменное подтверждение об ограблении. Вот телеграмма Хворостянского роно. Наконец, если и этого мало, я могу пригласить в кабинет Самого потерпевшего, — напирал Захаров. — Правда, выглядит он неважно, весь в бинтах, но в порядке вещественного доказательства можете поинтересоваться.

— Нет-нет, пожалуйста, не беспокойте товарища. Я верю вам, уважаемый, но до тех пор, пока не будет подлинников необходимых документов, ничего не могу сделать. Таковы правила. Они не мной придуманы.

— Да, но во всяком правиле есть исключение. Я об этом слышал на ваших лекциях, профессор.

— Исключение может санкционировать только ректор. Это его компетенция.

— Хорошо. Я буду обращаться в ректорат. А если потребуется — и в Московский Комитет партии. Пожалуйста, напишите свою резолюцию об отказе.

Декан еще раз пробежал глазами заявление, медленно обмакнул перо в чернильницу, но, не написав ни слова, положил ручку и молча отошел к окну:

— Право, в моей практике это первый случай. Беспрецедентный случай.

— Нет, случай не беспрецедентный. О таких случаях, и о таком отношении к людям говорил в свое время Ленин.

— Что вы имеете в виду?

— Формально правильно, а по существу — издевательство. Прошу вас, профессор, напишите ваш отказ.

— Да, но ведь я не отказал категорически. Я только довел до вашего сведения, что подобных случаев в своей практике не встречал. Я готов помочь товарищу Северцеву. Простите, ваша фамилия? — с трогательной и слегка заискивающей улыбкой спросил декан.

— Захаров.

— Пройдемте, товарищ Захаров, вместе к ректору и там решим этот вопрос.

К ректору шли втроем; декан, Захаров и Северцев. Шли цепочкой, один за другим. Впереди — декан, за ним, несколько приотстав, — Захаров. Когда проходили университетский дворик, на котором была разбита пышная клумба, Алексей окинул взглядом желтый корпус с лепными львами над окнами, и в душе его вспыхнул проблеск надежды: «А что, если посчастливится здесь учиться? Что, если примут?»

Приемная ректора была полна посетителей. Отцы и матери, детям которых было отказано в приеме, сидели с озабоченными лицами и, очевидно, в десятый раз повторяли про себя те убедительные мотивы, с которыми они обратятся к ректору. Юноши и девушки с грустными лицами стояли здесь же, рядом с родителями, и молчаливо переминались с ноги на ногу. Худенькая секретарша по привычке не обращала внимания на посетителей и продолжала стучать на машинке.

Декан и Захаров сразу же прошли к ректору. Северцеву было приказано ждать в приемной.

Несмотря на то, что окна и дверь приемной были открыты настежь, в комнате стояла духота. Очень полная дама в полосатом платье, не переставая, махала перед собой газетой. Рядом понуро стояла ее дочь. Она была точно в таком же полосатом платье и очень походила на мать.

— Ваша на чем провалилась? — обратился к даме в полосатом платье сухонький



старичок с козлиной бородкой.

Этот вопрос даме не понравился.

— Что значит «провалилась»? Почему «провалилась»? Просто к моей дочери отнеслись безобразно. — И она подчеркнуто неприязненно отвернулась от старичка.

Как и все здесь присутствовавшие, Алексей переживал тяжелые минуты в ожидании решения его судьбы.

Когда машинистка переставала стучать по клавиатуре, в приемной наступала такая тишина, что становилось слышно, как прыгала минутная стрелка электрических часов над входной дверью. Время от времени ожидавшие с тревогой посматривали на обитую черным дерматином массивную дверь с табличкой: «Ректор Московского государственного университета академик И. Г. Воеводин». Было что-то внушительное в этих серебряных буквах на черном фоне.

— О боже, уже двадцать минут, а они никак не наговорятся! Может быть, он уже закончил прием? — нервничая, обратилась дама в полосатом к секретарше, но ответа не дождалась: ректор вызвал секретаршу к себе.

А вскоре к Воеводину вызвали и Северцева. В просторном кабинете ректора Алексей сразу почувствовал приятный освежающий холодок. Из-за длинного Т-образного стола привстал лысый человек с добрым и немолодым лицом, на котором особенно выделялись печальные и умные глаза. Алексей понял, что это академик Воеводин.

В первые секунды Северцев растерялся. Не таким он представлял себе ректора, да еще академика со столь громкой фамилией. В самом слове «ректор» звучало для него, что-то строгое, солидное и суровое.

Забинтованная голова Алексея произвела на Воеводина удручающее впечатление. Он сочувственно произнес:

— О разбойники, как они вас!

Декан глубоко сидел в мягком кресле и рассматривал Северцева через пенсне в золотой оправе.

Пододвинув к себе заявление, к которому была, подколота телеграмма Хворостянского роно, ректор размашистым почерком написал в левом верхнем углу резолюцию и нажал на кнопку звонка.

Вошла секретарша.

— Включите в приказ.

Мельком Алексей увидел: «Зачислить со стипендией...»

Вряд ли когда-нибудь чувствовал он такой прилив радости, какой охватил его в эту минуту. Ему даже душно стало.

Ректор встал из-за стола. Потирая руки, он улыбнулся доброй улыбкой:

— Ну вот, все и утряслось. Считайте себя, товарищ Северцев, студентом-юристом. В выборе друзей будьте осмотрительны. Не ищите их на вокзалах.

— Спасибо, — тихо ответил Алексей.

— Спасибо не мне, а товарищу Захарову. Вам повезло, молодой человек, что у вас такой опекун. А сейчас идите к председателю профкома, расскажите свою историю, там вам помогут материально. Будьте здоровы.

Когда Захаров и Северцев вышли, ректор поднял телефонную трубку и набрал номер.

— Николай Петрович? Здравствуйте. Воеводин. К вам сейчас придет абитуриент Северцев. Собственно, уже не абитуриент, а студент первого курса юридического факультета. У него стряслось несчастье. Об этом он вам сам расскажет. Сейчас он без копейки денег. Нужно помочь. Располагаете? Ну и прекрасно.

Ректор положил телефонную трубку и нажал кнопку.

— Прошу следующего, — сказал он вошедшей секретарше.

20

Оставив Северцева на попечение профкома, который должен был организовать над ним шефство, Захаров, довольный и веселый, остановился у пивной палатки и попросил кружку пива.

Снова вспомнился Гусеницин. На этот раз он стоял перед майором Григорьевым бледный и жалкий. Григорьев возмущался: «Вы предлагали дело приостановить. Фактически прекратить. Помочь Северцеву с университетом вы считали невозможным, это не входит в ваши полномочия. Но почему это мог сделать Захаров? Я вас спрашиваю — почему? Молчите?» Захаров отчетливо представлял, как на широком лбу Григорьева поднимаются, словно крылья большой птицы, его густые брови.

Обернувшись, Захаров увидел рядом с собой пожилого и полного мужчину с открытым добродушным лицом. В руках он держал вяленую воблю. После двух-трех глотков толстяк кряхтел от удовольствия и приговаривал:

— Цимес! Сила!..

Захаров попробовал, глядя на соседа, подсолить пиво. Тот многозначительно подмигнул: дескать, не пожалеешь. Захаров пил, как и его сосед, медленно, смакуя, и все же не допил. Сосед расценил это как слабость.

...Захотелось позвонить Наташе. И недовольный майор, и скорбное лицо Северцева, и растерянность Гусеницина — все было мгновенно оттеснено, как только вспомнилась Наташа.

«Самолюбие? Гордость? Чепуха! Позвоню — будь что будет». Вошел в будку, набрал номер телефона, но в какие-то секунды вдруг испытал необъяснимую робость. Не дождавшись, когда кто-нибудь из Луговых снимет трубку, он нажал на рычажок. «Нет! Никогда! Ни за что! Взять себя в руки и не унижаться».

Обычно в свободное от работы время Захаров не звонил на службу. Сейчас же он позвонил майору Григорьеву — узнать, не пришел ли ответ из научно-технического отдела.

Майор ответил, что ответ только что получен и ответ хороший. Медлить нельзя.

Через двадцать минут Захаров уже стоял в следственной комнате перед Григорьевым и думал: «Неужели мундштук и расческа вывели на след? Но почему вы медлите, майор? Говорите быстрее», — трепетал он в нетерпеливом ожидании.

Потирая руки, майор ходил по комнате.

— Это, брат, не тяп-ляп, не новичок, а зубастый волчонок. Три привода, две судимости. Последний раз сидел за ограбление квартиры, девять месяцев назад был амнистирован.

Нетерпение Захарова усиливалось. Когда же наконец манор скажет то главное, что сообщили из городской милиции: фамилию, имя, адрес, возраст, приметы.

Но Григорьев, словно нарочно, не торопился. Так продолжалось еще несколько минут.

Потом, подойдя к столу, майор пододвинул Захарову лист бумаги и указал на карандаш:

— Пишите. Кондрашов Анатолий Семенович, тысяча девятьсот двадцать пятого года рождения. Адрес: Сенысовский переулок, дом девять, квартира тринадцать.

Дальнейший разговор был коротким. Майор предупредил, чтобы оружие было в исправности.

— При явном сопротивлении — прибегать к физическому воздействию. — Григорьев остановился и строго посмотрел на Захарова: — Психологизмом не злоупотребляйте. Запомните: эта романтика погубила многих молодых людей. Прекрасных людей. Машина готова. В ней вас ждет Карпенко. Ордер на обыск подписан, возьмете у дежурного.

Захаров вышел на улицу. Рядом с машиной нетерпеливо похаживал старшина Карпенко. В машину сели молча: в такие минуты обычно не разговаривают.

21

Растерянность и удивление, с которыми Кондрашов предъявил паспорт, мелкая дрожь пальцев и как-то сразу осевший голос — все говорило о том, что тот не ожидал непрошенных гостей. Жена Кондрашова еще не пришла с работы, а теща, как вошла в комнату с алюминиевой кастрюлей, из которой пахло душистым, укропным запахом окрошки, так и застыла на месте. В течение всего обыска она мучительно соображала, что бы это могло значить, но так и не догадалась. В своем зяте, который всего лишь полгода как сошелся с ее дочерью, она не чаяла души. А тут вдруг милиция!

Удостоверившись, что в комнате не было похищенных у Северцева вещей, Захаров сказал хозяину:

— А вам придется ненадолго проехать с нами.

— Разрешите мне написать жене маленькую записку, — попросил Кондрашов.

Захаров разрешил.

Пока Кондрашов искал бумагу и чинил карандаш, Захаров принялся рассматривать обстановку комнаты уже не как следователь, ищущий материальные улики преступления, а как человек, который по вещам старается составить представление об их владельцах. Он любил и считал полезным этот вид психологического творчества.

На старенькой этажерке книгами была заставлена только средняя полка. На остальных — симметричными рядами выстроились пустые флаконы из-под одеколона и духов, коробочки из-под пудры, цветные открытки, изображающие влюбленных в момент объятий и поцелуев. Такие открытки чаще всего продают из-под полы спекулянты у вокзалов и в поездах дальнего следования.

Над двуспальной с никелированными шишками и завитушками кроватью, покрытой новым тканьювым одеялом, висел лубок, какие можно часто видеть на московских рынках. На нем были изображены плавающие с круто изогнутыми шеями лебеди. Над лебедями с берегов нависали густо-зеленые кусты. На самой середине озера в лодке сидела молодая пара. Он греб, а она, румяная, с распущенными волосами, застыла на лавочке напротив. Стены комнаты были в фотографиях: они висели в рамках и без рамок, большие и маленькие, семейные и одиночные, в рост и по пояс. И почти на каждой люди держали себя неестественно-деревяннo, выпячивая напоказ ручные часы, до блеска начищенные хромовые сапоги, завитые чубы и все то, что являлось признаком достатка.

«Нет, невелики духовные запросы этих людей, — приходил Захаров к твердому убеждению. — Невелики».

Наконец Кондрашов написал записку. Он хотел было передать ее теще, но Захаров потребовал прочитать написанное.

Кондрашов писал: «Рая, не волнуйся. Получилось какое-то недоразумение. Если не вернусь вечером, значит, меня задержали в отделении милиции. Анатолий».

Не найдя в записке ничего такого, чтобы придавать этому значение, Захаров вручил ее теще, стоявшей в недоумении у стола.

Первым из комнаты вышел Карпенко. За ним, повинуясь знаку Захарова, следовал Кондрашов. Квартира была коридорной системы, многонаселенной. Пробраться пришлось сквозь строй любопытных глаз соседей.

Рост, цвет волос, цвет глаз, возраст Кондрашова — все совпадало с приметами, какие были даны в показаниях Северцева об одном из грабителей. «Толик... Наконец-то в клетке!» — ликовал Захаров.

Пропустив вперед Кондрашова, который перед тем, как сесть в «Победу», пристально посмотрел («Может быть, в последний раз», — подумал Захаров) в сторону дома, очевидно, отыскивая свое окно, Захаров сел с ним рядом в захлопнул дверцу.

Карпенко сел рядом с шофером.

Ехали молча. Каждый думал о своем.

«Такое же чувство (не больше), наверное, испытывал и Наполеон, когда взял Москву: хотя вся Россия и не завоевана, но день великого торжества близок...» Захаров хотел и дальше развивать это случайно пришедшее в голову сравнение, но, встретившись в круглом зеркальце с глазами шофера, почувствовал, что тот наполовину разгадал его мальчишеский задор. Шофер даже усмехнулся краешками губ. Точно пойманный с поличным, Захаров почувствовал, что краснеет, и постарался подавить восторг. Искоса он стал наблюдать за Кондрашовым. А тот за всю дорогу сказал не больше двух-трех слов, когда просил разрешения закурить. «Молчишь, храбришься, но лицо тебя выдает. Бледный ты как мел», — думал Захаров и мысленно повторял главные три вопроса, которые он задаст при допросе.

В отделении милиции, куда Кондрашов был доставлен, сидел Гусеницин и протирал ветошью пистолет. Подняв голову, он посмотрел на вошедших так, как можно только смотреть на людей, которые в следующую секунду наотмашь ударят тебя по лицу, а им ответить тем же нельзя.

Допрос начался в маленькой комнате с четырьмя стульями и одним столиком. На допрос пришли Григорьев и Гусеницин. Гусеницина майор пригласил специально, чтобы показать ему, как можно находить следы там, где их как будто не видать совсем.

Кондрашов расстегнул верхнюю пуговицу рубашки: ему было душно в этой комнате, пропитанной табачным дымом. Переводя взгляд с Захарова на Григорьева, он ждал.

Прошло еще несколько минут неловкого молчания, пока Захаров доставал из папки бланк протокола допроса.

«Можно начинать», — наклоном головы распорядился Григорьев и по старой привычке на минуту закрыл глаза.

— Ваша фамилия? Имя? Отчество? — неторопливо начал Захаров.

— Кондрашов Анатолий Семенович.

Далее шли: «год рождения», «место рождения», «национальность» — все то, что принято считать «демографическими данными». Ответы Захаров записывал, не глядя на Кондрашова. Дойдя до графы, которую Захаров считал одной из существенных в допросе, он сделал небольшую паузу, прикидывал в уме, каким тоном следует задать этот вопрос:

— Имели ли ранее судимость?

— Да.

— Когда, за что и по какой статье были судимы?

— За квартирную кражу.

Захаров чувствовал, как Кондрашов все больше овладевал собой. Голос его становился увереннее, бледность проходила. «Видать, воробей стреляный, не легко с ним будет». Сержант еще раз взглянул на Григорьева, словно ища у него подсказки, как поступить дальше. Но тот был непроницаем — глядел в окно и гладил левой ладонью седеющую щетину подбородка.

— Так, значит, за квартирную кражу? — переспросил Захаров, записывая ответ Кондрашова в протокол. Он подходил к самому главному, и по мере приближения к этому главному нарастало волнение молодого следователя. Он понимал, что волноваться нельзя, особенно когда твой противник, в противовес тебе, обретает все большее спокойствие, но справиться с собой не мог. Голосом, в котором слышались нотки торжественности, Захаров сказал: — А теперь, гражданин Кондрашов, расскажите, где вы были в ночь с двадцать пятого на двадцать шестое июня, и не только эту ночь, но и весь предыдущий день двадцать пятого. Постарайтесь вспомнить подробнее. Если забыли день, то я напомним, это был понедельник.

Кондрашов сидел прямо и, подняв брови, открыто глядел на Захарова. В глазах его неожиданно вспыхнул огонек тайной радости.

— Понедельник?

— Да, прошлый понедельник.

Допрашиваемый пожал плечами и безобидно улыбнулся:

— Встал, как всегда, в восемь утра, умылся, позавтракал, потом пошел на рынок. — Он рассказывал не торопясь.

Захаров задавал уточняющие вопросы и подробно записывал даже на первый взгляд самые несущественные детали. Он знал, что в следственной практике нередко случается, как порой незначительная, а иногда и совсем не относящаяся к делу частность выводит на верный путь.

— Что же вы делали на рынке? Что купили?

— Так, кое-что по мелочи: мясо, картошку, редиску...

— Потом?

— Потом зашел в парикмахерскую, подстригся.

— В какую парикмахерскую?

— Там же, на рынке.

— Вы можете вспомнить парикмахера, который вас стриг?

Кондрашов ответил не сразу:

— Может, и вспомню, если увижу.

Когда Кондрашов начал рассказ о рынке, Григорьев подумал о том же, о чем и Захаров, что задержанный калач тертый: попробуй докажи, что он не был на рынке! Когда же тот заговорил о парикмахерской, да еще заявил, что узнает мастера, который его стриг, майор готов был изменить свое мнение: неужели такой неопытный?

— Когда вы вернулись домой?

— Часов в двенадцать дня.

Захаров поглядел в протокол допроса Северцева, где тот показывал, что с группой грабителей он встретился на вокзале в одиннадцать часов дня, а в первом часу все четверо уже сидели в ресторане.

— Хорошо. Вы говорите, что домой вернулись с рынка в двенадцать часов. Что вы делали дома?

— Дома? — Кондрашов потер кулаком лоб. — Вот не припомню. Пойдите, пойдите, кажется, припоминаю. Дочитывал книгу.

— Какую?

— «Как закалялась сталь».

Эту книгу со штампом библиотеки Захаров видел на этажерке Кондрашова.

— И долго вы читали книгу?

— Часов до трех.

— Был ли в это время кто-нибудь в вашей комнате? Не заходил ли кто?

— Никто не был, и никто не заходил.

— Хорошо, допустим, что книгу вы читали до трех часов. — Захаров уже справился со своим волнением и пристально всматривался в лицо Кондрашова. «Стреляный, стреляный, — думал он. — Но не уйдешь. В три часа, голубчик, ты уже сидел в ресторане «Чайка». Ну что ж, давай, давай, пока врешь солидно и убедительно. Правда, вот насчет парикмахера ты дал маху». — Что же вы делали после трех часов?

— Пообедал и ровно в три двадцать пошел на работу.

— На какую работу? — Захаров кинул тревожный взгляд на Григорьева.

Тот, повернувшись всем корпусом на стуле, смотрел на Кондрашова.

— На какую работу вы пошли в понедельник двадцать пятого июня в три часа двадцать минут? — переспросил Григорьев.

— На свою, гражданин начальник. В цех, где я работаю слесарем-монтажником.

Майор встал и, подойдя почти вплотную к допрашиваемому, укоризненно покачал головой:

— Эх, Кондрашов, Кондрашов. Ведь ты не новичок. Не впервой приходится давать показания, а ведешь себя, как тот мальчишка, который, играя в прятки, прячет голову под бабушкин фартук и думает, что его никто не видит. К чему все это? Отвечай правду: где ты был с трех часов в прошлый понедельник?

— Я еще раз говорю, что пошел на работу, — уже с досадой ответил Кондрашов. — Можете справиться. Всю прошлую неделю я работал во вторую смену, с четырех до двенадцати ночи.

— И это могут подтвердить на заводе? — не отрывая глаз от допрашиваемого, спросил Григорьев.

— Да, могут.

— Что ж, проверим. Только вам придется подождать, пока мы справляемся.

«Может быть, стоит показать ему расческу?» — написал крупными буквами Захаров на листе бумаги. Майор прочитал и вслух ответил:

— Ни в коем случае. Никогда не спешите выворачиваться наизнанку в первую же минуту.

Григорьев позвал дежурившего при входе милиционера и приказал отвести Кондрашова в камеру предварительного заключения.

Когда Кондрашов и дежурный милиционер вышли, Григорьев подошел к окну:

— По теорий вероятностей два одинаковых пальцевых отпечатка могут повториться на земном шаре через миллион лет. То есть практически это невозможная вещь. Он просто оттягивает время. Где Северцев? Немедленно провести опознание!

— Товарищ майор, я уже звонил в общежитие. Комендант сказал, что его в комнате нет, — ответил Захаров. — Я хочу перед опознанием съездить на завод и проверить показания Кондрашова.

— Поезжайте, только быстрее.

Видно было, что майор чем-то недоволен.

Выйдя из следственной комнаты, Григорьев сильно хлопнул дверь. Поднимаясь к себе в кабинет, он остановился в коридорчике, где пришедшая с поста смена милиционеров сдавала оружие и переодевалась. Стоявший здесь шум раздражающе резанул слух майора, и он уже намеревался призвать к порядку, но, заметив, как старательно и любовно молоденький сержант складывает свою милицескую форму в маленький шкафчик в стене, улыбнулся.

Закрыв дверь своего кабинета на ключ, майор достал из нижнего ящика письменного стола флакончик валерьянки и, боязливо оглядевшись, словно опасаясь, чтобы кто-нибудь не подсмотрел за ним, влил тридцать капель в стакан с водой и выпил.

Ни жена, ни сослуживцы не знали, что последнее время у майора временами пошаливало сердце. «Жара», — объяснял он себе это наступившее ухудшение здоровья. Флакон с валерьянкой он спрятал на старом месте — в ящике под бумагами.

Григорьев боялся, чтобы не подумали, что он сдает. Размышляя однажды о быстротечности земной жизни, где «ничто не вечно под луной», он хотел, чтоб кто-нибудь из друзей как добрую шутку сказал о нем, когда его уже не будет: «Он прожил жизнь, как боевой конь атакующего Эскадрона, в бешеном галопе, и умер на боевом галопе, в атаке. Славный был старик. И любил пословицы...»

Григорьев вяло улыбнулся: «Но неужели и вправду сдаю?» С этой мыслью он подошел к окну, энергично распахнул высокие створки и вздохнул полной грудью. Не отнимая от створок широко распластанных рук, он с минуту продолжал стоять без движения, прислушиваясь к биению собственного сердца, которое минуту назад щемило и работало с переборами.

— Ну вот и все в порядке, — сказал он вслух. — Вот ты уже тикаешь, как часы.

Он приложил ладонь к левой стороне груди, словно желая лишний раз убедиться, что сердце бьется нормально. «И, конечно, не от валерьянки. Жизнь!..»

22

Когда Ларисе Былинкиной сказали, что ее вызывает декан, она испугалась. «За что?» — мучилась она в догадках и перебирала в памяти все свои грехи, которые успела совершить за год учебы, но так и не поняла, к чему же ей приготовиться.

Все оказалось проще. Декан любезно попросил ее помочь молодому человеку, приехавшему в Москву из Сибири. Приехал учиться, а с ним случилось несчастье.

— Можете познакомиться, студент первого курса Северцев, а это, — декан галантно развел руками и повернулся в сторону Ларисы, — наша прима-балерина, теперь уже студентка второго курса Лариса Былинкина.

Лариса смутилась. Она вспомнила, как накричала на этого парня с забинтованной головой, когда он стоял у дверей актового зала.

— Первым делом, конечно, в столовую, — сказал декан и, повернувшись к Алексею, спросил: — Денег вам в профкоме дали? Ну вот и прекрасно. Потом нужно устраиваться в общежитии. Вам, товарищ Былинкина, не оставлять Северцева до тех пор, пока он не получит там все, что необходимо.

Что могла ответить студентка, когда ее так любезно просит сам декан? Декан, о котором говорят как о черством и непреклонном человеке?

К своему шефству Лариса приступила с особым рвением. Но этот ее энтузиазм стал охлаждаться с первых же шагов. В столовой она молча казнилась, когда ее подшефный (это показалось ей вечностью) ел рагу не вилкой, а ложкой. А когда он принялся корочкой хлеба до глянца подчищать дно тарелки, Лариса готова была от стыда провалиться сквозь землю. Ей казалось, что вся столовая смотрит в ее сторону.

Этот конфуз еще больше усилился на улице. Некоторые прохожие замедляли шаги и с любопытством глядели на странную пару. Если бы это поручение давал не сам декан, она давно бы бросила Северцева.

Не обмолвившись ни единым словом, они дошли до Охотного ряда. Лариса была не из робких, но на этот раз она не находила, о чем можно заговорить со своим странным подшефным. В метро молчание для обоих стало тягостным.

Посмотрев на Алексея скорбными глазами, Лариса спросила:

— Вы упали?

Алексей густо покраснел:

— Нет, на меня напали бандиты.

— Бандиты? — Глаза Ларисы выражали одновременно и удивление и испуг. — Ой, как это интересно! Расскажите, пожалуйста. Я еще ни разу не видела, как людей грабят.

Выпалила и стыдливо спохватилась: «Дура, что же я делаю? У человека несчастье, а я обрадовалась».

— Вы меня извините, я не так выразилась, но я очень прошу вас рассказать, как и где это случилось.

Рассказывал Алексей сбивчиво, неохотно, с пропусками и совсем утаил случай с рестораном. Доведев рассказ до того, как он очнулся в роще без денег и без документов, Алексей кашлянул в кулак и, глядя поверх головы Ларисы, закончил:



— Ну, а дальше я попал в милицию. Это уже неинтересно.

— Нет-нет, интересно, рассказывайте дальше. Мне ужасно нравятся такие штучки. Ведь я и на юридический то пошла только потому, что безумно люблю всякие приключения и опасности. Расследовать, ловить преступников... Это же очень интересно! Пожалуйста, рассказывайте дальше.

Алексей рассказывал, а Лариса не сводила с него глаз. Так, попривыкнув друг к другу, они доехали до Сокольников. В глазах девушки Алексей был уже героем. Не стесняясь прохожих, она шла теперь рядом с ним и дотошно забрасывала его вопросами. В разговоре Лариса не упускала возможности блеснуть и своими знаниями.

— А они очень страшные?

— Да как вам сказать? Обыкновенные.

— Ну ясно, характерные уголовные типы: с узкими низкими лбами, с бандитскими челками и хищными челюстями. Что вы там ни говорите, а я на этот счет ломброзианка. Преступность — это патология. Да, кстати, какие у них ножи? Финские или кинжалы?

— Ножей я не заметил.

— Ах да, я и забыла. Профессор Бурминой говорил нам на лекции, что нож в двадцатом веке как орудие преступности уже не типичен. Его вытесняют другие орудия насилия — огнестрельные.

Говорила Лариса по-книжному, выпренно, грамотно. Слова «лекция», «профессор», «патология», «ломброзианка» (последнее слово Алексей слышал впервые и силится его запомнить, чтобы потом посмотреть в энциклопедии) и еще много других научных слов, слетевших с ее языка, вызвали у Алексея необъяснимое уважение к этой маленькой стройной девушке со светлой головкой и умными синими глазами. Хотя сегодня он сам видел резолюцию ректора о зачислении его на юридический факультет, однако студентом он себя еще никак не чувствовал. В нем ничего не изменилось по сравнению с тем, каким он был месяц и даже год назад. А вот Лариса была настоящая студентка. Она даже «л» выговаривала не как все, а по-особенному, неуловимо мягко и красиво. Свое имя она произносила как что-то среднее между «Лариса» и «Уариса».

Вначале разговор с Ларисой Алексей воспринимал почти как допрос. И только когда она стала спрашивать о доме, о деревне, о матери, о девушке, Алексей впервые почувствовал, что он не в милиции.

Родная деревня, мать, девушка... Вот любимой девушки у него еще нет. Не до этого было, сидел ночами над книгами, выжимал на золотую медаль.

Когда Лариса узнала, что среднюю школу Алексей закончил с золотой медалью, она молча подняла глаза и про себя заметила: «Все ясно. Высокий развитый лоб, умный печальный взгляд и этот особый, благородный овал лица, который обычно встречается у людей одаренных — у поэтов, у художников, у музыкантов...»

В общежитии в июле, как правило, не бывает того порядка, какой поддерживается в течение учебного года. Студенческий городок в это время превращается в туристскую базу. Студенты разъехались на каникулы, а комнаты занимают абитуриенты, студенты из других городов, молодые иностранные гости-туристы. С утра до поздней ночи у проходной будки толпятся группы приезжих и отъезжающих.

Беспорядочная сутолока у окошка дежурного коменданта, снующие взад-вперед, чем-то взволнованные длинноволосые парни, хлопанье дверями в комнатах, бесконечно длинный коридор, где за поворотом шел такой же поворот, — все это Алексею показалось непонятным, чужим, далеким...

Видя беспомощную растерянность своего подшефного, Лариса еще горячее принялась устраивать его быт. Если бы в эту минуту на нее посмотрела мать и увидела, как ее дочка-паинька по-хозяйски распекает коменданта этажа за то, что тот попытался всучить Северцеву рваную простыню, она прослезилась бы от умиления.

— Вы думаете, что вы даете? Нет, вы только посмотрите сами, что вы даете? — Лариса раскинула на руках простыню и сделала такие глаза, что комендант, парень лет двадцати трех, привыкший ко всяким проявлениям студенческого гнева, усовестился. Он скомкал простыню и бросил ее в угол. Из кипы белья он выбрал самую белую простыню и подал ее Ларисе:

— Пожалуйста, новенькая.

— Вот это другое дело, — как само собой разумеющееся, сказала Лариса и положила простыню на стопку белья, лежавшую на вытянутых руках Алексея.

Заправлять кровать Лариса принялась сама, хотя дома за нее это делала домработница.

Алексею никогда в жизни не приходилось заправлять койку подобным образом. Лет до двенадцати он спал с бабкой, подстилая под себя старый тулуп и покрываясь рядом. Когда бабка умерла и Алексей стал ходить в седьмой класс, сосед-плотник по просьбе матери сколотил ему за пуд пшеницы деревянный топчан на козлах. Матрацем служил холщовый тюфяк, набитый соломой. Накрываться стал бабкиным одеялом, которое она никому не давала (приданое!) и берегла в сундуке до самой смерти. Ватное, из красных и синих треугольных лоскутков, оно было мечтой семилетнего Лешки.

«Две простыни. Одна на тюфяке, другая под одеялом. Вот это да!..» — подумал Алексей, запоминая, как все это укладывается и подворачивается, чтобы потом управляться самому.

Расправив одеяло и натянув его так, что на нем не осталось ни одной морщинки, Лариса приказала, чтоб Алексей и впредь держал такой же порядок.

— Вот разозлюсь и нарочно возьму над вами шефство. И не на день, не на неделю, а сразу на целый учебный год. Попробуйте у меня тогда!

Не успела Лариса докончить фразы, как в комнату постучались.

— Да-да, войдите, — громко и по-хозяйски ответила она, взбивая маленькими, но ловкими и сильными руками подушку.

В комнату вошел Гусеницин. Он был одет в серый костюм. Лариса приняла его за сотрудника студгородка. Извинившись, он предложил Алексею немедленно проехать с ним в милицию.

— Странно, — Лариса дернула плечиком. — Так человека можно совсем затаскать. Ничего не понимаю.

Гусеницин посмотрел на Ларису насмешливым взглядом и улыбнулся краешками тонких губ:

— А об этом, барышня, вам и не следует понимать. Еще рано. — Сказал подчеркнуто мягко, даже ласково, как взрослые разговаривают с маленькими.

Такой ответ Ларисе не понравился. Встав в горделивую позу и подперев бока руками, она прищурилась, сжала свои почти детские, пухленькие губки и обрушила на Гусеницина целый поток доказательств, который Алексею показался скорее бранью, чем спокойным разговором. Она заявила, что судьба Северцева ее интересует, во-первых, как шефа (Лариса заявила, что шефство она выполняет не только как особое поручение декана, но и как общественную комсомольскую

нагрузку), во-вторых, вызов Северцева в милицию ее интересует еще и как юриста (тут она для солидности на один курс прибавила, заявив, что перешла на третий курс), в-третьих, в таком тоне с девушкой разговаривать невежливо.

Вспомнив, что не так давно его «пробирали» за черствость и бездушие, Гусеницин улыбнулся широко, но не от души.

«Ах ты, стрекоза-егоза», — хотел было сказать он, хотя думалось совсем другое: «Когда же ты уймешься, сопля эдакая? Тоже мне юристка нашлась, студентка прохладной жизни...»

Улучив минуту, когда Лариса передохнула и сделала паузу, Гусеницин извинился за тон и за то, что он всего лишь на один час лишит ее «высоких шефских полномочий». Последние слова были сказаны так уважительно, что Лариса не поняла, что здесь — тонкая ирония или обычный деловой разговор приторно-вежливого человека.

Гусеницин понял замешательство Ларисы и предложил: — Если хотите — поедemте вместе с нами. Вам как юристу это пригодится.

Лариса молча и пытливо посмотрела на Гусеницина и увидела в нем что-то неприятное, а что — понять не могла.

— Ну, так что, уважаемая коллега, поедemте, я вас приглашаю.

В словах «уважаемая коллега» Лариса услышала насмешку. «Ах так, ну что ж!..» — разозлилась она и швырнула подушку в изголовье кровати.

— Хорошо, я еду!

Рядом с шофером в «Победу» Гусеницин посадил Ларису. Всю дорогу ехали молча. Алексею говорить с Гусенициным было не о чем. Его присутствие вновь напомнило ему все то, что пришлось передумать за прошедшую неделю.

В дежурной комнате милиции, где Северцеву и Ларисе предложили подождать, пока их вызовут, было накурено. На лавках у стен сидело около десятка милиционеров. В ожидании инструктажа они лениво перебрасывались Шутками;

— Эх, работushка наша адова! — вздохнул сержант Щеглов, выбивая из мундштука застрявший окурок.

— Да ты никак жизнью недоволен, Щеглов? — спросил рябой старшина Коршунов, снимая с ноги сапог.

— Доволен, недоволен, а вот когда Иванов рассказывал, как устроился сержант Сучков, так у тебя аж слюнки потекли. Я видел, как ты с лица перевернулся.

— Подумаешь, должность — устроился садовником к профессору. Ни в жизнь не пошел бы.

— А что? — взъерошился Щеглов. — Не пошел бы? Да тебя никогда и не возьмут. Все яблоки в карманах перетаскаешь. Знаю я тебя. Не работа, а дом отдыха, ходи по саду и околачивай груши. Надоело — ложись под яблонькой и похрапывай сколько тебе влезет.

Довольный тем, что «его берет», Щеглов победно посматривал по сторонам.

— Щеглов, ты когда-нибудь читал книги про класс крестьян в двадцатые годы? — серьезно спросил Коршунов, запихивая кончик портянки за голенище сапога.

— Ты один читал. Подумаешь, грамотный нашелся, — огрызнулся Щеглов, ожидая очередного подвоха со стороны Коршунова.

— Я не об этом, Щеглов. Книгу, конечно, ты не любишь. Это само собой. Я вот про

себя хочу сказать. Когда читал про крестьянина-середняка, который на одной ноге в коммуны идет, а на другой прыгает на базар с мешком подсолнухов, так я, как живого, тебя представлял, Ваня. Стоишь ты в моих глазах, как новенький рублик, даже носик твой и веснушки твои.

Кругом захохотали.

Щеглов покраснел. Раздувая широкие ноздри, он выпалил почти залпом:

— А когда я читал книгу про бандитов с большой дороги, то ясно видел тебя. Вылитый ты. Такой же рябой и горбоносый и такой же сутулый, как коршун. И фамилия-то у тебя ненормальная... Коршунов.



Кругом снова захохотали, но захохотали опять над беспомощной защитой Щеглова.

— Это не принципиально, Ваня. Ты уже переходишь на личность, а я говорю по существу. Знаю тебя уже около года. Ты на моих глазах развиваешься. Я насчет тебя даже сделал кое-какие выводы. Пережиток ты, — сказал Коршунов и, пробуя, как обут сапог, громко и с силой топнул каблуком об пол. — Понял, пережиток!

Неизвестно, до чего бы дошел этот спор, если бы не майор Лесной, который, войдя в дежурную комнату, приказал Щеглову подменить на четвертом посту заболевшего милиционера.

Некоторое время в дежурной молчали. При начальстве шутить неудобно.

Воспользовавшись тишиной, Лариса потихоньку принялась объяснять Алексею, что церемония опознания сама по себе проста: следователь показывает потерпевшему или свидетелю задержанного гражданина, подозреваемого в совершении преступления. Причем показывает его среди других, примерно равных по годам и по росту. Если потерпевший признает в одном из них преступника, то следствие значительно облегчается: преступник опознан, задержание бессмысленно.

Вся трудность в опознании обычно состоит в том, чтобы уговорить Двух-трех случайных прохожих помочь милиции в одном пустяковом деле — молча, минут пятнадцать — двадцать посидеть в комнате следователя.

Поняв наконец, зачем он сюда приехал, Алексей вначале оробел. От одной мысли, что через несколько минут он с глазу на глаз может встретиться со своими грабителями, ему стало не по себе.

Волновалась и Лариса: Гусеницин предложил ей быть свидетелем при опознании, на что она охотно согласилась, но тут же испугалась.

Наконец Северцева и Ларису позвали в комнату следователя, где, кроме Григорьева, был и Гусеницин. Хмурый и нахохлившийся, он сидел в сторонке и не сводил глаз с тройки на скамье у стены.

— Гражданин Северцев, вы узнаете кого-нибудь из сидящих напротив вас граждан? — спросил Григорьев, уже по выражению лица Алексея догадываясь, что тот в замешательстве.

Северцев покачал головой:

— Никто из троих мне не известен.

Неприятную тишину, которую почувствовали все находившиеся в комнате, нарушил сухой, удушливый кашель Гусеницина. Приложив ладонь ко рту, он никак не мог справиться с щекотанием в горле.

Чтобы не тянуть время, майор решил кончать опознание.

— Вы, молодые люди, — обратился он к юношам, которых пригласили с улицы посидеть при опознании, — можете быть свободны, а вы, гражданин Кондрашов, пока мне нужны.

Только теперь вспомнив, что он совсем без внимания оставил Северцева и Ларису, которые не знали, что им дальше делать, майор повернулся к ним:

— Как устроились, товарищ Северцев?

— Спасибо, товарищ начальник, хорошо.

— Поздравляю, рад за вас. Помог вам Захаров?

— Да, помог, — просто ответил Северцев, хотя в это «да» ему хотелось вложить бесконечно благодарную человеческую признательность, для которой в эту минуту у него не находилось подходящих слов.

— Ну, что ж, пока отдыхайте. Устраивайтесь и не гневайтесь на нас, если мы вас еще разок-другой побеспокоим. Уж такая наша работа. А сейчас можете быть свободны.

Солнце уже садилось, когда Алексей и Лариса вышли из отделения милиции. Некоторое время они шли молча.

— Найдете один дорогу? — спросила Лариса.

— Найду.

Лариса остановилась и посмотрела на Алексея снизу вверх:

— До свидания. Если хотите, запишите мой телефон.

Алексей записал на пропуске в студгородок и снова неловко молчал, хотя в эту минуту он, как никогда, чувствовал острую необходимость хоть что-нибудь, но говорить.

Уходя, Лариса не заметила протянутой руки Алексея. Она быстро повернулась и почти побежала к метро. Алексей стоял на одном месте с протянутой рукой до тех пор, пока девушка не скрылась в метро вместе с потоком людей.

А когда он подходил к общежитию, ему вдруг показалось, что Ларису он знает очень давно. Достав из кармана пропуск, на котором был записан номер ее телефона, Алексей несколько раз повторил вслух букву Е и пять последующих цифр.

Взявшись за скобу двери, ведущей во двор студгородка, он услышал за спиной гулкое ритмичное цоканье. По мостовой двигался огромный хлебный фургон, в который была впряжена мясистая ломовая лошадь. Мохнатые у самых бабок толстые ноги гнедого битюга равномерно и тяжело, как двухпудовые гири, опускались на мостовую. Алексей затаил дыхание. Все, что с ним стряслось за время пребывания в Москве, в эту минуту было забыто. Даже Лариса и та улетучилась из памяти. Теперь он слушал и видел только одно: ритмичное, могучее цоканье стальных подков гнедого тяжеловоза.

23

Возвращаясь с завода, где он провел около двух часов, Захаров чувствовал себя битым по всем статьям. Начальник цеха, рабочие, диспетчер — все, как один, заявили, что в прошлый понедельник Кондрашов работал полную смену, с четырех дня до двенадцати ночи — и дал около двух норм. Аргументом, окончательно разрушившим версии Захарова, явилась Доска почёта. Она была сооружена в центре заводского двора и любовно украшена вьющимся цветным горошком и алыми лентами кумача. На самом видном месте красовался портрет Кондрашова. Он улыбался широкой, открытой улыбкой, словно желая при этом сказать: «Эх,

гражданин опер, не на этих дорожках вы сапоги бьете». «Ну, а расческа? Как могла попасть именно твоя расческа и именно на то место, где совершено преступление? — мысленно обращался Захаров к портрету и успокаивал себя: — Нет, это не случайность. Тут что-то другое. Тут очень тонкая и чистая работа».

Захаров направился в отделение, где в камере предварительного заключения его ждал Кондрашов. Дорогой он думал: «Что делать дальше, за что уцепиться? Что, если расческа — это пока единственное звено между преступниками и Кондрашовым — не выведет на след? Похищенные вещи? Уже четыре дня, как по всей области объявили их розыск, но до сих пор о них ни слуху ни духу... Красиво и романтично расследуются преступления в книгах, и трудно они разматываются в жизни...» Захаров вспомнил, как всего несколько часов назад он с настроением Наполеона, взявшего Москву, вёз Кондрашова на допрос. Вспомнил, и ему стало стыдно.

Подходя к вокзалу, он желал только одного — не встретиться с Гусенициным, который наверняка обо всем уже знал.

Но Гусеницина в отделении не было.

У кабинета Григорьева Зайчик загородил Захарову дорогу и сообщил, что начальник занят и освободится минут через двадцать. Захаров решил ждать. Чтобы убить время, он присел на длинный деревянный диван в узком и плохо освещенном коридоре и развернул газету. Однако читать не хотелось — он пробежал взглядом лишь заголовки, половина из которых заканчивалась восклицательными знаками. Из красного уголка через открытую дверь доносился хриловатый басок начальника отделения майора Лесного, который проводил инструктаж с очередной сменой постовых милиционеров. Лесного Захаров любил за простоту, за партизанскую лихость, которая светилась в его глазах, и за то, что тот всегда был справедлив. Уж если наказывал, то за дело, если миловал, то никогда об этом не вспоминал. В прошлом кавалерист, при разговоре он ладонью, как саблей, рубил воздух, отчего речь его становилась убедительней и полновесней.

Захаров прислушался.

— В сотый раз предупреждаю: к пьяным самбо не применять. Ясно? Ты что, Щеглов, морщишься, забыл, как три дня назад чуть не отправил на тот свет больного человека? Смотреть нужно, кто перед тобой!

— А что, ежели он по морде норовит тебе съездить и материт почем зря? Что же, по-вашему, терпеть, когда он налопался?

— Если говорить о вас, Щеглов, то, должен сказать, в самбо вы дальше выкручивания рук не пошли. Вспомните, сколько раз на вас за это жаловались задержанные? Категорически запрещаю!

Захарову вдруг захотелось увидеть выражения лиц Лесного и Щеглова. Он встал и подошел к двери. Рука майора взлетела вверх: сейчас рубанет.

— Ни на минуту не забывайте, что пропускная способность нашего вокзала самая большая во всей Европе. Во всей Европе!

Эти слова майор произнес с гордостью. Захаров видел, как сразу посуровели и стали напряженной лица милиционеров. Что-то тревожное и сладкое шевельнулось и в душе Захарова: с этим вокзалом у него связано много радостей и огорчений.

В кабинет Григорьева сержант вошел без стука. Майор сидел за столом и разговаривал по телефону. Время от времени он что-то записывал. Судя по тому, что он не обращал внимания на вошедшего, можно было полагать, что разговор был довольно серьезным.

— Когда, вы говорите, она выехала из Новосибирска? Двадцать седьмого? Хорошо, хорошо. Семьдесят вторым? Значит, завтра утром прибудет в Москву. Прекрасно.

Что-что? Ну, знаете, этого я вам обещать не могу. Гарантий не даю, но сделаем все, что возможно. Звоните завтра во второй половине дня. Всего хорошего.

Майор положил трубку и сделал вид, что только теперь заметил Захарова, хотя во время разговора по телефону он видел, как тот переминался с ноги на ногу.

— Ну как? — спросил майор.

— Полное алиби.

Григорьев встал, поджал губы:

— Что думаешь делать дальше?

— Искать.

— Кого искать?

— Пока человека, который взял у Кондрашова расческу и выронил ее во время ограбления Северцева.

— Расческу потерял Кондрашов. Потерял ее в воскресенье на том самом месте, где был ограблен Северцев, медленно, чеканя каждое слово, проговорил майор.

— Откуда это известно?

— Пока ты ездил на завод, я провел очную ставку и допросил Кондрашова еще раз. Показал ему расческу. Он преспокойно ответил, что потерял ее в воскресенье в Сокольниках. Выезжали с ним в Сокольники. Кондрашов нашел то место, где он с женой и тещей провел на лужайке выходной день. Это буквально рядом с тем местом, где мы обнаружили следы ограбления Северцева.

— А не может здесь быть, товарищ майор...

— Нет, не может, — отрезал Григорьев и этим дал понять, что им все учтено до мелочей. — Расческа была потеряна самим Кондрашовым на том самом месте, где вы ее обнаружили. Правда, это случайность очень редкая, но, как и всякая случайность, она реальна. Более того — проверена.

Планы, которые Захаров строил, пока ехал с завода, рухнули в одну минуту. Он стоял огорченный и не мог собраться с мыслями.

— Что, зашатался? Не по зубам орешек? — не то подбадривал, не то подсмеивался майор, расхаживая со скрещенными на груди руками и глядя себе под ноги.

— Как с похищенными вещами, товарищ майор? По-прежнему ничего не известно?

Григорьев остановился и хитровато посмотрел на Захарова:

— А ты, я вижу, жох. Быстро выходишь из партера. Это хорошо, очень хорошо. — «Выйти из партера» у майора означало не растеряться и сообразно обстановке быстро выбрать новое решение.

— Кондрашова освободили? — спросил Захаров.

— С самыми наиглубочайшими и нижайшими извинениями. С Кондрашовым все. Его забудьте. В этом деле он чист, как поцелуй ребенка.

«Чист, как поцелуй ребенка, — подумал Захаров. — Где же я встречал это? Ах да — Лермонтов. «Герой нашего времени»... После некоторого молчания он заговорил:

— Товарищ майор, у меня есть некоторые соображения.

— Я вас слушаю.

— В нашем распоряжении осталась тысяча шоферов такси. Один из этой тысячи может быть полезен, — сказал Захаров, понимая всю сложность и трудность задуманного.

— Да, что верно, то верно, — согласился майор, рассеянно глядя куда-то через плечо сержанта. — Тысяча!.. — И, словно опомнившись, добавил: — А может быть, еще денек подождем? Может, вынырнут вещи?

— Ждать, товарищ майор, нельзя. Время работает против нас. Нужно начинать не позднее завтрашнего утра.

Посмотрев на часы, Григорьев заторопился. Его вызывали на доклад к прокурору. Времени оставалось немного, а нужно было собрать кое-какие документы. Он продолжал разговаривать, роясь в бумагах:

— Версия с шоферами, она, конечно, реальна. Только подумайте хорошенько, хватит ли у вас сил, чтобы проверить ее до конца. Тысяча шоферов, и из них нужно найти одного.

— Лучшего пути у нас пока нет.

— Что сказал официант?

— Ничего нового. Старик их даже не помнит. Говорит, что если бы он помнил всех, кого ему приходилось на своем веку обслуживать, то вряд ли он дожил бы до своих лет. Хороший старик, душой готов помочь, но не помнит. Стар.

Григорьев хотел что-то сказать, но в это время постучали в дверь.

— Да-да, войдите, — бросил он громко и раздраженно.

Вошел капитан Бирюков. Месяц назад он получил назначение на должность заместителя начальника отделения по уголовному розыску. Это был плечистый, атлетического сложения молодой человек, одетый в серый однобортный костюм, который сидел на нем, словно влитый. О Бирюкове ходила слава как о смелом и решительном оперативнике, который на своем счету имел немало искусно проведенных операций.

— Да, я вызывал вас, — сказал майор, поздоровавшись с Бирюковым.

— Я вас слушаю, товарищ майор.

— Вот что. Только сейчас я разговаривал с прокурором из Новосибирска. Двадцать седьмого оттуда в Москву выехала некая Иткина. Поезд семьдесят второй, вагон восьмой. Завтра утром она должна прибыть. Вот словесный портрет Иткиной. — Майор подал исписанный лист бумаги Бирюкову. — Ее муж, Иткин Григорий Михайлович, работая в банке, похитил двести двадцать тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении. Есть сведения, что он в Москве.

Бирюков собрался что-то спросить, но майор понял его вопрос по одному взгляду.

— Нет. В дороге ее брать нельзя. Ей нарочно создали условия для тайного отъезда. Дело не в ней. Она едет с грошами, все деньги у мужа. Я записал вот тут и его портретные данные. Посмотри, разберешь? Через час придет фототелеграмма с его личностью.

Бирюков взглянул на записи и, найдя то, о чем говорил майор, начал читать вслух:

— С виду лет сорока, роста выше среднего, худощавый, темноволосый, носит золотое пенсне...

— Разбираешь, — остановил его Григорьев. — В этом же поезде, только в соседнем вагоне, в девятом — не забудьте за гражданкой Иткиной едет человек из Новосибирска. Пока еще Иткина не подозревает, что ее сопровождают, но



прокурор беспокоится, что при высадке... — все-таки Москва это не Новосибирск — она может ускользнуть, и все дело пропало. Нужно им помочь.

— Ясно, товарищ майор.

— Поручаю это дело вам.

— Есть, товарищ майор.

— Возьмите с собой из сержантского состава кого-нибудь понадежнее, только предварительно познакомьте его с положением дела. Оба хорошенько усвойте словесные портреты Иткиных. Предупреждаю, что задерживать Иткину можно только в том случае, если ее встретит муж. Если же он не придет на вокзал — а это вполне возможно, — то вам придется следовать за ней до тех пор, пока она не встретит мужа. Ясно?

— Ясно.

— Вообще действуйте согласно обстановке. Смотрите не спугните ее и ни на минуту не забывайте, что Иткина — это только маленький волчонок. Волчище пока гуляет с государственными деньгами. Чаще звоните обо всем мне. — Григорьев строго посмотрел на капитана и добавил: — Упустите — сниму голову.

Бирюков слегка улыбнулся. Он знал, что строгость, майора была на этот раз показная и рассчитана на то, чтоб её видел Захаров.

— Будет сделано, товарищ майор.

Не обращая внимания на телефонные звонки, Григорьев достал из нагрудного кармана кителя часы и, что-то подсчитывая в уме, сказал:

— В вашем распоряжении девять часов. Продумайте все — и к делу. — Когда Бирюков вышел, майор потянулся и сладко зевнул: — Вот что, Захаров, ступай-ка ты домой, как следует выспись, продумай все хорошенько и с утра — за дело!

— Есть, товарищ майор. Разрешите идти?

Майор кивнул и углубился в бумаги.

В комнате следовательской группы Захаров встретил Гусеницина. Он сидел за маленьким столиком и, положив ногу на ногу, курил. Курил он редко — по праздникам, в компании и когда угощало начальство: не смел отказаться. Пуская дым тоненькой струйкой, всем своим видом он как бы говорил, что у него сегодня праздник. Его недружелюбный взгляд Захаров почувствовал спиной, когда выходил из комнаты. Хотелось остановиться и что-нибудь сказать, но, сдержав себя, он даже не оглянулся.

Мысли о том, с чего начать поиски шофера, не покидали Захарова всю дорогу. Чтобы хоть на минуту рассеяться и отвязаться от назойливых и неотступных дум, которые громоздились догадками и предположениями, он стал всматриваться в сидящих пассажиров, стараясь по выражению их лиц, по одежде, по тому, как они двигались, поворачивались, кашляли, угадать, откуда они, какова их профессия, о чем они сейчас думают, куда едут... И все-таки множество этих лиц заслонялось одним лицом — лицом Гусеницина. Положив ногу на ногу, он пускал дым тонкой струйкой и спрашивал: «Ну как, Шерлок Холмс, дела? Отвоевался?» — «Нет, не отвоевался. Обождите, рано вы ликуете, товарищ Гусеницин! Я еще не сказал «пас». Впереди тысяча шоферов и человек со свежим шрамом на правой щеке».

24

В глухую, темную ночь пассажирский поезд Новосибирск — Москва остановился на небольшой станции, освещенной единственной электрической лампочкой. На перроне было пустынно и так тихо, что хорошо слышалось, как где-то далеко

хрипло горланил петух. На этой станции никто не садился. Лишь полусонные проводники с фонарями в руках, ступая ногами по металлическим подножкам, нарушали глубокую тишину.

Как только поезд остановился, из восьмого вагона вышла, поеживаясь от ночного холодка, дама в длинном темном халате. Посматривая на красный светофор впереди поезда, она спросила, ни к кому определенно не обращаясь:

— Долго стоим?

— Пять минут, — басовито ответил ей голос из темноты.

Дама огляделась и направилась на огонек в окне старенького деревянного вокзала.

Как только она вошла в станционное помещение, из соседнего, девятого, вагона вышел невысокий человек и тоже направился к станции. Подойдя к плохо освещенному окну, он заглянул внутрь вокзального помещения. Дама в халате что-то быстро писала на телеграфном бланке. Человек отступил в темноту, сел на лавочку и закурил.

Рассчитавшись с телеграфисткой, дама вышла из вокзала и поднялась в вагон. Человек на скамеечке бросил папиросу и решительно вошел в помещение станции.

— Прошу вас, покажите мне телеграмму, которую сейчас дала гражданка, — обратился он к белокурой девушке.

«У вас есть разрешение?» — подняв глаза, хотела спросить телеграфистка, но вошедший опередил ее:

— Пожалуйста. — И он протянул документ. Это была санкция прокурора на право изъятия корреспонденции гражданки Иткиной.

Телеграфистка, с лица которой сонливое выражение точно рукой сняло, глазами пробежала документ и подала телеграмму. В ней было написано: «Москва Люберцы поселок Мильково Красноармейская 27 Петухову. Передайте Грише Волгу проехала утром Целую Соня».

Стараясь запомнить каждое слово текста, а также почерк, вошедший на секунду закрыл глаза, снова открыл их, внимательно прочитал телеграмму еще раз и возвратил ее белокурой телеграфистке:

— Можете отправлять.

Когда неизвестный вышел из станционного помещения, дежурный ударил в колокол, извещая об отправлении.

25

Ночь Николай спал плохо. Ворочался, часто просыпался и всякий раз неизменно слышал одно и то же — дождь на улице. А когда проснулся окончательно, решил, что дождь лил всю ночь напролет, и был очень удивлен, когда мать сказала, что дождь шел не больше десяти минут на рассвете.

Рассматривая свои крепкие мускулистые руки, он слушал, как за окном ворковали голуби. Что-то тоскливое, таинственное и грустное слышалось в этом голубином стоне.

«Почему голубя считают символом мира? Ведь мир — это радость, веселье, звонкий смех... Все, что угодно, только не этот надрывающий душу стон. Жалобный, сиротливый, заунывный...» Николай старался уловить в голубином ворковании хоть единственную бодрую нотку. Не услышав того, к чему прислушивался, но что наверняка должно было быть, он решил, что ему просто не дано правильно и тонко понимать не только симфоническую музыку, но и голубиное воркование. Чтобы до конца убедиться в этом, он приподнялся на локтях и посмотрел на карниз окна, где

каждое утро получала свой завтрак пара сизых голубей. Встретившись глазами с самцом, который настороженно вытянул шею и приготовился защищать свою голубку, доверчиво и мирно выбирающую из хлебных крошек крупинки пшена, Николай затаил дыхание, боясь шелхнуться. На какое-то мгновение ему даже показалось, что самец особым птичьим чутьем разгадал его думы и хотел улететь на другое окно.

— Дорогие, не летайте, — прошептал он.

Голуби, словно почувствовав этот зов души и поверив в искренность его, стали по-прежнему спокойно и плавно расхаживать по карнизу, в своем великодушии не обращая внимания на неизвестно откуда взявшегося воробья, который воровато и жадно принялся уничтожать все, что попадалось ему на глаза: пшено, хлебные крошки, кусочки недоеденного сыра и картошку.

Николай всматривался в лиловые отливы сизых шеек голубей, где то вспыхивали, то угасали алые, фиолетовые, небесно-голубые и оранжевые тона с еле уловимыми оттенками. Вглядываясь в эти мягкие, переливчатые цвета, которым даже трудно подобрать название, он вдруг впервые каким-то шестым чувством ощутил, а не понял — один разум бессилен перед тайной линий, цветов и оттенков, — что вид голубей несет в себе что-то нежное, чистое, мирное... Почувствовав это, Николай подумал: «Один вид, один только вид птицы, а сколько добрых мыслей, хороших чувств пробуждается в человеческом сердце. Вот где она, тайна символики».

Николай вдруг ощутил неизъяснимую радость и легкость в теле. Он снова обратил внимание на воробья, который, прыгая с места на место, кружился, чирикал, трусливо озирался и продолжал жадно уничтожать крошки и пшено.

Захаров тихо засмеялся. Ему почему-то вспомнился рассказ Григорьева о том, как его однажды обидели, когда он регистрировал своего Полкана, привезенного еще щенком из-под Рязани, где у майора жила дальняя родственница. Николай живо представил себе Григорьева, державшего на цепи своего драчливого дворнягу. От грозного Полкана, который басовито рычал в окружении изысканных и редких пород, увешанных медалями, кривоногие таксы, болонки и шпицы (Григорьев считал их пигмейками и уродками, которых нужно топить, когда они еще слепые) с визгом залезали под лавки и прятались в ноги своих хозяев. Еще живее и ярче Николай представил лицо майора, когда старичок в пенсне только краем глаза взглянул на рыжего здоровенного пса и в графе «Порода» поставил «Б-П».

Воображение дорисовало и дальнейший диалог, который произошел между Григорьевым и стариком собачником.

«Что это за Б-П?» — «Беспородная». — «Позвольте, как это понимать? Почему беспородная? Вся Россия держит эту собаку. Да если хотите знать, она была еще другом наших прапрадедов». Старичок посмотрел из-под очков на клиента и, повернувшись к открытому окну, показал на улицу: «Вон, смотрите, копошится в пыли. Что это, по-вашему, — птица? Воробей. Всю Россию заполонил. И не только Россию. Весь мир. Где у него родина, каких он кровей, найди его породу!.. Так вот и ваша дворняжка».

Ведя назад своего неунывающего Полкана, Григорьев до самого дома доказывал собачнику, что в их системе оценок необходимо основательная реформа, что русскую дворняжку нужно назвать «русская сторожевая» и поставить ее на одну ступень с собаками других крупных пород.

Эту картину Николай представил себе, глядя на воробья, которого старичок собачник отнес к числу беспородных птиц, расплодившихся по всему свету. Ему почему-то стало жалко воробья, всеми гонимого, никем не пригретого и пробавающего тем, что украдет. Воробья, который не знает ни роскоши тропической природы, куда улетают на зиму многие птицы, ни человеческой ласки и внимания. Стойко и мужественно переносит он холодные русские зимы и никогда не унывает; хоть по-воробьиному, но всегда веселится, всегда чирикает.

«Какая жизненная стойкость! Какой оптимизм! Будь я поэтом, я написал бы целый мадригал воробью и дворняжке».

Было семь часов утра. Промытая дождем зелень па клумбе выглядела особенно свежей и сочной. Дворничиха в белом фартуке, довольная тем, что ей не пришлось с утра поливать цветы и пыльный дворик, сидела на лавочке и благодушно щелкала семечки. На ее нижней губе нависло столько шелухи, что если даже попытаться так сделать нарочно, то вряд ли получится. По-хозяйски осматривая дворик, она остановилась взглядом на окне Захаровых. Увидев Николая, дворничиха смутилась и смахнула нависшую на губе гирлянду шелухи.

На столе Николая ожидала стеклянная банка с парным молоком, только что принесенным молочницей. С детства приученный к молоку, он каждое утро пил его натошак, и, если иногда молочница не приходила, ему казалось, что день начат не так, чего-то не хватает.

Мария Сергеевна, мать Николая, с самого раннего утра была чем-то удручена. Николай это видел, но не пытался спрашивать, так как знал, что мать сошлется или на подгоревшую картошку, или на то, что неудачно купила на рынке мясо.

Сказать сыну о своей обиде Мария Сергеевна не могла — не хотела его огорчить. В воскресенье у Милы, соседки Захаровых, должен быть день рождения. Когда-то Николай и Мила бегали в одну школу, не одно лето вместе ездили в пионерский лагерь, и, хотя Николай был старше Милы на четыре года, ему не раз приходилось драться с ребятами, когда кто-нибудь из них обижал ее. А на день рождения Милы его не пригласили.

Не обиделась бы Мария Сергеевна, если бы совсем случайно не услышала на кухне разговор между матерью Милы и соседкой. Из этого разговора ей стало ясно, что в воскресенье у Милы будут важные гости и что хотя Николай парень неплохой и вроде бы обойти неудобно... Дальше мать Милы замолкла, но Мария Сергеевна поняла значение недоговоренного.

Став взрослой девушкой, за которой ухаживали молодые люди, Мила начала сторониться Николая. Ее приветствия были больше вежливыми, чем дружескими. И хотя она по старинке иногда называла его Коленкой, но в этом обращении уже слышались другие, новые нотки отчужденности и холода.

«Конечно, он для нее не пара», — рассуждала про себя Мария Сергеевна, раскладывая по тарелкам жареную картошку. С затаенной радостью и тревогой думала она о том дне, когда ее сын закончит университет и утрет нос и генеральской дочке Наташе, и этой франтихе Миле, которая кое-как окончила школу кройки и шитья. А ведь когда-то их дразнили «жених и невеста».

Растираясь на ходу полотенцем, Николай вошел в комнату. Желая поднять настроение матери, он ласково обнял ее левой рукой за плечо, а правой шутливо погрозил, как грозят маленьким детям:

— Знаю, знаю, о чем думаешь.

Мария Сергеевна улыбнулась, но улыбка получилась грустной.

— О чем?

— Ты расстроена, что Милочка и ее мама, — слово «мама» он произнес по-французски, делая ударение на последнем слоге, — не пригласили меня на день рождения? Ведь так?

— Вот уж, господи, о чем сроду-то не думала! Ишь ты, какая важность! Меньше расходов будет. Если идти, нужно нести подарок.

— Что, не угадал? — перебил Николай. — Будешь отказываться? Ведь я тебя так знаю, что без ошибки предскажу твоё настроение на целую неделю.

Мария Сергеевна покачала головой:

— Все-то ты видишь, все-то ты знаешь, дотошный. Садись ешь, а то опять телефон не даст позавтракать.

Довольный, что угадал мысли матери, Николай во время завтрака шутил и безобидно подтрунивал над ней, зная, что после этих шуток Мария Сергеевна не будет так остро переживать невнимание Милы.

В семье Захаровых между матерью и сыном уже давно установились отношения дружбы и доверия. Хотя Николай и не походил на тех сыночков-паинек, которые до тридцати лет жалуются матерям на свои неудачи и ищут у них защиты, до мелочей исповедуясь во всем, но он был и не из тех сыночек, которые никогда и ни во что не посвящают мать, считая, что не женское и не материнское дело вникать в служебные и личные дела взрослых детей. Не злоупотребляя доверием сына, Мария Сергеевна имела обыкновение не спрашивать о деталях его работы. К этому ее приучил покойный муж, который, зная, что она умеет молчать, нередко рассказывал ей о своих делах и был уверен, что она не проговорится ни на кухне, ни во дворе. Жить с женой, которая совсем не знает того, чем живет муж, покойный считал нездоровым и ненормальным. Жена должна быть если не соратником, то хотя бы болельщиком за ту идею или то дело, за которое борется муж.

Эти отношения доверия как-то незаметно, словно по традиции, остались между матерью и сыном.

Мария Сергеевна давно знала, что Николай любит Наташу. А временами, когда эта любовь особенно захватывала его, он вечерами, лежа в кровати, перед тем как заснуть, рассказывал ей, как умна и добра Наташа.

Не раскрывая некоторых подробностей своей работы, Николай рассказывал матери все, что находил возможным, стараясь этим вводить ее в мир своих радостей и волнений.

— Как Наташа? Не помирились? — спросила Мария Сергеевна, уже забыв о Миле.

— Пока не до этого, мама. Ты же знаешь, если я не раскручу дело Северцева, то грош мне цена. А Наташа что — Наташа куда не уйдет.

— А уйдет?

— Уйдет? Найдем другую, — шутя ответил Николай.

Он знал, что говорит неправду, что не так-то легко ему после разрыва на Каменном мосту. Тем более он не допускал даже мысли о том, что Наташа может уйти навсегда. Потерять ее для него означало потерять то огромное и важное, что составляло другую половину его жизни, без которой первая совсем зачахнет. Так, по крайней мере, ему казалось. Но он был твердо убежден, что не права Наташа, что она должна первой сделать шаг к примирению. Работу свою он ни за что не бросит, а за ней остается право понять свою ошибку и прийти к нему. Если, конечно, она любит.

Услышав телефонный звонок, Мария Сергеевна вышла в коридор и вскоре вернулась. По лицу ее Николай понял, что звонят ему.

— Мне?

— А то кому же! Не дадут позавтракать.

Такой ранний звонок был неожиданным.

«Очевидно, что-то важное», — подумал Николай и с тревогой взял телефонную трубку.

Звонил капитан Бирюков. Голосом, в котором звучала искренняя радость, он сообщил, что из Люберецкой городской милиции передали: пиджак Северцева находится в Люберцах, в магазине продажи случайных вещей.

В какое-то мгновение Николай почувствовал себя всадником, которому после долгой скачки без поводьев вновь удалось поймать повод и снова почувствовать себя хозяином горячего, норовистого скакуна.

— Мама, я уже сыт. Сообщили важную новость.

— Насчет шоферов?

— Нет, мама. Тут наклеывается след посильней.

На улице Николай случайно тронул карман пиджака. «И когда это она успела? — удивился он, обнаружив бутерброд и пирожок, завернутые в пергамент. — Знает, что откажусь, так на вот тебе — хоть тайком, а всучит».

26

В загородном ресторане «Волга» за отдельным столиком сидел горбоносый смуглый мужчина в золотом пенсне и, медленно потягивая из бокала пиво, время от времени тревожно поглядывал на часы. Можно было без труда понять, что он кого-то ждет.

Как всегда утром, ресторан был почти пустой, если не считать трех-четырёх пар, сидевших за столиками у открытых окон, затянутых зеленым плющом.

Когда стрелка электрических часов на стене сделала маленький прыжок на одиннадцать, в зал вошла модно одетая дама в черных перчатках и с черной замшевой сумочкой в руках. Ей было не более тридцати лет. Широкополая соломенная шляпа очень шла к ее тонкому, выразительному лицу. Окинув взглядом посетителей, она плавно, но уверенно прошла между столиками и села напротив мужчины в пенсне.

— Как доехала? — тихо, сквозь зубы спросил тот, не поднимая головы.

— Спокойно, — так же безучастно ответила дама, доставая из сумочки веер.

— По моим расчетам, ты должна была приехать двадцать шестого. Четвертый день я вынужден пить водку с этим отпетым негодяем Петуховым.

— Я приехала бы и раньше, но уже перед самым отъездом мне показалось, что за мной следят. Ну а насчет Петухова ты меня не удивил. Он еще не обобрал тебя?

— Пока нет. Но сна лишил.

— Нужно уходить от него немедленно. Он человек нечистый и к тому же наверняка на примете.

— Да, он измелчал. В Новосибирске был не таким. А как там?

— Поставили все вверх дном.

— Как же ты смогла уехать?

— Это был большой риск. Ты что-нибудь заказал?

— Что ты хочешь?

— Фруктов и сухого вина. Деньги целы?

— Целы.

— В безопасности?

— В полнейшей. Аккредитивы на предъявителя.

Никак не предполагали эти собеседники, что за ними мог кто-нибудь наблюдать в этом маленьком ресторане. А за ними наблюдали...

Удостоверившись, что мужчина в пенсне и дама с веером — те самые супруги Иткины, которых разыскивает Новосибирская прокуратура, Бирюков решил, что медлить нет смысла. Он еще раз взглянул на фотографию в блокноте, который держал так, как будто что-то в нем записывал, и пришел к выводу, что сходство полнейшее: нос, глаза, пенсне, острые и глубокие залысины на высоком лбу, две складки на худых щеках — все было настолько, как выражаются юристы, идентичным, что не оставалось никакого сомнения.

Встретившись глазами с мужчиной в сером однобортном костюме, сидевшим несколько поодаль от столика Иткиных, Бирюков сделал ему еле уловимый знак. Тот поднял над столом ладонь правой руки и снова опустил ее. Этот бессловесный разговор был понятен лишь им двоим. Человек в сером костюме был сотрудником Новосибирской прокуратуры.

Бирюков встал и направился к столику, за которым сидели Иткины.

— Товарищ, здесь занято, — уронив на скатерть пепел от папиросы, предупредил мужчина в пенсне, — Есть же свободные столики.

— Мне нужен не столик, а вы.

— Позвольте, кто вы такой и что вам нужно? — Мужчина в пенсне откинулся на спинку стула.

— Мне нужны супруги Иткины.

Бледные тени страха прошли по лицу оцепеневшего мужчины. Глаза дамы округлились в испуге, а губы сжались в тонкую ярко-красную полосу.

— Вы арестованы. Следуйте за мной, — тихо проговорил Бирюков и положил перед ними постановление на арест.

— Что прикажете? — услужливо спросил подоспевший официант.

— Мы уходим, — вежливо ответил Бирюков и пропустил впереди себя Иткиных.

Неподалеку от ресторана, в тихом зеленом переулке, стояла милицейская «Победа», в которой сидели шофер и старшина Коршунов.

Сотрудник Новосибирской прокуратуры из открытого окна ресторана видел, как захлопнулась дверца машины и «Победа» скрылась из виду.

27

В Люберецкое линейное отделение милиции Захаров приехал рано. Вместе с ним прибыли Ланцов и Северцев. До открытия магазина продажи случайных вещей оставалось около часа. Захаров и Ланцов детально обсудили план действий. Начальник отделения выделил им на подкрепление оперуполномоченного Санькина, которому в прошлую ночь пришлось спать не больше двух часов: по заданию начальника он вел срочное расследование. Дорогой в магазин Санькин несколько раз принимался протирать красные глаза, напоминая при этом человека, которого только что разбудили и он не поймет, где он и что за люди с ним рядом.

Слева от дороги по кое-где вытоптанной ромашковой лужайке важно и медленно плыл гусиный выводок. Неуклюже переваливаясь с боку на бок, еще не оперившиеся гусята, покрытые зеленовато-желтым пухом, выгнув свои тонкие

шейки, растянулись длинной цепочкой и жалобно пищали. Старый большой гусак, возглавлявший выводок, остановился на середине лужайки и, гордо изогнув свою красивую шею, осмотрел строй молодняка, принялся щипать траву, постоянно кося красноватым глазом то на дорогу, откуда каждую минуту могла угрожать опасность, то на гусят, словно проверяя, так ли они себя ведут.

Самый маленький гусенок, уцепившись за толстую травинку, тянул ее изо всех сил на себя и, когда та оторвалась, смешно припал на зад, потом неуклюже вскочил и, радостный, что наконец одержал победу, побежал с травинкой. Желая похвастаться, он пикнул и уронил ее. Но старому гусаку было не до этого. Заметив, что к гусиному стаду мелкими шажками, как бы между прочим, подстраиваются две курицы, он по-змеиному вытянул свою длинную шею и с грозным шипением пошел на них. Испуганные куры, кудахтая, со всех ног кинулись через дорогу и успокоились только тогда, когда у завалинки дома попали под защиту старого крепконового петуха, отливавшего на солнце всеми цветами радуги.

На Северцева от этой окраинной улицы маленького городского поселка, которая почти ничем не отличалась от деревенской улицы, повеяло чем-то до боли знакомым и родным. Уловив запахи укропа, мяты и горьковатый дымок русских печей, он вздохнул полной грудью и вспомнил о матери. Уже цвела картошка. «Как там теперь она одна справляется с огородом?» Москва, университет, студенческий городок — все вдруг показалось далеким, чужим.

Шли молча. Санькин про себя горевал, что ему не удастся пойти на покос, так как опять аврал. «Авралом» его начальник называл всякую неотложную, срочную работу. Захарова мучил свой вопрос: «А что, если и здесь впустую?» Ланцову в голову лезли разные мысли, но только не о пиджаке Северцева. Привыкший быть спокойным даже в тех операциях, где каждую минуту грозит опасность и приходится рисковать, он шел с бездумным и спокойным чувством, с каким дворник берет метлу, чтобы подмести осыпавшиеся с деревьев листья.

Не доходя метров пятидесяти до магазина, Захаров заметил, как хромой, средних лет инвалид отмыкал большой лабазный замок на серой, изъеденной дождями и ветром двери. Рядом с ним стояли молоденькая девушка в синем халатике и пожилая женщина в клетчатом платье.

— Доброе утро, — поприветствовал их Захаров.

— Наше вашим, — ответил инвалид и, с грохотом отбросив железную накладку, широко распахнул дверь. — Сегодня на полчаса раньше. План. Прошу.

Захаров предъявил удостоверение личности и попросил на время никого не впускать.

Дальше все пошло удачно. Северцев узнал свой серый коверкотовый пиджак, на котором была неустраняемая примета: на правом рукаве у изгиба локтя маленькая, величиной с булавочную головку, подпалинка. Ее оставил товарищ по школе Костя Трубицин на выпускном вечере. От радости, что наконец-то разрешили курить в открытую, тот так размахисто и с таким нажимом чиркнул о коробок спичкой, что от головки отлетел кусочек горячей серы и упал на рукав пиджака Алексея. Подтвердились и другие приметы.

Захаров составил акт на изъятие пиджака. Заведующий магазином, которому, очевидно, уже не раз приходилось сталкиваться с подобными случаями, ко всему отнесся спокойно и хладнокровно. Девушка в синем халатике растерялась и смотрела виноватыми глазами, в которых можно было читать: «Ой, да разве мы знали, что пиджак ворованный? Вы только подумайте, какие люди бывают!» Пожилая женщина с тонкими бесцветными губами, опершись ладонями о прилавок, безучастно сказала:



— Мы что? Нам что принесут, то и покупаем. Лишь бы было качество.



По приемной квитанции значилось, что в магазин пиджак был сдан неким Петуховым Михаилом Романовичем, проживающим в поселке Мильково, Московской области, по улице Красноармейской, в доме 27. Здесь же в особой графе был отмечен номер и серия его паспорта.

Пока Захаров переписывал данные с квитанции, Ланцов и Северцев осмотрели остальные вещи, висевшие за прилавком. Кроме пиджака у Северцева был похищен также плащ — память об отце, погибшем на фронте. Этот плащ они и искали.

Санькин, также принимавший участие в осмотре вещей, несколько раз возвращался к тюлевым шторам и, мысленно примеряя их к своим окнам, думал: «Эх, черт возьми, не долежат до полочки. Нет, не долежат... Такие вещи больше дня не висят. А что, если попросить займы у начальника? Хороши!»

— Эти шторы не ворованные. Их сдала одна моя знакомая девушка, студентка. У нее не хватило денег на билет, — не говорила, а скорее, просила девушка в халатике.

— Да-а? — протянул Санькин. — Говорите, студентка? А это мы еще посмотрим, что за студентка и где она взяла такие шторы.

Сказав это в шутку, Санькин и не предполагал, сколько тревоги и обиды он причинил своим сомнением молоденькой продавщице.

— Честное комсомольское!

Эти слова девушка произнесла как заклинание.

— Что ж, проверим, — все тем же тоном недоверия ответил Санькин, припоминая ширину своих окон и на глазок прикидывая ширину тюлевого полотнища.

Девушка ничего не ответила и, подавленная, отошла к окну, за которым уже собирались ранние покупатели. Они недоумевали, почему их не впускают в магазин.

Завернув пиджак в бумагу и положив сверток в чемоданчик, Захаров отдал его Северцеву. После этого они распрощались с продавцами и вышли.

— Все ясно, что получше уже завернули и понесли. А говорят, нет блага... — бросил кто-то вдогонку.

28

В отделении милиции Захаров оформил постановление на обыск в квартире Петухова. Из поселкового Совета, куда он позвонил по телефону, сообщили кое-какие биографические сведения. Петухову пятьдесят один год. Это уже говорило о том, что в числе грабителей его не было: Северцева грабили молодые.

Старшим группы майор Григорьев назначил Захарова. Как студент-практикант, получивший поручение вести дело Северцева, он испытывал неловкость, отдавая распоряжения Ланцову, который был старше его и по званию и по положению. Сержант старался — и это Ланцов прекрасно понимал — свои соображения при обсуждении плана расследования высказывать не в форме указания старшего, а как совет равного. И все-таки, несмотря на эту скромную сдержанность и такт, Захаров тонко и твердо, не ущемляя достоинства лейтенанта, проводил свою линию, с которой Ланцов соглашался не из-за того только, что Захаров начальник группы, а потому, что все его предложения и предположения, основанные на более детальном и обстоятельном знакомстве с делом, были глубоко аргументированы.

Было решено: прежде чем допросить Петухова — выяснить у соседей и на работе, что он за личность. Чтобы не тянуть время, Ланцов должен немедленно поехать в райпотребсоюз, где Петухов работал бухгалтером. Допрос соседей падал на

Захарова. В обязанности Санькина пока что входило вызвать двух-трех соседей, хорошо знающих Петуховых.

Оставшись один в следственной комнате, Захаров принялся ходить из угла в угол. «Ну, хорошо, — рассуждал он, — допустим, этот Петухов отъявленный прохвост. Пусть даже в прошлом он судим и тому подобное. Но что я буду делать, если он станет утверждать, что этот пиджак где-то, у кого-то случайно купил? А у кого — сказать не захочет. И, наверное, скорчит такую физиономию, глядя на которую можно подумать, что всю жизнь он прожил тише воды, ниже травы... Да, но ведь может быть и другое. Он может оказаться родственником одного из грабителей и выведет, если хорошо поставить дело, на свежий след. Может это быть? Может! Может, но вряд ли. Уж слишком была бы грубой работа. Продавать ворованное там, где живешь, — глупо. А впрочем, это даже неглупо. Продать ворованную вещь в другом городе и быть потом найденным — значит, наверняка придется отвечать на вопрос: почему не продал в свою скупку, а ташился в другой город? Да, тут тысячи путей, тысячи предположений. Все они могут быть истинными и ложными. Петухов, бухгалтер, пятьдесят один год. Все это пока еще ни о чем не говорит...»

Захаров остановился у раскрытого окна и стал рассматривать прокопченный станционный дворик, где на чахлой и забитой угольной пылью травке расположилось несколько невзыскательных пассажиров. Глядя на их лица и одежду, на мешки и перевязанные веревками чемоданы, которые с успехом служили им сиденьями и столиками, он приблизительно угадывал, что это за люди и куда они едут. Работа на вокзале научила его различать пассажира. Недалеко от окна на лавочке сидел благообразный старичок в черном суконном пиджаке и новых хромовых сапогах. На голове его была новенькая форменная фуражка железнодорожника. Весь он был чистенький и праздничный. Па его груди красовались орден Трудового Красного Знамени и две медали. Награды молодили седого, но еще бодрого старика и внушали к нему невольное расположение. «Старый железнодорожник, пенсионер, — заключил Захаров. — Вероятно, едет в гости к сыну или дочери». Несколько поодаль, в углу садика, на примятой траве сидели, вытянув ноги, две девушки. С виду им можно было дать лет по тридцать. Но беззаботный, закатистый смех, которым они заливались, говорил о том, что девушкам не больше двадцати. Они смеялись над старухой татаркой, которая, пригревшись на солнце, дремала на покосившейся лавочке. «Девушки, очевидно, едут с лесозаготовок. Подзаработали денюжат — и обратно в колхоз», — решил Захаров, всматриваясь в круглое лицо той, которая, до слез покатываясь со смеху, била кулаком по спине своей подружки, подавившейся крутым яйцом. На крышке чемодана, стоявшего рядом с хохотушками, на клочке газеты лежала щепотка соли, огурцы и ржаной хлеб, который они не резали, а ломали.

Захаров продолжал рассматривать станционный двор. В лужице, образовавшейся после ночного дождя, плавала пелена тополиного пуха, отчего она походила на живой, точно дышащий островок серебряно-золотистого руна. У самой лужи сидел татарчонок лет трех, в красной рубашке и без штанов. Время от времени он поглядывал черными озорными глазами на заснувшую старую татарку, которая, очевидно, приходилась ему бабушкой, и колотил ладошкой по пушистому покрывалу лужицы. Он был до смерти рад, что пушинки не тонули. Несколько минут назад старая любовалась своим шустрим внуком, а теперь ей в этом старческом полузабытьи, смешанном с дремотой, вероятно, снился татарский аул, где она, статная и красивая невеста, с тугими косами, обвешанными серебряными полтинниками, привораживая молодых парней, танцевала на праздничном кругу...

Прохаживающийся по перрону постовой милиционер в белом кителе, узнав в татарчонке сына станционного диспетчера Хасана Мустафина, свернул с перрона в садик и направился к лавочке, на которой дремала старуха.

— Бабушка, проснитесь. Смотрите, что делает ваш внук, — чуть тронув плечо старухи, прокричал ей почти в самое ухо старшина милиции.

Захаров удивился, что, открыв глаза, та не шелохнулась. Более того, она даже одобрительно посмотрела на внука.

— Нищава, нищава. Крепкий кость будет, — подняв повязанную темным цветастым платком голову, с татарским акцентом ответила старуха и только теперь взглянула на подошедшего милиционера.

«А может быть, она права», — подумал Захаров и стал наблюдать за ребенком, который теперь заполз уже в самую середину лужи. Он был беспредельно счастлив: нагретая солнцем вода была теплая, как парное молоко, а кругом плавали тополиные пушинки. В эту минуту он походил на только что проснувшегося малолетнего принца из сказки, сидящего на своем царственном ложе из лебяжьего пуха.

Решив, что старуха не в своем уме, милиционер подошел к луже и, встретившись с пугливым и диковатым взглядом мальчика — тот понял, что сейчас его вытащат из этой райской благодати, — нагнулся, чтоб взять ребенка на руки. Но мальчуган размашисто шлепнул ладошкой по воде и окатил белый китель и лицо старшины грязными брызгами. Поднявшись на ноги, шалун быстро убежал к бабке и закутался в ее широченную юбку.

Старая татарка довольно улыбалась.

Некоторое время старшина и мальчишка стояли друг против друга и тоже улыбались: старшина от неожиданной выходки малыша, а тот — от удовольствия, что так ловко обрызгал старшину. Наконец старшина вытер платком с лица грязные капли и, погрозив мальчику пальцем, направился к калитке. По выражению его лица Захаров заключил, что он был добродушным человеком и любил детей.

«Да, вот она, романтика расследования. Не книжная, а настоящая. Если б каждый юноша, обольщенный романами Конан-Дойла, юноша, который спит и иногда видит себя во сне Шерлоком Холмсом, по-настоящему понял, что такое идти по запорошенным следам... Идти и спотыкаться. Идти вперед и возвращаться назад. Находить и терять. Вставать и падать. И снова вставать... Следовательская работа, — Захаров горько улыбнулся, — длинная и тягучая, как осенние дожди. Тяжелая, как чужая ноша. Рискованная, как бросок на безымянную высоту, которую нужно отбить у противника».

Эти мысли Захарова оборвал приход Санькина. Вместе с ним в комнату вошла пожилая женщина с гладко зачесанными волосами и одетая, несмотря на жаркую погоду, в темно-синий бостоновый костюм, сшитый слегка в талию. У вошедшей было то особенное выражение лица, которое, как правило, бывает у людей, привыкших всю свою жизнь распоряжаться, учить, воспитывать. Захаров был почти уверен, что вошедшая или учительница, или врач. Поздоровавшись с женщиной, он пригласил ее присесть. «Это все?» — взглядом спросил он у Санькина, и тот, поняв этот немой вопрос, ответил:

— Еще придут через полчаса.

Захаров сказал Санькину, что тот пока свободен. Санькин вышел.

Женщина представилась Екатериной Сергеевной Дерстугановой и, как и предполагал Захаров, оказалась учительницей литературы.

Поняв, что от нее хотят, Екатерина Сергеевна с минуту робко молчала, точно собираясь с мыслями, потом неожиданно улыбнулась и, покраснев не то от смущения, не то от желания рассказывать не совсем приятное для нее, начала:

— Я понимаю, молодой человек, что вы от меня ждете. Но, как растерявшаяся школьница, я не могу сообразить, с чего начать. Прошу вас — задайте наводящий вопрос.

— Начните хотя бы с того, давно ли вы знаете Петуховых, — подсказал Захаров.

— Петуховых я знаю давно. Они мои соседи. Если мне не изменяет память, то в

Мильково они приехали в начале тридцатых годов, по их словам, откуда-то из-под Рязани.

Спокойно, делая паузы, Екатерина Сергеевна продолжала рассказ. Она говорила, а Захаров записывал. То, что сообщала учительница, походило скорее не на показания свидетеля, где нужен и важен только факт, а на художественный рассказ или, точнее, на характеристику отрицательного героя книги, еще не прочитанной следователем. Однако, несмотря на то что книга эта была еще не прочитана и с ее главным отрицательным героем Захаров знаком пока только по рассказу, он уже отчетливо, почти зримо представлял себе образ сбежавшего от коллективизации кулака из Рязанской губернии. Сведения, которые сообщила о Петухове Екатерина Сергеевна, скорее были впечатлениями эмоционально чуткого человека, чем свидетельством конкретного факта, на котором можно было бы построить если не прямую, то хотя бы косвенную улику по делу об ограблении Северцева. Временами Захарову даже казалось, что Екатерина Сергеевна забывала, что перед ней работник уголовного розыска, и, словно внимательному школьнику, продолжала свой рассказ о том, как много странностей и необъяснимого можно наблюдать в жизни Петуховых.

Видя, что Захаров перестал записывать и, очевидно, ждет только момента, чтобы вставить вопрос, Екатерина Сергеевна извинилась, что очень мало сказала по существу.

— Вы, вероятно, недовольны тем, — продолжала она, — что я увлеклась и доверяю больше интуиции, чем фактам? Может быть, и так. Но эти бесконечные попойки, вечера и вечеринки с многочисленными гостями, которых даже трудно запомнить — так их много, — эти вечные гулянки кого угодно заставят думать, что источники заработков у Петуховых весьма и весьма подозрительны. В семье работает один хозяин, а вы посмотрите, как наряжается их дочь, какой сад они завели, какую сделали пристройку к дому. А спрашивается: на что?

Это были уже факты. Авторучка Захарова снова быстро забегала по бланку протокола. Все яснее и яснее вырисовывался образ Петухова — человека из «бывших».

— Вы не вспомните, Екатерина Сергеевна, кто к Петуховым приходил из незнакомых вам людей за последнюю неделю? А точнее, примерно пять-шесть дней назад. С вещами, с узлом или с чемоданом...

Глядя на Захарова, Екатерина Сергеевна старалась что-то припомнить.

— Собственно, почти все гости, которые бывают у них, как правило, приходят или с узлами, или с чемоданами, или с сумками. Но вас интересует последняя неделя. И как раз те дни, о которых я ничего не могу сообщить. В это время я выезжала с ребятами на экскурсию в музей Толстого в Ясную Поляну.

Записав все, что в какой-то мере проливало свет на личность Петухова, Захаров поблагодарил Екатерину Сергеевну и, проводив ее до конца платформы, распрощался. Возвращаясь, он живо представил Екатерину Сергеевну на уроке. Строгая и красивая в свои пятьдесят пять лет, она медленно и важно идет между рядами парт и рассказывает. Вдохновенно рассказывает такое интересное, что весь класс замер.

Когда Захаров вошел в следственную комнату, в ней уже сидели Санькин и незнакомый человек. Это был второй сосед Петухова — худощавый, с испуганным лицом мужчина лет сорока со смешной фамилией — Краюха. Нижняя губа Краюхи крупно тряслась, брови были высоко подняты.

Слушая Краюху, Захаров убеждался: все, что он говорит о Петуховых, ему уже известно из показаний Екатерины Сергеевны. Попойки, пристройка к дому, фруктовый сад, наряды дочери, сам по воскресеньям одевается как туз. Вот разве только сообщение, что за последний год к ним частенько навещается старуха из

Москвы.

— Что за старуха? — заинтересовался Захаров.

— С виду неказистая и уж очень моленная. Все чего-то привозит им. Приходит с узлами, а уходит пустая. В черном всегда.

— Когда она была последний раз?

— Если не соврать, то дня четыре назад, — кусая ноготь большого пальца, ответил Краюха. — Верно, вспомнил, во вторник. Я еще гусей после работы с болота гнал, а она от станции шла с узелком.

Захаров попросил описать ее внешность.

— Как вам сказать, гражданин следователь, вроде бы монашенка. В черном во всем. И сколько раз я ее ни встречал, все у нее на носу капля висит. А лицом вылитая колдунья. Как впивается глазами — ажнык мурашки по спине бегут. С палочкой ходит и горбатится. Даже палка у нее и та черная.

Установив еще некоторые детали внешности старухи, Захаров хоть и смутно, но уже представлял ее себе.

Когда Краюха понял, что лично ему ничего не угрожает, он осмелел и хотел поговорить со следователем еще, но у Захарова для этого не было времени. Через раскрытое окно он увидел в переулке Санькина. Рядом с ним шла маленькая женщина, которая то и дело оглядывалась и грозила кому-то кулаком. Всмотриваясь, Захаров заметил, что, отстав от женщины, за ней бежал мальчишка. Одной рукой он вцепился в спадающие штаны, а другой держал большой ломоть черного хлеба. За ним, ни на шаг не отставая, плелся серый лопоухий щенок, который, как и мальчишка, останавливался и трусливо пятился назад, когда женщина грозила кулаком в их сторону.

— Благодарю вас, товарищ Краюха, за сообщение. Вы свободны. — Захаров пожал Краюхе руку и проводил его до двери.

В последнюю минуту Краюха намеревался спросить еще что-то, но, увидев вошедшую Дембенчиху — так звали по-уличному Дембенкину, — осекся на полуслове. Очевидно, чувствуя за собой какие-то старые соседские грешки, о которых Дембенчиха непременно расскажет, он на ходу надел фуражку и поспешно вышел.

Пригласив свидетельницу сесть, Захаров осторожно и мягко пояснил ей цель вызова. Вначале она не поняла, что от нее хотят, но, уяснив, что перед ней представитель власти и что этот представитель интересуется ее соседями Петуховыми, Дембенчиха обрушила на соседей такой поток жалоб, что если им верить, то можно только удивляться, как до сих пор Петуховы не сжили ее со света. Все выложила: и то, что теленок Петуховых с утра до ночи пасется в ее огороде, и то, что сам Петухов несколько раз пытался отравить ее собаку Дамку, и то, что жена Петухова лазит в ее огород и рвет укроп... Захаров слушал и ждал, когда же она кончит. Не дождавшись, он перебил Дембенчиху:

— Вы лучше расскажите, кто ходит к Петуховым. Что это за люди? Что они с собой приносят? На какие средства, по-вашему, Петуховы сделали к дому пристройку, разбили сад?

Теперь Дембенчиха поняла, чего от нее ждет следователь. Лицо ее стало еще воинственнее. Она горячо принялась рассказывать, как к Петуховым день и ночь идут и едут разные люди.

— ...И кого только не бывает у них! Приедет зять из Германии — гуляют целую неделю. Сын с Севера приедет — месяц без просыпу пьют. Заглянет родственник из Ленинграда — два дня дым стоит коромыслом. Кто из Сибири на курорт едет —

уж их никак не минет. Опять гульба, опять песни, пляски.

— Парня лет двадцати шести, такого высокого, белолицего, со светлыми волосами, вы у них не видели?

Дембенчиха, что-то припоминая, остановилась.

— Шрам у него на правой щеке... — указал еще одну приметку Захаров.

— Вот чего нет, того нет, товарищ начальник. Не хочу соврать, такого не видала.

Захаров спросил про старушку.

— Вот старушка приезжает часто. И как будто бы из Москвы.

— А какая она из себя?

Дембенчиха описала портрет старухи, и Захаров удивился, как метко, образно и, главное, почти одинаковыми словами говорили о старухе Краюха и Дембенчиха. Тут же подумал, как беден и жалок порой бывает казенный, протокольно-сухой слог судебных документов, в которых описывается портрет преступника. Можно до десятой доли миллиметра измерить длину носа, высоту лба, ширину подбородка, назвать цвет глаз, измерить с точностью до сантиметра рост, вычислить и остальные физические данные, но все это не создает того зримого образа человека, которого должен видеть в своем воображении оперативный работник, идя по следу преступника. Бабку с черной палкой и в длинной черной юбке с ее неизменной привычкой креститься, когда переходит через дорогу, через лужу, входит в чужой дом, он представил теперь очень ясно. А покрытая длинными и черными волосами родинка на ее верхней губе как бы довершала законченный портрет старухи с нехорошим, недобрый лицом.

— А вы не знаете, кем приходится Петуховым эта старуха?

Дембенчиха изменилась в лице и косо взглянула на скрипнувшую дверь. Захаров тоже повернулся. В дверь заглядывал тот самый мальчишка, который вместе со щенком бежал по переулку. Нос у него был облуплен, волосы, как лен, выгорели. Пригнувшись, он воровато смотрел то на мать, то на авторучку Захарова. В ногах у него сидел лопухий щенок.

— Это мой меньшей. Шагу не даст шагнуть, как хвост, — точно оправдываясь, сказала Дембенчиха и, выбрав момент, когда Захаров наклонился над столом, сделала такой угрожающий знак, что мальчишка насторожился и приготовился бежать.

Захаров спросил имя мальчика.

— Мишка, — уже с теплотой в голосе ответила Дембенчиха, но на дверь посмотрела строго.

— А ну, Миша, иди сюда. — Захаров поманил мальчика пальцем.

Мишка даже не шевельнулся. В этом обращении он усматривал какой-то подвох. Видя, что мальчик диковат и словами заманить его трудно, Захаров достал из кармана конфету в цветной бумажке.

Тронутая добротой следователя, Дембенчиха приободрила сына:

— Ну, чего боишься, глупой. Видишь, дядя конфетку дает. Иди возьми.

К столу Мишка подходил боязливо, точно подкрадывался, готовый всякую минуту повернуть назад и задать стрекача. Когда же конфета очутилась в его руках, он, радостный, выскочил на улицу. Захаров подошел к окну. Ему было любопытно, как поведет себя малыш дальше. Мишка мчался по переулку и оглядывался по сторонам.

За ним, почти наступая на пятки и размахивая длинными ушами, неуклюжим галопом бежал серый щенок.

— Мы несколько отвлеклись, — сказал Захаров, возвращаясь на свое место. — Вы так и не сказали, кем же приходится Петуховым эта старуха.

— Ихняя Настя говорила, что это вроде бы отцова тетка.

— А кто такая Настя?

— Дочь Петухова. Восемнадцати еще нет, а курит, как мужик. Только и знает, что наряжаться да с парнями до зари шляться. Здоровая, как кобыла, а нигде не работает. Прошлой ночью до вторых петухов с Зубковой Райкой под окнами горланили.

Зазвонил телефон. Захаров поднял трубку. Его лицо стало сосредоточенным и напряженным. Звонил Григорьев.

Извинившись и попросив Дембенчиху на минутку выйти, Захаров кратко сообщил Григорьеву о ходе дела. Выслушав рапорт, майор не высказал никаких замечаний и сообщил, что плащ Северцева только что обнаружен на Перовском рынке. Он приказал Ланцову или Захарову немедленно выехать вместе с Северцевым в Перово: задержанная с плащом находится в линейном отделении милиции станции Перово.

— Есть, товарищ майор.

Захаров повесил трубку. «Да, это, кажется, уже не случайность. Москва — Перово — Люберцы. Дорога одна. Кто-то работает не совсем осторожно. Интересно, что там у Ланцова?» Он набрал номер телефона райпотребсоюза. Ланцова позвали быстро. Судя по услужливости, которая звучала в голосе заведующего, Захаров заключил, что представитель уголовного розыска произвел на того должное впечатление.

Ланцов сообщил, что личность Петухова выяснил обстоятельно. Есть соображения допросить его безотлагательно, не дожидаясь, пока тот придет домой и догадается, что за ним следят. Захаров передал подробности разговора с Григорьевым и предложил Ланцову немедленно вместе с Северцевым выехать в Перово.

— Если плащ опознаете, задержанную доставить ко мне. Петухова я буду допрашивать в кабинете начальника. В случае чего — звоните. — Последние слова Захаров произнес тоном приказа. Теперь он помнил только одно: ответственность за проводимую операцию лежит целиком на нем.



Захаров позвал Санькина.

— Прошу вас, доставьте, пожалуйста, в отделение бухгалтера райпотребсоюза Петухова. И как можно быстрее. Мне самому туда показываться нельзя. Вы это понимаете.

— Есть, доставить Петухова!

Дорогой Санькин думал, что бывают же на свете хорошие начальники. Приказывает, как будто просит. Даже охота выполнять. А вот ему не повезло: его начальник с ним обращается бесцеремонно. Никогда не поговорит по душам.

Только теперь Захаров вспомнил о Дембенчихе. Она сидела в дежурной комнате и, поджав губы, не сводила глаз с двери.

— Благодарю вас, Софья Николаевна, за помощь. Можете быть свободны. Только прошу об одном: о нашем разговоре никто не должен знать.

Дембенчиха искренне растрогалась:

— Да что вы, товарищ начальник? Да разве можно... Да я...

Оставшись один, Захаров произнес вслух:

— Теперь самое главное — Петухов. Что скажет он?

29

Петухов перед Захаровым предстал не таким, каким он его себе рисовал. Он рассчитывал встретить розовощекого, с бегаящими хитроватыми глазками крепкого мужичка, а перед ним сидел лысый пожилой человек с усталым взглядом, изможденный и болезненный. Его дряблые и бесцветные, точно пергаментные, щеки, широкий угловатый лоб с тремя глубокими морщинами, грустное выражение глаз говорили о том, что ему на своем веку довелось досыта хлебнуть и хорошего и плохого. Больше плохого.

Рассказывая, как четыре дня назад купил пиджак, Петухов безучастно смотрел в окно. Когда он делал паузу, морщины на его лбу собирались в гармошку и становились еще глубже. Уголки губ в это время печально опускались, отчего все лицо выражало не то страдание, не то сожаление.

— Семья, гражданин следовательно. Ничего не поделаешь. Много ли, мало ли, а их на моей шее двое висят. Обе не работают. Вот и крутись как знаешь.

— Сколько вы заплатили за пиджак? — неожиданно спросил Захаров, зная, что вопрос, который поставлен внезапно, всегда приводит допрашиваемых в некоторое замешательство. Особенно когда ответ должен быть конкретным. Эту тактику внезапных вопросов любил и с успехом применял майор Григорьев. Он называл ее тактикой «бури и натиска».

— Двести рублей, — спокойно ответил Петухов.

— Постарайтесь поподробней описать внешность человека, у которого вы купили пиджак. — Захаров обстоятельно разъяснил, что должно входить в ответ: рост, цвет волос, глаз, примерный возраст.

Устало закрыв глаза, Петухов понимающе кивнул и начал рассказывать:

— Поезд, дай бог не соврать, был Москва — Мичуринск. Это я хорошо запомнил по табличке на вагоне. Собрался я после обеда в Москву. Пришел на станцию. Иду к кассам за билетом. Здесь ко мне подходит высокий парень в морской тельняшке. Плотный такой и из себя видный. По запаху слышу, что выпивший. На руках у него этот самый пиджак. — Петухов кивнул на чемодан, в котором лежал пиджак Северцева. — Я сказал, что не нужен, и пошел к кассам. Купил билет и жду электричку. Мичуринский поезд еще стоит. Иду по перрону, ко мне опять подходит этот же парень и христом-богом умоляет, чтоб я его выручил. Я приценился. Двести. Как вы сами понимаете, цена сходная. Вижу, парень в дороге издержался и норовит продать за полцены. Тут я решил, что двести рублей — не деньги, а пиджак почти что новый, коверкотовый. Да и человек, вижу, готов душу отдать в придачу, чтоб только его выручили. И купил. А когда купил, то в Москву ехать раздумал: денег всего осталось четвертная. Сдал билет и вернулся домой. — Петухов замолчал.

— А дальше? — спросил Захаров.

— Ну, тут вы сами понимаете, если человек женатый — разговор с женой. То, что дешево купил, — хорош, а что сам носить собрался — гудеть начала. Вот, мол, шестой десяток пошел, а ты все форс наводишь, не разлюблю и в суконном. И пошла, и пошла!.. Два дня подряд пилила, пока не добилась своего. Пошел и сдал в скупку.



— Сколько лет можно было дать гражданину, который продал вам пиджак?

Петухов прищурился, что-то припоминая:

— Лет двадцать семь — двадцать восемь, не больше.

— А каких-нибудь особых примет вы не заметили? Может быть, родинки, усы, бородавка?

— Родинки, усов и бородавок я у него не видел, а вот шрам через всю правую щеку приметил. И видать, что совсем свежий.

— На какой, вы говорите, щеке?

— По-моему, на правой, — повторил Петухов. — Точно-точно, на правой.

Захаров встал и подошел к окну. «Он! Тот, кто назвался Северцеву Костей и представился инженером московского завода. Неужели их уже нет в Москве?» — пронеслась в голове тревожная мысль, которая заставила уже по-другому смотреть на Петухова. Перед этим допросом, основываясь на характеристике соседей, Захаров втайне торжествовал, что наконец-то веревочка в его руках, наконец-то найден верный след. И вдруг... Шрам на правой щеке у гражданина, четыре дня назад вышедшего в Люберцах во время стоянки поезда Москва — Мичуринск. Если б этот гражданин со шрамом ехал в поезде Москва — Владивосток, то можно было бы еще надеяться, что он в дороге. Можно было бы сообщить его приметы на все станции до самого Владивостока. Его бы взяли в дороге. А здесь Москва — Мичуринск. Меньше суток езды. За эти четверо суток он где-нибудь далеко-далеко.

Захаров посмотрел на Петухова. Тот сидел по-прежнему невозмутимый и усталый.

«А что, если это не овца, а хитрая, прожженная лисица, которая знает грабителей и, чтобы отвести от себя удар, начинает петлять, уползать? Что, если все сказанное им — ложь? Но если это ложь, то как его уличить, как доказать, что он лжет? Середины тут быть не может: или Петухов совершенно непричастен к ограблению и сбыту ворованных вещей, или он не только в курсе дела, но и... А что «но и»?.. Разве я не был убежден, что Кондрашов грабитель, когда вез его на допрос? Был. А что получилось? Пшик. Показания соседей? А что соседи? Кому какое дело до тех, кто по праздникам гуляет, весело встречает денежных родственников, гостей? Что им до того, если люди благоустраивают свое жилье, выращивают сады, нарядно одевают дочерей? Ведь некоторые люди, особенно соседи, из одной только зависти готовы облить ближнего с ног до головы грязью. Учительница? В ее словах больше эмоций, чем фактов. Она даже сама заявила, что в характеристике Петуховых руководствуется скорее интуицией да догадками, чем знанием конкретных фактов».

Захаров отошел от окна и сел за стол.

— Гражданин Петухов, у вас есть кроме незамужней дочери еще дети?

— Двое сыновей.

— Кто они? Где живут, кем работают?

— Старший, Андрей, вот уже двенадцатый год пошел как на Дальнем Севере работает механиком. Младший тоже неплохо живет. Этот директором магазина в Полтаве.

— Помогают?

— Пока на детей не жалуюсь.

— Навещают вас?

— А как же! В прошлом году приезжал с Севера старший. Сделал пристройку и

покрыл весь дом новым железом. Приезжает и из Полтавы. Тоже не забывает.

— Во сколько вам обошлась пристройка к дому?

— Как вам сказать, тысяч в восемь въехала. Лес, кирпич, подвозка, а потом — работа. Пришлось все нанимать.

Вспомнив своего соседа по квартире, который уже пятый год работает на Дальнем Севере, Захаров подумал: «Восемь тысяч для северянина на повышенном окладе, который за один только трехмесячный отпуск получает около десяти тысяч, проблемы, конечно, не составляют. Тем более, он, очевидно, к старости думает возвращаться в Москву». Желая проверить свое предположение Захаров спросил, не думает ли старший сын Петухова возвращаться в Москву.

— Думает. Север — это не Крым. Как-никак, а за одиннадцать лет здоровье начинает поднашиваться. Если б не думал, то зачем бы огород городить, пристройки разные делать?

О младшем сыне Петухова Захаров не стал расспрашивать. Можно иметь только одного старшего, чтобы жить так, как, по рассказам соседей — а в таких рассказах обычно не обходится без преувеличения, — живут Петуховы.

— Почему же вы слезу пустили, что вот, мол, семья, иждивенцы задавили, нужда? Что же вы приbedнялись? — Захаров надеялся увидеть на лице Петухова выражение заговорившей совести.

— Что вам на это ответить? Если признаться чистосердечно, то жадность. Она с нами родилась. Ну а то, что перед вами вроде бы жаловался, так это оттого, что совестно. Все-таки как ни кинь, а со стороны оно выходит, спекульнул, нажился. Купил за двести, а продал за триста.

«Что же он — лжет или говорит правду? — продолжал мучительно думать Захаров, не спуская глаз с подследственного. — Но если и лжет, то как его проверить? Кто может доказать, что он не покупал пиджак у незнакомца с поезда? Человек со шрамом на щеке выехал из Москвы. Единственный шофер такси, которого нужно найти из тысячи шоферов, мог уже забыть, кого он вез неделю назад».

Телефонный звонок Захарову показался резким. Звонил Ланцов. Радостным голосом он сообщил, что плащ Северцев опознал, что гражданка, задержанная с плащом, находится в следственной комнате Люберецкого линейного отделения милиции.

— Фамилия задержанной?

— Петухова.

— Кто-кто? — почти выдохнул Захаров в трубку и привстал. — Где, где она?..

Ланцов еще раз повторил фамилию задержанной и сообщил, что она находится в соседней комнате, через стену от Захарова.

С замешательством Захаров справился быстро. Попросив Ланцова пока подождать, он снова принялся за допрос:

— Гражданин Петухов, кроме пиджака, этот парень других вещей вам не предлагал?

— Нет, больше я у него ничего не видел. — Петухов посмотрел на Захарова, стараясь отгадать, о чем будет следующий вопрос. А вопрос этот был о том, сколько денег было у Петухова до покупки пиджака и сколько осталось после покупки.

Допрашиваемый снова пожал плечами:

— Тут арифметика простая. Да я, кажется, уже говорил и вы записали: всего с собой у меня было двести тридцать рублей. Пять рублей заплатил за билет, двести за пиджак, осталось, выходит, двадцать пять.

— Значит, кроме пиджака, вы больше ничего у гражданина со шрамом не покупали?

— Ничего не покупал.

— Хорошо. Так и запишем. — Захаров почувствовал необъяснимый приток свежих сил и сгорал от нетерпения выйти в соседнюю комнату, откуда доносились равномерные шаги Ланцова. Он нажал кнопку и через несколько секунд в кабинет вошел Санькин.

— Прошу вас, товарищ лейтенант, прочитайте протокол Петухову вслух, и пусть он подпишет его. Если будут дополнения в показаниях — можно внести их в конце. Вам ясно, гражданин Петухов?

— Ясно.

Захаров взял чемодан и предупредил Санькина:

— Я отлучусь на несколько минут. Начальник вызывает по срочному делу.

В следственной комнате кроме Ланцова и Северцева еще находилась молодая девушка. Одета она была по моде и в тон: синее креповое платье с белым атласным воротником, белые модельные босоножки, широкий белый пояс с синей пряжкой и белая сумочка. По слегка вздернутой верхней губе и ямочке на подбородке Захаров сразу же догадался, что это дочь Петухова. В ее серых больших глазах затаилась отцовская грусть. По паспорту Петухова Анастасия Михайловна значилась учащейся, хотя нигде не училась и не работала уже три года. Для своих восемнадцати лет она была слишком развита. Высокая и не по-девичьи полная грудь то опускалась, то поднималась.

— Не волнуйтесь, гражданка. Лучше спокойно расскажите, где вы достали этот плащ и почему вы его продаете.

Кусая губы и полуотвернувшись, Петухова ответила:

— Мое волнение, гражданин следователь, совсем другое, чем вы думаете. Мне просто стыдно.

На лице Захарова отразилось недоумение.

— Только ли стыдно?

— Это плащ моего старшего брата. Он работает на Севере. Если бы он знал, что мы разбазариваем его вещи и покупаем на них модные безделушки, его бы это очень обидело. Бедняга, он уже больше десяти лет во льдах — морозы, цинга, а мы... Тем более он нам аккуратно высылает деньги.

— Да, нехорошо, нехорошо быть такими неблагодарными. — Захаров встал, неторопливо вынул из чемодана пиджак Северцева и развернул его перед Петуховой: — А этот пиджачок, случайно, принадлежит не вашему брату с Севера?

Петухова резко вскинула голову. В глазах ее застыли страх и удивление.

— Этот пиджак я вижу в первый раз, — проговорила она дрогнувшим голосом, вся съежилась.

Захарову показалось, что Петухова стала как-то сразу меньше и сутулей.

— Николай Петрович, допросите, пожалуйста, гражданку, — обратился он к Ланцову и, взяв сверток, в котором был плащ, прошел в кабинет, где его ожидали

Санькин и Петухов.

Петухов, обмакнув перо в чернила, уже занес руку, чтобы подписаться под своими показаниями.

— Минуточку, — остановил его Захаров, — допрос еще не окончен. — И, подойдя к Петухову почти вплотную, в упор спросил: — А плащ вы не покупали у гражданина с поезда?

— Плащ? — переспросил Петухов. — Какой плащ? — И, несколько помедлив ответил: — Нет, не покупал, — В его голосе слышались едва уловимые нотки беспокойства.

— А это? — Захаров развернул плащ. — Где вы его взяли? И почему не сдали вместе с пиджаком в скупку, а послали дочь на Перовский рынок?

Все ниже и ниже клонилась голова Петухова. Через минуту она уже чуть не касалась стола.

— Что теперь говорить, гражданин следовательно, виноват. Ваша взяла — судите. Только не думал, что на старости лет привлекут за спекуляцию. Знаю, что согрешил, но что поделаешь — все мы ходим под богом.

— Так где же вы взяли этот плащ?

— Там же, где и пиджак.

— Где это «там же»?

— У того же самого гражданина с поезда.

— За двадцать пять рублей?

— За триста пятьдесят.

Захаров решительно подошел к Петухову:

— Кончайте играть простака. Говорите правду: кто и когда привез вам эти вещи? Нам все известно. Учтите, чем правдивее будут ваши показания, тем лучше будет для вас. Вы лично давно знаете гражданина со шрамом на правой щеке?

Петухов отрицательно покачал головой:

— Я его видел один раз.

— Где же вы его видели?

— На перроне, когда покупал вещи.

— Значит, вы по-прежнему утверждаете, что купили вещи у незнакомого гражданина с поезда?

— Да.

— Тогда почему же вы вначале скрыли, что вместе с пиджаком купили и плащ?

— Отвечать за один пиджак — это еще полбеды, а за перепродажу двух вещей — тут, как ни пляши, а выходит, что спекулирую.

— Так, так. Значит, боялись, чтоб не привлекли за спекуляцию?

— Кому свобода надоела?

— Хорошо, предположим, что вы испугались ответственности за перепродажу двух вещей и решили одну из них скрыть. Допустим, что это так. Тогда скажите: а дочь

ваша знает, откуда взялись пиджак и плащ?

— Да, — ответил Петухов и посмотрел на Захарова. Захаров заметил, что в глазах его отразилась тревога. — Что «да»?

— Я говорю, знает.

Захаров широко раскрыл дверь и громко произнес:

— Гражданка Петухова, войдите.

Вошла дочь Петухова. Увидев сидящего на стуле поникшего отца, она вздрогнула.

— Садитесь. — Захаров указал ей на свободный стул. Этот стул он поставил рядом, чтобы отец и дочь сидели лицом друг к другу, как это и полагается при очной ставке.

Вошедшая села, стараясь не смотреть на отца.

— Гражданка Петухова, повторите: где вы взяли плащ, который продавали на Перовском рынке?

— Я же вам сказала. — Петухова вытерла платочком выступившие слезы. — Это плащ моего старшего брата Андрея.

— Так ли это, гражданин Петухов? Напомните дочери, где вы взяли плащ.

Петухов еще раз покорно и с ненужной подробностью рассказал о покупке.

— Что вы на это скажете, гражданка? По-вашему, отец лжет?

Уронив голову в ладони, Петухова громко заплакала.

— Она не виновата, гражданин следовательно. Виноват я. Это я ей сказал, что плащ Андрея. Зачем детям знать о наших грехах?

— Ловко, ловко вы выворачиваетесь, гражданин Петухов. Вам, очевидно, не первый раз приходится иметь дело со следователем?

— Пока бог миловал.

— А вы, я вижу, очень религиозный.

— Как всякий крещеный.

Закончив допрос, Захаров дал подписать протокол очной ставки отцу и дочери. Следующим шагом, решил он, должен быть немедленный обыск в их квартире.

Постановление на право произвести обыск было оформлено заранее, когда необходимость в нем лишь предполагалась. Сейчас это уже стало необходимостью.

30

До дома Петуховых от станции минут пятнадцать ходьбы. Первым шел Петухов. Его походка была тяжелой и неровной, весь он как-то сгорбился и, может быть, первый раз в жизни в свой собственный дом возвращался с таким тяжелым чувством. За отцом шла дочь. Время от времени она всхлипывала, подносила к лицу платок и ни разу не оглянулась ни назад, ни по сторонам. Стыдилась встретить знакомых.

Было уже два часа дня. «Как летит время!» — подумал Захаров и повернулся к Ланцову:

— Ну?

— Крокодиловы слезы! Все они плачут и все раскисают, как слякоть, когда им

наступают на хвост. Типичные перекупщики краденого.

— Но это еще нужно доказать.

— Это уже твое дело. Я здесь всего-навсего на подхвате, обозреватель, — тихо засмеялся Ланцов. — По крайней мере, так приказал Григорьев.

Сзади шли Санькин, Северцев и станционный сторож Калистратыч, который был приглашен в понятия. Быть понятым Калистратычу никогда не доводилось, и он заметно волновался, хотя старался не показать виду.

Вторым понятым по пути пригласили соседку Петуховых Екатерину Сергеевну. Сначала она, испугавшись, что допросы и вызовы могут сорвать ее отпуск, стала отказываться, но, узнав, что опасения напрасны, согласилась.

Усадьба Петуховых была обнесена высоким дощатым забором с острыми зубцами, обитым ржавой колючей проволокой. От калитки до сарая тянулся толстый трос, по которому, гремя цепью, бегала громадная, по-львиному рыкающая овчарка. Большой пятистенный дом был покрыт оцинкованным железом. Перед окнами, выходящими на улицу, росла густая сирень и два развесистых куста маньчжурского ореха, которые своими широколиственными ветвями касались земли. Справа от дома шел сад. Яблони, груши, вишни — все это уже несло на себе молодые зеленые плоды.

«Вот это сад! — удивился Захаров, прикидывая на глазок количество фруктовых деревьев. — Не меньше сотни. Если каждая яблоня даст хотя бы полпуда — и то пятьдесят пудов. Тут поневоле загуляешь».

Из окон соседних домиков начали высовываться любопытные лица.

Дембенчихе в самую жару приспичило полоть морковь, которая росла у изгороди, отделявшей ее огород от сада Петуховых. Мишка, еще издали заметив Захарова и почуяв, что ему может еще что-нибудь перепасть, прискакал верхом на пруте к калитке, но во двор войти не решился: боялся злой собаки. Он припал лбом к дощатому забору и, разинув рот, глядел в отверстие выбитого из доски сучка.

Ужаленные крапивой ноги Мишки были до крови расчесаны. Рядом с ним по-прежнему неотступно крутился вислоухий щенок.

У Краюхи был выходной день. Вернувшись с допроса, он не мог успокоиться: боялся, как бы Дембенчиха не сказала следователю, что прошло уже два месяца, как он купил приемник, но до сих пор его не зарегистрировал. Она уже не раз грозилась донести об этом, когда Краюхины куры заходили в ее огород и клевали только что завязавшиеся огурцы. С этой беспокойной мыслью Краюха вышел на улицу. Завидев группу людей, подходивших к дому Петуховых, он уселся на бревнах и закурил. Ждал, может быть, и его позвуют. Краюха догадывался, что к Петуховым пошли с обыском. Однажды, года три назад, он случайно попал в понятия при обыске, и это ему очень понравилось. Краюхе особенно хотелось заглянуть в петуховские сундуки.

Обыск длился долго. В четырех просторных комнатах стояло несколько чемоданов, два гардероба, бельевой шкаф, рижский сервант, буфет, двухтумбовый письменный стол, радиола... Все это нужно было открыть, осмотреть, дать каждой вещи краткое описание в протоколе обыска.

Жена Петухова, толстая, лет пятидесяти, женщина с тройным подбородком, не отнимая от глаз передника, как над покойником, причитала почти над каждой вещью. И хотя никто у нее об этом не спрашивал, она рассказывала историю приобретения каждого костюма, каждого отреза: когда купили, сколько заплатили, какой сын прислал, когда побита молью.

Калистратыч к обыску относился с особой торжественностью. Он никак не хотел показать своего любопытства и удивления перед дорогими вещами, которые

принимал от Захарова и рассматривал с видом знатока, коему не впервые приходится быть при обыске.

Протокол и опись вещей вел Ланцов. Санькин и Северцев помогали доставать чемоданы, выдвигать ящики, укладывать добро обратно.

Когда Захаров попросил у хозяина ключ от платяного шкафа, хозяйка чуть было не заголосила. Ее сдержал Петухов:

— Чего ты ревешь? Ведь никто у тебя ничего не отнимает. Мало ли что иногда на людей наговаривают. Проверят, не найдут, чего ищут, извинятся... и вся тут недолга.

В платяном шкафу находилось несколько шерстяных отрезков на мужские и дамские костюмы, три отреза драпа, отрезы шелка, бархата, два мужских костюма, мужская и дамская модельная обувь, рулон тюля... Тут даже у Екатерины Сергеевны, которая никогда не считала себя тряпичницей, и то загорелись глаза.

«Тюль... — подумал Санькин и почувствовал, как где-то под ложечкой у него засосало. — И какой!» О шторах из такого тюля, вот именно из такого дорогого и красивого, мечтала его жена.

Ключа от маленького, с побитыми углами фибрового чемоданчика у хозяйки не оказалось.

— Где же он? — спросил Захаров, определяя в руках вес чемодана.

— У хозяина. Гостит у нас. Из Новосибирска, — разъяснил Петухов. — Он ненадолго. Завтра должен уехать.

— Хоть и чужой, а нужно открыть, — сказал Захаров и попросил Петухова принести небольшой гвоздь.

— Если это так нужно, то можно попробовать и гвоздем.

Через минуту Петухов принес из сеней маленький ящичек, в котором хранились всевозможные гвозди, от сапожных до восьмидюймовых.

— Кем вам приходится этот гость? — спросил Захаров, пробуя гвоздем запор чемодана.

— Знакомый, еще с эвакуации. Наш институт, где я работал до войны, был эвакуирован в Новосибирск. Вот там мы и познакомились. Пришлось больше года жить в одной квартире. Хороший человек, душевный, много добра нам сделал. Ну и мы добро помним: встречаем.

«Новосибирск, Новосибирск...» — Что-то в последние дни Захаров слышал о Новосибирске. Слышал, но... Решив, что сейчас не время ломать голову над посторонними делами, он поднес чемодан к окну и стал рассматривать запор, который никак не поддавался гвоздю. Замок оказался сложным, сделанным по заказу.

На дворе, гремя цепью, громко залаяла собака, которую кто-то успел привязать к конуре. Захаров посмотрел в окно и вначале ничего не понял. По двору шли Григорьев, Бирюков, незнакомый мужчина в золотом пенсне и женщина в широкополой соломенной шляпе.

«А, Иткина! Гражданка из Новосибирска. Ограбление банка. Задание Бирюкову... — в какую-то долю секунды, точно укол, промелькнула в голове Захарова мысль, и он ясно вспомнил разговор Григорьева с Бирюковым. — Какой разиня! Я даже не спросил у Петухова фамилию его гостя. Забыл то, что нельзя забывать следователю».

Неожиданное появление новых людей озадачило Петухова. Он растерялся еще

больше.

— Не ломайте замок. Есть ключ. — Григорьев подал Захарову маленький резной ключик.

— Разрешите я, вы не откроете, — предложил свои услуги мужчина в пенсне.

Григорьев строго взглянул на Захарова, что означало: «Смотри, не сделай глупости».

— Ничего, я сам.

Чемодан был открыт без особого труда.

Сверху во всю длину и ширину чемодана лежало вафельное полотенце, под ним полосатая шелковая пижама, две чистые простыни, пара нательного белья, носки, две верхние мужские сорочки и галстук. Под сорочками, опять во всю ширину и длину чемодана, было разостлано мохнатое банное полотенце.

Едва Захаров дотронулся до полотенца, мужчина в пенсне отвернулся. На лбу его выступили мелкие капли пота. На дне чемодана лежал пистолет. Рядом с ним — пачка контрольных талонов от аккредитивов.

— Ого! — протянул Григорьев, рассматривая пистолет. — Совсем новенький. Пристрелян?

— Да, — резко ответил мужчина в пенсне. Всем своим видом он теперь говорил: «Кончайте быстрее. Уж все решено...»

Григорьев взглянул на Петухова:

— Вы хозяин дома?

— Я. — В голосе Петухова прозвучала тревожная радость: «Кажется, туча проходит стороной».

Григорьев приказал Ланцову составить протокол изъятия оружия, ценных бумаг и личных вещей. Оставив Иткиных под охраной Бирюкова, он вместе с Захаровым принялся за обыск. Осмотрели чулан, сарай, чердак, погреб. Не обнаружив ничего, что могло бы пролить новый свет на дело по ограблению Северцева, и убедившись, что Захаров ведет себя уверенно и твердо, Григорьев уехал в Москву. Перед отъездом он отдал приказание вести наблюдение за домом Петуховых до особого распоряжения.

Вместе с Григорьевым в Москву уехали Бирюков и супруги Иткины.

После отъезда майора Захаров взял у отца и дочери Петуховых подписку о невыезде.

— Вам, гражданка, — обратился он к хозяйке, — придется пройти с нами. Через час вы вернетесь. — Захаров старался говорить как можно спокойнее и мягче, боясь, чтобы хозяйка от страха не заголосила. — А вы, — повернулся он к хозяину, — продумайте все хорошенько и приходите сегодня в семь тридцать вечера в отделение. Отвечать придется на старые вопросы. Только по-новому. Кстати, вспомните, не предлагал ли вам гражданин со шрамом золотую медаль.

— Золотую медаль? Что вы! Разве можно? — с неподдельным удивлением и страхом проговорил Петухов.

— Итак, жду вас сегодня, ровно в семь тридцать.

Как только вышли со двора, Захаров, приотстав от Петуховой, спросил Санькина:

Здесь?



— Как штык! — Санькин взглядом показал на волейбольную площадку.

Там трое парней, забравшись верхом один на другого, привязывали к столбу сетку. Остальные игроки разминались с мячом.

Ловко придумали! Захаров был рад, что оперативники местного отделения так быстро и так оригинально установили наблюдение. Даже внимательно всматриваясь в лица волейболистов, он не смог бы определить, кому из них поручена роль наблюдателя.

В переулке Захаров распрощался с Екатериной Сергеевной.

— Больше вас, кажется, беспокоить не будем, — сказал он, пожимая ей руку.

Калистратычу нужно было идти до станции. Они разговорились.

— Как вы думаете, с достатком живут Петуховы? — спросил Захаров.

— Да, — протянул Калистратыч и, почесав затылок, добавил:— От трудов праведных не наживешь палат каменных. А если одному работать, то и пововсе.

Старик стал вспоминать. Он рассказал про какого-то своего знакомого, заведующего продуктовым ларьком, который лет тридцать тому назад отгрохал себе такие хоромы, что закачаешься. Уверял всех, что на свои трудовые денежки. А копнуло ГПУ — прохвост первой марки. Ворюга. Этот тоже... Одного поля ягода.

Услышав за спиной топот, Захаров обернулся. По пыльной дороге верхом на пруте их догонял Дембенчихин Мишка. В продолжение всего обыска он с тоской ходил у забора Петуховых и ждал, когда же наконец выйдет дядя с конфетами. Проголодавшись, мальчик побежал домой за хлебом, а когда вернулся, то увидел, что все ушли. Дядя с конфетами уже поворачивал к станции. Поняв, зачем Мишка несет следом, Захаров достал из кармана конфету. Как ловкий джигит, поднимающий на полном скаку платок с земли, мальчик промчался мимо и ловко подхватил из протянутой руки гостинец. Сделал круг и, поднимая за собой столб серой пыли, еще быстрее помчался назад.

Было шесть часов. Только теперь Захаров почувствовал голод. Вспомнив, что утром мать сунула ему в карман сверток с бутербродом и пирожком, он хотел было достать его, но, подумав, что одному есть неудобно, а делить это на четырех проголодавшихся мужчин смешно, спросил у Калистратыча, где находится столовая. Калистратыч показал на дом под зеленой железной крышей с покосившейся вывеской: «Чайная».

Санькин пошел обедать домой. Идти ему надо было мимо станции, и Захаров попросил его доставить Петухову в дежурную комнату милиции, куда он явится через полчаса.

31

Допрос Петуховой-старшей ничего нового не дал. Она показывала то же, что и ее супруг: плащ и пиджак были куплены четыре дня назад у неизвестного пассажира с поезда.

За время допроса Петухова несколько раз всплакнула и очень убивалась, что ее мужа, который за всю свою жизнь не обидел и курицы, могут привлечь за спекуляцию.

Когда же речь зашла о госте из Новосибирска, Петухова принялась клясться христом-богом, что ей и в голову не могло прийти, что Иткин стал таким нехорошим человеком.

— Вот из-за этого мы, дураки, и страдаем. И все по своей простоте, а простота — она хуже воровства. Ты к нему всей душой, как родного, принимаешь, а он к тебе с

камнем за пазухой.

Петухова еще больше померкла, когда следователь стал расспрашивать о вещах. Она старалась убедить его, что все было прислано или привезено старшим сыном с Севера.

— А тюль?

— Он тоже. Ведь у нас, как ни говорите, двенадцать окон. Почитай, на каждое нужно семь метров. Вот и выходит без мала сто метров. А там дочь нужно выдавать, приданое готовить.

В конце допроса Захаров пробежал глазами запись протокола и собрался прочитать его Петуховой, чтоб та подписалась, но неожиданно зазвонил телефон.

Человек, отрекомендовавшийся Касатиком, спрашивал Захарова. «Касатик» — это был пароль сотрудника милиции, ведущего негласное наблюдение за домом Петуховых. Захаров оживился:

— Ты из клуба? Ну, что за кино там сегодня?

«Клуб» был отзывом на пароль.

Касатик сообщил, что пять минут назад из дома Петуховых с книгой в руках вышла хозяйская дочь. Книга была в голубом переплете. При входе в библиотеку имени Некрасова девушка ловко опустила в почтовый ящик письмо. Из библиотеки она вышла через две минуты. В руках ее была та же самая книга в голубом переплете. Петухова сразу же вернулась домой.

— Хорошо, хорошо, — не смог скрыть восторга Захаров. И, перейдя на шифрованный язык, закончил: — За приглашение спасибо, но пойти не могу. Не до кино. Работы по горло. Смотри ты, а потом мне расскажешь. Только смотри хорошенько. Ну, всего. Жду звонка.

Повесив трубку, Захаров попросил Петухову выйти в дежурную комнату. Как только за ней закрылась дверь, он быстро набрал номер телефона районной библиотеки и, представившись инструктором райкома комсомола, попросил оставить ему первую пришедшую на ум книгу — «Граф Монте Кристо».

Из библиотеки сообщили, что «Граф Монте-Кристо» находится на руках.

— Когда же ее успели взять? Ведь эту книгу только что сдали.

Библиотекарша ответила, что никто сегодня эту книгу не сдавал.

— А что же сдала десять минут назад ваша читательница Петухова?

— Петухова? Минуточку. — Видимо, библиотекарша стала копаться в картотеке. Через некоторое время она сообщила, что такой читательницы в библиотеке вообще не числится.

Захаров извинился и позвонил прокурору.

Назвав себя, он попросил санкцию на изъятие корреспонденции гражданина Петухова.

Санкция была обещана.

Через некоторое время в кабинет вошел Ланцов. Захаров сообщил ему новость, переданную Касатиком.

— Разрешение на изъятие корреспонденции Петуховых лежит в прокуратуре. Я еще не кончил допроса, а поэтому прошу вас, товарищ лейтенант, займитесь этим делом сами. Нам нужно торопиться. Я уже сказал прокурору, чтобы санкцию

передали вам. Текст письма не забудьте сфотографировать.

Ланцов попросил протокол допроса Петухова, внимательно просмотрел последнюю страницу и молча вышел.

Захаров снова позвал допрашиваемую. «Письмо, письмо, — не выходило из его головы, пока он вслух дочитывал показания Петуховой. — Что кроется в этом письме?»

— Пожалуйста, подпишитесь.

Женщина долго и старательно выводила свою фамилию.

Посмотрев на часы, Захаров заторопился. Было уже восемь, а Петухова он вызвал на семь тридцать. Через открытое окно Захаров увидел его сидящим на скамейке у входа в отделение.

— Вы можете быть свободны, гражданка. Завтра мы вас еще побеспокоим. — Захаров кивнул. Это означало, что та может уходить.

Через пять минут в кабинет позвали Петухова. За эти несколько часов он еще больше осунулся. Его лоб казался шире и угловатее, складки на щеках залегли еще глубже, а уголки рта опустились ниже.

«Как тебя перевернуло!» — подумал Захаров.

Снова последовали вопросы и ответы, вопросы и ответы... Снова пиджак и плащ, перрон и неизвестный пассажир со шрамом на щеке. Показания Петухова и на этот раз были до мелочей, до запятой такими же, какими они были и при его первой встрече со следователем. Даже интонации в голосе и те почти не изменились.

«Так ведет себя или совершенно невинный человек, или очень хитрый и опытный прохвост. Ни разу не проговорился, ничем себя не выдал...» С этой мыслью Захаров перешел к тому, что было главным в этом втором допросе: вещи, обнаруженные при обыске. Он рассчитывал, что если Петуховы сговорились относительно ворованного пиджака и плаща, то сговориться относительно всех обнаруженных при обыске вещей они вряд ли могли.

Историю приобретения дорогой вещи, если она нажита честным трудом, знает вся семья. Ее «обмывают», показывают хорошим знакомым, о ней долго говорят.

Сравнивая показания Петухова с показаниями его жены, Захаров приходил к выводу, что или вещи в самом деле приобретены старшим сыном, или по поводу каждой из них супруги когда-то договорились, да так договорились и так внушили себе эту ложь, что и сами верили ей, как правде.

Но были в показаниях Петуховых и некоторые расхождения. Однако здесь Захаров допускал, что как мужчина Петухов мог просто забыть или перепутать, как и когда были куплены отрез голубого шелка, дамский бельевого гарнитур и кое-какие мелочи.

Относительно гостя из Новосибирска Петухов, кроме удивления, ничего не высказал.

— Мы люди православные, гражданин следователь, и добро не забываем. А Иткин, когда мне пришлось быть в эвакуации, сделал для моей семьи немало добра. Что и говорить, бывало, выручал и с дровами, и займы давал. Чуть чего — все к нему бежишь. Ничего плохого о нем не могу сказать. А то, что увидел сегодня своими глазами, никак не уразумею.

— Иткин крупный преступник. Он совершил банковскую кражу. Вы об этом не знали? — Захаров заранее предполагал, что ответит Петухов. Его интересовало,

как он ответит.

— Такие вещи, гражданин следователь, скрывают даже от родной матери. А Иткин мне не кум, не брат.

И существо ответа и тон показались Захарову резонными и убедительными. Об Иткине он решил больше не расспрашивать.

Наконец пришел Ланцов. По его лицу можно было понять, что письмо содержало в себе что-то интересное.

— Как, стоящее? — спросил Захаров.

Ланцов молча положил перед ним папку.

Петухов сидел вполоборота к следователю и смотрел в окно. Незаметно для него Захаров начал читать письмо. Почерк был старческий, с наклонными и удлинненными буквами.

«Здравствуй, дорогая тетушка! В первых строках своего письма все мы тебе низко кланяемся и желаем доброго здоровья. Во-вторых, сообщаем, что погода и у нас сейчас стоит очень жаркая (слово «очень» было подчеркнуто). А поэтому с приездом воздержись. Для гипертоников такая жара опасна. У меня от этой жары (слово «жары» снова было подчеркнуто) тоже что-то стало пошаливать сердце, а сегодня были даже перебои. Серафиму Ивановну донимают головные боли. Настюшка тоже что-то занемогла. Так что, видишь, все мы расклеились и ждем, чтобы поскорее проходила эта проклятая жара. А еще к тебе есть одна просьба: подарков больше нам не привози. Живем ноне, слава богу, ничего, да и ты сама-то не бог знать какая богачка. Те два пирога с изюмом, что ты привозила в последний раз, случайно недоглядели, их съела собака. Других новостей пока нет. Вот, правда, кто-то из гостей к нам завез клопов. Так грызут, проклятые, что по ночам спать не дают. А тут еще оказия — стала сегодня сама сушить вещи, вдруг оказалось, что кое-что уже начала трогать моль.

Вот такие наши новости. Кланяются тебе супруга и Настюшка. Целую. Твой племянник Михаил Романович.

Как погода получшает, тогда приезжай».

Захарову все стало ясно. «Шифровка. Забили тревогу...» Письмо было адресовано Курушиной Татьяне Григорьевне, проживающей по адресу: Москва, Трехпрудный переулок, дом 24, квартира 12. Обратного адреса на конверте не значилось. «Молодец, Касатик! За несколько минут ты сделал столько, что нам пришлось бы раскручивать несколько дней. Что теперь скажешь ты, племянничек? — мысленно рассуждал Захаров, глядя на Петухова. — Каким будет выражение твоего лица, когда ты узнаешь, что нам кое-что известно о тетушке из Москвы?»

Отложив папку в сторону, Захаров, стараясь ничем не выдать своей радости, спросил Петухова о некоторых вещах из его имущества. Тот отвечал так же спокойно, вежливо и твердо, как ответил бы всякий человек на вопрос: «Чьи на тебе сапоги?», когда этот человек прекрасно знает, что сапоги на нем его собственные.

— А что за тетушка у вас в Москве? Та самая, которая частенько навещается к вам?

Имени и адреса ее Захаров не упомянул умышленно, чтобы Петухов подумал: о тетушке им известно не так уж много, из разговоров с соседями — не больше.

Как только было произнесено слово «тетушка», лицо допрашиваемого моментально передернулось. По нему прошли серые тени страха и безнадежности. Седеющие брови сдвинулись у переносицы, взгляд упал на пол.

«Нервы! — решил Захаров. — Нервы тебя, старина, начинают подводить. До этого ты вел себя молодцом. А вот тетушка тебя подкузьмила. Не думал ты...»

— Что же вы молчите? — спросил он, продолжая изучать лицо ссутулившегося Петухова.

— А что вам сказать, гражданин следователь? Живет у меня в Москве тетка. Не скрою, иногда приезжает в гости. Только я не понимаю, какое она имеет отношение к вещам, о которых вы все время спрашиваете?

— Задаю вопросы здесь я, гражданин. Вы отвечаете. Я спрашиваю, чем занимается ваша тетушка?

— Пенсионерка. Ей уже за семьдесят. — В ответе по-прежнему слышался невозмутимый и осторожный Петухов.

Тетушкой Захаров интересоваться больше не стал: боялся, что излишние подробности наведут допрашиваемого на мысль об изъятии письма.

На этом допрос был закончен.

Как только Петухов вышел из кабинета, Захаров нетерпеливо обратился к Ланцову:

— Что ты скажешь о письме?

— По-моему, тут все ясно. Жара — предупреждение об опасности, пироги, съеденные собакой, — плащ и пиджак Северцева, собаки — мы с вами. Завелись клопы — супруги Иткины. Моль начинает трогать вещи — сигнал об опасности. По-моему, так.

— Хитер старик, хитер. Попробуй посторонний пойми, что здесь и рапорт, и предупреждение, и приказ. — И, словно кому-то угрожая или с кем-то не соглашаясь, Захаров горячо продолжал: — Но обожди, обожди, лисица, это письмо будет твоим капканчиком. Да, кстати, лейтенант, ведь письмо без обратного адреса?

— А вот эти крючки в буквах «в» и «у», вот эта завитушка у заглавного «П»? Разве они не походят друг на друга? — Ланцов положил конверт рядом с протоколом допроса, где стояла роспись Петухова.

— Когда же ты успел? Ведь протокол был у меня?

— Ну, брат, оперативнику спрашивать о таких вещах вслух нельзя. Засмеют. Давай-ка лучше подумаем, как быть дальше.

Взвесив и обсудив все «за» и «против», они решили: Захаров должен немедленно ехать в Москву, по адресу тетушки Петухова, Ланцов остается на месте. В его распоряжении Санькин и Касатик.

Позвонив Григорьеву, Захаров доложил обо всем, что выяснилось после его отъезда, и, получив указание еще бдительней следить за домом Петуховых, передал его Ланцову, хотя внутренне был убежден, что в этом уже не было никакой необходимости, так как тропинка, по которой можно выйти на грабителей, теперь лежит через дом московской тетушки.

С первым же электропоездом Захаров выехал в Москву.

32

Было одиннадцать часов вечера. Москва уже начинала затихать.

Подойдя к столу, Захаров раскрыл толстую тетрадь с надписью: «Дневник практиканта», присел и принялся быстро писать.

«Тот, кто выдумал поговорку «век живи и век учись», одним только этим поставил себе памятник. Учиться!

Учиться спокойствию, выдержке и, главное, не плясать там, где нет еще основания радоваться. Если бы самым тонким электронным прибором высокой частоты врач-психиатр мог измерить мой тонус, начиная со вчерашнего вечера, когда я, как одержимый, бросил все и кинулся в Москву искать «тетушку», то результаты этих показаний на шкале хитрого прибора могли бы ошеломить психиатра. Я горел, я летел, как на крыльях, я, как живую, видел эту старушку в черном и с родинкой на верхней губе... От нее я уже видел нити, ведущие к тем, кого мы ищем.

В Москве «тетушки» не оказалось. Она, как об этом сообщили соседи, две недели назад уехала куда-то в деревню к родственникам. «Куда-то...» — Легко сказать, когда мне она нужна немедленно, сейчас. Два битых часа ушло только на то, чтобы у десятого соседа узнать, что «тетушка» уехала к родственникам на дачу в Застольное.

Но что это за родственники, их адрес? Снова задача. Еду в Застольное. Десять утра. Письмо племянника к «тетушке» заучил наизусть. И странно, чем труднее становился путь к «тетушке», тем сильнее и сильнее разгорался во мне азарт. Найти ее во что бы то ни стало! Временами казалось, что я ищу не грабителей Северцева, а «тетушку», точно на ней должен замкнуться круг всей операции.

В Застольном сотни дач и почти в каждом доме старуха... Что делать? Ходить по домам и спрашивать: проживает ли у вас московская гостя по фамилии Курушина Татьяна Григорьевна? Это и глупо, и мучительно долго. Были минуты, когда хотелось бросить все, пойти к Григорьеву и сказать: «Хватит! Я уже напрактиковался, мне пора за свою работу приниматься!» На посту оно как-то покойнее, там кончил работу — и выключайся. Влюбляйся, читай, думай о чем угодно... А здесь ложишься и встаешь с одной мыслью: «В какую сторону сделать следующий шаг?» Даже во сне и то нет покоя.

...Под гигантскими соснами хорошая зеленая травка. Кругом ни души. Прилег. Не верится, что люди могут вот так, ни о чем не думая, лежать на траве и отдыхать. Стал припоминать подробности разговора с соседями Курушиной. Постой, постой, а ведь они, кажется, сказали, что за ней приезжал горбатенький племянник из Застольного. Горбатенький... Ведь это примета. Мысль снова заработала. Поставые милиционеры в Застольном должны знать всех горбатеньких: их не так-то много в поселке. А время идет, время летит.

Обратился к первому милиционеру. Уж очень долго он что-то припоминает. Горбатенький ему неизвестен.

Нашел другого постового. Этот побойчей, по говорку, видать, владимирский. Этот знает двух горбатеньких в Застольном: один работает садовником у профессора, другой — сапожником в инвалидной артели. Мне, конечно, нужно того, который сапожником в артели. Мой горбатенький не может пригласить «тетушку» на дачу к профессору.

Иду к тому, что работает в артели. Навстречу вышел пожилой горбатый человек с осипшим от водки голосом. Оглядел меня нехорошим взглядом и ответил, что никакой тетушки из Москвы в их доме нет. Что-то зловещее слышится в его голосе. А потом, зачем он стоял у калитки до тех пор, пока я не скрылся в переулке?

Постовой повел меня к даче профессора. Не думаю, чтоб уголовная тетушка Петухова могла отдыхать на такой даче. Если только, чтоб обобрать? Красивый двухэтажный деревянный дом в старинном русском стиле. А цветы! Таких цветов я еще не видел. По двору носится громадный бульдог. По обочине фруктового сада густой зеленой стеной тянутся какие-то сроду неизвестные мне декоративные деревья. По дворику за бабочкой бегают с сачком девочка. Спрашиваю у нее садовника. Жду. Девочка куда-то убежала, и через минуту к калитке подошел садовник. Горбатенький и в красной тюбетейке. Лицо кроткое, как у монаха, и

доброе.

Спрашиваю Татьяну Григорьевну Курушину. Садовник поинтересовался, кто я и зачем мне ее нужно. Отрекомендовал себя соседом Михаила Романовича Петухова, из Люберец. Садовник ответил, что он ее племянник и что тетушка лежит в больнице. Спрашиваю, давно ли. Отвечает, что уже две недели. Что-то не то. Врет. Северцева ограбили неделю назад, а он — две недели! Спрашиваю, в какой больнице. Сказал. Это недалеко, в десяти минутах ходьбы.

На прощание садовник срезал несколько роз и гладиолусов и просил передать их тетушке от его имени.

Взял букет и испытываю странное чувство: несу цветы тому, кому в воображении уже дал десять лет тюрьмы. По пути в больницу почувствовал себя собакой-ищейкой, которая идет по следу. От радости даже хотелось взвизгивать. Но вот и больница. Все в белых халатах, тишина. Неприемный день. Дохожу до главного врача. Он меня, кажется, сразу понял, хотя я ему только намекнул в самых общих словах о цели прихода. Догадлив старик! Из-под седых волосатых бровей шустрые глаза выглядывают, как два мышонка из-под банных мочалок.

Открыл передо мной историю болезни Курушиной и сказал... Нет, не сказал, а, скорее, зарезал. Курушина Татьяна Григорьевна доставлена в больницу в тяжелом состоянии девятнадцатого июня с острым приступом гипертонии. Две недели назад...

«Жара! — развел руками лечащий врач. — А для гипертоников это бич». Вспомнилось письмо Петухова. Жара, гипертония, две недели. Проверил и другие документы: всюду значится, что старуху положили в больницу две недели назад. Хотелось завить на всю больницу, но что же сделаешь...

Просил у главврача разрешения побеседовать с больной. Разрешил. Дали белый халат. С цветами в руках прохожу в палату. Две койки. Тетушку Петухова узнал сразу: на другой койке лежала девочка. Какие у старухи умные и добрые глаза! Стало обидно за все, что думал о ней раньше. Передал цветы и сказал, что это от племянника, только что срезал. Во всем облике старухи: во взгляде, в голосе, в улыбке — проступает что-то ласковое. Сказал, что я из Люберец, сосед ее племянника — Михаила Романовича, который просил проведать его тетушку и пригласить в гости. При упоминании Петухова лицо больной омрачилось, она даже стала тяжелее дышать. Спрашиваю: «Что с вами?», подаю воды, но она только качает головой и говорит: «Не нравится мне их жизнь. Не поеду я к ним в гости. Два года назад была раз за все десять лет и вряд ли еще вздумаю». «Почему же?» — спрашиваю. «Обидели они меня». — «Чем же?» — Я вижу, что дыхание больной становится еще хуже. Извинился, попрощался и позвал врача.

От злости на себя дорогой в Москву готов был...

О Петухов, Петухов! Как ты хитер! Зачем тебе понадобилось гнать меня по ложному следу своей «шифровкой»? Ты, конечно, не рассчитывал, что тетушка больна и что твоя ловушка будет так скоро разгадана. Ты хотел, чтобы мы, как овцы, шарахнулись гуртом, все до одного, следить за твоей тетушкой и кружились бы вокруг нее столько времени, сколько тебе нужно для того, чтобы запорошить опасные следы. А как ты вздрогнул, как изменился в лице на последнем допросе, когда я упомянул имя московской тетушки! Ты играл. Играл, как опытный, уверенный в своем мастерстве актер. Но ты не учел одного что майор видит дальше нас всех и не был таким легковверным, какими ты хотел видеть нас. Наблюдение за твоим домом не снято. Ланцов в Люберецах, а это значит, что майор хитрее тебя.



Майор... Как он хохотал, когда прочитал «шифровку», и как посуровел потом! Ты даже не знаешь, что майору известны все твои старые «сибирские» грехи. Иткин,

как человек, которому нечего терять, рассказал все: и про банду «Черная кошка», где ты был чуть ли не патриархом, и про последнее твое крупное «дело»: ограбление железнодорожного вагона с мануфактурой на перегоне Каргат — Убинская.

Не берут тебя пока только по одной лишь причине: майор надеется, что вот-вот к тебе должен наведаться кто-нибудь из «друзей» Северцева или перекупщики. Но там Ланцов. Он менее эмоционален и более спокоен. Как многому мне нужно еще учиться у Ланцова! А у майора — всю жизнь».

Захаров закончил запись в дневнике и, накинув пиджак, вышел из дому. Думая о завтрашнем дне, он свернул на центральную улицу и направился вниз, к Красной площади. Как ни странно, но на этой шумной, многолюдной улице лучше думалось. Звуки машин, разноцветные огни, говор прохожих — все это сливалось во что-то единое, монотонногудящее, сверкающее, питало его фантазию, которая рождала различные версии по делу Северцева.

Проходя мимо дома Наташи, он завернул во дворик и посмотрел на освещенный балкон с лепными узорными перилами, откуда он любил смотреть на вечернюю Москву. Дверь на балкон была открыта, но балкон был пуст. Пошел дальше.

На Красной площади Николай остановился у Мавзолея Ленина и стал дожидаться смены караула. Не раз ему приходилось наблюдать эту торжественную церемонию, и всякий раз она будила в нем такое сильное чувство, какое испытывает старый солдат, когда вдруг неожиданно услышит военный оркестр, идущий впереди походной колонны. Старый солдат в такие минуты, замерев по стойке «смирно», будет долго-долго провожать глазами стройные военные колонны, оглушающие своей могучей поступью каменную мостовую.

Дождавшись смены караула, Захаров тихо побрел назад. Домой вернулся в первом часу ночи.

33

Рано утром, на второй день после того как уехал Захаров, Ланцов, чтоб не сидеть без дела, принялся просматривать протоколы допросов Петухова, выписывая на отдельном листе расхождения в показаниях. За этим занятием он провел больше часа, пока наконец не раздался долгожданный телефонный звонок.

Звонил Касатик. Получив ответный пароль, он сообщил о странном поведении в доме, за которым наблюдал. Двадцать минут назад хозяйка с двумя глиняными горшками подошла к изгороди, отделяющей сад Петуховых от огорода Дембенкиных. Осмотревшись, она подтащила к частоколу козлы, на которых пилят дрова, и, забравшись на них, повесила горшки на самые высокие колья. Это одно. Второе: ставни угловой комнаты дома, в которой хозяева завтракают и обедают, до сих пор еще закрыты, хотя утром их обычно открывают.

Ланцову это сообщение показалось важным, и он передал Касатику, чтоб тот продолжал наблюдение и не медлил с информацией.

В ожидании прошел час, за ним другой... Ланцов уже успел прочитать от корки до корки старый номер «Огонька», а Касатик еще не давал о себе знать. Только в десятом часу раздался телефонный звонок. На этот раз Касатик доложил, что пять минут назад со стороны переулка от станции к дому Петуховых шла старуха. Она в черной длинной юбке и в черной кофте. С палочкой в руках и с узелком под мышкой. Не доходя до дома метров двадцати, она неожиданно остановилась и, перекрестившись, прошла мимо. Скорее всего, ее напугали горшки. Затем старуха заглянула в сельпо, но ничего там не купила. Сейчас подходит к станции. Дорогой она дважды оглядывалась.

— Лицо? Вы видели ее лицо? — с тревогой спросил Ланцов.

— Да, видел хорошо. Лицо неприятное. На верхней губе большая родинка с



длинными волосами.

«Она», — подумал Ланцов и, поблагодарив Касатика, положил трубку. Он заглянул к Санькину в следственную комнату. Тот сидел за столиком и писал рапорт о прекращении старого дела, по которому не обнаружилось состава преступления.

— Лейтенант, — обратился к нему Ланцов, — посмотрите в окно. Видите, из Милькова к станции идет старуха?

— Вижу.

— Это та, которую мы ищем. Она сейчас возьмет билет и уедет в Москву. — Ланцов взглянул на часы. — Ровно через пять минут будет поезд. Вам придется ее «вести», пока она благополучно не прибудет домой. Как только убедитесь, что старуха дома, немедленно звоните майору Григорьеву. Телефон вы знаете. Это пока все.

Санькин молча закрыл свой столик и вышел на перрон. Через две минуты он уже сидел в одном вагоне со старухой.

34

Олимпиада Арнольдовна Кулагина до революции была неофициальной пайщицей публичного дома госпожи Медниковой. В 1914 году, после того как у нее убили на германском фронте мужа, Кулагина спуталась с одним гвардейским офицером, заядлым кутилой, выдававшим себя за холостяка. В заведении Медниковой он чувствовал себя своим человеком. От этого гвардейца Кулагина ждала ребенка. Вскоре, однако, обнаружилось, что у него в Петрограде жена и двое детей. С горя Кулагина начала пить. Всякий раз, напившись, она рассказывала о своей несчастной любви и о подлеце офицере, на которого потратила почти все сбережения. В таком-то положении, прожигающую в непрерывных разгулах и оргиях свою жизнь в заведении Медниковой, Кулагину застал семнадцатый год. Выселенная из дорогой меблированной квартиры на Большой Грузинской, она успела кое-что продать и заняла маленькую, полуподвальную квартирку из двух комнат в Рекрутском переулке.

Вскоре началась гражданская война. В годы голода и разрухи Кулагина с большим барышом спекулировала кокаином и морфием, которые ей доставлял контрабандным путем один бывший офицер белой армии. Но и эта связь вскоре кончилась тем, что ее нового друга посадили в тюрьму.

Все последующие тридцать лет Советской власти Кулагина нигде не работала. Обо всем, что делалось в ее квартире, соседи могли только догадываться. Особой дружбы она ни с кем не водила, была со всеми одинаково вежлива и давала займы, когда к ней обращались. Зато часто видели соседи, как приходили к ней с вещами незнакомые люди, почти всегда новые и преимущественно молодые, уходили же, как правило, без вещей. «Спекулирует», — догадывались соседи. Догадывались, но пойти и сообщить в милицию никто не решался. Во-первых, потому, что старуха никому не делала зла, а во-вторых, мало ли к кому кто приходит и оставляет вещи. Не пойманный — не вор.

С годами Олимпиада Арнольдовна становилась все согбенней и согбенней, и все неприятнее и длиннее делались черные волосы на родинке ее верхней губы.

И вот ее дом под наблюдением. Впервые за все тридцать лет сомнительной и ни для кого не ясной жизни Кулагиной.

Эти скудные и отрывочные данные, которые Захаров собрал о Кулагиной, прикрашенные и дополненные воображением и домыслом, уже довольно ярко рисовали ему общий контур портрета старухи.

За квартирой Кулагиной Захаров наблюдал уже три часа, но в ней словно вымерли. Больше часа он просидел в парикмахерской, откуда хорошо просматривались окна и вход в квартиру. Когда в парикмахерской сидела очередь, еще легко было

оставаться незамеченным. Теперь же, к двенадцати часам дня, очередь значительно поредела, и мастер на протезе стал чаще и подозрительнее посматривать в его сторону.

Облюбовав хозяйственный магазин, откуда можно будет так же хорошо наблюдать за квартирой Кулагиной, Захаров решил посидеть еще минут пятнадцать, а затем менять позицию.

Захаров вышел из парикмахерской и направился в хозяйственный магазин. Но не успел он переступить порога, как увидел: дверь квартиры, которую он держал под наблюдением, открылась и из нее вышла старуха. Во всем черном, сгорбленная, с палкой. Такой именно он и представлял ее себе. Захарову даже показалось, что он отчетливо видит неприятную, вызывающую чувство брезгливости родинку на верхней губе.

Старуха, осмотревшись по сторонам, не по возрасту твердой походкой перешла улицу и направилась в сторону скверика, где на желтом песке играли дети. Неподалеку от детей на лавочках — кто сонливо позевывая, кто занявшись книгой или вязанием — сидели няни, бабушки, матери...

Захаров вышел из магазина и направился к скверику. От волнения почувствовал легкий озноб. Это чувство он испытывал и раньше, когда ехал за Кондрашовым и когда разыскивал родственницу Петухова. Но теперь это было другое волнение, не радостное, а тревожное.

Старуха присела на третью от входа лавочку и посмотрела из-под ладони на часы, вмонтированные в стену нового десятиэтажного дома напротив. Посмотрел на часы и Захаров: без двадцати минут два. Почти пять часов он провел у дома Кулагиной.

Захаров сел на некотором отдалении от старухи, откуда она была ему хорошо видна, и развернул газету.

Так прошло пятнадцать минут. Несколько раз старуха бросала взгляд в сторону метро, время от времени посматривала на часы, приложив к глазам ладонь. Было ясно, что она кого-то ждала.

Захаров закурил и стал осторожно из-за газеты всматриваться в лицо Кулагиной, пытаясь найти в нем следы той грязной и распутной жизни, которая осталась за ее плечами. Ничего святого, ничего женственного и материнского не было в этом алчном и отталкивающем своим безобразием лице.

Ровно в два часа рядом со старухой присел молодой человек в сиреневой тенниске и изрядно поношенных коричневых сандалетах. Он был несколько выше среднего роста, хорошо сложен и с мужественными чертами лица. «Как она на него посмотрела!» — подумал Захаров и, делая вид, что читает газету, продолжал наблюдать теперь уже за двоими.

Не поворачивая головы в сторону соседа, старуха что-то прошамкала. Слов Захаров не расслышал, но, судя по ее взгляду, беспокойно бегавшему по скамейкам напротив, он понял, что она о чем-то предупреждает подошедшего.

«А может быть, мне просто кажется?» — колебался Захаров. Но в следующую секунду он уже отчетливо видел, как Кулагина незаметно достала из-за обшлага рукава маленький пакетик и, подержав его с минуту, незаметно положила рядом с собой. Широкая кисть молодого человека в сиреневой тенниске опустилась на этот пакетик, но сжалась не сразу. Постороннему, неопытному глазу было бы трудно заметить, как быстро и ловко совершилась эта тайная передача.

Через минуту молодой человек поднялся и, сказав что-то старухе, направился мимо Патриарших прудов в сторону Садового кольца.

Следом за ним, несколько приотстав, шел Захаров. «Нет, задерживать его пока

рано. А вдруг этот человек к делу Северцева не имеет никакого отношения? Торопливостью можно испортить все. Нужно довести его до дома, узнать адрес, установить личность. Тогда станет ясно, что это за птица», — рассуждал Захаров и продолжал следовать за неизвестным.

Когда Патриаршие пруды остались позади, юноша в сиреновой тенниске остановился, осмотрелся и пересек улицу. В следующую минуту Захаров увидел, как он вошел в пивную палатку. Войти туда вслед за неизвестным Захаров не решался. Ему ни в коем случае нельзя попадаться на глаза этому человеку.

По улице в тени молодых лип прохаживался лейтенант милиции. Захаров подошел к нему. Предъявив удостоверение личности, он попросил его проверить документы у юноши в сиреновой тенниске.

— Самому мне нельзя, это мой объект, — пояснил он.

В подобных случаях, как правило, документы проверяют не у одного только подозреваемого, а еще у двух-трех случайных граждан. Делается это для того, чтобы не вызвать особого подозрения у разыскиваемого преступника.

Предупреждать об этом лейтенанта Захаров не стал. Он полагал, что лейтенант проведет проверку именно таким образом.

Минут через десять, в течение которых Захаров успел выкурить две папиросы, из пивной вышел лейтенант и медленной походкой, как будто бы ничего не произошло, направился к газетной витрине, у которой его поджидал Захаров.

— Пишите адрес, — сказал он тихо, делая вид, что читает газету.

— Говорите, я так запомню.

— Максаков Анатолий Александрович, год рождения тысяча девятьсот двадцать шестой, прописан по Ременному переулку, дом семнадцать, квартира три.

«Максаков Анатолий Александрович. Ременный переулок, дом семнадцать», — про себя повторил Захаров, не спуская глаз с двери пивной палатки, откуда с минуты на минуту мог появиться юноша в сиреновой тенниске.

Вскоре Максаков вышел и остановил проходившее мимо свободное такси.

Для Захарова это было неожиданностью. Улизнул. Неужели почувствовал слезку? А впрочем, нужно меньше гадать и больше делать. Захаров решил немедленно ехать в отдел и поставить обо всем в известность Григорьева.

Когда он проходил сквером, старухи там уже не было,

35

Свою первую ночь в Москве Северцев постепенно забывал. В общежитии у него появились новые товарищи и новые интересы. От матери он получил письмо, в котором она, расстроганная радостным сообщением сына, не знала, как выразить свое счастье.

Один раз приходила Лариса, но встреча была пятиминутной и настолько сухой, что на второй ее визит он уже не рассчитывал.

Присматриваясь к своим товарищам, тоже зачисленным на первый курс, Алексей чувствовал, что не до конца понимает в студенческой жизни то, что понимают и чем уже живут другие. Когда ему становилось грустно и он вспоминал свою деревню, его товарищи по комнате, как назло, пели песни или рассказывали анекдоты. Больше всего его удивляло, откуда юркий одессит и бойкий ростовчанин — его соседи по общежитию — могли знать студенческие песни, когда оба они лишь месяц назад были еще школьниками.

В один из дней, когда Северцев лежал на койке и вместе с ростовчанином слушал анекдоты одессита, который ему казался неистощимым балагуром, в комнату вошел Захаров.

Северцев собрался быстро. А через час он уже сидел в маленькой полуподвальной комнатке домоуправления, испытывая нервную дрожь. «Неужели сейчас увижу кого-нибудь из них? Неужели?» — со страхом думал он и смотрел в глазок двери, ведущей в соседнюю комнату. Рядом с ним находился Захаров. Второго стула в комнатке не было, и Захаров стоял. Он курил. Глубокие нервные затыжки помогали ему скрыть волнение. Он ждал, что скажет Северцев, когда в соседнюю комнату к управдому войдет Максаков. Было договорено, что его вызовут как неплательщика за квартиру.

Ждать пришлось недолго. Вскоре из-за тонкой перегородки послышалось, как громко хлопнула дверь. К управдому кто-то вошел.

Захаров посмотрел на Северцева и все понял.

— Он?

— Он, — прошептал Северцев и взглянул на Захарова. В глазах его вспыхнула ненависть. — Он... Толик.

Захаров подал знак молчать и прислушался. Разговор, происшедший между управдомом и Максаковым, неожиданно изменил план его действий. Раньше, когда ехали на это неофициальное опознание, было решено: лишь только Северцев признает в Максакове одного из грабителей, того немедленно задерживают. Теперь же, когда подвыпивший Максаков возмутился, что управдом беспокоит его по пустякам, в то время как он ждет гостей, Захаров изменил решение. Брать Максакова одного рано, есть надежда накрыть и гостей.

О намерениях Захарова Северцев не догадывался. В эту минуту ему хотелось только одного: встать, наотмашь открыть дверь, подойти к Толику вплотную и молча смотреть ему в глаза, смотреть до тех пор, пока тот не бросится на колени, или... у Северцева хватит сил, чтобы задушить его.

— Не горячитесь, спокойно, — тихо предупредил Захаров, чувствуя, как Северцев, словно в лихорадке, дрожит всем телом и порывается встать.

— Жировка? Ха-ха-ха! — долетел из-за двери пьяный хохот. — Наивный управдом! Ты мне лучше по-честному скажи, зачем ты меня сюда вытащил? Неужели тебе и в самом деле захотелось прочитать мне мораль? Если так, то ты можешь спать спокойно. Но если хитришь, если задумал сыграть шутку, задумал кому-то помочь, кого-то продать, то ты можешь очень скоро дожить до таких дней, когда тебе ничего не будет сниться. Ты думаешь, я пьян? Да, я пьян, и я плачу вам за те два месяца, которые вас так волнуют...

Северцев видел, как Максаков вытащил из кармана пятидесятирублевую бумажку и бросил ее управдому.

— Как вам не стыдно! — с побагровевшим от гнева лицом возмутился управдом. — Вы годитесь мне в сыновья и смеете бросать в лицо деньги!..

— Так это же деньги, папаша! Вы же любите деньги! Вы готовы принимать их пачками, мешками, тюками... Вагонами!

Через минуту голоса Максакова в соседней комнате уже не было слышно.

— Что? — спросил Захаров.

— Ушел, — ответил Северцев, вставая со стула.

Захаров открыл дверь. Не ответив на вопросительный взгляд управдома, он набрал

номер телефона:

— Товарищ майор, один из грабителей, Максаков, потерпевшим опознан.

36

Четвертый день Толик пил. Пил с горя и со стыда.

«Письмо!.. Письмо!.. Лучше бы оно не приходило!» Как теперь он пойдет к секретарю парткома Родионову, какими глазами будет смотреть на него? Ему поверили, хотят помочь, приняли на работу, а он...

Толик никак не мог простить себе, что впутался в это подлое ограбление. Десятый раз прочитал приказ о зачислении его токарем в сборочный цех. Завтра он должен приступить к работе. Но почему так тяжело у него на душе? Почему не радуется его то, чего он ждал с таким волнением?

Все чаще и чаще всплывала в памяти уснувшая в сугробах тайга, лагерь, легкий апрельский снежок и над всем этим строгое крупное лицо начальника лагеря. Большой, седовласый (все в лагере знали, что когда-то он был известным вором в Петрограде), любимец лагеря, он стоял без шапки на сколоченной из досок трибуне, которая возвышалась над фуфайками и ушанками, и хрипловатым голосом говорил:

— Товарищи! (А сколько радости звучало в этом забытом слове «товарищ» для тех, кто много лет слышал только «гражданин»!) Наше правительство вас амнистирует. Оно разрешает вам вернуться в родные семьи, к родным очагам. Оно прощает вам все ваши старые грехи и верит, что вы будете честно трудиться, как и все советские люди. Многие из вас молодые и попали сюда по глупости. Перед вами лежит новая, хорошая жизнь, которую нужно начать снова.

Просто, но трогательно говорил начальник лагеря. Не один Толик в те минуты, стоя перед маленькой трибуной, поклялся никогда больше не повторять того, что он делал раньше. Поклялся! И вдруг... Ограбили. И какого парня? Доброго, честного... Доверился, угощал на деньги, которые в дорогу собрала мать. А они? Они, как шакалы, налетели, обобрали, избили, бросили истекать кровью...

«Ребята, за что?..» — как слуховая галлюцинация, преследовал уже многие сутки стон, обидный, с рыданиями.

«И правда — за что?» — мысленно спрашивал себя Толик и тянулся к стакану с водкой. Пил и не закусывал. В комнате был беспорядок. Мать и двоюродная сестра Валя ничего не знают: неделю назад они уехали в деревню. Завтра должны вернуться.

Несколько раз Толик порывался пойти в березовую рощу, в Сокольники, но не решался. Какая-то сила удерживала его.

Никогда еще так не обострялась в нем жалость и раскаяние. Что с ним теперь? Кто виноват во всем? Князь? Катюша? Ограбленный деревенский парень? А может быть, последняя речь начальника лагеря?

Облокотившись на стол, Толик долго смотрел в одну точку на стене, потом тихо запел. Это была жалобная, как большинство тюремных, песня:

*Цыганка с картами,*

*Дорога дальняя,*

*Дорога дальняя, казенный дом.*

*Быть может, старая*

*Тюрьма Центральная*

*Меня несчастного*

*По-новой ждет.а*

*Таганка...*

*Все ночи, полные огня.*

*Таганка...*

*Зачем сгубила ты меня?*

*Таганка...*

*Я твой бессменный арестант,*

*Пропали юность и талант*

*В твоих стенах.*

Толик сделал минутную паузу, вылил в стакан остатки водки и продолжал:

*Прощай, любимая,*

*Больше не встретимся,*

*Решетки черные*

*Мне суждены...*

*Опять по пятницам*

*Пойдут свидания*

*И слезы горькие*

*Моей родни.*

*Таганка...*

*Все ночи, полные огня.*

*Таганка...*

*Зачем сгубила ты меня?*

*Таганка...*

*Я твой бессменный арестант,*

*Пропали юность и талант*

*В твоих стенах.*

Нетвердыми шагами он подошел к комоду. На комоду стояла фотография Катюши. В свои восемнадцать лет она была еще совсем девочка: косички с пышными бантами, школьное платье с кружевным воротничком... В ее больших грустных глазах Толик прочитал мольбу: «Зачем все это? Ведь я так люблю тебя...»

Этого взгляда Толик не выдержал. Закрыв глаза, он прижал фотографию к груди так, что тонкое стекло в фанерной рамочке хрустнуло. Чувствовал, что стекло лопнуло, но продолжал давить сильнее.

Катюша не знает, что он сидел в тюрьме, не знает, что четыре дня назад так предательски ограбил хорошего парня... А ведь у этого парня где-нибудь в деревне

есть тоже любимая девушка... Почему он не сказал Катюше, что сидел в тюрьме, что когда-то, четыре года назад, он совершил тяжелое преступление? Почему он обманывает ее? А если она узнает об этом? Что, если она обо всем узнает?!

Испугавшись собственных мыслей, Толик опустился на диван. Теперь он старался припомнить последнюю встречу с Катюшей. Но как ни напрягал память, из разрозненных и туманных клочков восстановить цепь последних дней загула ему не удавалось. Так он сидел несколько минут, пока память не обожгла неожиданно всплывшая картина. «Стой, стой, она вчера была здесь. Она была здесь... Вошла, поздоровалась и остановилась в дверях...»

И Толик вспомнил вчерашнюю встречу с Катюшей.

Это была позорная, грязная встреча. Катюша вошла, когда он лежал на диване безобразно пьяный.

А потом? Он ужаснулся. Об этом «потом» сегодня утром ему напомнила соседка, тетя Луша. Она рассказала, что к нему приходила «симпатичная молоденькая девушка с косами», та самая, которая приходила и раньше. Она ухаживала за ним целый вечер, убирала в комнате, и за все это он обругал ее грубыми, нехорошими словами и выгнал. Домой она ушла в слезах.

Толик вновь жадно припал к стакану прикушенными до крови губами, выпил его до дна и швырнул на стол. Лег на диван. Заплакал. Заплакал беспомощно, горько, как плачет только пьяный или маленький, никому не нужный сирота, которого ни за что обидели. И чем дольше плакал, тем сильнее просыпалась в нем жалость к самому себе.

Сколько времени он проплакал, Толик не знал. Наступило странное, еще неизвестное приятное и тихое оцепенение, которое походило на сон, перемешанный с явью. Так он лежал, пока стук в дверь не вывел его из забытья.

Что-то недоброе почудилось в этом равномерном и вкрадчивом стуке. Так к нему никто не стучал. Толик поднял голову. Дверь комнаты была заперта на ключ. За дверью стояла подозрительная тишина. Раньше этой тишины не было. Всегда из кухни доносился стук посуды и нескончаемый гвалт: квартира была многонаселенной, а сейчас к тому же был обеденный час. Послышался сдержанный женский голос, переходящий в шепот. Толик узнал самую горластую соседку, которую в квартире звали Иерихонской Трубой. Почему они шепчутся? Что-то здесь не то.

Стук повторился. На этот раз он был настойчивый и продолжительный. Толик встал с дивана. Под ногами закрипел старый рассохшийся паркет.

— Гражданин Максаков, откройте дверь, с вами разговаривает оперуполномоченный из милиции, — донесся до него мужской голос.

Толик понял: за ним пришли.

Снова тюрьма, снова суд, снова лагерь. Снова прощай волюшка... Обожгло воспоминание о Катюше. Обожгло в одно мгновение. Съездившись, Толик стоял посреди комнаты, как под бомбой, которая вот-вот должна разорваться над его головой. А воображение работало. Вот его берут, везут в тюрьму, потом судят. Об этом узнает Катюша, узнает, что он вор, что он ее обманывал... Вор! Вор! Вор!!! Тюремный парикмахер острижет его, как барана, потом, страшного, всеми презираемого, его посадят на видное место в зале суда. Катюша на суд придет обязательно...

— Гражданин Максаков, предупреждаю в последний раз — откройте дверь, или я вынужден буду ее взломать! — раздалось из-за двери.

«Взломать? Ах, взломать! Вы хотите моего позора? Не выйдет!» Волна хмельного буйного гнева кинулась в голову. Толик схватил графин с водой и с силой швырнул

его в дверь. Мелкие брызги стекла и воды, вспыхнув на солнце, разлетелись во все стороны: на выгоревшие голубенькие обои, на пол, на диван...

Глаза Толика налились кровью, он дрожал всем телом.

— Вы хотите моего позора? Не выйдет! Вламывайтесь, если надоела жизнь! — хрипло выкрикнул он.

В тишине, которая в эту минуту сковала всю квартиру, ему слышалось только собственное отрывистое дыхание. Тишина казалась зловещей, могильной, она пугала больше, чем голос за дверью.

Схватив со стола большую морскую раковину, которая служила пепельницей еще покойному деду, Толик и ее метнул в дверь. По комнате разлетелись радужные, перламутровые брызги.

Толик впал в буйную горячку. Ничего не помня, в припадке бешенства, он хватал все, что попадало под руку, и бросал в дверь. Чайник, будильник, посуда, фарфоровая статуэтка (ее недавно подарила сестра ко дню рождения) — все ложилось черепками у двери, разлеталось по полу.

— Хотите, чтоб она узнала, что я вор? Не выйдет, гражданин опер! — С ножом Толик метнулся к кровати. Одним ударом вспорол большую пуховую подушку, обеими руками взял ее за углы и широко, рывком размахнулся по всей комнате. Пух затопил комнату, как белесый утренний туман.

Толик устало рухнул на диван. Он запальчиво дышал, губы его кровоточили.

Снова давила тишина. И в ней слышались лишь гулкие удары сердца, тяжелое дыхание и лязг зубов.

Пушинки кружились по комнате и, не снижаясь, плавно и медленно исчезали за окном.

Толик опомнился. Бежать! Бежать!.. Куда угодно — только от позора...

Положив в карман нож, он встал на подоконник и посмотрел вниз. Под окнами никого не было. О высоте между асфальтированным тротуаром и подоконником второго этажа Толик не думал — этот прыжок он постиг еще в детстве. На счастье, на углу не торчал постовой милиционер. Переулок выглядел пустынным.



Прыгнул. Прыгнул мягко, как кошка, сразу почти на четвереньки. Не почувствовал даже маленькой боли. На какую-то долю секунды, когда самое главное — приземление — было уже позади, когда оставалось только встать и быстро уходить, Толик испытал прилив восторга и радости. «Спасен, спасен...» — мелькнула мысль. Но не успел он распрямиться, как оказался зажатым в тисках чьих-то сильных рук. Рыжие, волосатые, громадные чужие руки. Попробовал вцепиться в них зубами, но дикая, нестерпимая боль в лопатках заставила его вскрикнуть.

— Ого, братишка, кусаться? Нехорошо, не по-мужски! — проговорил старшина Карпенко, замыкая руки Толика особым милицейским приемом.

Толик повернулся и, увидев лобастое, на крепкой шее, рыжеусое лицо, уже не пытался вырваться: сопротивление бесполезно.

На условный сигнал подоспели Захаров и старшина Коршунов. Толику связали руки и посадили в служебную машину, которая стояла за углом,

37

На второй день, после того как был арестован Максаков, Григорьев вызвал к себе Гусеницина и, строго окинув его взглядом, сказал:



— Через час Захаров будет допрашивать Максакова. Рекомендую вам присутствовать. Поучитесь, лейтенант, как нужно расследовать дела, которые, по вашему, должны быть прекращены. А сейчас зайдите на опознание. Оно скоро начнется.

От Григорьева Гусеницин вышел молча. Встретившись в коридоре с Северцевым, он сделал вид, что не заметил его, и прошел в следственную комнату.

Захаров склонился над столом и что-то писал. Напротив него, почти у самой стены, на дубовой скамейке сидели три молодых парня.

Опознания не начинали — ждали Григорьева.

В одном из парней Гусеницин без труда узнал человека, которому не впервые приходилось бывать на опознании. Он сидел, вяло опустив плечи, и с безучастным выражением, словно ему все это надоело до тошноты, смотрел в окно. Двое других производили иное впечатление. Они, не понимая, чего от них хотят и зачем их сюда привели, вопросительно и пугливо смотрели то на Захарова, то на Гусеницина.

Вскоре пришел майор Григорьев и разрешил начинать. Дежурный сержант вызвал Северцева. Алексей переступил порог. Головы сидящих повернулись в его сторону. Все заметили, что взгляд Северцева сразу же остановился на Максакове. Этот взгляд словно буравил, в нем были и обида, и упрек, и презрение. Максаков не выдержал и опустил глаза.

Захаров и майор поняли все. Понял и Гусеницин. И то, что он понял, было крахом его последних надежд остаться работать в оперативной группе.

— Гражданин Северцев, подойдите поближе, — обратился Захаров к Алексею, — Не узнаете ли вы кого-нибудь из сидящих против вас граждан?

— Узнаю, — сквозь зубы ответил Северцев, продолжая сверлить глазами Максакова.

— Кого?

— Вот этого гражданина. — Алексей указал на сидящего в середине. — При знакомстве он отрекомендовался Толиком.

Вопросы и ответы Захаров записывал. Поглаживая седоватую щетину подбородка, майор тайком любовался молодым следователем.

— Прошу вас, расскажите подробно и по порядку: где, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с этим гражданином?

Северцев принялся рассказывать то, что он уже десятки раз рассказывал при допросах. Когда он дошел до ограбления в березовой роще, те двое, что сидели рядом с Максаковым, стали незаметно отодвигаться от своего соседа. Они двигались до тех пор, пока не оказались на краешках скамейки. Растерянные и испуганные лица подставных Захаров видел при опознаниях и раньше. Они всегда вызывали у него смех. Теперь же, когда допрос вел он сам, когда не только смеяться, но и улыбаться было неуместно, ему вдруг захотелось расхохотаться. Чтобы сдержаться, он стал кусать губы.

Совесть ли заговорила в Максакове или он понял, что всякое закирательство излишне, но он тут же во всем сознался. Не хотел говорить лишь одного: с кем совершил ограбление.

«Своя воровская этика, свои жиганские законы», — подумал Захаров и про себя решил, что искать сообщников следует какими-то другими путями.

Дав подписать протокол допроса Северцеву, он отпустил его домой.

Когда майор разрешил быть свободными двум парням, которые еще и теперь не понимали своей роли, те так быстро вскочили со скамейки и кинулись к дверям, что Захаров, как ни крепился, все же не выдержал и расхохотался. При виде этой сцены не сдержал улыбки даже Максаков. Каменным оставался один только Гусеницин.

Своих сообщников Максаков упорно не хотел выдавать. Как ни изощрялся Захаров, тот твердил одно и то же: тех двоих, с кем ограбил, он раньше не знал. Познакомился-де случайно на вокзале, в день ограбления. Оба они якобы из Ростова и уехали туда утром следующего дня.

Захаров пришел к твердому убеждению, что надо искать другие пути. Но какие — об этом нужно как следует подумать.

\*\*\*

Близился рассвет, а Анна Филипповна не сомкнула глаз. Арестовали... В милиции даже не сказали за что. Пока ведется расследование...

На диване мирно посапывала Валя. Она, бедняжка, тоже уснула недавно, наплакавшись до головной боли.

Анне Филипповне было душно, и все тело пронизывала дрожь. Стоило только подумать, что сына снова ожидает тюрьма, как ей не хватало воздуха.

Толик стоял перед глазами как живой. Он припоминался Анне Филипповне трехлетним сероглазым малышом, которого она вечерами водила за ручонку из детского сада. Счастливой гордостью переполнялось ее сердце, когда прохожие останавливались и заглядывались на малыша: «Какой очаровательный бутуз!.. Вы только посмотрите!»

А вечером приходил с работы отец, снимал пахнущую бензином фуфайку, брал на руки сына и подбрасывал его почти до потолка. Толик заливался счастливым визгом, просил бросить еще и еще. И Александр, не обращая внимания на укоры жены, по-детски сверкал глазами и продолжал подкидывать Толика:

— А ну, сынок, выше! Смелей, сынок! Еще выше! Вырастешь большой — за баранку посажу! Мать, она ничего не понимает...

Не думала не гадала тогда Анна, что сына ее ждет участь арестанта и позорная кличка «бандит», «преступник»...

...Первый день школы... Как сейчас, видит Анна сияющее от счастья лицо Толика.

— Мама! Мне поставили по письму очкор! Меня записали в октябрята!..

По поводу этой первой ученической радости отец, несмотря на затруднения — это было в тридцать четвертом, неурожайном году, — куда-то молча ушел и через час возвратился с конфетами. За ужином Толик чувствовал себя именинником.

Первый класс он окончил с грамотой. Учительница хвалила мальчика, приводила его в пример другим детям. На родительских собраниях Анна чувствовала, как сердце ее млеет от счастья. Никогда не забудет она тот новогодний вечер во Дворце пионеров (Толик уже учился в третьем классе), когда сын читал стихи у елки. Он стоял на стуле и, краснея от волнения, декламировал, размахивая руками.

А когда мальчик окончил начальную школу — на стене, в самом видном углу, красовались четыре похвальные грамоты сына. Рядом висели две грамоты отца. Анна шутила:

— Смотри, отец, как ты отстаешь. Сын каждый год по грамоте, а ты две за восемь лет.

Александр добродушно улыбался, опускал тяжелую ладонь на плечо Толика и

строго отвечал:

— Ничего, дайте срок, я его догоню, а потом и обгоню.

Сын озорно закусывал нижнюю губу, карабкался на колени отца — оба любили побарахтаться на диване — и старался положить его на обе лопатки.

— А вот и не обгонишь! И не обгонишь!..

...Но недолго жила в доме Максаковых семейная радость. Наступил 1939 год. Война с белофиннами. В первых военных эшелонах уехал на Север и отец Толика. А через два месяца, в метельное утро, Анну вызвали повесткой в райвоенкомат.

Сухощавый и уже немолодой, с проседью в висках, военком встретил Анну сдержанно. Не соблезновал, не произносил длинных утешительных речей, чтобы подготовить солдатку к встрече с бедой. Он встал из-за стола, подошел к Анне почти вплотную и сурово посмотрел ей в глаза:

— Ваш муж Александр Максаков погиб в бою...

Вдове назначили пенсию.

Потерю отца Толик воспринял тяжело. Первое время мальчик замкнулся, ушел в себя. Всю свою сыновнюю любовь он перенес на мать, оберегая ее, никогда не заговаривал об отце. Стоило Анне даже случайно вспомнить о покойном, о его оставшейся одежде, из которой она при нужде перешивала что-нибудь для сына, как Толик сразу увядал, опускал глаза в пол и выходил из комнаты.

...Незаметно подкрался сорок первый год. Толику было уже пятнадцать лет. Он вытянулся, голос его стал по-юношески ломаться, на верхней губе не по возрасту рано проступил нежный белесый пушок. Не забудет Анна и тот июньский день, когда сын вернулся из школы и, обняв ее, как ровесницу, закружил по комнате:

— Мама, поздравь меня!

Для матери это было большим счастьем. В свидетельстве об окончании семилетки стояли одни отличные оценки... И комсомольский билет! Она словно и не заметила, как пролетели все эти пятнадцать лет и ее сын... уже комсомолец. Казалось, она сама лишь недавно перестала выполнять комсомольские поручения. «Если б посмотрел сейчас на тебя отец!» — подумала Анна и подошла к портрету, висевшему в застекленной рамочке. Толик понял мысль матери.

— Не надо мама. Давай сегодня только улыбаться, — Он шагнул к ней:— Это тебе, — и разорвал газетный кулек, в котором были завернуты цветы. — Ведь ты любишь цветы?

Анна заплакала. Она поцеловала сына, обняла его...

Потом на Москву упали первые бомбы...

Анна перешла работать на военный завод. Толик оставил восьмой класс и тоже встал к токарному станку. Вечерами приходил домой усталый, чумазый, но с каким-то гордым и торжественным сиянием в глазах. Мать лила ему на руки воду и искоса наблюдала за его движениями. Все в сыне было отцовское. Тот же медлительный поворот головы, те же угловатые линии плеч, те же большие рабочие руки. Смотрела и любовалась.

Первая получка Толика... Он вручил ее трогательно. Положил на стол все до единой копейки и попросил на кино.

А с каким стыдом и застенчивостью он через год, когда уже работал по четвертому разряду, заявил дома, что на праздничную складчину ему нужно внести деньги. Вечеринку собирали у одного товарища по цеху.

— Это бывает раз в году, мама, — виновато проговорил Толик. — Все наши ребята собираются отметить праздник.

— Сынок, я совсем не против, вноси деньги и гуляйте, только смотри не пей лишнего, тебе мало нужно. Посмотри — одни глаза остались.

...И все было бы хорошо, если б не тот военный интендант с усиками, который вошел в ее жизнь непоправимой бедой. При одном воспоминании о нем Анну и теперь мучит стыд. Всеми силами души хотела она найти оправдание своей слабости и не находила.

Три года после смерти мужа она жила затворнической жизнью, боясь даже подумать о том, что есть на свете любовь, есть то, что у нее отняла война.

Но известно, что беда приходит оттуда, откуда ее меньше всего ждешь. Анна и сейчас отчетливо помнит треугольник письма, в котором незнакомый боец, прослушавший по радио передачу о женщинах-донорах, благодарил ее за то, что кровью своей она, может быть, спасла ему жизнь. Раненый просил навестить его.

Долго ехали Анна и Толик в холодном, заиндевевшем трамвае, пока кондукторша не объявила, что следующая остановка «Госпитальная площадь». Ей не терпелось увидеть того, кто прислал ей такое сердечное письмо. «Рем Осташевский... Рем Осташевский...» — твердила она про себя, и перед глазами вставал бледный человек с забинтованной головой, беспомощным выражением глаз. Она мысленно гладила его руку. В мешочке, аккуратно перевязанном голубой ленточкой, лежали две восьмушки махорки, сахар, пачка печенья. Это все, что она могла оторвать от своей недельной нормы.

В белом халате по мягким ковровым дорожкам прошла Анна в сопровождении няни в отделение, где, как ей сказала дежурная сестра, лежал Осташевский. Седьмая палата. В палате тишина. Вот наконец и его кровать. Но тот, кого она увидела, был далеко не таким, каким ей представлялся. Розовощекий молодой мужчина с черными как смоль усами посмотрел на нее большими грустными глазами и, мягко улыбнувшись, легко приподнялся с койки. В полосатой шелковой пижаме он выделялся среди остальных раненых, одетых в застиранные байковые халаты.

— Вы Максакова?

— Да... я... — робея и теряясь, ответила Анна.

— Рем Осташевский. — И он пожал пальцы растерявшейся женщины.

У раненого была в гипсе левая рука. Видимо, он выздоравливал: движения его не были затрудненными.

— Я бесконечно благодарен вам... Всю жизнь буду помнить вас!.. — искренне и трогательно произнес Рем Осташевский.

Больные в палате молча смотрели с коек на Анну. Она почувствовала себя еще более неловко и покраснела сильнее. Осташевский предложил выйти в коридор. Под зеленой пальмой в уголке стоял обтянутый белым чехлом диван. Он был свободен.

...Они проговорили два часа.

Анна даже забыла, что внизу, в холодной приемной госпиталя, ее ждет Толик. Рем рассказывал о войне, вспоминал о своей милой Анапе, в которой сейчас немцы, говорил, что ждет не дождется дня, когда его рана заживет и он снова займет место в боевых рядах. Подробно расспрашивал Анну о ее жизни, сожалел, что она так рано овдовела и что ей одной приходится воспитывать сына.

О себе сказал со вздохом, в котором выразились и горе, и сожаление:

— Моя невеста погибла на Ленинградском фронте. Была медсестрой.

— Как, разве вы до сих пор не женаты? — удивилась Анна. Она и мысли не допускала, что этот далеко уже не молодой человек холост.

Черные дуги бровей Рема замкнулись у переносицы. Пальцы его никак не могли зажечь спичку.

Анна спохватилась и помогла ему.

— Спасибо. Да, не удивляйтесь, Анна Филипповна. Холост. У меня скверно сложилась личная жизнь. Когда-нибудь я расскажу вам об этом подробно. А сейчас можете только пожалеть меня: в тридцать три года я одинок. Если убьют — некому даже будет всплакнуть...

Анна смотрела в глаза Рема. В душе ее просыпалась жалость к этому человеку. И чем больше смотрела она в эти большие печальные глаза, в которых где-то в глубине словно затаились два огненных факела, тем больше ей хотелось смотреть в них.

Когда няня вторично предупредила, что время свидания кончилось, Рем поднес руку Анны к своим горячим губам и поцеловал.

Анна почувствовала, как огнем вспыхнули ее щеки. Даже захватило дух.

— Не надо... Зачем это вы? — почти шепотом проговорила она, неуверенно освобождая руку.

— Вы ко мне еще придете? — спросил Рем тихим голосом, но в нем прозвучала твердая уверенность: «Вы обязательно ко мне придете. Я этого хочу! И вы тоже хотите».

— Я... Собственно, не знаю... — Анна смутилась. — Очевидно, на той неделе. Сейчас приходится очень много работать.

— Приходите в субботу, — все с теми же нотками властности произнес Рем.

Анна улыбнулась и сконфуженно спросила:

— В какое время?

— Как и сегодня, в пять.

...Домой Анна возвращалась со смутным и тревожным предчувствием чего-то такого, что одновременно и пугало своей неизвестностью и наполняло радостью.

— Как он там, мама? — спросил Толик, когда они вышли на улицу.

— Хорошо. Уже поправляется.

— А какой он?

— Очень приятный человек...

Анна отвечала невпопад. В сердце ее выросло щемящее чувство ожидания чего-то неизведанного, счастливого. Но что сулило это чувство: беду или радость — она еще не знала.

Только в трамвае Анна хватилась, что не передала раненому узелок. И тут же поймала себя на мысли, что сделала это сознательно: ей стыдно было дарить офицеру махорку и печенье. «Будто он не получает папиросы по офицерскому пайку...»

В ожидании субботы дни ползли медленно. На этот раз она поехала без Толика.

Опять два часа беседы под пальмой пролетели, как две минуты. Теперь Анна уже могла разобраться в своем смутном чувстве к Рему. Она смотрела в его глаза и не могла оторваться. Он держал ее руку в своих горячих руках, и у нее не было сил отнять ее.

...В начале мая Рема выписали из госпиталя и направили в распоряжение военного коменданта Москвы. Ему дали недельный отпуск. Толик в эти дни вместе с рабочими завода был командирован на Урал монтировать новый военный завод.

И каково же было удивление и растерянность Анны, когда она, вернувшись однажды с работы, увидела во дворе у своего подъезда высокого капитана с небольшим букетиком цветов и вещмешком на руке.

Война войной, а цветы в мае цвели. Их продавали на шумных перекрестках ребятишки и старушки.

— Рем!.. Это мне?! — Губы ее дрогнули.



— Конечно, вам! А кому же еще?

Это было в субботу.

Из вещмешка Рем достал весь офицерский рацион, который получил на время отпуска. Нашлась и бутылка водки.

— Сегодня у нас будет настоящий пир! Где же ваш сын? Почему вы не знакомите меня с сыном? — Рем показал на фотографию, висевшую на стене: — Это он?

— Да.

— Большой. А это кто?

— Муж.

— Весь в отца. — Рем нетерпеливо развел руками. — Давайте сюда сына! Почему нет сына?

Анна, словно о чем-то догадываясь, покраснела:

— Сын в командировке. Уехал на две недели.

Правый ус Рема дрогнул, на лице обозначилось подобие улыбки, которая тут же потухла.

— Ай, как жаль... Ай, как жаль... — Он закачал головой и налил в стакан воду, в которую поставил цветы.

То, что произошло дальше, всю жизнь будет жечь Анну стыдом и раскаянием. Она пила водку. Пила столько же, сколько пил Рем. Вначале в глазах ее поплыл пол, потом зашатались стены. А когда под утро проснулась, то ясно поняла, что полюбила этого человека. Она потянулась к нему всем своим истосковавшимся вдовьим сердцем.

Косились соседи. На кухне Анна слышала недвусмысленные намеки и насмешки, кто-то на дверях за время ее отсутствия нарисовал карикатуру. Анна страдала. Тайком плакала, но сделать с собой ничего не могла. Самым страшным было для нее возвращение из командировки сына. Она уже считала дни. И чем ближе подходил час его приезда, тем неистовее ласкала она Рема, тем сильнее мучила себя думами о том, что же будет дальше.

А дальше все случилось так, как она не ожидала. В одну из ночей в дверь тихо постучали. Толик, сын. Так стучался только он. Вместо двух недель он пробыл в

командировке десять дней. Анна заметалась по комнате, наспех постелила Рему на диване, кинула ему подушку.

Толик включил свет; вначале удивленным, потом испуганным взглядом окинул комнату и не мог понять, почему заныло сердце. Предчувствие, что случилось что-то нехорошее, обидное, обожгло его впалые щеки горячим румянцем.

— Кто это у нас, мама?

Нижняя челюсть Анны дрожала будто в лихорадке. Она даже не смогла поцеловать сына.

— У нас... гость, сынок. Раненый капитан, к которому мы ездили в госпиталь. Да что же ты стоишь в дверях? Почему не проходишь? Господи, как ты похудел!..

Анна наконец справилась с дрожью. Она подошла к сыну, обняла его и поцеловала в обветренные щеки.

...С этого дня между матерью и сыном словно пробежала черная кошка. Толик не мог смотреть матери в глаза. На другой день он снял со стены портрет отца и спрятал в комод.

— Это зачем?

— Так надо, — сдержанно ответил он и вышел из комнаты. В свои шестнадцать лет он уже многое понимал.

Рема оставили при штабе Московского военного округа. Анна была до безумия рада и в то же время напугана таким назначением. «Что будет дальше?!» — мучил ее один и тот же вопрос. Встречи были тайные, у знакомых, и лишь изредка дома. А кто-то продолжал рисовать химическим карандашом на дверях ту же оскорбительную карикатуру. Эту карикатуру видел и Толик. От стыда он не мог поднять глаз на соседей, даже перестал заходить на кухню. А однажды на рассвете Анна проснулась и сквозь сон услышала какие-то сдавленные всхлипы. Открыла глаза. Толик плакал, уткнувшись головой в подушку.

Анна подбежала к дивану и обняла голову сына:

— Прости меня!.. Прости. Я встану перед тобой на колени! — И она опустилась на пол.

Рыдания Толика усилились. Плечи его вздрагивали все судорожней. Он лежал ничком и не мог овладеть собой.

...А днем у Толика была получка. Первый раз он пришел домой пьяный, с недоброй улыбкой. Горькая судорога сводила его губы.

Половину получки он пропил.

— Почему так мало денег? — тихо спросила мать.

— Я угощал друзей.

— По какому поводу?

— По такому, что у меня, говорят, скоро будет новый папочка с усиками...

Не дотронувшись до денег, Анна вышла из комнаты. Когда вернулась, Толик стоял у окна и, глядя на улицу, процедил сквозь зубы:

— Я перееду к тете Поле.

В тот же вечер, забрав кое-какое бельишко и фотографию отца, Толик ушел из дому. На столе он оставил записку:

«Мама! Желаю тебе счастья. Целую. Твой сын».

Анна прочитала записку и, обессиленная, опустилась па табуретку. В это время кто-то постучал. Пошатываясь, она подошла к двери и открыла. На пороге стоял Рем. Гладко выбритый, смуглый, розовощекий, он улыбался. Смело шагнув навстречу Анне, обнял ее и поцеловал влажные от слез глаза.

— Что с тобой? Ты опять плачешь? — Поддерживая Анну, он провел ее к дивану. — До сих пор не можешь хорошенько разъяснить сыну, что в наших отношениях нет ничего дурного...

— Ах, перестань, Рем! Если б ты был матерью!..

В этот вечер они долго говорили, что им делать дальше. Взяв себя в руки, Анна спросила:

— Рем, скажи, кто я тебе? — В ее взгляде застыл испуг: что он ответит?

— Странная постановка вопроса! Ты, Анечка, чудачка. Такие серьезные шаги решаются не теоретически. Зачем об этом говорить? В этих вещах все приходит само собой.

— Не криви душой. Говори! Не бойся! Я готова к самому страшному.

Рем прошелся по комнате, зачем-то задернул занавеску, стряхнул с рукава гимнастерки прилипшую пушинку и вздохнул:

— Анна, ты прекрасно знаешь, что идет война. Разве можно сейчас говорить о женитьбе, когда не сегодня-завтра меня могут отправить на фронт? Другое дело — кончится все это, тогда другой разговор.

Лицо Анны посуровело, стало решительным.

— У меня есть сын, который мне дороже всего на свете. Перед ним я и без того на всю жизнь виновата. Я причинила ему столько горя... — Ее стали душить слезы, и она продолжала с трудом: — Я люблю тебя. Люблю так, что...

Слезы перешли в рыдания.

Рем сидел на диване и нервно курил. Папироса в его пальцах дрожала. А в прищуренных глазах прыгал злой огонек раздражения.

— Скажу тебе: так продолжаться дальше не может. Мне не по силам оставаться в этой неопределенности.

— На все это я отвечу завтра. А сейчас довольно слез, приготовь ужин. — Рем развернул пакет. В нем была водка, колбаса и хлеб. — Где сын?

— Ушел к тетке.

— Зачем?

— Со мной он жить не может. Вот прочитай.

Рем прочитал записку и бросил ее на стол. Широкими шагами он принялся ходить по комнате, о чем-то сосредоточенно думая. Потом подошел к Анне, положил ей на плечи руки и долго-долго смотрел в глаза. Анна опустила голову.

Снова утро было встречено в жаркой бессоннице.

Теперь Рем оставался у Анны каждую ночь. Соседи поговаривали, что не за горами должна быть и свадьба.

Однажды вечером в комнату постучал Толик. С дрожью Анна подошла к двери и



долго открывала крючок. Было для нее в этом родном стуке что-то новое, тревожное.

Толик вошел в комнату все с той же недоброй улыбкой, которую она впервые увидела на его лице в тот вечер, когда он уходил из дому. Поздоровался, как здороваются малознакомые или совсем чужие люди. От него пахло водкой.

— Ты опять пьян? — с нескрываемым беспокойством спросила мать.

— Пью за ваше счастье.

Он достал из кармана бутылку.

— Не смей! — Анна подошла к сыну, хотела отобрать водку, но он отстранил ее руку:

— Мама, я уже не маленький мальчик. Мне семнадцать. Скоро пойду на фронт. А сегодня пришел выпить вместе с вами.

Анна заплакала. Толик сделал вид, что не заметил ее слез.

— Что же вы молчите, Рем Вахтангович? Так, кажется, вас зовут?

— Я с удовольствием! Выпить? Пожалуйста! — И Осташевский поспешно принялся открывать консервы. Видно было, что он чего-то боялся. В движениях его не было уверенности, пальцы дрожали, а маслянистый взгляд красивых глаз время от времени тревожно скользил по губам Толика, которые корбила кривая улыбка.

Толик разлил водку в три стакана. Рему и себе он налил почти по полному.

Осташевский, едва пригубив стакан, поставил его на стол. Он не сводил беспокойного взгляда с Толика, который, откинувшись на спинку стула, пил медленными крупными глотками. В правой руке Толик крепко держал столовый нож.

— Ешьте, а то опьянеете. — Осташевский пододвинул Толику колбасные консервы и хлеб.

— Спасибо, я сыт.

Анна подошла к столу. Вытирая заплаканные глаза, она глухо проговорила:

— Как тебе не стыдно! В твои-то годы! Отец и тот по столько не пил!..

— Отец?! — Толик даже подскочил на стуле. Шатаясь, он подошел к этажерке с книгами, когда-то приобретенными отцом, обнял ее и, запрокинув высоко голову, горько и надрывно засмеялся. Давясь слезами, он еле-еле выговаривал: — Отец!.. Если б он посмотрел сейчас на своего сына, как ему весело живет!.. — И вдруг словно какая-то внутренняя сила выжгла в душе его горечь и обиду. Вытерев рукавом пиджака слезы, он подошел к Осташевскому и, не глядя на него, заговорил: — А вас, Рем Вахтангович, перед уходом хочу просить, чтобы маму вы не обижали. Запомните, я это говорю не потому, что пьян. Все это я обдумал за целый месяц... В случае чего... если обидите маму — будете иметь дело со мной.

Капитан старался спокойно улыбаться, но улыбка эта не скрывала охватившую его тревогу.

— Довольно, довольно, Толик. Ты сегодня рванул лишнее. — Он отечески похлопал его по плечу.

Осташевский стал подливать в стакан Толика, но тот покачал головой, пьяно скрипнул зубами и посмотрел на мать. В ее глазах он не встретил ни одной искорки прежней любви. Более того, каким-то подсознательным инстинктом он ощутил, что в сердце матери к нему сейчас больше ненависти, чем любви. Никогда

в жизни она так на него не смотрела...

Толик отступил на шаг, медленно поднял правую ногу и изо всей силы ударил по крышке стола. Стол с грохотом и звоном отлетел к стене. Все, что было на нем, рухнуло на пол.

Не сказав ни слова, он круто повернулся и выбежал из комнаты.

Анна кинулась вслед, но было поздно. По переулку проходила колонна пустых грузовиков. Прицепившись к одному из них, Толик забрался в кузов и скрылся за поворотом, где переулок вливался в широкую асфальтированную улицу.

...На следующий вечер Рем не пришел. Не пришел он и на третий день. Анна звонила ему в общежитие, но он уклончиво объяснил, что последнее время много приходится работать, что сильно устает, а поэтому не до встреч. А ей нужно было во что бы то ни стало поговорить с ним. Целый месяц она скрывала от него, что беременна.

По дороге к двоюродной сестре, у которой жил Толик, Анна думала о Реме. С думами о нем она ложилась и вставала. И чем дальше, тем страшней становилось ей при мысли о том, что родного сына он загораживает собой, гасит ту горячую материнскую любовь, которая согревала ее в самые тяжелые минуты.

Родственница встретила Анну холодно. Это была полная сварливая женщина пятидесяти лет, которая всю жизнь лечилась от тысячи болезней.

— Как он? Не докучает? Приходит поздно?

— Задурил парень. Совсем задурил... Никак я его не узнаю.

По лицу Анны пошли розовые пятна.

— Пьет каждый вечер. Тверёзого почти не вижу.

— Где же берет деньги?

— А кто его знает. Говорит, что премиальные получил. Дружки у него разные завелись, один другого хлеще. А на днях один его приятель пришел и попросил поддержать денек чемодан. Боюсь, девка, как бы не свихнулся парень. Забери-ка ты его, ради бога, от меня, а то еще не хватает мне на старости лет в беду какую попать.

Анна чувствовала, как слабеют ее ноги. Хотела встать, но не было сил. Наконец поднялась со стула, тихо проговорила:

— Пусть еще денёк три-четыре поживет. На следующей неделе я за ним приду.

От двоюродной сестры Анна ушла словно побитая. По дороге домой наступали минуты, когда в голове бродила мысль: «А что, если броситься под поезд метро?! Сразу все одним мигом кончится... — Но мысль о сыне отгоняла эти страшные думы. — Нет, нет, что я придумала! Он без меня погибнет. Он не перенесет такого горя».

Прошла неделя, а Рем не приходил. Не приходил все эти дни и Толик. Короткие летние ночи Анна проводила в тяжелой бессоннице. Минула еще одна неделя, а Рем все не показывался. Наконец Анна не выдержала и, не дозвонившись Рему на работу, решила подождать его у общежития, которое находилось в гостинице рядом с «Балчугом».

Около часа ходила она взад-вперед по набережной Москвы-реки, не сводя глаз с гостиницы. И наконец дождалась. К подъезду подкатил шустрый «виллис», и из него вышел Рем. Он был не один. С ним вышла миловидная молоденькая блондинка в кофейном пыльнике. Поддерживая девушку под руку, Рем поднялся с ней по ступенькам парадного входа, а они скрылись в вестибюле.

С полчаса простояла Анна у табачного киоска, не сводя глаз с дверей подъезда и с окна комнаты, в которой жил Рем. Вскоре стало темнеть. Над набережной кое-где вспыхнули неяркие огни. Зажглась лампочка и в комнате Рема.

Анна поднялась на мост. С него можно было увидеть всю небольшую, бледно освещенную комнату. Они даже не побеспокоились задернуть шторы! На столе стояла бутылка и еще что-то. Анна замерла у каменного парапета моста, впившись глазами в открытое окно. Стояла до тех пор, пока в комнате не погас свет.

Домой она вернулась в первом часу ночи. Приняла три таблетки люминала и почувствовала, как голова наливается свинцовой тяжестью. Заснула болезненным сном изнуренного человека.

Прошел месяц. Рем по-прежнему не подавал о себе весточки. Не выдержав, Анна позвонила ему на работу. Вот и он, знакомый сочный голос с каким-то мягким, грудным оттенком. Рем холодно поздоровался и извинился, что не может больше разговаривать: его срочно вызывает начальник, и тут же предупредил, чтобы Анна не звонила ему месяц — он уезжает в командировку. Холодное «до свидания» резануло по сердцу, словно ржавым ножом.

Через несколько дней, пытаясь встретить Рема у общежития, Анна снова увидела его с той же молоденькой блондинкой. Как и в первый раз, он подъехал на «виллисе» и элегантно жестом помог своей подруге выйти из машины.

Возвратилась Анна домой поздно. На скамейке во дворе она увидела Толика. Он сидел сиротливо, опустив низко голову, и курил. У ног его валялось множество окурков. Анна подошла к сыну, села рядом и беззвучно заплакала. Рубашка на Толике была грязная — это бросалось в глаза даже при тусклом свете матового фонаря, висевшего под козырьком подъезда. Щеки запали еще сильнее, большие отцовские глаза поблескивали голодным светом.

— Ты хочешь есть? — сквозь слезы спросила Анна, глядя голову сына.

— Нет, я сыт, мама. Я... — Он проглотил подкатившийся к горлу клубок и продолжал: — Я пришел... повидаться.

— Давно пришел?

— С восьми часов здесь.

А было уже половина первого ночи. Толик, утомленный ожиданием и уставший после двух смен на заводе, выглядел больным.

— Ты не болен?

— Нет, я здоров.

— А что же ты так плохо выглядишь? Таким ты никогда не был.

— Много работы, приходится стоять по две смены подряд.

— Пойдем домой... — Мать взяла сына за руку, и они молча пошли к подъезду.

Анна сразу поняла, кого искал глазами Толик, переступив порог комнаты. А Толик, не найдя его, с кем боялся встретиться, облегченно вздохнул и сел на диван.

После месячной разлуки это был их первый поздний ужин. Ели молча, изредка тайком посматривая друг на друга. И только перед тем, как лечь спать, Толик спросил:

— А где же Рем Вахтангович?

— В командировке.

— Давно уехал?

Анна замялась:

— Да как тебе сказать... Недели полторы, наверное.

— А куда уехал?

— Куда-то далеко.

Толик поднял на мать тоскующие глаза:

— Я видел его вчера в Сокольниках.

— Он был... с друзьями? — спросила Анна и как-то вся подалась в сторону сына.

— Нет. С ним была молоденькая блондинка в голубом платье.

Чтобы Толик не заметил ее волнения, Анна подошла к окну, долго и бессмысленно смотрела в темноту, потом выключила свет и легла в кровать. Больше ни она, ни сын не проронили ни слова.

Утром Толик поднялся рано. Чтобы не разбудить мать, он тихо оделся и отправился на работу без завтрака. Анна слышала, как сын, оберегая ее сон, еле ступал по паркету, слышала, но не подала вида, лежала неподвижно, затаив дыхание. После его ухода она пыталась встать, но не было сил. Измученная за ночь ревностью — всю ночь в ее глазах стояла молоденькая блондинка в голубом платье, — она ощущала монотонный звон в голове и тошноту. Такое ощущение Анна испытывала несколько раз в детстве после угара, когда бабушка рано закрывала в трубе задвижку, чтобы сохранить в печке побольше тепла.

В этот же день она написала Осташевскому большое письмо, в котором просила его прийти. О блондинке не упоминала ни слова. В письме она ставила Рема в известность, что ожидает ребенка: спрашивала что ей делать. В последних строках еще раз умоляла его прийти.

Рем и на этот раз не пришел.

В конце недели Анна получила от него ответ. Дрожащими пальцами разорвала конверт.

«Здравствуй, Анна! Твое письмо получил и был возмущен тем, что ты меня преследуешь. Твое поведение меня выводит из себя. Это поведение несоветского человека. Разве обязан я за то, что мы с тобой несколько раз встретились и вели непродолжительное знакомство, жениться на тебе? Это крайне возмутительно и нахально. А еще ты пишешь, что беременна. Чем ты можешь доказать, что это ребенок от меня? Это настоящий шантаж. Не советую тебе хитрить, шантажировать и плести вокруг меня свои коварные сети. Я человек семейный, у меня на юге есть жена и двое детей, а поэтому все твои старания напрасны. Прошу тебя больше не звонить мне и не беспокоить провокационными письмами. Стыдно этим заниматься в такие тяжелые дни, когда все помыслы и стремления честных советских людей направлены к одной цели: быстрее разгромить коварного врага и приступить к восстановлению разрушенного хозяйства нашей социалистической Родины.

На этом письмо кончаю и советую тебе в корне изменить свое поведение. Оно не к лицу советской женщине.

Рем Осташевский».

Письмо дрожало в руках Анны. В глазах танцевали крупные фиолетовые буквы.

На следующий день по совету своей старой подруги, с которой она училась в школе, Анна сделала себе аборт и легла в постель. Кружилась голова, тошнило...

Силы уходили с каждой минутой.

Может быть, и умерла бы спокойно и тихо Анна от потери крови, если б не соседка, Иерихонская Труба, которая пришла попросить взаймы соли.

— Матушка ты моя, царица небесная!.. Да что же ты это наделала!.. Врача! Скорее врача!.. — И тут же кинулась из комнаты.

В следующую минуту вся многонаселенная квартира была поднята на ноги. Точно сквозь сон, до слуха Анны доносились незнакомые приглушенные голоса, среди которых выделялся один знакомый — голос Иерихонской Трубы. Потом и он исчез: Анна потеряла сознание.

Очнулась она на второй день в Боткинской больнице. Ее успели спасти. Первое, что обеспокоило Анну, когда она поняла, где находится, — сын. Что с ним? Как он перенесет это? Толик уже взрослый, все понимает, и он не может с легкой душой отнестись к страданиям матери. «А что, если в его руки попадет письмо Рема? Что тогда будет с ним?» — Эта мысль пугала Анну. Она знала сына, хорошо помнила его предупреждение Рему: «...Если обидите маму — будете иметь дело со мной».

Анна знала, что сын не бросал слов на ветер. Характером весь в отца, он даже в раннем детстве никогда не хвастался. Но то, что обещал, выполнял всегда.

На третий день Анне передали от сына передачу и записочку:

«Дорогая мамуля! Скорее выздоравливай и возвращайся домой. Я по-прежнему люблю тебя и слушаюсь, как в детстве.

Целую. Твой Толик».

Записку эту Анна не раз облила слезами, она стала ее духовной опорой и тем маяком, который, мигая издали, обнадеживал, что жить стоит, что время сгладит ошибки и промахи.

Медленно тянулись дни, нудной бесконечностью ползли недели, а Толик больше не приходил на свидание. Анна тревожилась. Она не находила себе места, умоляла врачей выписать ее, но те, обещая сделать это со дня на день, все откладывали. Послеабортное осложнение заставило Анну пролежать в больнице больше месяца.

В день выписки за ней пришла Иерихонская Труба.

— Ну как? Как Толик? Он навещался домой? — были первые слова, с которыми Анна обратилась к соседке.

Иерихонская Труба поджала губы и отрицательно покачала головой.

— Говорили, что его призвали в армию... Но я не думаю. Все, глядишь, забежал бы проститься с соседями. Что ни говори, а ведь вырос на наших глазах.

— Да где же он тогда, тетя Феня? Уж не несчастье ли какое?

— Придешь домой, голубушка, сама узнаешь. Там тебе письма есть, может, и от него. Поди, не раз ездил по командировкам, может, и на этот раз куда направили.

Недоброе предчувствие томило Анну всю дорогу, пока они ехали домой.

Соседи по квартире встретили ее отчужденно. Никаких писем ни в комнате, ни в почтовом ящике не оказалось. Это еще больше встревожило Анну. Слабая и осунувшаяся после болезни, она, как чужая, сидела в собственной комнате и не знала, за что приняться.

— Тетя Феня, что с Толиком? Ведь вы все знаете. Я это по вашим глазам вижу.

— Вот что, голубушка, садись и слушай. Только особо не расстраивайся. Толик твой

угодил в тюрьму. Неделю назад его судили...

Анну точно сразило молнией.

За что?! — Прижав к груди руки, она с испугом смотрела на соседку.

— Известно за что. — Иерихонская Труба повела взглядом по потолку. — А если разобраться, то ни за что ни про что.

— Говорите же, тетя Феня, говорите!..

— Ухажера твоего чуть не зарезал, спасибо, что врачи выходили, а то бы отдал богу душу.

Как могла, сбивчиво тетя Феня рассказала про Толика.

Домой он зашел в тот день, когда Анну только что увезли в больницу. Узнав о несчастье, он пришел в ужас. На полу Толик нашел письмо, прочитал его, закрыл комнату на ключ и ушел. Его не было три дня. Потом он вернулся, но пробыл недолго, не больше часа. Иерихонскую Трубу попросил об одном: если по каким-либо причинам он не сможет навещать мать, пусть она хоть изредка навещает ее. И тут же сказал, что его хотят послать в длительную командировку. Вид у него был нехороший, злой, на людей смотрел так, будто весь мир ему враги.

В этот же вечер Толик подкараулил Осташевского у подъезда гостиницы и шел по его пятам до Парка культуры и отдыха имени Горького... Тот был не один. С ним была все та же блондинка.

С Осташевским Толик встретился на тропинке в Нескучном саду. Об этой встрече Иерихонская Труба знала из обвинительного заключения, которое было зачитано на суде. Толик напомнил Осташевскому свою просьбу не обижать мать. Но тот высокомерно прикрикнул на него, назвал шпаной и пригрозил сдать в милицию.

В ответ на эту угрозу Толик достал из кармана письмо: «Это вы писали, Рем Вахтангович?» — «Что вам нужно?» — «Я спрашиваю — это вы писали?»

Осташевский стал тревожно озираться по сторонам, ища постового милиционера.

Дальше случилось то, чего Осташевский меньше всего ожидал. Молниеносным движением Толик выхватил из кармана нож и всадил его в правое плечо обидчика.

Тот замертво рухнул на тропинку. Блондинка закричала истошным голосом: «Помогите! Помогите!..»

Толика арестовали на второй день на работе. Он не запирался, что покушался на Осташевского. Но когда его спросили о мотивах покушения, он сказал, что хотел снять золотые часы. Ему не поверили. Опытный следователь размотал до конца клубок преступления и выполнил свое обещание, данное Толику: не беспокоить допросы мать, пока она находится в больнице.

Толику дали пять лет лишения свободы. В своем последнем слове он просил суд заменить тюрьму штрафной ротой, в которой он искупит кровью свою вину. Но ему отказали.

Поджав губы, Иерихонская Труба поправила платок и сочувственно продолжала:

— Любит он тебя, Аннушка, ох, как любит! Когда его уводили из суда, он как увидел этого усатого дьявола, в лице сделался весь словно бумага, бледнющий такой. Повернулся к судьям и говорит: «Граждане судьи, прошу записать в протоколе мое последнее слово». — Иерихонская Труба закатила глаза к потолку и, что-то припоминая, продолжала:— Забыла я его фамилию, уж больно чудная. Так вот, назвал он его по фамилии и говорит: «Если он еще раз дотронется до матери или чем-нибудь ее обидит, то зарежу, когда приду из заключения». Так прямо и сказал. Говорит: на дне моря достану, а зарежу. Так и записали в судебных

бумагах. А он, твоя зазноба-то, сидит ни жив ни мертв, глаза горят, как у беса, по лицу вижу, что здорово испужался, кровинки в нем нет...

Выслушав рассказ, Анна подняла голову и только теперь увидела на стене портрет мужа. Толик повесил его на старое место в тот же день, как ее увезли в больницу.

...Вскоре Толик прислал письмо из пересыльной тюрьмы. Он просил у матери прощения за то горе, которое ей причинил. Закончил письмо словами:

«...А этого мерзавца я предупредил: если он когда-нибудь переступит порог нашего дома и посмеет дотронуться до тебя — я найду его (пусть даже пройдет несколько лет) и задую собственными руками. Я ему в этом поклялся. Тебя же, родная, прошу подумать о себе и обо мне. Целую тебя. Твой сын».

В работе топила Анна свою боль и вину перед сыном.

От Толика шли письма... Некоторые из них были измазаны полосками черной туши — работа цензуры. Письма эти Анна перечитывала десятки раз, а потом по полночи сидела с воспаленными глазами, сочиняя ответы.

Годы шли медленно... В темные зимние ночи думала Анна о своей прожитой жизни, которая до встречи с Осташевским была чистой, как родниковый ручей. Вспоминала себя девочкой, пасшей на лугу гусей. В выгоревшем на солнце ситцевом платьице, с длинной хворостиной в руке. И особенно отчетливо вставали перед ней дни ранней деревенской юности... А потом по путевке комсомола ушла работать в город, на завод. На заводе встретила русого плечистого парня с серыми и всегда как будто виноватыми глазами. Был он ласковый, добрый и чуть-чуть застенчивый. Познакомились. Ходили в кино, вместе были на рабочих вечеринках, танцевали под гармошку. Дрогнуло сердце Анны, почувствовала она, что входит в ее жизнь родной человек. Входит со светлой, открытой улыбкой, с чистой душой, входит уверенно и неудержимо. А через полгода была шумная заводская свадьба. Все кружилось в глазах от счастья и от стыда. Со всех сторон кричали: «Горько!.. Горько!..» Она сидела и не знала, как вести себя.

А когда забился под сердцем ребенок, Анна почувствовала, что есть в материнстве такое счастье, какое может познать только женщина... И не всякая, а любящая своего мужа.

Как вырос сын — даже не заметила. Не заметила, как появились в волосах первые седые паутинки, которые после смерти мужа стали упрямее и резче наступать на русый отлив густых прядей. Но она крепилась. Когда же случилось несчастье с сыном, Анна почувствовала, что стареет. Раньше она не знала, что такое недомогание, а теперь приходила с работы совсем разбитая, старалась скорей добраться до постели. Пошаливало сердце.

В сорок четвертом году, на исходе войны, Анна поехала в родную деревню под Смоленском, но вместо нее нашла развалины и пепелища. Земляки ютились в сараюшках и землянках. С большим трудом разыскала она свою осиротевшую пятнадцатилетнюю племянницу Валу, у которой отца убили на фронте, а мать замучили немцы. Наплакавшись вдоволь над ее сиротством, Анна привезла племянницу в Москву и оставила у себя. Вдвоем стало веселей — как-никак родной человек в доме, есть о ком позаботиться и с кем разделить маленькую радость, которая заглядывала в их комнатку в дни, когда приходили письма от Толика. В них он обещал хорошо работать, чтоб скорее возвратиться домой. Анна терпеливо ждала того дня, когда сын переступит порог дома, и наконец дождалась. Это было весной, совсем недавно. Вечер был солнечный, теплый, на лице каждого москвича, казалось, цвела улыбка.

Толик приехал неожиданно. Постучался своим особенным, родным стуком. И вошел. Возмужавший, выросший. Раздался в плечах. Настоящий мужчина. Таким Анна двадцать два года назад встретила на заводе Александра, отца Толика. Даже манера поправлять спадающую на лоб прядь волос и та отцовская.

— Не ожидали? — спросил он, а голос у самого дрожит от волнения. За спиной вылинявший вещмешок.

Легкость и бодрость в теле дальний путник всего полнее ощущает, когда сбрасывает с плеч тяжелую, измучившую его ношу. Так же и человеческое счастье: чем ниже был брошен человек в пропасть бед, тем выше, ему кажется, он взлетает на невидимых крыльях, когда приходят светлые дни.

Анна помолодела, не могла налюбоваться сыном. А когда у Толика появилась знакомая девушка Катюша, она втайне ждала того дня, когда в дом их войдет милая, скромная жена сына. Но радость была недолгой. Не прошло и четырех месяцев, как на плечи ее обрушилось такое горе, какое не снилось и в страшном сне.

Уж лучше бы не ездить в деревню. Если б она знала, что вернется к такой беде... Замешан в ограблении... Ведется расследование... Анне стало страшно.

Пересохшими губами она шептала:

— Замешан в ограблении... Что же это такое?! Что же это такое?!

39

«Читаю стихи — зеваает, лучшие места в опере — не любит, твержу о любви — просит пощадить, показал ей громадную библиотеку, богатую квартиру, дачу с бассейном — не удивил. Что делать? Что двинуть теперь?»

Ленчик кончил писать и швырнул дневник в ящик письменного стола. Сел за рояль, раскрыл ноты и начал играть полонез Огинского.

Трагические мелодии полонеза еще сильнее обостряли чувства одиночества и неразделенной любви к Наташе.

Статуэтки, изображающие античных героев, застыли в мертвых позах. На всем, что находилось в комнате, лежала печать мрачной окаменелости. Только голубые фиалки в хрустальной вазе подавали признаки жизни, но жизни хрупкой, недолговечной. Комната Виктору показалась тесной, потолок низким.

— Бежать! Но куда бежать? — обратился он к своему отражению в полированной крышке рояля и тут же ответил: — К природе.

Когда Виктор вышел на улицу, у парадного его уже ожидал «зис».

— В Сокольники! — небрежно бросил он шоферу и захлопнул за собой дверцу.

Всю дорогу он думал над тем, как расположить к себе Наташу. «Пока ты хоть терпи меня. Уступай мне по миллиметру, я не гордый, подожду. Но уж когда ты станешь моей!.. Тогда берегись! Отольются все мои слезы. Ты заплатишь за все мои унижения...»

Увлеченный планами мести, Ленчик не заметил, как они подъехали к Сокольникам.

— Что, уже? — спросил он шофера.

— Да, приехали.

— Жди меня на этом месте.

Выпив бокал шампанского в открытом павильоне, Ленчик направился к окраинным аллеям, где, по его предположению, должно быть меньше народу. Но и на окраине почти под каждым кустом сидели отдыхающие: мужчины, женщины, дети... Здесь же на траве лежали сумки с продуктами, стояли бутылки с пивом и водами. Ленчик пересек поляну и очутился в кустах орешника. Трава была свежая,



непрямая. Он снял пиджак, расстелил его и лег. Лежал он долго, недвижимо, перебирая в памяти все, что было связано за последнее время с Наташей. Анализировал почти каждый ее взгляд, жест, движения: как она к нему подошла, о чем стала говорить, как говорила, как они расстались... Но что бы ни вспомнил он, от всего веяло холодом, а временами ему казалось, что он до тошноты надоел ей. В такие минуты Ленчик сжимал кулаки и мысленно клялся, что найдет в себе силы порвать эту цепь унижений, что он даже оставит ее, но оставит так, что его оскорбленное самолюбие оплатит сразу одним ударом за все унижения. Пусть ему стоило немалых хлопот добиться назначения в Горноуральск, куда едет работать Наташа... Пусть!.. Но если на то пошло, он тоже может показать характер: возьмет и в последний момент откажется от поездки в Горноуральск.

Однако планы мести разрушались так же быстро, как и созревали, стоило только всплыть какому-нибудь незначительному, ложно истолкованному им факту. Вдруг вспомнилось, как однажды при встрече Наташа густо покраснела и первое время ничего не могла сказать. А потом она долго шла с опущенными глазами.

«Опущенные глаза... Покраснела... — блаженно шептал Ленчик. — А что, если все-таки любит? Что, если в ней проснется большая, настоящая любовь ко мне? Но ее нужно завоевать! И завоевать не где-нибудь, а на Урале! Могучие горы, мои стихи, не будет под боком этого мильтона... О Урал, помоги мне сломить неприступную эту гордыню!..» Последнюю фразу Ленчик поспешно записал в блокнот. С нее он начнет новые стихи. Он непременно напишет целый уральский цикл. И посвятит Наташе.

Неизвестно, сколько бы еще пролежал он, распаляя свое воображение, если бы не шаги и шорох в кустах.

Ленчик поднял голову и удивился: рядом с ним стояла молодая цыганка. Толстые черные косы, увешанные серебряными полтинниками, змеями сползали по ее высокой груди и концами касались бедер. Стройная фигура цыганки была затянута в яркие цветные ткани, из-под которых чуть выступала маленькая босая нога.



— Я не цыганка, я сербиянка, — начала она с резким цыганским акцентом. — Всю правду скажу, скажу, что было и что тебя ожидает впереди. А ну, красавец, встань, позолоти ручку.

Голос цыганки звучал как что-то вещее, значительное. В другое время Виктор посмеялся бы над этим предложением — он не был суеверен, но сейчас ее слова действовали магически. Он растерянно встал и, пошарив по карманам, вынул десятирублевую бумажку:

— Хватит?

Цыганка ловко взяла деньги и положила себе на ладонь:

— Не скупись, красавец, всю правду скажу. Не жалея, золоти.

Виктор достал еще пятерку.

— Счастливый человек ты будешь. Красивая судьба ожидает тебя, но сейчас твое сердце беспокойно. Беспокойно твое сердце, красавец, по глазам твоим вижу.

Цыганка спрятала деньги за пазуху, и в ее руках заходила колода старых, потертых карт.

— Не обманут меня карты, всю правду говорят. Болит твое сердце по червонной даме.

«Наташа! — мелькнуло в голове Ленчика. — Червонная дама! Ведь она блондинка...»

— Говорите, говорите, я вас с удовольствием слушаю.

— Не я говорю, карты говорят... А вот и враг твой, крестовый король из казенного дома. Стоит крестовый король на твоём пути и хлопочет зло причинить тебе. Удар ты получишь от него. Но все его хлопоты останутся пустыми. Выручит тебя нечаянное свидание с червонной дамой. Серьезный разговор у тебя будет с ней в твоём собственном доме. Сердце её болит о тебе, в голове у неё ты, но очень гордая эта червонная дама. Скоро получишь казенные бумаги и неожиданное письмо. Предстоит тебе дальняя дорога. Большие перемены тебя в жизни ожидают, красавец, большие дела тебя ждут впереди. Часто страдать будешь из-за своей гордости и благородного характера. Доверчив ты и душу раскрываешь первому встречному. Много неприятностей тебе придется испытать из-за своей доверчивости. Много хлопот принесет тебе червонная дама. Но все дело кончится тем, что сбудется твой интерес и покорится тебе червонная дама. Не скупись, серебряный, золоти ручку — талисман подарю.

Достав из-за пазухи шелковую зеленую тряпочку, завязанную в узелок, цыганка продолжала наступать:

— Большая сила в талисмানে этом. Береги его, и все мысли твои сбудутся. А ну, золоти, золоти ручку, не скупись, дело делаю.

Быстрым и властным движением цыганка распахнула полу пиджака Ленчика и сунула во внутренний карман зеленую тряпочку.

— Домой придешь, положи талисман под подушку. Под Новый год на груди носи его, и все желания твои исполнятся.

— Сколько он стоит? — смущенно спросил Ленчик.

— Сколько не жалко, красавец... Помнить меня будешь, всю жизнь благодарить будешь.

Последняя десятирублевая бумажка, которую Ленчик нашел в своих карманах, мелькнула в воздухе и скрылась за пазухой гадалки.

— Талисман береги, сильный талисман, — сказала она на прощание и, сделав какое-то загадочное движение колодой карт перед носом Ленчика, быстро повернулась и скрылась за кустами.

Ленчик стоял ошеломленный. Перед его глазами маячило красивое лицо цыганки, а в ушах звучали слова: «...Покорится тебе червонная дама».

Неожиданно на ум пришла мысль, до которой при других обстоятельствах он вряд ли смог бы додуматься.

— Попробую! — Ленчик побежал вслед за цыганкой.

Он издали видел, как гадалка подошла к группе девушек, но те подняли ее на смех, и она быстро отошла прочь.

Ленчик догнал цыганку:

— Послушайте, вы можете хорошо заработать. Но только при одном условии: если вы это сделаете очень осторожно и умело. У меня к вам есть поручение... Но это — тайна.

— Задаток, — властно сказала цыганка, как будто заранее зная, о чем будут ее просить.

Ленчик отцепил от часов серебряный браслет и протянул его гадалке:

— Вот вам. А остальное, — и он подбросил на ладони часы, — завтра, после того как погадаете одной червонной даме.

Глаза ворожейки загорелись зеленоватым блеском.

— Все поняла, все знаю, говори: чего хочешь? Все сделаю. Гаданием приворожу, талисманом присушу. А ну, говори скорей. Чего молчишь?

— Понимаете, у меня есть девушка, червонная дама, — не глядя в глаза цыганке, стыдливо проговорил Ленчик. — Я ее очень люблю, а она любит другого.

— А что я тебе говорила про червонную даму? Болит твое сердце по ней, не обманут меня карты, я не цыганка, я сербиянка, — уже десятый раз твердила она эту фразу, как будто ею хотела доказать свое особое чародейство и могущество.

— Послушайте меня. Я вам расскажу сначала все подробно о ней, а потом... то, что вы должны ей сказать.

— Адрес, адрес давай! — перебила цыганка.

— Адрес потом, а сейчас выслушайте меня. Отойдемте в сторонку, чтоб никто не слышал.

Кусты орешника были не так уж густы, чтобы, проходя мимо, не заметить странную пару: модно, изысканно одетого юношу и босую, во всем цветном цыганку. Разговаривали они тихо, как заговорщики.

40

Было начало августа, а тополиный лист на бульварах уже увядал и корчился. Даже прохладная струя воды, пущенная из шланга дворником, не возвращала ему той сочной свежести, которой он радовал глаз в июне. К полудню на газонах никли цветы. Разморенный пешеход старался выбрать теневую сторону улицы.

В помещениях московских театров давали представления театры с периферии, а потому на рекламах встречались незнакомые имена, новые спектакли. Московские артисты в это время выезжали на гастроли в Крым, на Кавказ, на Рижское взморье...

В эти жаркие дни парки заполнялись отдыхающими с самого утра, а вечерами в них переселялась буквально вся Москва.

Все было бы хорошо у Николая, если бы не Наташа.

Она не выходила из головы. Николай ждал ее, но она не появлялась. Несколько раз он пытался позвонить ей, два раза даже набирал номер телефона, но боязливо вешал трубку, как только в ней раздавался первый длинный гудок. Похудел, мало разговаривал, курить стал еще больше.

Последней надеждой на встречу с Наташей оставались конспекты по философии. Их было три толстые аккуратно исписанные тетради. Глядя на них, Николай задумался. Вспомнился последний разговор на Каменном мосту, когда возвращались из театра. Если это был настоящий разрыв, то нужно вернуть конспекты, если только ссора, то она слишком затянулась. Пора мириться, А главное — еще раз, может быть последний раз, поговорить серьезно. Николай твердо решил: «Будь что будет — пойду!»

Через двадцать минут он уже стоял на лестничной площадке перед дверью квартиры Наташи и смотрел на медную пластинку с надписью: «С. К. Лугов». Вот уже занесена рука, чтобы нажать кнопку звонка, и все-таки не решался. Со страхом отступил назад. Хотел уйти, но, услышав за спиной чьи-то шаги, повернулся и встретился глазами с дворничихой, которая подозрительно осмотрела его и спросила, к кому он идет.

— К Луговым, — смущенно ответил Николай и продолжал бессмысленно стоять на месте.

— А что же вы топчетесь? Звоните! — Дворничиха подошла и сама нажала кнопку.

Дверь открыла Елена Прохоровна. Она была подчеркнуто вежлива:

— Вы к Наташе?

— Да. Я занес конспекты.

— А ее нет. Пожалуйста, проходите, только извините — у нас не убрано... И все это из-за Наташиного отъезда.

— Как? Наташа разве уезжает? — Николай удивленно глядел на Елену Прохоровну.

— А вы разве не знаете?

— Я не видел ее уже давно.

— О, за это время столько воды утекло! Уезжает, и надолго...

— Как же ее аспирантура? Ведь ее рекомендовали?

Елена Прохоровна пожала плечами:

— Отказалась. Хочет поработать, узнать получше жизнь, а там будет видно и насчет аспирантуры.

Эта новость обрушилась на Николая как гром с ясного неба.

— И куда же она уезжает?

— Получила направление в Горноуральск. Едут вместе с Виктором. Да вы присядьте, в ногах правды нет.

— Нет-нет, спасибо, я на минутку.

— Уезжают, уезжают...

— А Наташа говорила, что Виктора оставляют в Москве.

— То было раньше, а теперь многое изменилось. Решили ехать вместе, и, кажется, серьезно решили. Ну а как ваши дела, Коля? Как работа?

— Ничего, спасибо, работаю.

— Коля, я давно собиралась с вами поговорить серьезно, но все как-то не находила случая. — Голос Елены Прохоровны стал ласковым. — Теперь же я решила поговорить по-матерински, начистоту. Не буду читать вам нравоучений, хотя я старше вас и мать Наташи. Всего-навсего я прошу об одном: оставьте Наташу. Если вы ее уважаете, то сделайте это ради нее. Поймите, что счастья вы ей не дадите. Общее, что было у вас, осталось позади, оно ушло вместе с детством, со школой... а теперь вы и Наташа — разные люди. И если она примет ваше предложение, то сделает это из одной только жалости к вам и вашим чувствам. Может, и тяжело выслушивать эту правду — не всякая правда сладка. Вы не обижайтесь на меня, Коля, матери всегда останутся матерями. А я все-таки хочу, чтобы Наташа была счастлива.

— Почему вы думаете, что я не могу составить счастье вашей дочери? — спросил Николай, чувствуя, как дрожат его губы.

Елена Прохоровна кокетливо улыбнулась и ответила: — Ну, если мои увещевания до вас не дошли, то вспомните, что на этот счет говорили великие люди. Кажется, у Пушкина есть такие слова: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». — Она замолкла. Потом привстала с кресла, посмотрела на часы и, вздохнув, печально продолжала: — Не сердитесь на меня, Коля. Такова уж жизнь.

Сейчас вы меня, может быть, не поймете, а когда сами станете отцом, поймете очень хорошо, особенно если у вас будет дочь.

Николай слушал не перебивая. Когда она закончила, он сухо ответил:

— Я обещаю вам не беспокоить вашу дочь.

Теребя пальцами бахрому скатерти, Елена Прохоровна после минутного молчания тихо проговорила:

— Да, я вас об этом очень прошу.

— До свидания, — попрощался Николай и направился к выходу.

На душе у него было тяжело. Медленно спускаясь по лестнице, он испытывал чувство человека, которого отхлестали по щекам и плюнули в лицо за то, что он хотел сделать что-то большое и доброе.

На улице остановил такси и велел шоферу ехать в парк. — В какой?

— Все равно, только побыстрей. Впрочем — в Центральный.

Всю дорогу перед глазами стояло лицо Наташи. Оно то улыбалось, то упрекало за что-то. А из-за спины ее так, чтоб она не видела, показывалось счастливое и самодовольное лицо Ленчика. Оно дразнило, хихикало...

Рабочий день москвичей кончился. Утомившиеся в душных помещениях, они спешили на воздух, на травку, в холодок, плывущий с Москвы-реки. В парк приходили целыми семьями. В то время, когда жены и дети доедали по третьей порции мороженого, отцы и мужья, удобно развалившись в креслах и побряхтывая от удовольствия, опустошали одну бутылку жигулевского пива за другой. Молодежь до тошноты кружилась на «чертовом колесе», на самолетах, на каруселях... На качелях взвивались так высоко, что если даже смотреть снизу, и то замирает дух. Кажется, еще одно усилие, один нажим ногами, и лодка, заняв вертикальное положение, перевернется. Но лодки не переворачивались. На громадной открытой танцплощадке шло массовое обучение танцам. Визг, смех, возгласы, музыка — все это сливалось в общий монотонный гул вечернего парка столицы.

Вино Николай пил редко, только по большим праздникам. Самым неприятным в праздничных компаниях были для него первые тосты. Мужчинам в этих случаях, как правило, наливали водку, и пить приходилось до конца. Никто из друзей и товарищей по службе никогда не видел Николая пьяным. Даже мать и та не помнила случая, чтобы сын когда-нибудь вернулся домой нетрезвым. Сейчас же, после разговора с Еленой Прохоровной, он решил выпить, чтобы хоть вином смягчить ту тоску и обиду, которые щемили сердце и не давали покоя.

Николай вошел в ресторан и сел за маленький свободный столик. Он даже не обратил внимания, что ему пришлось долго ждать официантку. А когда та подошла с извинениями, он смотрел на нее отсутствующим взглядом, не понимая, чего от него хотят.

— Я вас слушаю, молодой человек.

Николай заказал водку, пиво и салат.

Только теперь он заметил, что вокруг было много людей. На соседних больших столах возвышались бутылки с коньяком и массандровскими выдержанными винами. Стояли вазы с яблоками и конфетами.

За столом слева лихо кутила расфранченная молодежь. Звучали задорные тосты, мимо в ритме танго проплывали пары. Справа, за столом пожилых людей, было спокойно. Возраст и положение заставляли их вести себя солиднее. По

выражениям их лиц, то озабоченным, то сосредоточенным, было видно, что разговор у них деловой.

Николай выпил стопку водки и закурил. Курил быстро, жадно, ощущая, как с каждой минутой по его телу расплывается щекочущий озноб опьянения.

После второй стопки в глазах его уже светился холодный блеск. Он вздрогнул, когда кто-то сбоку неожиданно положил ему на плечо руку и проговорил над самым ухом:

— Слушай, дружище, видишь, за столиком напротив пара. Нам неудобно, а ты, видать, парень не трус. Потом, у нас компания, а ты один, тебе это легче. Подсядь к ним и постарайся хорошенько угостить этого солдата. Вот тебе... В заказе не стесняйся, можешь расходувать всю, и по своему усмотрению. — Молодой человек в длинном клетчатом пиджаке совал Николаю сторублевую бумажку.

Николай отстранил руку незнакомца:

— Спасибо, у меня есть деньги. Прошу вас, отойдите.

— Зря, зря, работяга, упираешься. — Человек в клетчатом скривил губы и отошел к своему столику, за которым через минуту раздался взрыв хохота.

Только теперь Николай заметил за маленьким столиком молодую пару. Один лишь взгляд, внимательный взгляд на эту пару, и Николай уже питал к ней необъяснимое расположение. По виду сержанту было не более двадцати двух лет, в его застенчивой улыбке влюбленного проступала доверчивость, граничащая с детской наивностью. Девушка была еще моложе.

Николай прислушался к их разговору.

От рюмки десертного вина девушка раздурманилась и была возбуждена. Не замечая в этом зале никого, кроме своего друга, она громко рассказывала:

— Ты знаешь, Ваня, как я счастлива, что учусь в Московском университете! Ты этого не поймешь... нет, ты это должен понять, я тебя знаю. Сколько писем я получаю из деревни! А на днях получила большущее послание от девчонок нашей бригады. Ты знаешь, кто его написал?

— Кто?

— Дуся. Ты ведь знаешь, какая она боевая, а поэтому можешь представить, что это за письмо. Вот придем в общежитие, я тебе его прочитаю.

— Что они пишут?

— Они пишут, что умрут, а добьются, чтоб их послали в Москву на Сельскохозяйственную выставку. Не письмо, а целый агрономический трактат. Я читала его девчонкам с биологического. Они пришли в восторг. — Девушка откинулась на спинку стула и восторженно произнесла: — А правда, какие у нас хорошие девчонки! Сколько лет ты уже не видел их?

— Три года. Тогда они были еще вот... — И сержант поднял ладонь на уровень стола.

— О! Приедешь, посмотришь, какие это «вот».

— Березка наша растет?

— Березка? Ты ее сейчас не узнаешь. Она уже выше дома. А когда я окончу университет, когда пройдет целых четыре года, — взгляд девушки улетал куда-то далеко-далеко, — она будет высокая-высокая. Настоящая, большая наша сибирская береза...

— Машенька...

— Что?

— Почему ты вдруг стала такая грустная?

— Так. Я знаю, что у своих пушек ты меня забываешь. А вот я тебя никогда. Даже в читальне...

— Разве я не надоел тебе своими письмами, Машенька?

— Письма... Я хочу, чтоб ты был рядом со мной. Уж очень у тебя служба длинная. Сколько тебе еще осталось?

— Полгода.

— Как долго! А отпуска тебе дают редко. Ты, наверное, плохой солдат. Плохой? Правда? Ну признайся?

Растроганный сержант ничего не ответил. Маша о чем-то задумалась, потом ласково посмотрела на него:

— Ты знаешь, Ваня... — Девушка неожиданно остановилась: к их столику подошел тот самый молодой человек в клетчатом пиджаке, который предлагал Николаю сторублевую бумажку.

— Прошу прощения за беспокойство, — улыбнулся он Машеньке. — Сержант, прошу вас на минуту выйти со мной. Я вам дам один маленький дружеский совет. Видите, над вами смеются за соседним столом. Прошу.

Сержант покраснел до ушей. Осмотрев свое обмундирование, он не нашел ничего такого, что могло бы вызвать смех. Но конфуз его не уменьшился.

Ничего не ответив, он встал и пошел за незнакомцем, который скрылся за тяжелыми портьерами, где находился туалет.

Все это Николай видел. В первый раз в жизни ему захотелось схватиться с этой оравой пошляков. Опираясь на стол своими тяжелыми, как гири, кулаками, он уже намеревался встать, но, подумав, решил пока не вмешиваться,

Николай видел, как к Машеньке подсели два изрядно выпивших молодых пижона с соседнего стола. Один из них — брюнет с усиками — развязно начал:

— Слушайте, девушка, мы любим вас. Вы очаровательны. Вы можете гораздо интереснее проводить вечера, чем в обществе этого, простите, кажется, ефрейтора. Что общего у вас с этим солдафоном?

Отвернувшись, Машенька молчала.

— Вы можете быть украшением блестящей компании. Прошу прощения, кем приходится вам этот солдат? — настойчиво продолжал приставать брюнет с усиками.

— Он мой жених, — резко ответила Машенька и снова отвернулась в сторону.

— Он? Ваш жених? — захихикал другой, блондин с длинными, завитыми в крупные волны волосами.

— Что вам нужно? Оставьте меня, пожалуйста.

— Слушайте, русалка. Вы только подумайте над тем, что вы сейчас сказали. Вы можете рассчитывать на большее, чем сумеет дать вам этот вояка. Яхта, машина, подмосковная дача, лучшие курорты юга — все будет у вас, если вы только захотите.

— Ничего мне не нужно. Убирайтесь, пожалуйста, отсюда или я позову милиционера!

— Это невозможно. Вы созданы для того, чтобы вами любовались. Если вы не хотите добровольно стать нашим другом, мы вас украдем, — не унимался брюнет с усиками.

— Я позову официанта!

Брюнет назойливо приставал:

— Девушка, гнев вас делает еще красивей. Топните ножкой — и я поцелую след на паркете. Скажите: чем мы вас огорчили?

Николай не выдержал. Он подошел к молодым людям сзади и, взяв их за руки особой милицейской хваткой, спокойно произнес:

— Мне нужно вас обоих на одну минутку. Прошу пройти со мной.

— Простите, кто вы такой? Что за манера обращения? — взвизгнул брюнет с усиками, почувствовав, что его рука попала в тиски.

Длинноволосый блондин вскрикнул:

— Отпустите руку!

— Пройдемте со мной! — уже строго сказал Николай. Его атлетическая фигура в голубой тенниске рядом с узкоплечими франтами казалась особенно внушительной.

Блондин, стараясь не показать своего страха, обратился к другому:

— Эдик, интересно, что он имеет нам сообщить?

— Не уходите, девушка, — сказал Николай Машеньке, — ваш друг сейчас придет.

За портьерой, где у зеркала дремал старый швейцар, Николай остановился и положил руки на плечи пижонов. Со стороны могло показаться, что он хочет обнять своих лучших друзей. Дрожа от волнения, Николай медленно проговорил:

— Если вы еще раз, хоть один только раз подойдете к этой девушке и к этому сержанту... Или даже просто посмотрите на них своими сальными глазами... Я вас!.. — Он крепко стиснул пальцами их затылки, свел лбы и с ожесточением принялся тереть друг о друга.

— Отпустите. Что мы такого сделали? — взмолился брюнет с усиками.

— Я обещаю вам... — лепетал блондин с выпученными от боли глазами.

— Вы поняли меня?! — дрожа всем телом, спросил Николай.

— Поняли, поняли...

— Не подойдем, обещаем...

На шум подошел старик швейцар. Николай без особого усилия посадил молодых людей на стулья, стоявшие здесь же, и обратился к швейцару:

— Папаша, мои друзья захмелели. Приведите их, пожалуйста, в божеский вид. Не жалейте нашатыря.

Когда Захаров вернулся к своему столику, сержант уже рассчитался с официантом. Взволнованная Машенька подошла к Николаю и смущенно сказала:

— Я вам очень признательна. Вы нас так выручили. До свидания. — Но



недовольная такой сухой благодарностью, она приложила руку к груди и проговорила: — Вы уходите отсюда. Я боюсь за вас, ведь их так много, а вы один.

— Ничего, не беспокойтесь.

Через пять минут, допив водку и рассчитавшись с официанткой, Николай направился к выходу. Когда он проходил мимо столика «золотой молодежи», вдогонку ему раздалось:

— Явный рецидивист. Нужно сдать его в милицию!

Николай повернулся. Сидевшие за столом замерли. Ничего не сказав, он вышел из ресторана.

Вскоре после ухода Захарова к столу, за которым продолжала кутить «золотая молодежь», подошел Виктор Ленчик. Его встретили бурно:

— Наконец-то!..

— Гарольду браво!..

— Штрафная!..

— За тобой тост!..

Виктор покровительственно обвел взглядом стол и, когда голоса смолкли, произнес:

— Выпьем за наши гробы, сделанные из столетних дубов! Из тех дубов, которые посадили только сегодня!

Тост был принят восторженно.

— Оригинально!..

— Бесподобно!..

— Браво!..

— Чудненько!.. — пищала блондинка с накрашенными губами.

41

Наташа стояла у дома Николая. Было поздно. Не переставая шел дождь. Наброшенный на плечи плащ с откинутым капюшоном промок насквозь. Голова Наташи была непокрытой, и дождевые капли, напивав волосы, как морскую губку, ручейками стекали за воротник, бежали по щекам. Она вся продрогла, но под навес не уходила. На сердце было так горько, тоскливо и пусто, что и дождь, и холод, и возможный грипп казались ей сущими пустяками. Она ждала Николая.

Два часа назад, когда Мария Сергеевна сказала, что сына нет дома и она не знает, скоро ли он вернется, Наташа, спустившись со второго этажа, остановилась недалеко от подъезда и решила, что не сойдет с этого места хоть до утра. Пусть дождь промочит ее до костей, пусть будет какой угодно холод — она дождет его! Изредка она поднимала взгляд на окна комнаты Захаровых, в которых уже час назад погас свет, хотя понимала, что делать это совсем ни к чему — Николай не мог пройти незамеченным. Стояла и ждала. Не заметила даже, как к ней подошла пожилая дворничиха и принялась жалеть:

— Детка, что ты мокнешь-то? Нешто горе какое? Ведь так ненароком простудишься.

Наташа не ответила. Голос дворничихи звучал как что-то потустороннее, не относящееся к ней. Она даже не шелохнулась. Дворничиха неуклюже потопталась

на месте, сказала еще несколько слов и скрылась в темноте подъезда.

За спиной раздались тяжелые неровные шаги. Что-то словно кольнуло Наташу. Она обернулась. Шел Николай. Он шел незнакомой походкой усталого человека, с виду намного постаревший. Он был в одной тенниске и весь мокрый.

Николай ничего не замечал. Он уже хотел свернуть к подъезду, как почувствовал, что чья-то рука сжала его локоть.

— Наташа... — Во взгляде Николая вспыхнула хмельная радость. Он выпрямился, точно сбросив с плеч тяжелый груз: — Наташа... Ты пришла...

Но это продолжалось лишь несколько мгновений. Лицо его так же внезапно потухло, как и засветилось. Обидное, горькое чувство отвергнутого человека прогнало секундный восторг. Небрежно повернувшись, Николай оперся о железную решетку ограды.

Догадка, как искра, обожгла Наташу: «Неужели? Нет. Не может быть...»

— Ты пьян?

Николай с тоской посмотрел на Наташу. Что ей ответить? Что? Какими словами выразить боль и обиду, которые после разговора с Еленой Прохоровной сжимали его железными обручами?

— Да, я пьян. Я очень пьян... Только не от одного вина.

По тону Николая Наташа почувствовала, что с ним неладно.

— Ты у меня был сегодня?

— Был. Заносил конспекты.

— А меня ты не хотел видеть?

— Нет. Не хотел. Много я теперь не должен хотеть. Просто не имею права.

— Коля, ты весь промок, заболеешь.

— А зачем тебе мое здоровье? — Николай желчно улыбнулся.

— Что ты говоришь? Зачем ты меня мучаешь?

— Мы слишком разные. А потом, ведь ты скоро... — Николай хотел сказать, что он от всей души желает ей счастья с Ленчиком и что никогда больше не побеспокоит ее, но не решился. — Прощай. — Мягко отстранив Наташу, он пошел к подъезду.

Почти у самых дверей парадного она догнала его:

— Что ты делаешь?!

— Оставь меня. Оставь. Это моя последняя просьба. Слезы Николая Наташа видела впервые,

Пьяно покачнувшись, он отвел ее руки и с горькой улыбкой, искажившей лицо, начал медленно читать, глядя мимо Наташи:

*В одну телегу впрячь не можно*

*Коня и трепетную лань...*

Прочитал и захохотал. Захохотал тихо, желчно... Но это был скорее не смех, а приглушенные рыдания. «Пришла проститься, пожалуй пришла? Или еще

помучить? Уезжаешь? Что ж, скатертью дорожка». Оборвав внезапно смех, Николай сурово посмотрел на Наташу:

— Прощай, больше мы не должны видеться. — Круто повернулся и скрылся в темноте подъезда.

Наташа осталась одна.

— Да он парень-то вроде бы ничего, смиренный, — откуда-то со стороны донесся мягкий и добрый голос дворничихи.

Даже не взглянув в сторону, откуда раздался голос, Наташа повернулась и медленно пошла на неоновые огни метро. Ее душили слезы. Она пришла рассказать Николаю, как измучилась за этот месяц разлуки, как ей трудно жить без него, как опостылел ей Ленчик. Но он не захотел ее слушать. Ушел...

Нелегко было и Николаю.

Из распахнутого настежь окна он видел, как Наташа, ссутулившись, брела через площадь. Два чувства боролись в нем. Одно шептало, чтоб он сейчас же, не теряя ни секунды, бросился за ней следом: «Догони! Верни ее. Пообещай сделать все, что она потребует. Поклянись, что только она одна в целом свете для тебя и радость и счастье...» Другое чувство приказывало: «Куда? Ни шагу! Забудь все! Она не любит».

Победило второе чувство. Следом за Наташей, которая уже скрылась в метро, Николай не бросился.

Дождь постепенно затихал. Промытая асфальтированная площадь казалась отполированной. В разрывах клочковатых туч время от времени проглядывала луна.

Почувствовав на себе взгляд матери, Николай повернулся. Лицо ее было скорбное, печальное, каким оно бывает у матерей, когда к их детям приходит беда.

— Опять, поди, поссорились?

Николай ничего не ответил.

— Не по себе ты, сынок, дерево рубишь. Как-никак, ее отец был генерал. Нашел бы девушку попроще.

Николай по-прежнему молчал.

— Смотри сам, как знаешь, — вздохнула мать и, достав из шкафа чистое белье, положила его на стол. — На, переоденься, на тебе сухой нитки нет. — Только теперь Мария Сергеевна поняла, что сын ее пьян: — А вот это уже совсем ни к чему. Отец этого никогда не делал. Водочка, она к добру не приведет, она не таких губит, богатырей валит...

Когда Мария Сергеевна ушла за ширму, Николай потушил общий свет, включил настольную лампу и переоделся. Спать не хотелось.

Снова подошел к окну.

«Мама, если бы ты могла помочь своим советом, если б... Спи лучше, родная...» Чувствуя, что просто так, молча, он не в силах оставаться наедине со своей тоской, Николай тихо, словно разговаривая с Наташей, запел:

*Фонари одиноко горят.*

*Спят фонтаны, и спит мостовая,*

*Москвичи утомленные спят,*

*Москвичи отдыхают.*

*В небе месяц повис голубой,*

*Как в косе ее шелковый бант...*

*Спи, Москва, бережет твой покой*

*Милицейский сержант.*

Это был модный в последнее время «Милицейский вальс». Слова песни в эту минуту Николаю были особенно близки. Он глядел на площадь, но видел не машины и запоздалых прохожих, а совсем другое. Он видел Каменный мост. На мосту пустынно. Время близится к рассвету. В тишине ночи мерно раздаются твердые шаги постового. Это идет тот самый сержант, который подходил к нему, когда Николай стоял на мосту с Наташей.

— Что же ты не ложишься? Ведь завтра на работу, — донесся из-за ширмы голос матери.

Видение моста, сержанта исчезло. Очувтившись снова в этом реальном, тесном мирке своей комнатки, Николай еще резче почувствовал боль утраты любимой девушки. Слова песни выходили не из груди, а прямо из сердца.

*Лишь от тех, кто сегодня влюблен.*

*Кто в аллеях рассвет ожидает.*

*Отвернется сержант... Ведь и он*

*Хорошо понимает...*

*Понимает, кто с чистой душой...*

*Кто отъявленный плут или фронт...*

*Спи, Москва, бережет твой покой*

*Милицейский сержант.*

Песня, в которой переплетались два мотива: колыбельное убаюкивание родного города и прощальная тоска, обращенная к любимой, растрогала и мать. Она лежала за своей ширмой и глотала слезы. Песня будила в ее сердце те же чувства, которыми была переполнена душа сына.

*Завтра снова рабочий день.*

*И забот у нас завтра немало,*

*Спи и ты, на бульваре сирень.*

*Ты ведь тоже устала...*

*Ну а если случится — другой*

*Снимет с кос ее девичьих бант...*

*Спи, Москва, сбережет твой покой*

*Милицейский сержант.*

То, что предстало воображению Николая на этот раз, защемило его сердце особенно больно. Красивый балкон с чугунными узорчатыми перилами обвит плющом. Сквозь него на лицо Наташи пятнами падает лунный свет. Завернувшись в клетчатое одеяло, она сидит в кресле и, не мигая, рассеянным взглядом смотрит

в темноту ночи.

*Спи, Москва, сбережет твой покой*

*Милицейский сержант...*

Долго еще стоял у окна Николай и смотрел на уснувшую Москву. Не спала и мать. Поворачиваясь с боку на бок, она тяжело вздыхала и уснула только на заре.

Такое уж сердце матери — горе сына в нем отдается эхом.

42

Елена Прохоровна вышла на балкон. Любуясь толстым загорелым карапузом, который возился в песке, она вдруг заметила, как, скользя взглядом по окнам второго этажа, двориком медленно шла молодая цыганка.

— Смотри, смотри, Наташенька, какая красавица! Какое удивительное лицо! А костюм, костюм!

Наташа вышла на балкон в то время, когда цыганка поравнялась с окнами их квартиры. Глаза цыганки вспыхнули тем особенным зеленоватым блеском, который в них засветился, когда Ленчик пообещал ей часы. Напротив окон Луговых цыганка остановилась.

— Зря мать не слушаешь, красавица, — таинственно заговорила она. — Мать всем сердцем добра желает. Сердце матери, как колода карт сербиянки, никогда не обманет.

Наташа смутилась и повернулась к матери:

— О чем это она?

— Чего отворачиваешься? Смотри мне в глаза, всю правду скажу. Я не цыганка, я сербиянка. Сохнет твое сердце по червонному королю, да мать стоит на твоём пути. — Не обращая внимания на подошедшую дворничиху, цыганка продолжала: — Секрет твоей жизни в глазах твоих спрятан. Не все его видят, красавица, сама ты не знаешь себя. А год этот в жизни твоей будет большим годом, тяжелым годом. Ведет тебя сердце в глубокий омут. Разум не видит этого омута, а мать ты не слушаешь. Благородный король у ног твоих, спасти тебя хочет, но гонишь ты его. Из богатой семьи этот благородный король, и тебя он любит, но сердце твое не лежит к нему...

Заинтригованная цыганкой, Елена Прохоровна стояла растерянная. Потом, словно опомнившись, замахала руками:

— Подождите, постойте, я спущусь к вам и проведу вас в квартиру...

Прямо в халате и в комнатных туфлях она вышла во двор и через несколько минут вернулась с цыганкой.

Вначале Наташа хотела уйти, но что-то ее удержало. «Послушаю, из любопытства», — мысленно оправдывалась она и стала вдумываться в то, что сказала гадалка.

Елена Прохоровна была так возбуждена, что не знала, куда посадить столь необычную гостью.

— Пожалуйста, садитесь.

— Когда гадают, сидеть нельзя. А ну, дай свою руку, сиротка. Чего боишься?

— Откуда вы знаете, что я сирота? — спросила Наташа, но ее вопрос остался без ответа.

В течение нескольких минут цыганка внимательно рассматривала линии Наташиной ладони. Мать и дочь не спускали с ворожейки удивленных глаз.

— Ну, говорите же! — не выдержала Елена Прохоровна.

— Два короля любят тебя, — начала наконец цыганка. — Казенный человек и благородный король. Всем сердцем ты стремишься к казенному человеку. Правильно говорю?

— Правильно, — смущенно пролепетала Наташа и покраснела.

— Краснеть не надо, ручку позолоти, не идет дальше гадание.

Елена Прохоровна достала из сумки двадцатипятирублевую бумажку;

— Вот вам, пожалуйста.

— Беду предчувствует сердце материнское, и верно предчувствует. Только мать может спасти тебя от погибели. Хоть двадцать два года тебе и учена ты, а погубишь ты свою жизнь, если мать не послушаешь, злые люди окружают казенного человека, смерть за плечами его ходит. А замуж выйдешь за него, будешь жить в большой бедности, на тридцатом году овдоеешь, сама в постель сляжешь. Несчастье тебе принесет этот казенный человек. Другое дело — благородный король. Под счастливой звездой он родился, большая слава его ждет впереди. Но не лежит твое сердце к нему. Гонишь ты его от себя и мучаешь. Счастье свое сама от себя отталкиваешь. Пожалеешь, да поздно будет. Попомнишь меня, сербиянку...

Елена Прохоровна расслабленно села в кресло. Ее бледное лицо вытянулось.

— Продолжайте, продолжайте, ради бога, — просила она.

Разбросав на столе карты, цыганка продолжала:

— Ждет тебя дальняя дорога в чужую сторону. Но не дома родного боишься покинуть ты, а казенного человека. Вот он, червонный король — и в сердце твоём, и все мысли твои перепутал. Любишь ты его, очень любишь, но ненадолго, скоро разлюбишь. Гордый он, и характер у него тяжелый, работа у него опасная, и бедность его сокрушает. А вот благородный король в ногах твоих, хлопчет о тебе и ночью и днем. Будете с ним скоро в дальней дороге. Сильно тебя любит, но и ты его полюбишь. Замуж за него выйдешь, будет у вас трое детей. Проживете вы с ним большой век, до восьмидесяти лет. Много внуков будет у вас, и вечное счастье будет жить в вашем доме, люди завидовать вам будут...

Глаза цыганки остановились на золотом перстне с рубином, который рядом с обручальным кольцом слабо сидел на пальце Елены Прохоровны.

— А ну, сними перстень, на золоте гадать буду!

Повелительный тон ворожейки неотразимо действовал на Елену Прохоровну, которая теперь воспринимала ее слова как голос самой судьбы. Она была суеверной женщиной.

Проворно сняв перстень и кольцо, она подала их цыганке.

— Может быть, еще нужны золотые вещи? У меня есть кое-что другое. Только вы погадайте и мне, скажите, что меня ожидает впереди.

— Чем больше золота, тем больше скажу.

Елена Прохоровна высыпала на стол содержимое шкатулки, которую достала из шкафа. Глаза цыганки снова вспыхнули зеленоватым фосфорическим блеском, лицо стало сосредоточенней. В азарте гадания она уже не просила, а приказывала:

— А ну, красавицы, быстро мне стакан воды, щепотку соли, полотенце и простыню!

Пока Елена Прохоровна суетливо прислуживала, цыганка встала спиной к окну и, гордо закинув голову, неподвижно замерла с закрытыми глазами.

Наташа стояла у дивана и не спускала с нее глаз.

Через минуту все было готово.

Цыганка плавно подошла к столу:

— А теперь заверните золото в полотенце, хорошенько размешайте соль в стакане, выпейте по глотку и на минуту выйдите из комнаты. Подсматривать нельзя. Опасно.

Вернувшись к окну, гадалка снова закрыла глаза и оставалась неподвижной до тех пор, пока Елена Прохоровна не выполнила ее указаний. Наташа пить воду не стала.

Из комнаты мать и дочь вышли на цыпочках, боясь нарушить торжественное молчание гадалки. В волнении они не замечали друг у друга растерянных и испуганных лиц, которые со стороны казались смешными и глупыми.

— Я же тебе говорила! Мое сердце меня не обманывало. А ты... Ты никогда не слушала мать!

— Мамочка, разве я знала раньше, что так будет? — оправдывалась Наташа, бледная и растерянная. Слова гадалки произвели на нее сильное впечатление.

В то время когда мать и дочь с замиранием сердца в коридоре ждали гадания на золоте, в комнате происходили события, которые Елене Прохоровне не могли даже прийти в голову.

Как летучая мышь, с развернутой простыней пронеслась цыганка на балкон, привязала ее за металлические поручни и снова вернулась в комнату.

— Можно? — донесся из-за двери голос Елены Прохоровны.

— Подождите. Я позову, — громко ответила цыганка и засунула за кофточку полотенце, в котором были завернуты драгоценности.

До земли с балкона было не более двух метров, но спускаться было нельзя. Внизу, прямо перед окнами, проходил какой-то мужчина. Заметив красивую цыганку, он замедлил шаг и глупо улыбался.



Злым и ненавистным взглядом провожала прохожего гадалка до тех пор, пока он не скрылся за углом.

Сгорая от нетерпения, Наташа тихонько подошла к двери и наклонилась к замочной скважине.

— Ну что? — шепотом спросила Елена Прохоровна. — Скоро?

Наташа ничего не ответила и, слегка приоткрыв дверь, стала подсматривать в щелку.

— Мама, почему-то дверь на балкон открыта, а ее в комнате нет.

Эти слова кольнули Елену Прохоровну. Дрожащим голосом она спросила:

— Можно?

Ответа не последовало.

Елена Прохоровна и Наташа не дыша, на цыпочках вошли в комнату и застыли в ужасе: цыганки не было. Простыня, привязанная к поручням балкона, висела не шелохнувшись. На столе одиноко стоял стакан с соленой водой.

Еще не поняв, что случилось, Елена Прохоровна дважды обежала вокруг стола, заглянула в комнату Наташи и выскочила на балкон. Схватив свисающую простыню, она зачем-то принялась ощупывать ее дрожащими руками. Потом с почти обезумевшими глазами, тяжелой походкой вошла в комнату и рухнула в кресло:

— Доченька, нас обворовали. Беги скорей... в милицию...

Наташа выбежала на балкон. Сквозь листья молодых лип она заметила, как в конце двора мелькнул пестрый наряд цыганки.

Ни минуты не раздумывая, Наташа по-мальчишески переметнулась через поручни балкона и спустилась по простыне во двор. Ей хотелось кричать, просить помощи, но, кроме старушек да молоденьких нянь, которые возились с детьми, во дворике никого не было. В такие жаркие дни дворик бывает обычно пуст.

Улица, где скрылась цыганка, была многолюдной. Наташа подбежала к троллейбусной остановке.

— Товарищ сержант! Товарищ! — обратилась она сразу к милиционеру и к очереди.  
— Вы не видели цыганку? Она обокрала квартиру. Молодая, в длинном цветастом платье... босая...

Очередь загалдела на многие голоса:

— Да только что, вот-вот...

— Всего минуту назад...

— Я даже подумал, что это неспроста...

— Ее еще можно догнать!..

Говорили сразу все. Многие видели, как минуту назад босая цыганка в длинном цветастом платье без очереди, со скандалом ворвалась в троллейбус.

Каждый сочувствовал, возмущался, советовал. Невозмутимым оставался один сержант милиции.

— Чего же вы стоите? Не для украшения вас сюда поставили! — бросил ему кто-то.

Не обращая внимания на этот грубый выкрик, милиционер остановил проходившее мимо такси, посадил в него Наташу и сам сел рядом с шофером.

— Гони прямо!

Шофер выключил счетчик и почти с места взял большую скорость.

— Ваш адрес, девушка? — не оборачиваясь, громко спросил милиционер.

— Софитный переулок, девять, квартира двадцать один.

— Фамилия?

— Лугова.

— Это я на случай, если разминемся. Она едет вон в том троллейбусе, что у телеграфа. Мы его скоро догоним. Смотрите внимательней! — громко, чтобы



слышала Наташа, кричал милиционер.

Как назло, красный светофор перекрыл путь такси в ту минуту, когда троллейбус уже миновал площадь и остановился рядом с метро.

— Вон она! Вон она вышла... Видите? Пошла к метро.

Пестрый наряд цыганки в толпе прохожих бросался в глаза даже издали.

— Давай прямо к метро, — приказал милиционер шоферу, когда светофор вспыхнул зеленым.

У входа в метро была толчея. Как ни старалась Наташа поспевать за сержантом, расстояние между ними увеличивалось и увеличивалось. Все реже мелькал малиновый околыш милицейской фуражки из-за голов прохожих.

В метро Наташа от сержанта отстала. Она не захватила с собой ни копейки денег, и без билета к поездам ее не пустили.

43

С валерьянкой в руках Елена Прохоровна сидела в дежурной комнате отделения милиции.

— Последние драгоценности! Все, что осталось от мужа, все, что берегла для дочери. О боже, о боже!.. — сокрушалась она.

— Не волнуйтесь, гражданка, будем искать, — успокаивал ее дежурный лейтенант.

— Искать? В многомиллионной Москве?

— В двухсотмиллионном Советском Союзе.

— Я вас понимаю, лейтенант. То же самое говорят врачи безнадежно больным.

Елена Прохоровна уже собралась уходить, как дверь в дежурную открылась и на пороге выросла цыганка. Ее сопровождал тот самый сержант, от которого Наташа отстала в метро.

— Ах!.. — всплеснула руками Елена Прохоровна и потянулась навстречу вошедшей.

Сержант доложил дежурному офицеру:

— Товарищ лейтенант, задержана гражданка. В доме девять по Софитному переулку квартирная кража.

Полотенце с драгоценностями цыганка доставала из-за пазухи так, как будто вынимала собственное сердце. Но руки ее не дрожали той мелкой дрожью, какая обычно бывает у воришек, пойманных с поличным.

Прежде чем расстаться с драгоценностями, цыганка прижала узелок к груди и только потом бросила его на стол.

Когда дежурный офицер разворачивал полотенце, в комнате стояла тишина. Елена Прохоровна затаив дыхание хотела привстать, но не могла — не было сил.

Вначале блеснули два бриллианта в золотой резной оправе. Потом выкатились два массивных кольца, серьги и два перстня. Один перстенок, маленький, изображал свернувшуюся змею, другой, побольше, — лошадиную подковку.

Елена Прохоровна потянулась («Целы, милые!») к семейным ценностям, но лейтенант жестом дал ей понять, что еще рано:

— Не беспокойтесь, гражданка, ваши вещи не пропадут. Получите их после

предварительного допроса и описи. — Сосчитав драгоценности, лейтенант спросил:  
— Все цело?

— Да-да, все...

Лейтенант завернул золото в полотенце и кивнул цыганке:

— Гражданка, пройдемте.

Следом за ними направилась было и Елена Прохоровна, но лейтенант остановил ее:

— Прошу вас, подождите здесь. Вас позовут.

В кабинете майора, начальника уголовного розыска, лейтенант высыпал драгоценности на стол.

Посмотрев на цыганку, майор заметил, что блеск ее глаз в эту минуту — она не сводила взгляда с того, что у нее отобрали, — мог посоперничать с блеском двух бриллиантов, которые горели, как два маленьких солнца.

Цыганку допрашивал сам майор.

Дежурный лейтенант сидел на диване и курил. Больше в кабинете никого не было.

Минуты ожидания Елене Прохоровне показались необычайно длинными. Сидела, вставала, ходила по комнате и вновь садилась. Как ни напрягала она слух, как ни старалась уловить хоть слово оттуда, куда увели цыганку, — все было бесполезно: там как будто вымерли,

Наконец дверь кабинета распахнулась. Мимо молча прошла цыганка, следом за ней — дежурный лейтенант.

Елена Прохоровна, не постучавшись, вошла к майору. Не вошла, а ворвалась:

— Ни-че-го не понимаю! Сколько же можно мотать мои нервы? Когда наконец я получу свои вещи?

Майор молча поднял руку. Этим знаком он вежливо просил сразу и помолчать и присесть,

— Вы гражданка Лугова?

— Да.

— Ваш паспорт.

Елена Прохоровна подала.

— Успокойтесь. Вам придется подождать еще минут двадцать — тридцать. При допросе задержанной выяснилось, что тут замешаны другие лица. В краже есть соучастники.

Елена Прохоровна испуганно отшатнулась, губы ее тряслись.

Майор принялся успокаивать:

— Не волнуйтесь. Соучастника вы скоро увидите. Он будет здесь с минуты на минуту. Ваши вещи все целы, и вы их получите сегодня же. Необходимо только соблюсти кое-какие формальности. А сейчас, прошу вас, расскажите, как, когда и при каких обстоятельствах была совершена у вас кража.

Елена Прохоровна принялась рассказывать. Майор записывал.

Рассказывала она путано, сбивчиво и всякий раз, когда можно было, не забывала заверить майора, что по существу она не признает никакие гадания, но на этот раз

решила побаловаться ради любопытства. Наташа в этом деле, по ее рассказу, почти совсем не участвовала.

Записав показания, майор медленно и внятно прочитал их Луговой и предложил подписать. Церемониал уголовного процесса все более и более пугал Елену Прохоровну. А когда она взяла ручку и вывела дрожащими пальцами свою фамилию, почти у самого ее уха резко зазвонил телефон. Елена Прохоровна вздрогнула и побледнела.

Майор взял трубку.

— Введите, — распорядился он.

В следующую секунду произошло то, чего Елена Прохоровна никак не ожидала. В сопровождении дежурного лейтенанта в кабинет вошли цыганка и Ленчик.

— Как? И вы?! — Елена Прохоровна порывисто встала.

Ленчик молчал. Он стоял бледный и смотрел под ноги.

— И это сын профессора!..

На щеках Елены Прохоровны выступили красные пятна.

Если всю дорогу из Сокольников до милиции Ленчика пугала расплата за затеянную интригу, то теперь, когда среди золотых вещей, лежавших на столе, он увидел маленький перстенок змейкой («Его носила Наташа!»), он понял, что влип в уголовное дело. Соучастие в квартирной краже. Суд. Тюрьма.

— Вы знаете этого гражданина? — спросил майор у Елены Прохоровны.

Елена Прохоровна возмущалась:

— Да. Это же сын известного профессора Ленчика! Делал предложение моей дочери. Бывал у нас частым гостем...

— Пока достаточно, — перебил ее майор и предложил выйти.

Было приказано выйти и цыганке. Она удалилась в сопровождении лейтенанта. В кабинете остались майор и Ленчик.

Боязнь потерять Наташу, когда она была уже совсем близко, стыд перед Еленой Прохоровной и теми, кто об этом узнает, — все это беспокоило Ленчика дорогой, когда он еще ничего не знал. А теперь на него напал страх перед уголовной ответственностью. Любовь, стыд — все это отошло далеко, теперь нужно выкручиваться...

Прежде чем начать допрос Ленчика, майор вызвал Елену Прохоровну и возвратил ей драгоценности.

После прохлады каменного помещения на улице показалось особенно душно. Не помог и стакан газированной воды. Духота угнетала Елену Прохоровну. Все ее красивые планы блестящей партии для дочери рухнули. И может быть, первый раз за последние годы она дошла до дома, ни разу не взглянув на свое отражение в зеркальных витринах магазинов, в стеклянных окнах домов... Ей было не до этого. Она была потрясена случившимся. Посеревшие щеки дрябло, старчески провисали, уголки губ опустились, взгляд безразличный, отсутствующий.

Забыв о приличии, Елена Прохоровна вслух, не замечая прохожих, рассуждала сама с собой:

— Мерзавец!.. И ты еще хотел быть моим зятем! Ноги твоей больше не будет в моем доме! Уж если на то пошло — выдам дочь лучше за кого угодно, только не за тебя, негодяй! Ведь это только подумать: путается со всякими воровками, посылает

их в мой дом. А если бы ее не задержали? О боже!.. Что б тогда?!

Когда Елена Прохоровна открыла дверь квартиры, навстречу ей бросилась Наташа. Она вернулась домой в отсутствие матери и целый час металась у окна в ожидании.

— Ну что, мама?

Елена Прохоровна положила маленький сверток на стол и тяжело села в кресло.

Наташа нетерпеливо развернула сверток — из него брызнули ярким блеском драгоценности.

44

Наташа заметно похудела и осунулась. Не радовало ее, что сданы государственные экзамены, что получен диплом об окончании университета, что ученый совет факультета рекомендовал ее в аспирантуру. Это состояние мать объясняла просто: сильное переутомление от экзаменов.

Спала Наташа плохо. Что только не придумывала она, чтобы не думать о Николае. Старалась убедить себя, что в жизни ей с ним не по пути, что у него тяжелый характер, что он эгоист, если больше всего на свете любит свою работу... Устав от раздумий, она, как за спасательный круг, хваталась за самый сильный довод: своим упрямством Николай сведет в могилу Елену Прохоровну. «Нет, нет! — твердила про себя Наташа, лежа на диване. — Ни за что в жизни мы не должны быть вместе! Расстаться. Забыть все... и больше никогда не возвращаться к этому!»

От дум начинала болеть голова. Пыталась заснуть — не спалось. Закрыв глаза, начала считать. Досчитала до ста, перевалила за двести, добралась до пятисот, а сон не приходил... Даже считая, думала о Николае.

Чувствуя, что теперь уже не заснуть, Наташа встала, прошла в ванную и умылась холодной водой. Елены Прохоровны дома не было. Она уехала к знакомым на дачу. Старинные стенные часы, еще до войны купленные в комиссионном на Арбате, со звоном пробили три раза. Что-то тоскливое, церковное слышалось в их бое.

Стоя у распахнутого окна, Наташа загадала: если тополиная пушинка, которая невесомо и чуть-чуть снижаясь плыла над клумбой, упадет в цветы, значит, Николай — ее судьба. Если же пушинка упадет за клумбу или ее совсем унесет ветром, значит, им суждено расстаться. На несколько секунд пушинка словно замерла в дрожащем мареве, заколебалась, потом набежавший ветерок легко подхватил ее, поднял выше и погнал от клумбы.

Все! Значит, быть этому! Наташе стало душно. Провожая взглядом пушинку, она вся как-то внутренне обмякла и продолжала недвижимо стоять у окна. Но вот пушинка снова замерла над детской площадкой и, словно передумав, сделала медленный разворот, поплыла назад к цветочной клумбе. Наташа затаила дыхание. «Милая, еще, ну, еще немножко, чуть-чуть левее», — всем своим существом молила она, с силой прижав руки к груди. Пушинка, снизившись, упала на песок рядом с клумбой, у белых астр.

Значит, не судьба. Наташа вздохнула и отошла от окна. А когда через минуту она опять подошла к окну, пушинки на прежнем месте уже не было. Но теперь Наташа подумала, что все это глупо, смешно, суеверно. На том, что она суеверна, Наташа и до того ловила себя не раз и, поймав, мысленно стыдила себя...

«Фу, подумаешь, чепуха какая-то, пушинка!» Наташа раскрыла альбом с фотографиями. Как назло, сразу же наткнулась на карточку, которая ее всегда раздражала: Николай на фигурных коньках, на льду. Красиво изогнувшись, он легко поддерживал свою партнершу в белой, отороченной мехом юбочке и такой же белой меховой шапочке. Они танцевали вальс. Наташе всегда казалось, что Николай слишком влюбленно смотрит на эту незнакомую ей фигуристку, в повороте головы и в изгибе корпуса которой она уловила сегодня что-то даже

вульгарное.

«Какой упрямый — прошло столько времени и ни разу не позвонил! Ждешь, чтоб я пошла на поклон? Не дождешься! Не у тебя одного характер», — мучительно подумала Наташа, не отрывая глаз от фотографии.

Подойдя к книжному шкафу, она увидела голубой томик Лермонтова. Эту книгу в прошлом году в день рождения ей подарил Николай. Ленчик тогда преподнес ей дорогой туалетный прибор. По самым скромным предположениям, Елена Прохоровна оценила его подарок в пятьсот рублей. Наташе об этом она не сказала. Подарок Николая Елена Прохоровна встретила недружелюбно, ей не понравилась надпись на книге — слишком смелый и уверенный тон угадывался между строк. Уж кого-кого, а ее в этих вещах провести трудно. И хотя она ничего тогда Наташе не сказала, но по опущенным уголкам губ матери та поняла, что не только подарок, но и сам Николай ей неприятен. Не подавая вида, что она поняла настроение матери, Наташа здесь же любовно и бережно обернула томик Лермонтова в прозрачную бумагу и поставила в шкаф на полочку, где находились ее любимые книги. Но это было в прошлом году, с тех пор многое изменилось.

Раскрыв томик, она прочла надпись:

*«Ветер, вьюга, метель...*

*Ты не уйдешь от меня!*

*Наташе — в день рождения с пожеланиями оставаться такой же хорошей, какая ты есть сегодня. Николай».*

...Нахлынули воспоминания. Вспомнился лыжный поход в Мамонтовку. Кругом лес и ни души. На ветвях сосен повисли огромные хлопья кипенно-белого снега, которые срывались от малейшего прикосновения и беззвучно падали в сугробы. Когда снег попадал Наташе за ворот, она, приседая, визжала, а Николай от души хохотал. Потом у нее сломалось лыжное крепление. Полчаса Николай возился с металлическими пластинками, до крови расцарапал пальцы, но так и не смог починить. До ближайшего селения было километра два, вблизи ни дорожки, ни тропинки. Николай нес ее на руках по глубоким сугробам... Нес вместе с лыжами. По его глазам Наташа тогда видела, как он был счастлив!

«Все это было так давно и так недавно», — горько улыбнулась Наташа и поставила книгу обратно в шкаф.

На нижней полке она увидела «Криминалистику» и «Судебную психиатрию». Эти книги ей дал почитать Николай. А что, если они ему нужны? Ведь он дал всего на три дня, а прошло уже больше четырех недель... Наташа раскрыла «Криминалистику». На титульном листе стоял штамп университетской библиотеки. Характер Николая она знала хорошо: сам за книгой он не придет. Волнуясь, прижала книгу к груди. И сразу же осуждающе подумала: «Чему радуюсь? Тому, что у меня есть зацепка и я могу пойти к нему? Есть повод для встречи? Дура! Бесхарактерная дура!.. Ни за что, никогда, ни одного шага!..» Швырнула книгу на стол и села на диван, беспомощно опустив руки.

Через пять минут Наташа успокоилась и думала совсем по-другому. Она представила, как за эти книги Николая лишат права пользоваться библиотекой. А ведь библиотека ему сейчас очень нужна: у него экзаменационная сессия.

«Что я делаю? Что я, идиотка, делаю?» От стыда за этот каприз на ресницах Наташи дрогнули две крупные слезинки. Больше она уже не рассуждала и не мучила себя раздумьями.

Поправив перед зеркалом прическу, Наташа завернула в газету книги и вышла из дому.

Дорогой думала только об одном — застать бы Николая. По ее расчетам, сейчас он

должен быть свободен. Дверь открыла соседка Захаровых. Наташа прошла длинный коридор многонаселенной квартиры и постучала. Никто не ответил. Наташа слегка толкнула дверь, и она открылась. В комнате никого не было. Решив, что она сделала что-то дурное, Наташа, слегка сконфуженная, хотела закрыть дверь, но не успела. Лишь только она взялась за дверную ручку, за ее спиной послышался знакомый голос. Это была Мария Сергеевна.

Неожиданный приход Наташи смутил Марию Сергеевну. Наташа у Захаровых была всего два раза, и то не более чем по пять — десять минут. Один раз заходила с Николаем, другой раз — одна, приносила книгу. Вытирая руки о фартук, Мария Сергеевна сразу же и приглашала проходить в комнату, и извинялась, что у них такой беспорядок, и жаловалась на сына, что тот весь ушел в работу и даже не всегда приходит обедать.

— Вы только подумайте, Наташа, утром всего-навсего выпил стакан чаю. Уже четвертый час, а его все нет. Не работа, а наказание. Извелся весь.

Мария Сергеевна замолкла и стала смахивать с клеенки хлебные крошки.

— Что же вы стоите, Наташа, садитесь, может быть, и Коля подойдет.

— Извините меня, я к вам на минутку. Занесла Коле книги.

— Ну смотрите, вам видней. А то бы посидели, пообедали с нами. Правда, обед не ахти какой, но чем богаты, тем и рады.

Было что-то извинительное в голосе Марии Сергеевны. О разрыве Николая с Наташей она не знала, но, как мать, чувствовала, что в их отношениях произошел надлом, случилось что-то недоброе. И эта аккуратная вежливость Наташи была также неспроста. Раньше она была другой, проще.

— Вы уж меня извините, Наташа, займитесь тут чем-нибудь... Я на кухню, а то у меня там все убежит...

Мария Сергеевна положила перед гостьей стопку старых номеров «Огонька» и торопливо вышла.

В комнате было так же, как и полгода назад. Тот же бумажный коврик над кроватью Николая, какие продают на Арбате в бумажном магазине, те же выцветшие васильковые обои. Сетка кровати Николая провисла еще ниже. Наволочка на подушке была чистенькая, с заплатой. На свеженатертом паркете рядом с кроватью лежал серый веревочный половичок. Две этажерки были аккуратно заставлены книгами. Наташа подошла к этажерке, провела пальцем по корешкам переплетов: ни пылинки. Рядом с кроватью, у окна, стоял однотумбовый письменный стол. Из рассказов Николая Наташа знала, что мать к нему боялась подходить. На столике лежала стопка книг, стоял деревянный чернильный прибор и деревянный стакан с ручками и карандашами. Скатерть была белоснежно-чистая, но настолько старенькая, что кое-где сквозь нес просвечивалась клеенка.

В правом углу, как только войдешь в комнату, за ситцевой цветастой ширмой стояла кровать матери.

Над кроватью Николая, чуть повыше коврика, висела застекленная репродукция с картины Саврасова «Грачи прилетели». Эту картину Наташа хорошо знала с детства, много раз видела ее в Третьяковской галерее, но здесь, в этой скромной и чистенькой комнатке, она вдруг показалась совсем иной, наполненной новым, более глубоким смыслом. С картины повеяло чем-то по-весеннему свежим, постепенным чистым, открытым... Было что-то общее в этой картине и в характере Николая: та же бездонная ясность и простота. Долго, не отрываясь, смотрела она на грачей, на голубоватый тающий снег, на оголенные березы...

На противоположной стене висел портрет отца Николая. Наташа стала пристально всматриваться. Та же твердость и независимость (вот именно, «несгибаемая

независимость») в очертаниях губ, высокий лоб, тот же слегка суровый взгляд. Плечи облегал портупея. На груди, чуть повыше клапана карманчика, орден Красного Знамени. Об этой награде Николай никогда не говорил. И вообще об отце он почти ничего ей не рассказывал, если не считать последнего разговора на Каменном мосту. Под портретом, на маленькой скамеечке, в горшке, обернутом желтой гофрированной бумагой, стояла японская роза. Ее раскидистые зеленые ветви тянулись через письменный стол к окну.

Наташа подошла к цветку и склонилась над распустившимся бутоном. «Японская», — подумала она и, вдыхая тонкий аромат розы, мысленно унеслась далеко-далеко на восток, к солнцу, туда, где в Тихом океане растянулась цепочка островов, которые она изучала в школе на географии. Случайно взгляд остановился на сером блокноте, лежавшем на столе. На корке было написано «Дневник практиканта». Наташа раскрыла блокнот и начала листать, первые двадцать страниц были строго расчерчены колонками сверху вниз. Каждая колонка обозначала свое: «Дата», «Что сделано», «Примечание». На первой страничке было написано: «28 июня. Приступил к расследованию по делу об ограблении Северцева. Допросил потерпевшего.

Разработал план поисков кондукторши». Графа «Примечание» оставалась пустой.

Ниже было написано: «29 июня. Весь день провел в поисках кондукторши. Проверил два трамвайных парка, и все безрезультатно. Кондукторша не найдена». Графа «Примечание» по-прежнему пустовала.

Еще ниже тем же твердым, отрывистым почерком: «30 июня. Кондукторша найдена. Обнаружено место преступления. Изъяты следы преступления: расческа, мундштук, окровавленные платки. Все отправлено на экспертизу. Собаки след взяли, но он оборвался у стоянки такси. Вот где начинаются запорошенные следы».

Дальше никаких записей не было. «Вечером он запишет сюда еще что-то. Только об этом я уже не узнаю. Не узнаю никогда». Наташа принялась вяло листать блокнот. Во второй половине его увидела обрывистые, написанные наспех строки:

«Салют! Браво! Толик взят. Сатанински упрям — запирается. Морочит голову и чертовски неглуп. Говорил с его соседкой (ее прозвали Иерихонская Труба). Сказала, что позавчера приходил какой-то «белявый» со шрамом на щеке. Имени не знает. Он! Никто не знает его фамилии и адреса. Максаковых в это время дома не было. Нужно торопиться — уйдет. За зеркалом нашел письмо от какой-то Кати Смирновой. Письмо написано месяц назад из дома отдыха «Лебедь», адресовано Толику. На штампе стоит: «Красновидово, Московской области». Связался по телефону с директором дома отдыха. Подняли документацию и нашли московский адрес Кати Смирновой. Какое письмо она написала Толику! А ведь кому? Вору! Когда-нибудь я покажу его Наташе, пусть знает, что значит любить настоящего. Катю нашел быстро. Отрекомендовался старым другом Толика. Поверила. Любовь слепа. А когда она узнала, что Толик арестован по недоразумению за скандал в ресторане, как она переживала! Если б знал этот бандит, как его любят!.. Она просила меня помочь Толику. Я ответил, что одному мне это сделать трудно, нужно разыскать его друзей. Друзей Толика Катюша не знала. Однажды видела у него человека со шрамом на щеке. Толик назвал его Князем. И еще вспомнила, что Князь приглашал их к себе на дачу в Клязьму. Она даже запомнила адрес, хотя на дачу не поехали. Клязьма! Князь!.. Он где-то рядом!.. Не знаю, кто в эту минуту больше волновался: я или Катя? Кате нужно было идти на работу, но она (умница!) куда-то позвонила и отпросилась. Поехали в Клязьму. Бедняжка верит, что Толика взяли за скандал в ресторане. Дорогой разговорились. Работает Катюша на механическом заводе и учится в вечернем техникуме.

Всю дорогу рассказывал небылицы о трогательной дружбе с Толиком, когда я жил в Москве. О себе сказал, что недавно приехал из Одессы. Верит. Верит всему и даже влюбленно загорается, когда начинаю рассказывать о добродетелях Толика.

Кошунствовал, но что поделаешь — работа. Оказывается, в нашем деле приходится иногда бывать и артистом. Расспрашивала о скандале в ресторане, развел, как писатель. Получилось так, что Толик ни капли не виноват. Так увлекся, что Катюша стала злиться на грубость милиционеров.

Но вот наконец и Клязьма. Незаметно оцупал оружие — все в порядке. Не трушу, но волнуюсь.

А как хорошо за городом! Бор, воздух, зелень. Когда же всего этого я буду хлебать досыта хоть один месяц в году? Ничего, дай закончить университет, а там посмотрим. На Черное море поеду...

Молил бога, чтобы Князь был дома. Если нет, то можно спугнуть. Может догадаться, что провокация.

Но вот и дача. Старенькая, запущенная, покосившаяся. Все затянуто плющом, кустарником и чем-то таким, что, кажется, называют чертополохом. По всему чувствуется, что нет руки хозяина. Стучим... Открывает молодая, лет тридцати, женщина. В ярком халате, заспанная, зевает. С Катей поздоровалась настороженно. Спросил Князя. Дама посмотрела подозрительно и ответила, что его нет дома и что он уже две недели назад уехал к тетке в Рязань. Две недели? Загибаешь, красавица. Ты тоже, оказывается, в курсе дела. Северцева ограбили всего неделю назад, позавчера Князь был на квартире у Толика, а ты мне — две недели... Нет, двоим ночью сюда идти рискованно: работают хором. В разговор особенно не пускался, но вел себя нарочно несколько вульгарно. Кажется, даже подмигнул ей. Попросил бумаги и карандаш. Стрельнул при этом глазами на Катюшу: дескать, при ней нельзя говорить, лучше напишу. Поняла и вынесла бумагу и карандаш. Освоилась и закурила. Глазами так и играет. Кокетничает. Пусть-пусть, хорошо, значит, принимает за своего. Видно, что не особенно умна. В записке написал: «Толика застукали, сейчас в Таганке. Будь осторожен. Связь держи с его марой. Просит папирос». Ни имени, ни фамилии в записке не поставил. Попросил, чтоб сегодня же записку переправили в Рязань (при этом хитровато подмигнул и опять покосился в сторону Катюши). Никогда не знал, что могу так здорово подмигивать. На прощание дама лукаво и обещающе бросила, чтоб заходил. Пообещал зайти. Начало хорошее. Она мне верит и, кажется, чего-то от меня ждет... Но вот Князь, что он подумает, когда прочитает записку? А впрочем, ничего страшного. Приход «мары» Толика (Катюши) — за меня, предупреждение об опасности — и за, и против. Ди-а-лек-ти-ка!

Когда возвращались назад, Катюша всю дорогу была очень грустная. Раза два удерживал ее от слез. Спрашивала, как добиться свидания с Толиком. Что-то невнятно путал и успокаивал тем, что дня через три его выпустят обязательно. Расставаясь с ней, назначил ей свидание на послезавтра вечером у метро «Маяковская» в семь часов.

После Клязьмы заехал в отделение. Там ждала меня гражданка Максакова — мать Толика. Голова в бинтах. Плачет. Допросил. Оказывается, что вчера вечером заходил пьяный Князь, адреса она его не знает. Перевернул в комнате все вверх дном — искал какую-то золотую медаль. «Какую-то!» Мать!.. Всей беды ты еще не знаешь. Медали Князь не нашел. Матери и сестре Толика Князь нанес тяжелые побои. Это обыграть. Психологически.

1. Вызвать судебно-медицинского эксперта к Максаковым. Необходимо заключение о характере и степени телесных повреждений. (На это 1 час.)
2. Еще раз допросить Толика. При допросе хорошенько обыграть визит Князя за медалью. Подать его с накалом. Поссорить друзей! Вызвать гражданку Максакову: может, будет необходима очная ставка.
3. Вечером, как только стемнеет, с Карпенко в Клязьму! А может быть, придется подежурить там несколько ночей. Третьего не брать — суета. Карпенко хитер как лис и силен, как Иван Поддубный. Итак, впереди Князь! Ты слышишь, Гусеницин



Хвёдор, — Князь!..»

На этом записи обрывались. Сколько прошло времени, Наташа не заметила, но вдруг ей показалось, что она очень долго читала эти короткие, как выстрел, фразы, в каждой из которых поднимался Николай. Ее смелый, умный, гордый Николай.

Дверь за ее спиной неожиданно открылась, и в комнате запахло борщом. Наташа вздрогнула и, как трусливый воришка, которого поймали с поличным, быстро захлопнула блокнот и как вкопанная продолжала стоять на месте.

Смущения Наташи Мария Сергеевна не заметила. Разливая по тарелкам дымящийся борщ, она жаловалась:

— Ну, вот вы теперь сами посудите, Наташа, что это за работа. Мука!.. Ни тебе вовремя пообедать, ни тебе спокойно, как люди, отдохнуть. Ждала его к обеду, а он только что звонил и сказал, что обедать не придет, а может быть, задержится и до утра.

Наташа посмотрела на Марию Сергеевну и прочла на ее лице отпечаток постоянных волнений, ожиданий, огорчений. И все это из-за него, из-за Николая.

Обедали молча. Хлопотливая Мария Сергеевна то извинялась за то, что у них нет необходимой сервировки, то пододвигала соль и предлагала подсолить, если не солоно, то спрашивала, не подлить ли еще... На все это Наташа отвечала автоматически. Из головы не выходили дневниковые записи. «Мать ничего этого не знает. И хорошо, что не знает. Хватит с нее и того, от чего она и так уже почти седая», — думала Наташа и, чтобы не обидеть Марию Сергеевну, доела тарелку борща до конца. От второго она отказалась.

Провожая Наташу, Мария Сергеевна засуетилась и разволновалась. Наташу тронула эта неподдельная доброта. Она излучалась из глаз матери, звучала в простых приветливых словах и проступала в той бесхитростной растерянности, какая обычно присуща только искреннему и доверчивому человеку. А здесь тем более: ведь эту девушку любит ее сын! Как тут не растеряться?

Вернувшись домой, Наташа почувствовала себя усталой. А когда вспомнила, что завтра суд, на который ее вызывают как свидетеля, то готова была провалиться от стыда. Она уже отчетливо видела себя публично рассказывающей суду, как они вдвоем с матерью гадали. «Как это гадко, низко... Скорей бы все кончилось...» Наташа расслабленно опустилась в кресло и положила голову на спинку. В эту минуту она походила на больного человека, которому даже малейшее движение может причинить страдание.

Заснула она поздно, почти на рассвете. Всю ночь душили кошмары, в которых Николаю грозила опасность. Наташа хотела помочь, но не могла, пыталась кричать — не было голоса, силилась бежать — подкашивались ноги...

45

Северцев лежал на койке и слушал неумолимого одессита, который на экзаменах получил тройку за письменное сочинение и этим уже был обречен на отчисление. Вдруг в дверь робко постучали.

— Да, да, — протянул одессит.

В комнату вошла Лариса. Она была в легком платье, подол и рукава которого своей яркой расцветкой походила на узорчатые крылья желтой бабочки.

Маленький и тонкий одессит, который еще раньше несколько раз как бы между прочим приставал к Алексею с расспросами о Ларисе и даже пытался кокетничать с ней, когда она заходила, продолжал лежать на койке, в то время как другие встали.

Встал даже Туз. Подхватив костыли — одна нога Туза была ампутирована выше колена, — он поспешно погасил самокрутку из орловского самосада, расправил гимнастерку и вытянулся, как бывалый солдат при виде командира. Туз только что поселился в комнате и, как всякий новичок, чувствовал еще неловкость.

У окна стоял высокий грузин Автандил Ломджавая. Расправляя тонкие и черные как уголь усики, он не сводил глаз с Ларисы. По-русски он говорил с сильным акцентом, а поэтому старался больше молчать.

— Мальчики, сегодня интересный процесс! Судят одну цыганку за кражу. И как соучастника — студента с нашего факультета Ленчика. Это ужасно интересно, пойдёмте, может, пробьёмся.

— Вам что — никогда не приходилось видеть цыганку на скамье подсудимых? О девушка, тогда вы не знаете Молдаванки!.. Што там говорить, вы не знаете Одессы! — Вместо «что» одессит произносил «што». Он гордился тем, что Одесса — единственный город, где говорят на своем, отличном от других диалекте: протяжном до певучести и с излишеством шипящих. А о «черном рынке» Одессы он рассказывал вздохом: чего там только нет! На нем можно купить все: от новейших заграничных тканей до первоклассного автомобиля.

— Дело не в одной цыганке, — пояснила Лариса. — Ленчика защищает Ядов. А это, если вы в курсе дела, — новый Плевако. Когда он выступает в суде, публика не умещается в зале.

— Интересно, интересно. Што-то я первый раз слышу это имя — Ядов...

Одессит со своим шипением и слегка сощуренным правым глазом, которым он не то подмигивал, не то подсмеивался, Ларисе не понравился с первой встречи. Теперь же ей хотелось как можно быстрее уйти отсюда с Алексеем. Она даже пожалела, что пустилась в разговор с этим нагловатым и развязным молодым человеком.

Алексей сидел молча на койке и не вступал в разговор.

— Ну, пойдёмте же, Леша, — обратилась Лариса к Алексею и, посмотрев на часы, заторопилась: — Пойдёмте быстрее, суд начнется через десять минут. До свидания, мальчики. — Лариса почти вытолкнула Северцева из комнаты.

Переходя улицу, она спросила:

— Вы когда-нибудь дружили с девушкой?

Что ей ответить? Он даже не знал, что лучше: дружил или не дружил. Подумав, решил сказать правду: если соврешь, Лариса будет расспрашивать, кто она, где она, какая собой.

— Нет, не дружил.

— Давайте с вами дружить.

Эти слова Лариса произнесла просто, свободно.

— Давайте, — ответил Алексей, и ему стало так легко, как будто он только что забросил на стог огромный, в полкопны, навильник сена, с которым, шатаясь, шел добрых три десятка метров.

Зал судебного заседания был переполнен. И, несмотря на то что окна были открыты настежь, в нем стояла парная духота. Процесс по делу о краже драгоценностей проходил оживленно. Рассказ подсудимой о том, как она встретила в парке незнакомого чернявого молодого человека, как ему гадала и как потом он подослал ее погадать своей девушке, то и дело прерывался смехом публики.

Рассказывая, цыганка оживленно жестикулировала. Несколько раз она даже

пыталась выйти из-за деревянной загородки, специально отведенной для подсудимых, но всякий раз наталкивалась на часового и, обжигая его ненавистным взглядом, возвращалась на прежнее место. Это ограниченное для ее бродячей степной натуры пространство угнетало цыганку. В своих пестрых нарядах она походила на яркую, привязанную за ногу птицу, которая бьет крыльями, а взлететь не может.

Судьей был худощавый мужчина средних лет с энергичным, волевым лицом. Уже более десяти лет он занимал председательское кресло в суде, перевидел всяких типов: опасных и неопасных. Встречал и таких, которые прикидывались дурачками, рассчитывая, что суд подойдет к ним помягче; проходили через его руки и чудачки, на которых нельзя было смотреть без улыбки... Но с таким анекдотическим случаем судья столкнулся впервые. Красный и потный от напряжения, он кусал губы, чтоб не рассмеяться. Слева от него сидела молоденькая девушка со смешинками в глазах. Всего второй раз она участвовала в суде народным заседателем. Не в силах сдержаться, девушка то и дело отворачивалась в сторону. Закрывая лицо руками, в которых был зажат носовой платок, и делая вид, что вытирает пот с лица, она беззвучно давилась смехом. Справа от судьи сидел второй заседатель — старичок лет шестидесяти пяти, чистенький, с тремя медалями на груди, гладко выбритый и аккуратно, на пробор, причесанный. Бессменно пятый год он избирался народным заседателем участка. К своим судебным обязанностям старичок относился не только добросовестно, но и с каким-то фанатизмом священнодействия. Ни улыбки, ни скучного зевка, ни рассеянного взгляда нельзя было заметить на его худощавом и благородном лице. Обычно, когда он слушал показания подсудимого и свидетелей, речи обвинителя и защитника, то весь становился воплощением мудрого внимания. До сегодняшнего дня судья мог бы поручиться, что все комики мира бессильны рассмешить Вячеслава Корнеевича, когда идет судебное заседание. Но на этот раз в седых усах народного заседателя тоже появилась улыбка.

Вместо того чтобы признать свою вину и просить у суда смягчения приговора, гадалка — ее звали Нанной — обвиняла! Она так принялась отчитывать Ленчика, что судья вынужден был оборвать ее и просил отвечать по существу.

Раздраженно махнув рукой на судейский стол, стоявший на возвышении, гадалка гневно говорила:

— Зачем мешать, гражданин судья? Я тебе не мешаю, когда ты говоришь, не мешай и ты мне. Виноват во всем этот Лёничка. Если б не послал он меня к своей девушке, откуда бы достала я золото? Из-за него я уже две недели в тюрьме страдаю и никакого прибытку не вижу. Вы, гражданин судья, учтите, сколько бы я за это время честным гаданием денег заработала...

Судья старался выяснить, что это: искреннее непонимание своей вины или тонкая игра в темного человека? И он решил терпеливо ждать.

На лицах сидящих в зале улыбки появлялись реже, запал гадалки проходил. Вскоре она совсем выдохлась и замолкла. Только черные глаза ее с зеленоватым пламенем в глубине зрачков еще продолжали метать гнев.

Дальше суд пошел обычным порядком, спокойно. Судья вызвал Ленчика и предложил ему рассказать историю с гадалкой.

Рассказывал Ленчик медленно, трогательно. Глядя на его кроткое, убитое горем лицо, не одна женщина в зале горько и сочувственно вздохнула: «Вот она, любовь-то, до чего доводит».

У многих присутствующих Ленчик вызвал сочувствие. Они решили, что, влюбленный несколько лет в Лугову, он никак не мог подумать, что эта легкая, милая шутка кончится так плачевно. Ленчик ничего не скрывал, но та правда, которую он говорил суду, была рассчитана на сочувствие к себе.

После допроса Ленчика были вызваны по очереди Елена Прохоровна и Наташа. Они повторили то, что суду было уже известно. Наташа, вся полыхавшая от стыда, после того как ее предупредили, что за ложные показания она будет отвечать по статье 95-й Уголовного кодекса, стала совсем пунцовой. Что-то позорное и омерзительно-гадкое чувствовала она в своем положении.

Когда пытка допроса кончилась, Наташа села на свободное место в первом ряду и не подняла головы до конца заседания.

Государственный обвинитель говорил недолго и «по существу». Именем советского закона он обвинял гадалку в квартирной краже, а Ленчика в подстрекательстве к «морально наказуемому поступку, который вылился в преступление».

За обвинителем выступил защитник гадалки. Лысый, маленький и юркий, к защите он приступил с чувством, какое должен был испытывать Сизиф, когда в сотый раз начинал поднимать на островерхую гору камень, откуда этот камень наверняка скатится. Юридически он почти не находил оснований просить у суда даже смягчения для своей подзащитной, но когда коснулся личности гадалки, то начал метать молнии красноречия. Он даже помолодел, стал выше ростом и значительнее с виду. Ссылаясь на темноту и неграмотность подзащитной, на ее национальную страсть к блестящим безделушкам, адвокат так разжалобил цыганку, что та вскочила со скамьи и затараторила:

— Правильно говоришь, дорогой, хорошо говоришь. Давай дальше так, давай. Душа горит, руки и ноги дрожат, когда вижу золотые кольца и сережки. Клянусь колодой карт сербиянки, гражданин судья, что правду говорит защитник.

По залу пробежал легкий смешок. А гадалка не умолкала. Теперь она уже повторялась, браня Ленчика.

Судья остановил подсудимую и попросил адвоката продолжать.

Смех публики и выходка подзащитной несколько остудили запал адвоката. Потирая ладонью лысину и уставившись в потолок, он говорил уже медленнее, вяло и кончил обычным обращением: просил судей снисходительнее подойти к его подзащитной, над которой еще тяготееют дурные национальные предрассудки, против которых одна она бороться бессильна. Конец речи был туманный и неопределенный.

Зато Ядов, адвокат Ленчика, показал на этом процессе свой блестящий талант юриста и оратора. Несмотря на молодость адвоката — Ядову было тридцать три года, — имя его в юридическом мире Москвы гремело. После одного очень сложного и затянувшегося процесса по делу об убийстве из-за ревности, на котором он провел успешную защиту, Ядов стал адвокатом «нарасхват». С тех пор прошло уже шесть лет. За эти годы он не раз защитой «с помпой» освежал свою популярность и славу. За мелкие дела, как правило, он почти не брался, поэтому многим, знающим его привычки, было невдомек, почему он взял дело о квартирной краже, которое по плечу даже студенту-стажеру.

Суд над гадалкой и Ленчиком Ядова волновал: он знал, что на эту защиту придут студенты-юристы Московского университета, где он вел семинары по уголовному процессу. Избалованный славой и сплетнями-небылицами, в которых он фигурировал юридическим львом среди адвокатов Московской коллегии защитников, Ядов решил показать на процессе все, что можно выжать из тех «смягчающих вину обстоятельств», на которые он думал опереться. Тем более здесь была замешана любовь. А о любви он говорить умел красиво.

Особенностью защиты Ядова было то, что он умел очень тонко, вовремя и красиво перейти от юридического обоснования невиновности к психологической оценке личности подзащитного. Средний адвокат поступает проще — всю речь он делит условно на две части: вначале детально анализирует состав преступления, делает юридические выводы, а потом уже переходит к характеристике личности

подсудимого, перечисляет его заслуги в прошлом, указывает на его достоинства, положительные душевные качества. У юристов это называется «бить на слезу», хотя сам адвокат в такие минуты твердо убежден, что «Москва слезам не верит».

Во время защиты Ядов играл. Играл, как опытный жонглер. Из одной руки у него вылетал шар, предназначенный подавлять разум, из другой — шар, который должен размягчать душу. Эти шары, слегка касаясь рук опытного, уверенного в себе артиста, одновременно летали в воздухе и гипнотизировали зал. Зал, но не судей. В этом-то и был весь секрет громкого имени Ядова. Судьи понимали всю красоту и гибкость его защиты, ценили его ораторское искусство, любовались им, но в совещательной комнате, где приговор выносился от имени Российской Республики, ничто не могло затуманить ясности их рассудка.

Играл Ядов и сейчас, защищая Ленчика. Там, где юридическая норма бесстрастно-логически обращалась только к рассудку судей, там Ядов двигал вслед закону другую силу — эмоциональный заряд.

В зале стояла тишина. Студентки, пришедшие посмотреть своего учителя в деле, не сводили с него восторженных глаз, и это Ядов чувствовал. В свои тридцать три года он иногда еще по-юношески волновался рядом с хорошенькой девятнадцатилетней студенткой. До сих пор он был холост, и по поводу этого затянувшегося холостячества ходили разные толки: то грустные, то смешные.

Убедительно обосновав юридическую сторону дела и доказав, что в действиях Ленчика не было не только прямого преступного умысла, но и маленького намека на косвенный умысел, Ядов продолжал:

— Если влюблен молодой человек, влюблен много лет и просит руки своей любимой... Просит руки и наконец получает ее согласие, то разве он допустит даже в мыслях что-нибудь недоброе, грязное и злое по отношению к своей невесте? Если мы считаемся с логикой обстоятельств, то и логику чувств не опрокинешь. Такова жизнь. Что же толкнуло моего юного подзащитного подослать к своей невесте гадалку? Мечь? Ревность? Расплата за неверность? Нет, к счастью, не эти чувства двигали им в эту счастливую для него минуту. Да-да, счастливую минуту. Мой подзащитный переживал апогей счастья: Ленчик и Лугова были уже помолвлены и готовились к своему свадебному путешествию на Урал. До свадьбы оставались считанные дни. Но в последнее время невеста стала колебаться. Мой подзащитный с ужасом замечал, что свадьба может не состояться. И тут-то подвернулся случай — гадалка. Простая случайность. Видя, что чаша весов колеблется не в его пользу, он не устоял. Он бросил на эту чашу маленький золотник своего сердца. Гадание!.. Милая, невинная шутка, которую потом, когда мой подзащитный стал бы супругом Луговой, они с улыбкой вспоминали, как что-то светлое, неизбитое и юное...

Все чаще и чаще прибегая к образам и сравнениям, которые переплетались с афористическими высказываниями классиков литературы, Ядов вдруг сделал неожиданную продолжительную паузу и, словно напившись досыта тишины зала, продолжал оперировать юридическими терминами.

В этом-то и была особенность его тактики: логическое он умело чередовал с психологическим.

Доказав отсутствие вины в действиях Ленчика, Ядов неожиданно оборвал свою речь:

— Там, где нет вины, граждане судьи, там нет наказания. — Сказал и, в последний раз окинув с трибуны зал, сел за адвокатский столик.

Первыми зааплодировали студентки, потом подхватил весь зал.

Было во внешности Ядова что-то артистическое, но это артистическое не походило на дешевенькое, избитое театрально-картинное позирование тех адвокатов (а они еще попадают), которые всю вторую половину защиты, когда «бьют на слезу», или ведут в тоне трагического завывания, или добрых полчаса мелодраматически и

сентиментально причитают и кончают неизменно тем, что взывают к гуманности советского правосудия.

Высокий и стройный, в черном костюме и черном галстуке, Ядов был внешне элегантен. Его правильные черты лица, высокий, с крутыми залысинами, лоб и никогда не улыбающиеся глаза (с виду он больше казался строгим, чем добрым) даже у самого придирчивого физиономиста могли бы оставить твердое впечатление, что перед ним человек умный и волевой...

...Кончился суд тем, что цыганку приговорили к трем годам лишения свободы, а Ленчика оправдали «за отсутствием состава преступления».

Никогда Наташа не питала такого гадливого чувства к Ленчику, как теперь, после суда. Особенно после речи адвоката, который сказал неправду, что она дала согласие выйти за Ленчика замуж. Два часа в душном, переполненном зале, где сотни глаз упирались в нее ежеминутно, ей показались пыткой. И все из-за кого? Из-за Ленчика, которого она никогда не любила.

Уже у самого выхода из зала суда Наташа услышала приглушенный голос Ленчика:

— Наташа, мне нужно с тобой поговорить.

Она даже не повернулась. Ей было стыдно стоять с ним рядом. В течение всего суда он выглядел жалким и растерянным.

— Наташа! — почти выдохнул Ленчик над самым ее ухом и слегка коснулся ее локтя.

От этого прикосновения она почувствовала что-то брезгливое. Наташа круто повернулась и, глядя под ноги, отрубилась озлобленно:

— Подлец!

— Что ты говоришь?

Смерив Ленчика презрительным взглядом, она повернулась. Она не шла, а почти бежала.

Ленчик проводил ее взглядом до самой калитки. Он понял, что это конец. Уж если ее не тронули слова адвоката, который раскрыл, как он, Виктор, любит ее, то все дальнейшие попытки к примирению только еще раз унижат и опозорят его. А ведь он с таким трудом добился, чтоб его послали работать в Горноуральск!

— Успокойся, сынуля, все обошлось благополучно. Поедем скорей домой. И я умоляю тебя: не связывайся больше с этой невоспитанной дурой. Ведь она тебя ни в грош не ставит.

Ленчик молча посмотрел на мать. Это была минута, когда ему особенно хотелось сорвать на ком-то свою злость. И он собрался все выместить на матери, но чудом сдержался.

— Ты понимаешь, что в Горноуральске мне теперь нечего делать? Ты это понимаешь? — тихо, но злобно спросил он.

— Ну и прекрасно, Витенька! Наконец-то ты останешься в Москве. — Виктория Леопольдовна захлебывалась от счастья, поняв, что Виктор никуда от нее не уедет.

Ленчик посмотрел на мать и, как своему самому лютому врагу, сказал:

— Так вот, сейчас же, сию минуту поезжай к отцу, и не мое дело, кто это будет решать и как это будут решать, — вечером должен быть документ, что от поездки в Горноуральск я освобожден.

Сказал и прошел к машине, которая стояла неподалеку.

Не успела Виктория Леопольдовна взяться за ручку дверцы, как Виктор высунулся из окна кабины — он сел рядом с шофером — и раздраженно бросил:

— Машина нужна мне. Поезжай в метро.

46

В общей камере Таганской тюрьмы, куда посадили Толика, находилось восемнадцать человек. Преимущественно это были молодые люди, попавшие сюда кто за хулиганство, кто за кражу. Некоторые из них в Таганке уже не новички.

Опустившиеся и озлобленные, они махнули на все рукой и проводили время за картами, скабресными анекдотами и травили пожилого толстяка, которого кто-то в первый же день его пребывания в тюрьме окрестил Ротшильдом.

В тюрьму Ротшильд попал за спекуляцию отрубями. Он был заведующим фуражной палаткой в Сокольниках. К тюремной кличке «король отрубей» привык и с готовностью поворачивался в сторону, откуда его окликали. Все в камере видели, как глупо хлопал он при этом бесцветными ресницами. На его каменном лице в это время застывало выражение тупой угодливости. Ротшильд боялся всего. Стукнет дверной засов, откинутый тюремным надзирателем, — Ротшильд вздрагивает и каменеет, назовут его настоящее имя («Вам передача») — Ротшильд долго не может сообразить, чего от него хотят. Его мясистые щеки при этом мелко-мелко трясутся.

Ротшильду приносили передачи чаще, чем другим, но из них ему доставалось очень мало: почти все пускалось в расход «шакалами», которые остервенело расхватывали продукты и здесь же, на глазах хозяина, пожирали их. Ротшильд только глупо улыбался и молчал. В его маленьких и бесцветных, как у поросенка, глазах поселился вечный страх.

Вначале Ротшильд был неприятен Толику, но потом ему стало жалко это забитое, безответное существо.

А вчера утром из-за Ротшильда в камере вспыхнула драка, о которой через несколько минут стало известно всей тюрьме. Случилось это так: Ротшильду передали очередную посылочку, завернутую чистенькой марлей. Не успел он ее рассмотреть, как один из «шакалов» выхватил у него узелок и бросил в угол. Все в камере видели, как трое наглецов с хохотом терзали чужую посылку. Терзали и смеялись над ее хозяином. А один из них, высокий, с челкой, у которого на спине между лопатками была татуировка «Нет в жизни счастья», а на плече — «Не забуду мать родную», запустил в хозяина коробкой из-под конфет:

— На, Ротшильд, забавляйся. С картинками!

Все это видел и Толик, видел и трясся от злости. Наконец он не выдержал, приподнялся с нар и молча подошел к тройке.

Тот, что с челкой и с татуировками, приподнял голову и удивленно посмотрел на Толика. Этим взглядом он как бы спрашивал: «Ты что, фраер, тоже колбаски захотел?..»

Толик процедил сквозь зубы:

— Верните!



— Что-о-о? — протяжно спросил парень с челкой и, медленно привстав, принялся подчеркнуто пристально рассматривать Толика с ног до головы.

Теперь затихли даже те четверо, что играли с соседней камерой в особую, «жиганскую» карточную игру, называемую здесь «в три цвета». Все ждали, что

будет дальше.

А дальше случилось то, чего никто не предполагал. Когда парень с челкой медленно поднес к подбородку Толика руку, пытаясь повысить приподнять его голову и посмотреть: что-де, мол, ты за птица, Толик с такой неожиданной быстротой и с такой силой ударил его снизу в челюсть, что тот рухнул на пол.

Исход драки решился за несколько секунд. Не дожидаясь, пока два других «шакала» вступятся за товарища, Толик носком тяжелого ботинка что есть силы ударил под ребро второго — парня в веснушках. Тот только икнул, поджал живот руками и, повалившись ничком, затих. Когда вскочил третий (его лицо скорее выражало страх, чем готовность драться), Толик почти в беспамятстве так ловко хватил его в подбородок, что тот отлетел в сторону, ударился головой о трубу парового отопления и повалился рядом с веснушчатый.

Бледный, дрожа всем телом, Толик поднял с пола мешочек с продуктами и в полной тишине, сопровождаемый горящими взглядами заключенных, подал его Ротшильду, который, ничего не понимая, поджав по-восточному ноги, сидел на нарах. В следующую минуту кто-то от окна, с нар, с визгом крикнул:

— Бей «шакалов»!

Этот клич, как электричество, прошел камеру. Все, кто был в ней, кроме Толика и Ротшильда, кинулись на «шакалов».

Поднялся визг, крик, стоны. Били жестоко. И если б не шум, на который вовремя подоспели четверо надзирателей, «шакалов» могли бы забить до смерти.

С этой минуты Толика молчаливо признали атаманом. Никто ни у кого теперь не отбирал продукты силой, перестали даже воровать тайком. Молчание Толика, которое создало вокруг него ореол таинственности, еще больше вызывало к нему уважение. Все уже друг другу порядком надоели своими ухарскими рассказами о старых подвигах и о том, за что их сцапали.

Толик был загадкой: никто не знал, за что он попал в Таганку.

После расправы над «шакалами» Ротшильд переселился и занял на нарах место рядом с Толиком. В нем он теперь видел своего избавителя от издевательств, которых натерпелся за две недели следствия. После драки в камере за весь день он только раз услышал кличку Ротшильд, да и то она была произнесена лишь потому, что новичок, который несмело попросил у него закурить, думал, что Ротшильд — его настоящее имя.

Как только убрали «шакалов», Толик, не обращая внимания на расхоронившуюся камеру, снова лег на нары и замолк. Он думал о своем. Думал о матери, о сестренке Вале, о Катюше. Чаще всего на ум приходила Катюша. Первый раз в жизни он полюбил, полюбил по-настоящему. Первый раз в жизни его полюбила чистая девушка. Он боготворил ее и боялся обидеть грубым прикосновением. Даже поцеловал-то не он первый, а она его. Это было два месяца назад, в мае, когда отцвела черемуха и зацвела сирень. Над тихой, пустынной аллеей в Сокольниках плыла луна. Было свежо, и Катюша молча, закрыв глаза и ежась, прильнула к нему так, что их губы встретились. Это было чем-то неизведанным. Что-то подобное по своей невысказанности он испытывал в детстве, когда тонул в реке. Так же закружилась голова, так же по телу разлилось приятное тепло... Потом она, словно хмельная от счастья, накручивала на свои тонкие пальчики его русые волосы и светилась вся изнутри каким-то голубым небесным счастьем. Улыбалась и приговаривала, что навьет ему такие кудри, которые не разовьются вечно. Теперь нет ни кудрей, ни русых волос — их остриг тюремный парикмахер. Нет Катюши. Нет и больше никогда не будет... От этой мысли к горлу подступало что-то тяжелое, обидное, от чего становилось трудней дышать. А все почему? Не устоял, поддался Князю. И тут же другая мысль: «Эх, письмо!.. Если бы оно пришло на день раньше...»



От тоски и стыда, которые уже целую неделю точили и мучили Толика, ему захотелось завывать на всю камеру.

А Катя? Как она ждала того дня, когда он устроится на работу! Ведь на заявлении уже стояла резолюция директора завода: «Оформить слесарем пятого разряда». После первого дня работы Катюша обещала досыта угостить мороженым. Досыта... Мороженым... Милая... Обещала даже на свои деньги купить билеты в театр. Двадцать шестое она ждала с волнением. Но не дождалась. Двадцать пятого был ресторан, была березовая роща. А потом, потом загул, потом тюремный надзиратель показал место на нарах...

Бросив догоревшую папиросу, Толик на ощупь, не поднимая головы, вытащил из пачки новую. Но не успел размять ее, как Ротшильд услужливо поднес ему зажженную спичку. Толик поблагодарил еле заметным кивком и прикурил. Так, выкуривая папиросу за папиросой, он лежал до тех пор, пока не пришел надзиратель и не крикнул на всю камеру зычным баритоном:

— Максаков, к следователю!

В комнате следователя все было прибито: стол прибит к полу, чернильница привинчена к столу, единственная табуретка, которая стояла в полутора метрах от стола (она предназначена для заключенного), была также прочно прибита к полу. Даже стул следователя и тот, как приковал его к полу несколько лет назад тюремный мастер, так и стоит по сей день на одном месте.

Толик вошел, как и полагается по тюремной инструкции входить к следователю, с сомкнутыми за спиной руками. Захаров предложил сесть, показав глазами на табуретку. Толик сел, продолжая держать руки за спиной.

Этот пункт тюремного распорядка Захарову не нравился: неприятно видеть перед собой человека, который в течение всего допроса должен сидеть с руками за спиной. Создается впечатление, что в них зажат камень или нож.

— Держите руки свободно, — сказал Захаров и достал из папки чистый бланк протокола допроса.

К допросу он приступил после тщательной подготовки. Все было продумано до тонкости, учтены даже мелочи и, как это рекомендует студенческая практика юридических факультетов, составлены вопросы, на которые уже заранее предполагались возможные варианты ответов.

Не предполагал Захаров только одного: что в ответ на все его вопросы Толик будет лениво зевать и сонно смотреть в окно.

Что-то оскорбительное для молодого следователя было в этом равнодушии подследственного. Но чем больше путался Толик в своих показаниях, тем увереннее был Захаров, что непременно распутает клубок.

О своих сообщниках Толик упорно не хотел говорить. Он придумывал разные небылицы, брал всю вину ограбления на себя, так как знал, что легче ему не будет, если он станет доказывать, что в ограблении Северцева принимал лишь пассивное участие. «Все равно групповое ограбление, бандитизм...» — думал он, и, когда следователь спрашивал о соучастниках, как и на первом допросе, Толик флегматично пожимал плечами и спокойно отвечал:

— Ростовчане. Знаете, хорошие ребята.

— Где они сейчас?

— Наверное, в Ростове.

Захаров нервничал, хотя внешне этого старался не показывать. Трое суток он бьется над Максаковым, но не подвинулся ни на шаг. За какие-то полчаса он

закуривал уже третью папиросу.

— Гражданин следователь, вы так много курите, — спокойно заметил Толик, наблюдая, как Захаров разминал пальцами папиросу. Он тоже хотел курить, но был горд и крепился, чтоб не унизиться до попрошайничества, свои папиросы он оставил на нарах в камере.

Николай видел, как жадно смотрел Толик на папиросу, и просто, как всякий курящий человек, который понимал, что значит хотеть курить, протянул ему раскрытый портсигар:

— Закуривайте.

Папиросу Толик взял. Но этот жест великодушия он расценил по-своему:

— Совсем как в кино. Там тоже при допросах следователь всегда угощает папиросой. — Толик усмехнулся, пуская кольца дыма.

Протягивая Толику папиросу, Захаров совсем не подумал, что он повторяет избитый ход, который практикуется, как по шаблону, при допросах. Мысленно он даже устыдился этого своего невольного дешевого приема, но решил, что оставить без ответа выходку Толика нельзя.

— Есть вещи, в которых невозможно отказать даже врагу. А мы с вами граждане одной страны.

— Это правда. Курево — вещь особая, — согласился Толик.

Вид Толика был типичен для арестанта. Отказавшись от парикмахера, он оброс щетиной, отчего выглядел лет на десять старше.

Глядя на Толика, Захаров пытался хоть на секунду проникнуть в его душу, почувствовать то же, что чувствует в эту минуту преступник. Но многое в логике мыслей и чувств Толика для него было непостижимо. Непонятным было и это циничное спокойствие.

— Значит, вы не знаете Князя? — уже в третий раз задавал один и тот же вопрос Захаров.

— Первый раз слышу это имя.

Захаров с минуту помолчал и решил, что пора наконец пустить в ход то главное, что он припас заранее.

— Тогда знайте, что есть такой гражданин, по кличке Князь. Позавчера вечером он пьяный зашел к вам домой и, когда узнал, что вы арестованы, взломал гардероб и забрал лучшие вещи. Он искал золотую медаль, которую вы сбыли, но с ним не успели поделиться.

— Милицейская сказка! — процедил Толик сквозь зубы и хмуро сдвинул брови.

— Это только начало сказки. Теперь послушайте середину: ваша мать и сестра стояли перед Князем на коленях. Они просили его оставить хоть кое-что. Он ничего не оставил. Мать он ударил в висок. Сестре нанес тяжелые телесные повреждения.

Лицо Толика оставалось по-прежнему сонливым. Захаров удивился его выдержке.

— Гражданин следователь, эти милицейские трюки так же старые, как моя покойная бабушка. Повторяю еще раз, никакого Князя я никогда не знал. А сказку можете продолжать. С детства люблю сказки.

— Самое интересное в сказках бывает в конце. — Захаров нажал кнопку.

В сопровождении сержанта вошла мать Толика. Голова ее была забинтована, глаза заплаканы. При виде ее Толик встал, попятился назад.

— Что ты наделал?.. Хоть бы мать пожалел, — сквозь глухие рыдания проговорила вошедшая.

— Садитесь, — показал ей Захаров на табуретку, с которой встал Толик. — Гражданка Максакова, расскажите о том вечере, когда к вам приходил в гости друг вашего сына.

— Господи, — не переставала всхлипывать Анна Филипповна, — за что ты меня только наказал?

— Прошу вас, не расстраивайтесь и расскажите все по порядку.

Несколько успокоясь, мать начала:

— В воскресенье это было, под вечер. Пришел он выпивши...

— Кто «он»? — вставил Захаров.

— Ну все тот же, друг его, Князем они его зовут. Спрашивает: «Где Толик?» А мне и ни к чему. Кто его знает, что у него на уме. Я к нему со слезами. Говорю, забрали в милицию.

— А он?

— Он посидел-посидел, вперед все молчал, потом встал и полез в гардероб. Я вначале думала, что он так, шутейно, или оттого, что выпивши...

— Так-так, дальше? — поддерживал Захаров рассказ Максаковой.

— Когда он стал вытаскивать Толиков костюм, я подошла к нему и принялась стыдить его. Тут он оттолкнул меня и говорит, что это его костюм. Я было кинулась к соседям. Тогда он меня догнал в дверях и сшиб с ног. Я стала просить, а он заладил одно и то же: «Где золотая медаль?» Я сказала, что не видела у Толика никакой золотой медали. Он ударил меня ногой в грудь, а потом чем-то тяжелым по голове. — Мать замолкла

— А потом?

— Дальше я ничего не помню. А когда пришла в себя, увидела, что в больнице. Поворачиваю голову, смотрю — рядом на койке Валя. Вся в бинтах, лицо распухло.

— Какая Валя?

— Племянница моя. Всю ее изуродовал...

В продолжение рассказа матери Толик кусал губы, сжимал кулаки, наконец не выдержал:

— Мама, хватит! Не нужно больше. Скажи, что с Валею. Где она?

— В больнице.

— Вот заключение медицинских экспертов. Ее положение тяжелое. Сотрясение мозга, лицо обезображено. Читайте. — Захаров протянул письменное заключение экспертов.

— Ах, подлец!.. Ах, подлец! — простонал Толик. Он стоял, опустив голову и закрыв глаза ладонями. Потом дрожащим от подступивших слез голосом обратился к матери: — Мама... Прости меня. Иди домой, прошу тебя, иди. Я виноват во всем. Меня будут судить.

Большого Захаров от этой встречи и не ожидал. Он решил, что дальнейшее пребывание матери только помешает допросу.

— Гражданка Максакова, вы свободны. Сержант, проводите, — сказал он вошедшему конвоиру.

Когда мать вышла, Толик твердо сказал:

— Гражданин следователь, я все расскажу, все. Только пообещайте мне одно.

— Что именно?

— Свидание.

— С кем?

— С Князем.

— Зачем?

— Я хочу видеть его.

— А если это свидание не состоится?

— А если я задушу его в «черном вороне», когда нас повезут с суда?.. — Толик дрожал.

— Ну, это еще как сказать! Князь гуляет на свободе. А в «черном вороне» пока будут возить вас одного. — Захаров сочувственно улыбнулся.

От этой улыбки Толика точно передернуло.

— Пишите адрес! — не выдержал он. — Клязьма, Садовая, дом девять, маленькая дача с зеленой крышей, у колодца.

Захаров спокойно записывал.

— Московский адрес? — спросил он, стараясь не выдавать волнение.

— Ременный переулок, дом четыре, квартира семнадцать. Летом он обычно живет на даче.

Две тревожные ночи, проведенные в засаде у дачи Князя, легли под глазами Захарова темными кругами. «Неужели и сегодня он не придет?» — подумал он и поднял глаза на Толика.

— Когда обычно Князь возвращается в Клязьму?

— Как правило, с последним поездом. Иногда ночует в Москве. Сегодня он будет обязательно на даче.

— Почему?

— Сегодня суббота. Неделю он «честно» трудился. Сегодня с вечера даст большой загул до понедельника. Это его твердый режим.

— С кем он живет?

— Сейчас один. Отец в длительной командировке, мать — на курорте.

— Он не женат?

— Нет. Есть у него любовница.

— Оружие?

— Пистолет ТТ и нож. Бойтесь ножа.

На этом допрос закончился. Молоденький конвоир с погонями сержанта проводил Толика из следственной комнаты. Но не успел Толик хорошенько расположиться на нарах, как железная дверь загремела и в сопровождении все того же молоденького белокурого сержанта в камеру вошел здоровенный рыжий надзиратель и объявил густым зычным голосом:

— Максаков, за мной!

— Куда это опять? — недовольно спросил Толик.

— В карцер!

— За что?

— За драку. Приказ начальника тюрьмы. Вкатил на всю железку. Десять суток.

Толик молча слез с нар. Сопровождаемый взглядами притихших заключенных, он вышел из камеры.

Много печальных историй слышал Толик в лагерях о тюремных карцерах. Но эти рассказы были не то, что он увидел собственными глазами.

Тюрьма в тюрьме — одним этим уже все сказано.

47

Клязьма. Небольшая подмосковная дачка с заросшим, глухим садом обнесена дощатым покосившимся забором. Рядом с большими соседними дачами она выглядела сиротливо даже ночью. Занавешенные тюлевыми шторами маленькие окна, в которых горел свет, защищались от любопытных глаз прохожих зеленой изгородью акации. Стояла тихая лунная ночь. Лишь то нарастающий, то замирающий гул проходящих мимо электропоездов изредка будоражил тишину дачного поселка.

Захаров и Карпенко, одетые в штатское, неслышно закрыли за собой ветхую калитку и, прижимаясь к густому кустарнику, прошли к невысокому крыльцу. Захаров мягко нажал плечом на дверь. Она оказалась закрытой изнутри.

— Стой там, — сказал он шепотом и кивнул на зеленую беседку из плюща, куда не проникал лунный свет, — Я пойду к окнам. На свет не выходи. Здесь кто-то есть.

Оглянувшись, Захаров, как кошка, прошмыгнул мимо затемненных окон за угол дома и остановился под густой рябиной против освещенного окна. Окно было открыто. Сквозь тюлевую штору он увидел двоих людей. За столом сидели женщина и мужчина. Захаров прислушался.

— Я предлагаю выпить за вашу большую покупку, — сказал женский голос. — Если не выпьете, то ваш «зим» развалится на втором километре или, чего доброго, полетите в пропасть с этого... как его там?..

— Чуйского тракта, — подсказал мужской голос. Такой голос мог принадлежать только физически сильному человеку.

— Да, с Чуйского тракта.

— Пьем, — согласно прозвучал мужской голос, и на занавеске появился силуэт руки, поднявшей стакан.

— Вот это я понимаю, это по-мужски! А у нас в Москве пошли такие мужчины, что пьянеют от рюмки кагора.

— А вы? Почему вы не пьете?

— Дамам можно сделать скидку. Особенно таким хрупким, как я. Да, кстати, сколько вы заплатили за свой «зим»?

— Платить буду завтра. Сорок тысяч.

— Кто же та счастливая особа, которая вместе с вами будет ездить на этой машине?

— Моя жена.

Женщина расхохоталась:

— Вы это сказали таким тоном, точно в свою жену влюблены так же, как до женитьбы.

— Вы правы. У меня очаровательная жена. В нее я влюблен все так же, как двенадцать лет назад, когда она была еще невеста.

Со стороны железной дороги послышался гул приближающегося электропоезда. В какие-то минуты этот гул затопил весь поселок.

Дальнейший разговор в комнате теперь Захаров слышал плохо. Оглядевшись, он заметил, что у второго освещенного окна — оно было ближе к столу — штора подходила к косякам неплотно, а со стороны соседнего дворика окно прикрывалось шапкой густого и высокого кустарника. Николай пригнулся и неслышно нырнул в заросли перед вторым окном.

Теперь он отчетливо видел молодую, в цветном халате, женщину, ту самую, с которой он разговаривал три дня назад. Она сидела в кресле и курила, пуская дым кольцами.

— Вы, кажется, все-таки захмелели? — спросила женщина с улыбкой, которая означала: «А я-то думала!»

— Да, я очень устал. Десять суток в дороге. — А потом здесь суета. Вот уже два дня, как не могу найти свободного места ни в одной гостинице. Хорошо, что мир не без добрых людей.

— Где б вы были сейчас, если б не наша случайная встреча?

— Не знаю.

— Неужели эти двое суток вы мучились на вокзале?

— Нет. Одну ночь я провел у старого приятеля. Но если бы вы видели его тещу!.. Вы согласились бы еще полмесяца проваляться на вокзале, лишь бы не причинять неприятностей несчастному зятю. Мегера, а не теща. Как мне жалко Нестерова! А ведь какой был парень! Огонь... А умница! Мы с ним вместе институт кончали. В общежитии в одной комнате жили.

— Он тоже инженер-строитель?

— Да. Только он работает в министерстве.

Когда женщина потянулась к горшку с цветком, чтобы стряхнуть с папиросы пепел, полы ее длинного халата распахнулись так, что даже Захаров заметил ее стройную, обнаженную выше колена ногу. Эта небрежность женщиной осталась сознательно незамеченной.

— Скажите, вам часто приходится изменять своей жене? — внезапно спросила она, затаившись папиросой.

— Изменять?

— Да, да! Что вы удивляетесь? Ведь вы так часто бываете в командировках, в разъездах.

— В разъездах — часто, а изменять — никогда, — твердо ответил мужчина.

— Значит, сегодня ваше первое грехопадение?

Гость удивленно посмотрел на собеседницу. Только теперь ему бросилась в глаза ее почти оголенная нога, и он опустил голову. Несколько секунд они оба молчали. Потом мужчина поднял голову и стыдливо ответил:

— Мы просто друг друга не поняли... В самом начале...

В глазах женщины вспыхнул злой огонек. Порывисто привстав, она быстро подошла к гостю и положила руки ему на плечи. Верхние пуговицы ее халата были расстегнуты, отчего полы его разошлись еще больше.

— Разве я вам не нравлюсь? — Быстро отскочив назад, женщина широко распахнула полы халата. В ее окаменевшей с запрокинутой головой фигуре был вызов.

Сибиряк растерянно молчал.

— У вашей жены такая фигурка?

Халат восточной расцветки прикрывал одни только руки. Уже полнеющее, но еще стройное тело, обтянутое голубым купальным костюмом, напоминало сказочную голубую птицу с цветными крыльями, приготовившуюся к полету.

— Нет, — покачал головой мужчина. — Мы только что говорили о моей жене... Иначе я поступить не могу.

Губы женщины были плотно сжаты, в глазах искрились озлобление и досада. Она на минуту задумалась, словно что-то припоминая, потом, запахнув халат, стремительно подошла к сибиряку и крепко обвила его шею руками:

— Думаешь, я так и поверила? — С ловкостью кошки она забралась к нему на колени и принялась испуленно целовать его.

Сибиряк осторожно и вместе с тем решительно отстранил женщину и встал. Он был высокого роста и крепкого сложения.

— Этого не надо. Разрешите мне отдохнуть. Трое суток я почти не спал.

Лицо женщины стало хмурым. Она посмотрела на часы и, опять что-то прикидывая в уме, сказала с расстановкой:

— Хо-ро-шо. Я вам постелю в соседней комнате.

Женщина вышла, а сибиряк снова сел за стол и, положив голову на скрещенные руки, задремал.

Захаров хотел было перейти к другому окну, чтобы понаблюдать за поведением женщины в комнате, куда она вышла, но вдруг услышал за спиной скрип калитки. От неожиданности он вздрогнул. Пригнулся.

Двое мужчин, о чем-то тихо разговаривая, подходили к крыльцу. Один из них, тот, что был пониже ростом, отделился, свернул с дорожки и направился к освещенным окнам.

Правая рука Захарова сжала рукоятку пистолета. Схватку в саду он не планировал. Темнота и плохое знакомство с расположением сада ничего хорошего не сулили. Спрятавшись за густой куст смородины, он видел, как неизвестный, подойдя к окну, чуть отдернул шторку и заглянул в комнату. В пряный аромат смородины

волной хлынул водочный перегар.

«Пьяный», — подумал Захаров и стал рассматривать лицо подошедшего. Отчетливо было видно, что это не Князь. Лицо у этого молоджавое, без шрама и наполовину закрывалось свисающей челкой. «Наверное, Серый, — подумал Захаров, — маленький, с челкой, худой...»

Когда неизвестный отошел от окна и скрылся за кустами акации, Захаров решил, что оставаться на этом месте бессмысленно. Неслышно ступая и пригнувшись, он прошмыгнул поближе к крыльцу. Остановился. Было слышно, как стучало собственное сердце. На фоне темной стены он увидел силуэт другого человека, но кто это, разобрать было трудно. Решил ждать.

Вдруг дверь с крыльца отворилась и в сад сошла женщина в халате:

— Где вы пропадаете? Я извелась. Это не человек, а камень.

— Солидный фраер? — спросил хрипловатым голосом тот, что не подходил к окну.

— Сибиряк. Завтра покупает «зим». Только осторожней, он здоров как черт. Будете грубо работать, раздавит, как щенят. Топор под подушкой, в полотенце... Только без царрапин. В этом буйволе цистерна крови. Ну, я пошла. Минут через пять стучитесь. На всякий случай, ты — мой брат, Серый — племянник. А где Серый?

— Здесь.

— Только не волыньте. — Перед тем как войти в сени, женщина остановилась и, словно что-то забыв, озабоченно спросила: — Что случилось с Толиком?

— В Таганке.

— Держится?

— Пока не раскололи. Ладно, ступай, расскажу все завтра.

Женщина в халате вернулась в дом. Мужчина зажег спичку и стал прикуривать. Теперь Захаров отчетливо видел, что по щеке его, от уха до подбородка, тянулся розовый шрам. Сжимая пистолет, Захаров вышел из-за кустов и негромко скомандовал:

— Руки вверх!

Папироса выпала из рук Князя. Он инстинктивно сделал шаг в сторону, чтобы бежать, но выстрел в воздух остановил его. Он поднял руки.

— Старшина, сюда! — крикнул Захаров.



Карпенко в одну секунду был рядом с Князем.

— Будь здесь. Я пойду за другим! — распорядился Захаров. Пригнувшись, он побежал по лунной дорожке в сторону маленького сарайчика, куда с минуту назад направился Серый.

Не сводя пистолета с Князя, Карпенко видел, как из-за темных кустов, мимо которых бежал пригнувшийся Захаров, мелькнула тень и с диким визгом бросилась ему на спину. Лунный отблеск от лезвия ножа, занесенного над Захаровым, чуть не заставил старшину нажать спусковой крючок, чтобы вовремя помочь товарищу и не дать уйти Князю.

— Старшина, держи Князя. Этого я возьму один, — донесся из глубины сада голос Захарова,



Первый раз в жизни из рук сержанта Захарова был выбит пистолет. И кем? От одной мысли, что какая-то шпана выбила из рук солдата оружие, в нем вспыхнула звериная злоба.

Поединок был неравным. Николай действовал одной левой рукой, так как правая была тяжело ранена и болталась плетью. Барахтаясь на траве, оба они тянулись к пистолету, лежавшему на дорожке. Когда тонкая рука Серого судорожно сжала дуло оружия, Захаров, напрягая все силы, вцепился в нее зубами. Серый жалобно крикнул и выпустил пистолет. А в следующую секунду левая рука Захарова замкнулась на шее Серого, который после особого болевого приема уже лежал без сознания.

Схватка продолжалась несколько секунд. Быстро вскочив на ноги, Захаров поднял пистолет и подбежал к Карпенко:

— Я побуду здесь, а ты свяжи того, пока он еще не очухался, и волоки сюда. Нужно успеть взять еще женщину.

Захаров заметил, что огонь в комнате погас.

Князь в лихорадке стучал зубами. Его лицо было искажено страхом.

— Не бойся, Князь, ты жив. Мы бережем тебя для свидания с Толиком, — сказал Захаров.

От этих слов Князь затрясся еще больше.

Скрученный веревкой, Серый уже лежал у ног Князя. Теперь он приходил в себя и слабо стонал.

На выстрел прибежали два местных милиционера. Первым явился маленький старшина, но к даче подходить боялся. Не вытаскивая изо рта свистка, он, пригнувшись, бегал взад-вперед под электрическим фонарем на углу улицы. Он ожидал подмоги. На его свистки прибежал другой милиционер. Этот был громадного роста, но тоже не отличался храбростью. Вдвоем они подняли еще более оглушительный свист, такой, от которого почти во всех дачах зажгли свет, залаяли собаки, где-то даже раздался ружейный выстрел.

Дачный поселок взбудоражился.

Но помощь местной милиции уже не требовалась. Все трое бандитов: Князь, Серый и женщина в халате — были связаны по рукам. Сибиряк, вначале удивленный, а потом потрясенный всем тем, что случилось и что могло случиться, подавленно молчал и моргал глазами.

Только теперь Захаров почувствовал, что он серьезно ранен. Правый рукав его пиджака набух липкой и горячей кровью. «Неужели перерезан нерв?» — с тревогой подумал он и посмотрел на Серого. Тот не выдержал взгляда и втянул голову в плечи.

— Бинт с собой? — спросил Захаров маленького старшину, который только и ждал, чтоб ему отдали какое-нибудь приказание.

— С собой, — услужливо и с готовностью ответил он и стал раскрывать трясущимися руками свою сумку.

Ночью на темном пиджаке кровь была не видна. Карпенко сгоряча даже не понял, что его товарищ ранен.

— перевяжите мне руку! — почти приказал Захаров маленькому старшине. — А вы, — обратился он к другому милиционеру, — скажите шоферу, чтоб немедленно подгонял машину к калитке. Она в переулке, у колодца.

— Есть! — рывкнул сержант и, шаркая сапогами, скрылся за углом.

Одет Захаров был в штатское, и местные милиционеры никак не предполагали, что он равного с ними звания. Они считали, что имеют дело с опытным оперативным работником из Москвы.

К калитке подошла служебная машина. По команде Карпенко в ее черном зеве молча один за другим скрылись Князь, Серый и женщина.

Когда Карпенко закрыл дверцу на ключ, Захаров распорядился, чтоб один из милиционеров остался у дачи, пока не прибудет смена, а другой немедленно сообщил о случившемся начальнику своего отделения. После этого он сел с шофером в кабину, Карпенко и сибиряк стоя примостились на крыльях.

— Давай, Костя, побыстрей. С рукой у меня что-то неладно, — сказал Захаров шоферу, когда они выбрались на дорогу.

Шофер перевел рычаг на предельную скорость. Машина со свистом, раскалывая лучами фар черноту ночи, понеслась к Москве.

48

Урал... Горная тайга на фоне чистого, без единого облачка, неба казалась такой сочно-зеленой, что вряд ли найдутся краски, которыми можно передать световые контрасты этой дикой и могучей красоты.

У подножия одного из отрогов хребта раскинулся своими корпусами крупный завод. В садике перед началом дневной смены было людно. По старой привычке рабочие пришли за полчаса до гудка.

— Что, Илья Филиппыч, сегодня первый день? — спросил молодой рабочий у Барышева — потомственного уральского рабочего.

— Как видишь.

— Как провел отпуск?

— По-всякому. Отчасти хорошо, отчасти так себе.

— Как поживает Москва?

— Ничего, поживает красавица. Только вот шпана еще водится.

— Да что ты?

— Э, брат. Ты вот съезди — посмотришь. Не успеешь оглянуться, как к тебе подсядет хлюст, заговорит зубы, а другой из-под тебя мешок цоп — и ищи-свищи.

— Да ну?

— Вот тебе и ну! Ку-уда там, — махнул рукой Илья Филиппович. — Даже не почувешь. Видишь — не успел глазом моргнуть, как отрезали. Это я уже дома пришил, — показал он рубец на ремне полевой сумки.

— Ну, а ты что?

— Что я? За шиворот и в милицию.

— А потом?

— Известное дело, из милиции — в тюрьму! Не тронь чужое, не тобою положено, не на того нарвался.

— Вот это да!

— Это еще что! — разошелся Илья Филиппович, — Вот в вагоне ко мне один субчик

сватался, вот это да! Я вроде бы притворился, что сплю, а сам себе в щелку одним глазом смотрю. Вижу, тихонько подкрадывается. Да не просто, а с бритовкой подкрадывается. Молодой такой, в твоих годах с виду. То-о-лько поднес он руку к моей сумке — я его цоп!

— Да ну?

— Вот тебе и ну. Ты попробуй съезди — без порток вернешься.

— Ну и что ты с ним, Илья Филиппыч?

— Что, что, известно что: за решетку, в первый вагон, рядом с паровозом. А вначале тоже за инженера себя выдавал. Да. Не скажи. Куда там!.. Мастера зубы заговаривать. Ох мастера! — Илья Филиппович достал табакерку и насыпал на ладонь нюхательного табаку, — А ты, Сашок, тоже хотел в Москву?

— Думал.

— Сам-то ты чей?

— Рязанский.

— О, брат! — махнул рукой Илья Филиппович и захохотал мелким смешком. — Уральцев, коренных уральцев вокруг пальцев обводят, а вашему брату, рязанцу, и носа туда нечего показывать. Видывал я рязанцев. Жидкий народ. Сиди уж дома, сверчок рязанский. В Горноуральске-то плутаешь, а тоже мне — в Москву!

В это время кто-то из рабочих с крыльца конторы позвал Барышева к инженеру. О том, что в его цехе теперь новый инженер, Илья Филиппович знал по рассказам, а каков он из себя — еще не видал.

Илья Филиппович открыл дверь конторы и часто-часто заморгал, как будто глаза чем-то запорошило. А когда переступил порог, то совсем опешил: в новом инженеру он узнал того самого молодого человека, соседа по купе, которого принял за жулика.

— Здравствуйте, — робко кашлянув в кулак, проговорил Илья Филиппович.

— Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Барышев. Садитесь, рассказывайте, как доехали.

— Ничего, слава богу, доехал, — переминался с ноги на ногу Илья Филиппович.

— Как сумка? Цела?

— Цела. Только вы меня простите, товарищ инженер. Немножко обмишурился. В Москве меня один, в ваших годах, так напугал, что я всю дорогу трёсся. Ошибку дал.

— Ничего-ничего, бывает. Вот что, Илья Филиппович, давайте познакомимся. Зовут меня Валентином Георгиевичем. Буду работать в вашем цехе сменным инженером. Признаюсь, опыта у меня совсем нет, только что со студенческой скамьи. Буду учиться у вас. Давно на заводе?

— Постом будет сорок семь. С шестнадцати лет пошел к Привалову. С тех пор только два раза бюллетенил: в тридцать восьмом две недели, в погреб упал, поясницу зашиб, да прошлый год — три дня, по своей дурости, угорел в бане...

— Как бригада? Не подведете поначалу?

— Да что ты, Валентин Егорыч. В бригаде уральцы. Вы только скажите!

— Ладно, идите. Через десять минут смена. Готовьтесь.

Илья Филиппович направился к выходу, но в дверях вдруг остановился и стал мять в руках картуз:

— Только вы, Валентин Егорыч, про мою оплошность в вагоне не рассказывайте. Ребята у нас вострые, засмеют. А мне, как бригадиру, сами понимаете, авторитет ронять нельзя.

— Не беспокойтесь, Илья Филиппович. Об этом я и для себя забуду. Вот моя рука...  
— И инженер подал руку бригадиру.

— Спасибо, Валентин Егорыч. А что касается бригады — не сумлевайтесь. Ребята у меня наши, уральцы.

Когда Илья Филиппович спустился с крыльца конторы, к нему подошел молодой рабочий из бригады. Ни слова не говоря, он стал ощупывать рубец на ремне полевой сумки:

— Ловко! Ловко тебя чикнули, Илья Филиппович. Расскажи!

— Чего расскажи?

— Как чего? Говорят, в Москве тебя чикнули и в вагоне чуть не зарезали. Я ведь тоже в отпуск скоро иду.

— Да ты что пристал? Откуда ты это взял?

— Как откуда? Митрошкин нам таких страстей про тебя наговорил, что я не знаю, ехать ли в отпуск или дома сидеть.

— Митрошкин? — покачал головой Илья Филиппович. — Эх ты, голова садовая, нашел кого слушать! Я ему арапа заливал, а он и вправду — рот разинул. И понес, и понес по заводу, как баба. — Лицо Ильи Филипповича вдруг стало серьезным. Сдвинув брови, он продолжал: — Съездил на все сто. Кругом порядочек и все двадцать четыре удовольствия. Скажу тебе прямо — тот, кто в Москве не бывал, тот многого не видал.

— Ну, то-то. А я уже было все свои планы кувырком...

— Хватит, хватит болтовни, — обрезал рабочего Илья Филиппович. — Разговорчики потом, а сейчас смена. Перед новым инженером, Петруха, смотри не ударь в грязь лицом.

— Будь спокоен. Ну а как он — мужик ничего? — помедлив, баском спросил Петруха.

— Да как будто настоящий.

Прогудел гудок. Через минуту заводской садик был уже пуст.

49

Директор Н-ского завода на Урале был человек строгий. Всегда выбритый, в наглухо застегнутой темной полувоенной гимнастерке, он одним своим видом дисциплинировал окружающих. А небольшая начинающаяся полнота при высоком росте и широких плечах пятидесятилетнему мужчине придавала еще большую солидность. На его письменном столе, как и во всем кабинете, не было ничего лишнего. Портрет Ленина, склонившегося над «Правдой», еще резче подчеркивал строгость рабочего распорядка директора.

— Лена, к двенадцати часам я вызывал Барышева, — сказал директор вошедшей секретарше.

— Он пришел, Сергей Васильевич.

— Попросите.

Илья Филиппович в это время сидел в комнате секретаря и, поглаживая свою серую лопатистую бороду, с опаской посматривал на дверь кабинета.

— Ума не приложу — зачем я ему потребовался? — сказал он уборщице, которая поливала цветы на подоконнике — Неужели насчет Митрошкина? Вот беда мне с ним. Всю бригаду подводит. В воскресенье напьется, а целый понедельник куролесит. Никак не перевоспитаю.

— А ты к ипнозу своди его. Как рукой снимет. Моя кума своего возила зимой, с тех пор в рот не берет.

— Что ты говоришь?

— С места не сойти.

Илья Филиппович открыл рот и хотел спросить что-то еще, но в это время из кабинета вышла молоденькая секретарша и кивнула ему:

— Пройдите.

Илья Филиппович быстро встал, почти на цыпочках подошел к девушке и приложил к губам большой и шершавый, как корень, указательный палец.

— Барышня! — склонился он над девушкой и вежливо спросил: — Одно только словечко — насчет Митрошкина?

Секретарша молча пожала плечами и села за машинку.

— Ну, а все-таки... Хоть знать, за что будут голову сносить.

— Не знаю, не знаю, — не глядя на Илью Филипповича, громко ответила девушка и принялась стучать на машинке.

Крякнув для смелости, Илья Филиппович твердыми шагами переступил порог.

— Здравствуйте, товарищ Барышев. Садитесь.

— Здравствуйте, Сергей Васильевич! — с достоинством знатного на заводе мастера ответил Илья Филиппович и пожал протянутую руку директора.

— Как жизнь?

— Не жалуемся.

— Как работа?

— Как будто справляемся.

— Илья Филиппович, у меня к вам просьба. Звонил директор школы. Завтра к нам приезжает новый учитель. Поместить его пока некуда. Я слышал, у вас неплохая квартира...

— Живу, как Привалов. Пятистенный дом, восемь окон, а всего двое со старухой.

— Вы не можете на время уступить одну комнату для учителя?

— Сергей Васильевич, о чем разговор — хоть две!

— Как с мебелью?

— О, — махнул рукой Илья Филиппович, — полная горница.

— Значит, договорились. Приготовьте со своей благоверной уголок, а насчет платы

не беспокойтесь. Платить будет завод.

— О нет, Сергей Васильич. Чтоб я со своего завода взял копейку? Нет, нет...

— Все-таки стеснят вас...

— Что ты, Сергей Васильич! Старуха будет рада без памяти. Она у меня одичала одна-то. Да и сам я по части культурного дела нет-нет да и перейму что-нибудь. Насчет политики потолковать. Как ни говорите, все-таки в одном доме. А он что — с женой и с ребятишками?

— Не он, а она. Молодая девушка, москвичка, только что окончила университет и вот едет к нам.

Илья Филиппович поднялся, заморгал, а потом широко развел руками:

— Да мы ее со старухой на руках будем носить. Заместо дитя родного жить будет!

— Спасибо, товарищ Барышев. Завтра возьмите мою машину и с комсоргом завода на вокзал. Московский поезд приходит в восемь вечера. А пока — бывайте здоровы.

Пожав руку директору, Илья Филиппович вышел.

— Попало? — спросила уборщица, которая теперь уже протирала окно.

— Мне? За что? Боялся, опять пошлют куда-нибудь по обмену опытом, — ответил Илья Филиппович, — А мне эти доклады — вот, как нож острый, — провел он ребром громадной ладони по загорелой шее, — Страсть не люблю выступать...

50

Захаров никак не предполагал, что совещание работников милиции Московского железнодорожного узла, на котором собрались представители всех вокзалов столицы, так круто повернет его жизнь. Все, что наболело у него за три года работы, он высказал, выступая в прениях. Высказал смело и страстно. Бездушие и формализм Гусеницина были преподнесены с трибуны так едко и так образно, что не раз речь Захарова прерывалась то аплодисментами, то смехом.

— ...Но Гусеницин, товарищи, не единица. За плечами Гусеницина стоят кадры куда крупнее... — И Захаров обрушился на начальника отдела Колунова.

В зале стояла тишина. Говорил не какой-нибудь начальник, наторелый и опытный оратор, а простой сержант. И как говорил! А когда председатель, полный седой генерал, известил колокольчиком, что время Захарова истекло и что пора закругляться, зал загудел:

— Продлить!..

— Правильно говорит!..

— Пусть продолжает!..

Захарову дали еще пять минут. Он снова вернулся к Гусеницину и Колунову. Зал снова притих. Так смело на совещании еще никто не критиковал свое начальство.

— Если собрать все слезы малограмотных приезжих, которых оштрафовал Гусеницин только за то, что они не там перешли, не там закурили, не там сели... и если к этим слезам прибавить еще слезы тех запоздавших москвичей, которые в лютые морозы умоляли его пустить обогреться в вокзал, то из этих слез можно сделать ледяную горку. О фактах бездушия Гусеницина я трижды писал рапорты и трижды был бит за свой гуманизм. Колунов назвал это гуманизмом, да еще филантропическим. Он любит говорить красивые слова и часто читает лекции о том, что такое карательная и воспитательная политика Советского государства. Все мы прекрасно понимаем существо этой политики, понимаем также и то, что в

нашем советском законе выражается воля нашего народа, что мы, работники органов милиции, призваны народом, партией и правительством стоять на страже порядка и советской законности. Все это так. Но нужно помнить, что жизнь не стоит на месте. Жизнь движется в стремительном темпе вперед. Иногда случается так, что вчерашние одежды, вчерашние инструкции и нормативы уже не по плечу сегодняшнему дню. Мы растем, растем быстро, обгоняя инструкции и нормы. Было время, когда при виде убегающего преступника, который ранил гражданина, мы иногда сначала бросались за преступником, а потом уже помогали потерпевшему. Так было нужно: в этом была горькая необходимость. Теперь не те дни. Наши успехи диктуют другое: сначала помоги потерпевшему, потом настигай преступника. Он никуда не уйдет, а человек потерпевший может погибнуть...

Далее Захаров говорил о том, что в годы гражданской войны, когда в Советской стране были выработаны еще далеко не все законы и инструкции, великой силой молодого государства являлось революционное правосознание победившего пролетариата.

Тем более, говорил Захаров, теперь, когда построен социализм, когда советский человек твердо знает, куда и как ему идти, мы не должны выбрасывать за борт это ценнейшее ядро нашей законности — революционное правосознание.

— Советская милиция — не безмозглая и бессердечная машина, которая вращается и гудит только потому, что ее крутят ремни приказов, постановлений и инструкций. Советская милиция — это живой, мыслящий организм, который имеет право поправить любую инструкцию там, где она устарела и идет против сегодняшней правды жизни, против коммунистической, ленинской правды. Отрицать это — значит утверждать формализм и бюрократизм. Я отвлекся, товарищи. Этот вопрос, может быть, больше теоретический, чем практический, но, не решив его правильно, наша практика будет спотыкаться на обе ноги. Кончая свое выступление, я еще раз обращаю внимание коммунистов: стоя на государственном посту и неся службу по охране социалистического порядка — неважно, кто ты: сержант, лейтенант или полковник, — мы должны чутко относиться к человеку. Сурово наказывая преступность, мы не должны в этом здоровом азарте карательной борьбы забывать о том, что часто человек от нас ждет помощи, той помощи, о которой, если говорить честно, очень мало и очень сухо упоминается в инструкциях. В человеке нужно видеть человека — это прежде всего!..

Собрание дружно аплодировало Захарову, когда он через весь зал шел на свое место.

Аплодировал даже Колунов. Втянув в плечи лысину, он молил судьбу только об одном: поменьше бы голов поворачивалось сейчас в его сторону. Ему вдруг показалось, что у него, как назло, здесь очень много знакомых. В перерыве Колунов бочком прошел в курительную комнату. Он совсем забыл, что прошло уже два месяца, как бросил курить. После трех крепких затяжек вспомнил об этом и с горечью подумал: «Все. Опять начал».

...На второй день после совещания Захарова вызвал начальник политотдела Главного управления милиции комиссар Антипов. После короткой беседы, из которой он узнал, что сержант закончил третий курс юридического факультета университета и до сих пор холост, комиссар предложил ему поехать учиться в школу милиции в Ленинград.

Предложение это для Захарова было неожиданным, и он никак не мог решиться.

— Я понимаю ваше замешательство, — не дождавшись ответа, сказал комиссар. — Вы думаете, что вам придется бросить университет? Напрасно, товарищ Захаров. Университет бросать не стоит ни в коем случае. Заочная учеба на юридическом факультете вам нисколько не помешает. Если хотите, мы поможем вам перевестись в Ленинградский университет. Если жаль расстаться с Московским — можете приезжать сдавать экзамены в Москву. Оформим это приказом как

дополнительный отпуск. Многие дисциплины милицейской школы и юридического факультета совпадают. Кое-что из сданных предметов вам даже перезачтут.

Захаров больше не колебался.

— Хорошо, я согласен.

...Известием о том, что Захарова командируют учиться, Григорьев был и огорчен, и обрадован. Огорчен, что приходится расставаться с хорошим, нужным работником, обрадован, что этому хорошему работнику помогают расти.

Положив руку на плечо Захарова — оба они были высокого роста, — майор с тоской посмотрел в глаза сержанту и стал что-то припоминать, болезненно морща лоб, на который упала густая прядь седых волос:

— Постой, постой, как же у него сказано? Ты понимаешь, забыл, совсем забыл... Память сдает.

— У кого сказано? — спросил Захаров, догадавшись, что майор силился вспомнить какую-нибудь поговорку или афоризм.

— Да у Шекспира. В «Отелло». Стоп, вспомнил! — Григорьев обрадовался. — «Даю тебе от всей души то, в чем от всей души я отказал бы, когда б ты не взял сам». Что? Здорово? То-то, друг. — Хлопнув сержанта по плечу, Григорьев замолчал и отошел к окну. Минуту спустя он повернулся и с упреком проговорил: — Не понял. Вижу, что не понял. Тогда скажу проще: большому кораблю — большое плавание. Будешь в Москве — не проходи мимо. Вот так.

Прощальное пожатие рук было крепкое и долгое. В это пожатие сержант и майор вложили глубокое уважение друг к другу.

...Проститься с Наташей Николай так и не зашел: незачем, не по пути. Нет у него ни дач, ни комфортабельной квартиры, ни «зиса». Один милицейский свисток, который бросает в дрожь ее матушку. «Ничего, время излечит, — успокаивал себя Николай, но тут же точили сомнения: — Излечит ли?»

В последние дни перед отъездом все чаще и чаще вспоминалась Наташа. А последнюю ночь она даже снилась. Приснился и Ленчик. У них была свадьба, и на эту свадьбу был приглашен он, Николай. Откуда-то доносилась странная музыка, которую он раньше никогда не слышал, и все, кто сидел за столом, показывали на него пальцем. Особенно усердствовал Ленчик. Николай хотел уйти, но не мог, не слушались ноги. Проснулся в холодном поту и обрадовался, что все эти кошмары были сном. Больше заснуть уже не смог. Лежал и думал. Твердо осознав, что между ним и Наташей все решено и все договорено до конца, он старался думать о другом: о предстоящей поездке в Ленинград, о Григорьеве, о Зайчике, о матери...

Сборы в дорогу начались с самого утра. Отбирая с этажерки нужные книги, он вспомнил стихи Константина Симонова:

*Уж коль стряслось, что женщина не любит,*

*То с дружбой лишь натерпишься стыда.*

*И счастлив тот, кто сразу все обрубит,*

*Уйдет, чтоб не вернуться никогда!*

«Тоже, наверное, хлебнул», — подумал Николай и положил в чемодан томик стихов, в котором были эти строки.

Марию Сергеевну, как и майора Григорьева, отъезд сына и радовал, и печалил. Когда Николай был дома, она делала вид, что радуется («Выучишься — станешь офицером, получишь хорошую должность...»), а как только Николай отлучался, она ни на минуту не отнимала от глаз платка. В третий раз она перебирала



чемоданчик с бельем и все боялась, как бы не забыть теплые носки. Положила даже клубочек шерстяных белых ниток и большую штопальную иголку. Откуда-то достала деревянную ложку без ручки и все наказывала, чтоб Николай ее не выбрасывал: на ней хорошо штопать носки. Волновало Марию Сергеевну и то, что в Ленинграде, по рассказам, вечно сыро и туманно, что там какие-то белые ночи, в которые все видно, как днем. А у Коли плохие нервы, он и в темноте-то спит плохо. Горевала, но крепилась, боялась расстроить сына.

...Провожать Николая пришли Карпенко, Ланцов и Зайчик. Григорьева еще с утра вызвали в управление. Он просил передать, что будет очень огорчен, если не сумеет вырваться к отходу поезда.

На дорогу выпили по махонькой.

До вещей Захарову не дали и дотронуться. Чемоданчик с бельем, с которым Николай ходил в университет на лекции, нес Ланцов. Сумка с продуктами и туалетными мелочами была у Карпенко. Большой, набитый книгами чемодан подхватил Зайчик. Всю дорогу он гнулся под тяжестью ноши, но храбрился и не подавал вида, что у него уже стала неметь рука.

— Ерунда, не по стольку нашивал, — не сдавался он, когда Карпенко, видя, как на лбу у Зайчика вздулась синеватая жилка и выступили мелкие капли пота, предложил свою помощь.

На Ленинградский вокзал приехали за двадцать минут до отхода поезда. «Публика совсем другая, пассажир не тот, что на нашем: чинный, степенный, несуматошный», — мелькнуло в голове Николая, когда вышли на перрон. Проходя мимо крайнего вагона, он услышал, как, вплетаясь в гулкие слова диктора, объявлявшего посадку, его окликнул чей-то знакомый голос. Повернулся, но никого не увидел.

— Гражданин следователь, не узнаете свою работу? — вновь раздался тот же голос справа.

Николай остановился. Из-за решетки вагона, в котором обычно этапируют заключенных, на него смотрели серые печальные глаза.

— А, Максаков? Здорово! Как дела?

— Как видите. Ничего. На троих сорок лет.

— Ого! Сколько же вам?

— Восемь. Здорово?

— Да, порядочно, — ответил Николай, не зная, что еще можно ответить в таком случае. Просто ничего не сказать, повернуться и уйти — нехорошо. Радоваться встрече — тоже, — Ничего, Максаков, будешь работать с зачетом, вернешься лет через пять. Только мне тогда уж больше не попадайся, — строго сказал Захаров.

— Попробуем, — отозвался Толик и попросил папиросу.

Вид у него был арестантский: окладистая бородка, стриженная голова, расстегнутый ворот.

Николай знал, что передавать что-либо заключенным через решетку нельзя, инструкция запрещает. Но отказать человеку в затяжке табака в минуту, когда он, может быть, в последний раз видит родной город, — невозможно, все-таки восемь лет не шуточки.

Махнув рукой провожающим, которые не поняли причину его задержки и нетерпеливо ожидали у третьего вагона, Николай просунул сквозь решетку полпачки «Беломорканала» и спички.

— Гражданин следователь, а я на вас не в обиде. Уж такая ваша работа. Прошу вас еще об одном: если не сочтете за трудность — бросьте в почтовый ящик вот это письмецо.

Николай взял просунутый сквозь решетку серый измятый треугольник письма и, положив его в карман, пообещал отправить.

— А вы далеко?

— До Ленинграда, — ответил Николай и, уходя, сказал, что на следующей большой станции подойдет к его окну.

Место у Николая было купированное. С такими удобствами он ехал первый раз. Шелковые занавески, на полу коврик, все металлическое блестело, все деревянное было полировано, кругом зеркала...

Уложив вещи, все вышли на перрон. До отхода поезда оставалось пять минут. В эти последние минуты, как обычно, разговор не клеился. Все уже переговорено, все наказано, обещано, уже в десятый раз Мария Сергеевна просила, чтобы он берег свое здоровье, потеплее одевался, чтоб дорогой не брал сырого молока, а то, говорят, с него немудрено и болезнь подхватить...

Но вот наконец паровоз своим зычным гудком известил об отходе. Николай обнял мать. Сейчас она показалась ему особенно маленькой и старой. На глазах ее не было ни слезинки. Что-то горячее подкатилось к его горлу. По-русски, три раза, поцеловал мать, крепко пожал руки провожавшим друзьям и вошел в тамбур.

Поезд еще не успел тронуться, как из толпы появился Григорьев — «Пришел! Вспомнил?» — радость волной затопила Николая. Всклооченный и потный майор догнал вагон, который все быстрее и быстрее плыл мимо многолюдного перрона, и на ходу пожал Захарову руку:

— Смотри не подкачай. На белом коне возвращайся в Москву! Пиши...

Николай был растроган. Высунувшись из тамбура, он махал фуражкой. Видел, как за поездом семенила мать, как она что-то смахнула со щеки... Последним потерялся из виду малиновый околыш милицейской фуражки Карпенко.

За первые полчаса, проведенные в вагоне, волнение проводов улеглось. Вспомнил о просьбе Толика, которую он забыл выполнить. Достав письмо из кармана, Николай расправил его на ладони и прочел адрес, написанный химическим карандашом, который, как видно, при письме слюнили.

Письмо адресовано Кате. Некоторые буквы были неразборчивы и расплылись. Наверное, от пота. Носил в нагрудном кармане... Николай решил запечатать письмо в конверт и написать адрес чернилами.

Доставая из чемодана конверт, он вспомнил Катюшу. Курносая, с косичками, которые она аккуратно укладывает венчиком, с ямочками на румяных щеках, она могла показаться на первый взгляд легкомысленной девушкой, хохотушкой. Особенно когда улыбалась. Но если внимательно всмотреться в ее глаза — печальные и умные, то видна в них душа большая, правда, еще не оформившаяся до конца, но такая, в которой уже ясно проступают черты сильной и цельной натуры. Такая может любить и быть преданной.

Все-таки интересно — что же он ей пишет? Николай хотел было раскрыть письмо, но тут же устыдил себя за любопытство.

Запечатал измятый треугольник в конверт и аккуратно, почти чертежным шрифтом вывел адрес Катюши.

Вагон равномерно стучал по рельсам, за окном назад убегали телеграфные столбы. Обычная дорожная картина. Сосед по купе, краснощекий бритый толстяк в

подтяжках, от которого пахло водкой, лежал на нижней полке и, покачиваясь в такт упругим толчкам вагона, просматривал последний номер «Крокодила». Обе верхние полки были свободны. С соседом Николай еще не обмолвился ни единым словом.

«Нет, тут не простое любопытство, — думал Николай. — Тут другое. И в этом положении человеку можно помочь! Ведь, в сущности, он может быть хорошим парнем». Николай разорвал конверт и развернул письмо. Все тем же химическим карандашом было написано:

*«Здравствуй, дорогая Катя! Что случилось, того уже не поправишь. Знаю, что больше мы никогда не встретимся. На прощание хочу сказать тебе, что люблю тебя... Больше я уже так никого не полюблю. В тюрьме пришлось о многом передумать. Я ненавижу себя за свое прошлое и презираю за то, что причинил боль своим близким и родным. Я знаю, что на это письмо никогда не получу ответа, но я хочу, чтоб ты знала, что я еще не совсем пропащий человек. Жизнь свою хочу начать сначала. Мне дали восемь лет. Сейчас мне двадцать два. Если работать с зачетом, то этот срок можно отработать за 5—6 лет. А ты меня знаешь. Пусть лопнут мои жилы, если не буду за одну смену давать по 2—3 нормы. Вернусь и буду учиться. Работать и учиться.»*

*Прощай, Катюша. Не вспоминай меня. Так будет лучше. Если можешь, прости за все. Анатолий».*

В этом коротком письме было еще что-то такое, что не написано в словах, но проступало между строчек. Преступник, проклиная свое преступление. Таким Николаю представился Толик, когда тот писал эти строки. В эту минуту он был уверен, что в письме — правда. Правда, купленная ценой первой большой любви в ее самом чистом и нежном цветении. Такая любовь спасительна.

На первой же станции, в Клину, Николай опустил письмо Толика в почтовый ящик. Вместе с треугольником в конверт, он вложил еще маленькую записку, в которой разборчивым почерком написал: «Катюша! Если вы вздумаете ответить на это письмо, то ответ должен быть только хорошим. Адрес Максакова Анатолия вы можете узнать через месяц в Главном управлении лагерей МВД СССР, которое находится на улице Герцена. Во имя всего доброго — плохих писем не посылайте. С этой просьбой к вам обращается неизвестный вам пассажир, который едет в одном поезде с Максаковым. Письмо это он просил опустить в почтовый ящик. Простите за любопытство, но я его прочитал и вложил в новый конверт».

Вернувшись в купе, Захаров от нечего делать взял со столика книгу соседа, который, по-детски полуоткрыв рот, сладко всхрапывал. «Счастливцев! — подумал Николай, листая книгу. — Наверное, какой-нибудь главный бухгалтер или начальник треста». Роман принадлежал известному в стране писателю Стогову и имел довольно странное и интригующее название: «Зори бывают разные». Перед титульным листом был помещен портрет автора. Всмотревшись в крупные черты по-русски простоватого и доброго лица Стогова, Захаров подумал: «Какие все-таки в твоих романах счастливые концы! Всегда кончаются свадьбой и здоровыми детишками. А ведь в жизни часто бывает совсем по-другому. Бывает и так: умом летишь, а сердцем падаешь. А впрочем, может быть, ты и прав. Мой роман и роман Толика еще не окончены, а поэтому незачем вешать голову: все еще впереди!..»

И тут Захаров вспомнил старую пословицу, которую однажды слышал от матери: «Когда ты потерял деньги — ты не потерял ничего, когда ты потерял друзей — ты потерял половину, когда ты потерял надежду — ты потерял все...»

## ЧАСТЬ II

1

Широкие приплюснутые окна старого дома, в котором помещалось общежитие милицейской школы, выходили на Мойку. Неуютная просторная курсантская казарма. Подоконники в ней так высоки, что до них нельзя достать рукой; свет с улицы проникает угрюмо, верхом, рассеиваясь, он почти не падает на чистые, старательно выскобленные, широкие плахи пола. Сегодня в казарме стоит какой-то особый, печальный полумрак. И на душе у Николая пасмурно, неуютно. Все побудничному пусто, тоскливо. Из еле заметной трещины потолочной лепки вылез черный паук, спустился мелкими толчками по невидимой паутинке, потом, точно к чему-то прислушиваясь, настороженно остановился и поплыл назад. В коридоре то и дело слышались гулкие шаги возвращающихся с занятий курсантов. Эти шаги и беспрестанное хлопанье дверями раздражали Николая. Он сел на койку, достал из кармана письмо. Оно было прочитано уже несколько раз, но неодолимая сила вновь и вновь тянула его к письму, хотелось в строках знакомого почерка еще и еще увидеть живую Наташу, услышать дорогой голос.

*«Здравствуй, мой дорогой! Так, кажется, начинаются все письма близким и хорошим людям. Не буду в этом стандартном начале исключением и я. Ты видел когда-нибудь, как тонет человек? Тонет, но из последних сил борется за жизнь. Он захлебывается, машет руками, просит о помощи, а течением его все несет, несет... Несет туда, где глубже, где глуше и круче берег, где реже бывают люди. «Спасите!» — взывает он. А на берегу лишь один человек, который может спасти, остальные — или дети, или те, кто не умеет плавать. И вот этот человек (сильный человек!) сидит на берегу не шелохнувшись. Ты думаешь, он трус? Нет, он не трус. Он смелый и даже благородный. Но он слишком жесток. Тонет самое дорогое для него существо. И только потому, что это самое дорогое существо причинило ему боль, он не может простить обиды.*

*Я пишу тебе шестое письмо, но ни на одно из них не получила ответа. Неужели ты не мог найти время, чтобы хоть выругать меня или заставить замолчать?*

*Коля, родной мой, если бы ты знал, как я тебя люблю! Как мне тяжело! Только теперь, в разлуке, я поняла, что значишь для меня ты. Я старалась забыть тебя, не думать о тебе... Но все напрасно. Я знаю, что раздражает тебя в моих письмах Мои бесконечные просьбы переменить профессию сделали меня твоим врагом, врагом по убеждению. Но ты пойми: я не могла поступить по-другому. До сих пор я стыдилась сказать тебе всю правду, но сегодня мне особенно больно, и я, как на исповеди, признаюсь, почему я зову тебя на Урал, почему не могла стать твоей женой.*

*Помнишь тот дождливый вечер, когда я несколько часов под ливнем ждала тебя у твоего дома, а ты пришел пьяный и прогнал меня... До сих пор ты часто снишься мне таким, каким был в этот недобрый час. Я вижу тебя: с болезненным выражением лица ты читаешь мне, что «в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань»... Я вижу на глазах твоих слезы и задыхаюсь. Просыпаюсь и плачу. Плачу до тех пор, пока не обессилю и не усну.*

*В ту нашу последнюю ночь мне было невыносимо тяжело. Два часа бродила я под дождем. Потом вернулась домой и все рассказала маме. У нее начался сердечный приступ. Я думала тогда, что она умрет из-за упрямой дочери. К утру ей стало лучше, и она заставила меня поклясться памятью отца и ее жизнью, что я никогда... — ты понимаешь: никогда! — не буду твоей женой. И я поклялась, поклялась на коленях. Пойми, что тогда я не могла поступить по-другому.*

*Вот уже почти полгода, как мы расстались. Ты далеко от меня, но сердцем я чувствую, что ты мне стал еще ближе, еще родней. В мыслях я иду за тобой*

*всюду. Я готова чистить твои сапоги, сдувать пылинки с твоего сержантского мундира... Моя судьба в твоих руках. Пойми меня до конца, если хоть капля любви осталась в твоём сердце. Если бы не письма мамы, в которых я вижу, как она тебя не любит, я давно бы все бросила и приехала к тебе в Ленинград. Но ведь ты и не зовешь меня...*

*Неужели ты ни разу не вспомнил обо мне? Разве мои письма не говорят тебе, как я люблю тебя, мой большой мучитель? Отзовись хоть на эту весточку.*

*Обнимаю тебя — все та же твоя Наташа».*

Николай бережно свернул письмо, спрятал в кармане кителя. Ему хотелось с кем-то спорить, кому-то говорить обидные, резкие слова. «Клятва!.. Клятва!.. Как все глупо! И вместе с тем как страшно. Неужели все так нелепо оборвалось только из-за этой клятвы?!»

Оделся и вышел на улицу. Со стороны Невы дул промозглый, холодный ветер. Поеживаясь, с минуту постоял у заиндевелой чугунной ограды, обрамлявшей закованную льдом Мойку, по которой на лыжах катались ребяташки. Потом двинулся в сторону Конюшенной площади.

Время близилось к трем. Через два часа он должен заступить на дежурство в Петропавловской крепости, где по четвергам проходил стажировку. Как убить эти бесконечно длинные два часа?! Неторопливо дошел до Марсова поля, прошелся по набережной Невы, свернул на улицу Пестеля, потом к Кировскому мосту... Лишь бы двигаться, лишь бы не быть на одном месте... А в сознании, как сирена пожарной машины, надрывно и тревожно выло: «Клятва!.. Клятва!..»

Так незаметно для себя дошел до Петропавловской крепости. В комендатуру идти не хотелось, до дежурства еще целый час. Хотелось побыть наедине с собой, со своими думами. Игольчатый, сырой холодок забирался за ворот, пальцы ног начинало пощипывать.

С небольшой группой экскурсантов Николай направился к кирпичному зданию каземата. Что вело его к этому мрачному толстостенному склепу, он еще до конца не осознавал, но каким-то смутным чутьем уже понимал, что сегодня ему здесь необходимо быть. Только здесь мог решить он мучившую его дилемму: ответить или не ответить.

Только здесь найдет он в себе силы, которые задушат тоску.

Мрачные, заиндевелые ступени. Толстые, словно вылитые из свинца, стены. Низкий, давящий со всех сторон своими сводами коридор. Петропавловский каземат. Вот камера, в которой был заточен молодой Горький. Вот одиночка, где пытались убить медленной смертью пожизненно приговоренного узника Хлебникова. А вот и камера № 31. В ней он не раз подолгу оставался один и смотрел на привинченный к цементному полу скелет железной койки, на которую в тринадцатом году, избитого на допросе, без сознания, бросили его отца. Через эту толстую, полутораметровую стену отец перестукивался с Хлебниковым. Об этом Николай знал из рассказов матери и из писем отца. Хлебникова замучили во время допросов. Судя по его письмам, это был не только убежденный революционер, но и пламенный романтик.

Николай закрыл тяжелую железную дверь, прошел к кровати и сел на нее. Отец, которого он знал только по карточкам, тоже сидел на этом жестком ложе.

Чувствуя, как с каждой минутой приливают силы, Николай встал, выпрямился. Губы дрогнули в изломе желчной улыбки. «Она поклялась!.. Как мелко, как ничтожно!» Снова сел. Достал из планшетки блокнот и торопливо, чтоб не утратить душевного заряда, принялся быстро и нервно писать:

*«Здравствуй, Наташа! Все письма твои получил. Все шесть. Отвечаю только на последнее. Вернее, ответ получишь только на последнее. На каждое из*

предыдущих писем я исписывал тебе целые тетради. Писал по ночам, а утром перечитывал и сжигал. Кроме заверений в любви и просьбы понять меня, в них ничего не было. Все твои письма храню. В них ты ласкаешь и жалишь, жалеешь и бьешь. Но на последнее твоё письмо я отвечаю и постараюсь донести его до почтового ящика.

Письма мои ты не получала по той же причине, по которой мы расстались с тобой на Каменном мосту полгода назад. В своих письмах ты настаивала, просила, чтоб я сбросил с себя позорящий тебя милицейский мундир... тогда между нами нет китайской стены... Раньше я думал, что это твой каприз. По в последнем письме ты искренне призналась, почему мы не можем быть вместе. Ты пишешь, что поклялась матери никогда не связывать свою судьбу с человеком, у которого «в кармане мундира лежит милицейский свисток». Вот уже год ты тиранить и унижаешь меня этими просьбами.

Это письмо я пишу в одной из камер каземата Петропавловской крепости. В той самой камере, где три с половиной года пытками и голодом мучили моего отца. А рядом, за стеной, — одиночные камеры, в которых были заточены Бауман, Горький... Все они когда-то тоже клялись. Клялись собственной судьбой не для того, чтобы дети их покрыли позором дела и мысли своих отцов. Не где-нибудь, а вот в этой камере мой отец поклялся отдать жизнь за правду.

Я тебе никогда не говорил еще одной тайны. Но сейчас я не могу молчать. Меня бьет нервная дрожь, когда я пишу эти строки. Моя мать родилась в одной из камер каземата Петропавловской крепости. Бабушку мою, студентку Петербургского университета, как политическую заключили в крепость, где она умерла во время родов. Мать воспитывалась в приюте. Потом она встретила с отцом и стала его верным другом на всю жизнь.

Эти строки я пишу в одиночной камере. Мне даже кажется, что из-за плеча на меня смотрит отец и шепчет мне слова письма.

Ты помнишь мой ответ тебе на Каменном мосту? Я повторяю его. Мой отец после революции работал с Дзержинским и был убит белогвардейцами. И я горд тем, что занял его место. Называй меня как угодно: фанатиком, сумасшедшим — мне все равно.

Мне очень больно получать от тебя письма, в которых ты ставишь передо мной жестокие условия: или — или. Подумай об этом хорошенько и реши раз и навсегда.

В камере стоит могильная тишина. Как бы я дорого отдал, чтобы узнать, в какой из соседних камер родилась моя мать! Я пытался установить это по архивам крепости, но не удалось, многие документы сожжены в семнадцатом году.

Я испытываю священный трепет в этих стенах. То, что я скажу тебе сейчас, — это будет клятва. С пути своего я не сверну ни на шаг в сторону. Как и отец, останусь до конца дней верным солдатом революции.

Теперь слушай, что значишь для меня ты. Я люблю тебя. Я тоскую по тебе. Я верен тебе. Я жду тебя.

Николай»

Пальцы Николая дрожали, щеки стали пепельно-серыми. Неверный жидкий свет угрюмо сочился через высокое узкое оконце камеры, в котором проглядывал крохотный квадрат неба. От каменного пола тянуло сыроватым холодом. Николай еще раз оглядел своды, положил блокнот в планшет. В коридор вышел усталый.

По двору крепости торопливо шли экскурсанты. Под золотым шпилем Петропавловского собора кружилась стая галок. Каменные глыбы крепостной стены были покрыты белесой ледяной коркой. От всего веяло пронизывающим

холодом.

Чтобы не раздумать и не уничтожить ответ, как и пять предыдущих, Николай быстро дошел до первого киоска на Кировском проспекте, купил конверт и опустил письмо в почтовый ящик.

«Теперь все!.. Это уже не вернешь, не уничтожишь.. — подумал он. — А впрочем, все равно... Чему быть суждено, того не минуешь!..»

Повернулся и зашагал к Петропавловской крепости. Наступало время дежурства.

Не знал Николай, что письмо его, придя в маленький уральский городок, минуя Наташу, попадет в руки Елены Прохоровны. Елена Прохоровна гостила у дочери и была дома одна, когда курносая почтальонша открыла дверь и внесла с собой седое, морозное облако, которое клубами расплылось по полу и тут же бесследно растаяло.

Долго и внимательно читала Елена Прохоровна, дважды и трижды перечитывала некоторые строки, а потом скомкала письмо и бросила в печку. Наблюдая за синеватым пламенем, охватившим листы, она поблагодарила судьбу, что Наташа задержалась на работе.

Оставив на столе записку, Елена Прохоровна отправилась на почту и послала Николаю телеграмму: «Твое письмо получила. Сожалею глупом упрямстве. Только сейчас до конца поняла, что много лет ошибалась. Наступило просветление. Выхожу замуж. Прошу оставить меня покое. Можешь считать себя свободным. За все прости. Наташа».

Отправила телеграмму, присела в уголке у окошечка за маленький столик и принялась писать письмо своей двоюродной сестре, жившей в Ленинграде. Писала долго, время от времени поднимая голову и задумчиво глядя на замороженные окна. Вздыхала, тревожно оглядывалась. Письмо закончила словами: «Прошу тебя от его имени дать немедленно телеграмму, текст которой я здесь написала». Письмо отправила авиапочтой. Вышла на улицу, когда уже начинало темнеть.

Вечером Елена Прохоровна попросила Наташу сдать железнодорожный билет, который был куплен три дня назад. Сославшись на нездоровье, она решила задержаться у дочери еще на недельку.

Через четыре дня — это было в воскресенье — во время обода в дверь постучали. Вошла все та же курносая, краснощекая почтальонша с пузатой кожаной сумкой и вручила Наташе телеграмму.

Елена Прохоровна видела, как с каждой секундой блекло и вытягивалось лицо дочери. Илья Филиппович и Марфа Лукинична поняли, что случилось что-то недоброе.

В телеграмме было написано: «Твои письма меня утомили. Пора кончать игру. Считаю себя свободной. Если не хочешь причинять мне неприятностей, прекрати писать».

Эта весть словно подкосила Наташу. Два дня она не вставала с постели. Елена Прохоровна не отлучалась от больной дочери ни на минуту. И только через неделю, когда Наташа встала и отправилась в школу, мать пошла на вокзал и купила билет до Москвы.

В тот же вечер она уехала.

2

Если бы раньше Николаю сказали, что Новый год ему когда-нибудь доведется встречать как бездомному бродяге, на улице, он посмеялся бы над этими словами. Дрожать на морозе в часы, когда добрые люди сидят за праздничным столом, пьют

вино, поют песни, танцуют у елки, — невеселое дело. Но телеграмма... телеграмма многое перепутала в планах и думах Николая. Первые две ночи он совсем не мог уснуть. Вставал, закуривал, стараясь не разбудить товарищей по казарме, одевался и неслышно выходил на улицу. Но и на улице, после прогулок, ему не становилось легче. В войну Николаю приходилось лежать в госпиталях. Знал он, что такое нестерпимая физическая боль, особенно во время первых перевязок, когда бинты намертво присыхают к ранам и их отдирают с трудом. Знакомо было ему и мучительное ощущение от прикосновения холодного скальпеля хирурга в полевом госпитале, когда о наркозе не могло быть и речи... Но та боль, которая вошла в его сердце с телеграммой от Наташи, была тяжелее. Стало душно, тесно, он не находил себе места. Люди, дома, машины — все вставало перед глазами, как на экране в немом кинофильме, на который его впустили в конце сеанса, чтобы через пять минут вновь вывести из зала. На лекциях он сидел неподвижно, тупо уставившись на преподавателя. Пробовал записывать, но фразы обрывались на середине, и он засовывал блокнот в планшет.

Товарищи по курсу приглашали Николая встречать Новый год со студентами университета, но он отказался, сославшись, что идет в другую компанию. И когда наступил вечер 31 декабря, тщательно отутюжил костюм, выбрился, надел свою любимую кремовую сорочку и в десятом часу, поздравив однокурсников с наступающим Новым годом, вышел из казармы.

Предпраздничная суета большого города, где каждый куда-то спешил, что-то приобретал к столу, на елку, в подарок, текла мимо Николая. Ночь выдалась тихая, морозная. На электрических проводах, на оголенных ветвях деревьев — всюду серебрился пушистый молодой снежок. У Гостиного двора разноцветными огнями искрилась елка.

По Невскому Николай направился в сторону Гостиного двора. Перегоняя друг друга, торопились прохожие, у всех была цель, всех где-то ждали, из открытых форточек доносилась музыка, веселый говор... На лице почти каждого встречного можно было прочитать трепетное ожидание чего-то радостного, счастливого...

Стайка девушек (очевидно, студентки) с кульками и пакетами, повизгивая и пересмеиваясь, рдея разрумившимися щеками, с шумом поравнялась с Николаем. Одна из них на секунду повернула голову в его сторону, скользнула по нему взглядом и залилась звонким смехом, которой тут же потонул в заливиستم хохоте ее подруг. Николай прислушался. Девушки, как он понял по обрывкам фраз, высмеивали кого-то из своих кавалеров, кто сегодня после первой рюмки непременно станет цитировать классиков литературы.

Чинно поддерживая под локоть дородную даму (очевидно, супругу) в меховой шубе, ступал высокий седой старик с благородным лицом почтенного ученого. Из-под его старомодной бобровой шапки-боярки крупными витыми кольцами, чем-то напоминающими завихренными гребни пенистой морской волны, свисали седые локоны, «Наверное, академик какой-нибудь или профессор, не меньше...» — подумал Николай и, повернувшись, посмотрел вслед степенно удаляющейся паре.

Каждый, что проходил мимо сверкавшей огнями елки, на минуту останавливался около нее и, словно получив невидимый дополнительный душевный заряд, уносил с собой частичку новых надежд, крупицу радости предстоящего праздника. Елка безъязыко, радужным миганием огней как бы говорила людям: «Торопитесь! Торопитесь! Вас ждут друзья и близкие... Уже двенадцатый час, а по русскому обычаю принято первым тостом проститься со старым, уходящим годом...»

И все торопились. Некуда было спешить только Николаю. Обойдя елку кругом, он снова вышел на Невский, свернул на Литейный и направился в сторону Летнего сада.

Незаметно для себя Николай очутился на заснеженном Марсовом поле. По углам гранитных надгробий братских могил борцам революции стояли грустные ивы. Чуть подальше старинные, времен Пушкина, фонари лили свой печальный свет на



безмолвное поле.

На отдаленной, затерянной в сугробах скамейке Николай заметил склонившуюся женскую фигурку. Судя по тому, что фигурка не подавала признаков жизни, можно было подумать: женщина присела совсем недавно и кого-то ждала.

Николай прошел мимо. Это была молоденькая белокурая девушка с миловидным и кротким лицом. «Что ее заставило в новогодний вечер сидеть на этой холодной скамье? Свидание? Не может быть! Для встреч есть более подходящие места: магазин, кафе, у театра. А тут забралась в сугроб...» С этими смутными мыслями Николай свернул вправо, дошел до знаменитой решетки Летнего сада и остановился у мемориальной мраморной доски: «На этом месте 4 апреля 1866 года революционер Каракозов стрелял в Александра II». Взглядом он скользил по позолоте букв, а думал о другом. «Тут что-то неспроста. В такое время и на таком морозе не уединяются».

Николай повернул назад, к Марсову полю. Еще издали, не доходя до братских могил, заметил: по-прежнему неподвижно, точно окаменев, на той же скамейке сидела девушка. Он вспомнил старого профессора-криминалиста, который однажды на лекции рассказывал о необычном случае самоубийства. Неужели хочет замерзнуть? Николай ускорил шаг. Под ногами звонко похрустывал снег. Ночью подмораживало сильнее. Его горе начинало постепенно тонуть в думах, что не только у него одного сегодня нелегко на душе. Скорей всего несчастная любовь. Может быть, ее друг встречает Новый год с другой девушкой, а она со своей тоской осталась одна на заснеженной скамейке, в сугробах.

Как ни убеждал себя Николай, что нет ничего бестактного и дурного в том, чтобы приблизиться к скамейке, на которой дрогла девушка, подойти к ней он все-таки не решался. «Еще, чего доброго, подумает, что пристаю...»

У Лизиной канавки постоял несколько минут у чугунных перил моста и двинулся к Невскому проспекту.

Было уже половина двенадцатого. Прохожие теперь не просто спешили, торопливо прибавляя шаг, а бежали. На такси набрасывались буквально толпами. Николай глядел на эту праздничную толчею и испытывал неприятное, тревожное чувство, как будто забыл что-то там, откуда только что пришел. Он оглянулся.

Сквозь проредь подстриженного голого кустарника на Марсовом поле увидел все ту же согбенную фигурку девушки. Она по-прежнему неподвижно и одиноко сидела на скамейке. Чтобы отогнать назойливую мысль, которая упорно преследовала его («Неужели это то, о чем говорил профессор?»), он всеми силами пытался переключиться на другое.

«Наташа!..» Николай ускорил шаг. Вдали, в конце тускло освещенной улицы, поблескивал туманными огнями Невский. Воспоминание о любимой унесло в другой мир. Своя боль перехлестнула думу о чужих страданиях.

До армии Николай ни разу не встречал Новый год с Наташей. Потом война... Новый год приходилось — конечно, без нее! — встречать то в блиндаже, то в госпитале, а то и просто в промерзшем окопе. И только после армии всего лишь один раз ему довелось встретить Новый год с ней. Это были счастливые минуты в жизни. Бал в университете на Моховой... Гремели оркестры — их было несколько... В воздухе змеились разноцветные ленточки серпантина, серебряным снегом кружилось конфетти. И маски, кругом маски — смешные, загадочные... Он танцевал с Наташей всю ночь. Не от вина, а от счастья кружилась голова. Была рядом она! Самая красивая девушка в мире. Она любила его, любит и, стыдливо краснея, во время вальса украдкой целует в щеку. Целует раз, потом другой... И шепчет, забыв, что кругом люди: «Люблю, люблю! Ты слышишь, люблю!..» Все это было, было... Теперь от этого остался на душе только горьковатый осадок и тупая, саднящая боль. Как будто наступили на самое сердце и не сходят. Давит, жмет эта невидимая нога на грудь. И душно... Душно даже в эту морозную новогоднюю ночь.

Но вот и опять елка у Гостиного двора. Оглядевшись кругом, Николай увидел, что у елки он один. Почему никого нет? Где же народ?

В отдалении, попыхивая трубкой, согревался, переминаясь с ноги на ногу, старикашка в длинной, облицованной сукном шубе. Это был сторож елки.

Старичок подошел к Николаю и сочувственно, не без любопытства спросил:

— А ты чего, сынок, не на месте? Не при канпании почему?

Стараясь улыбнуться, Николай как-то неестественно бодро произнес:

— Да так, отец... Приезжий я, на вокзале нахожусь, вышел посмотреть город. — И, обрадовавшись, что солгал убедительно, продолжил: — Поезд отходит через два часа, вышел полюбоваться городом.

— Ну и как?

— Красив!.. Не видал таких городов. Век бы из него не выезжал.

Старичок, как оказалось, был потомственный ленинградец. Похвала незнакомца польстила ему. Ощупывая правый карман шубы, он спросил:

— Сколько времени?

— Без десяти двенадцать.

— Тогда пора.

— Что «пора»?

— Пора за дело... — Сторож достал из кармана шубы четвертинку водки, ломоть черного хлеба, кусок сала и стопку. Все это было у него аккуратно завернуто в газету. — Давай-ка, сынок, по махонькой, простимся с прошедшим. — Проворно, одним ударом огрубелой ладони по доньшку старик распечатал четвертинку, налил стопку и протянул Николаю: — Держи, я ведь от чистого сердца. Не гляди, что я всего-навсего сторож, а ты, может, большой начальник. Мы, питерцы, хороших, негордых людей привечаем. Ну, держи-ка, держи!.. Чего стоишь, аль брезгуешь?

Николай взял стопку, выпил двумя крупными глотками. Пока пил, сторож сунул ему в руку кусок хлеба и ломтик холодного сала.

— Спасибо! Большое спасибо...

Морщась и трясая головой, старик тоже выпил. Провел ребром ладони по серым, прокуренным усам и понюхал хлеб.

Остатки водки и закуски он спрятал в бездонном кармане шубы.

— А это, — он постучал ладонью по боку, где находился карман, — поднимем за Новый год. Еще хватит по одной.

— Нет, отец, с меня достаточно. Спасибо и на этом. Пойду, а то жена заждалась. Одну оставил на вокзале.

Артельный по своей натуре, дед не хотел встречать Новый год в одиночестве. Да и незнакомец показался ему человеком, располагающим к себе, душевным.

— Нет, дорогой, уж если вместе со старым годом прощались, то давай вместе и новый встретим. А то обидишь старика. Сколько там накачало на твоих серебряных?

Николай взглянул на часы:

— Без двух минут двенадцать.

— Самый раз.

Старик был настойчив. Пришлось выпить по второй: за счастье в новом году. А когда пустая четвертинка потонула в кармане шубы, дед достал пачку дешевых папирос:

— Закурим!

— Спасибо, не хочу.

Сторож закурил. Пуская голубоватый дымок, он проговорил:

— Вот теперь можешь спешить к жене. Целый год не виделись. Расстались в одном, а встретитесь в другом году. — Показывая свои прокуренные, желтые зубы, старик залился добродушным смешком.

Николай долго жал огрубевшую руку сторожа и, глядя в его серые открытые глаза, думал: «Вот она, святая простота. Все нараспашку, никакой хитрости, последний сухарь пополам». Поблагодарил за угощение, пожелал здоровья и счастья в новом году. И пошел от елки. Долго еще он спиной чувствовал на себе взгляд старика.

Улицы были почти пустынные. Зато там, в домах, за освещенными окнами, в теплых квартирах, кипела жизнь. Николай шел, не зная куда. Нигде его не ждали. Вдруг рядом с воображаемыми парами танцующих он представил себе сжавшуюся фигурку незнакомой девушки. Она сидела на скамейке и замерзала... «Ее нужно спасти!» — мелькнуло в голове Николая, и он свернул к Марсову полю. Через несколько минут он оказался около гранитных глыб братских могил. Девушка сидела все на той же скамейке и в той же позе. Николай даже обрадовался, что она не ушла, что у него есть возможность помочь чужому горю. Теперь он не раздумывал, как отнесется она, если он заговорит с ней. Молча сел на край скамейки и закурил.



Запрокинув голову, девушка тихо всхлипывала. Ее приглушенные рыдания болезненно отдавались в душе Николая.

— Я прошу прощения... — Голос Николая дрогнул. — Мне кажется, у вас несчастье. Может быть, я могу помочь?

Рыдания усилились, стали горше. Николай подвинулся ближе к девушке, слегка коснулся ее плеча:

— Что случилось? Ведь так можно простудиться! Вы очень давно сидите на морозе, вам нужно идти домой.

Девушка по-детски горько всхлипывала. Ее плечи судорожно вздрагивали, по щекам двумя струйками текли слезы.

Николаю хотелось по-братски пожалеть, утешить добрыми словами плачущую. Только теперь обратил он внимание на ее старенький, вытертый воротник из грубой цигейки, который был неуклюже пришит к коротенькому, почти детскому пальтецу, еле достающему до колен. Пушистые ресницы девушки при каждом всхлипывании вздрагивали и темными подковами-метелками ложились на нижние веки. Были секунды, когда Николаю казалось, что она спит.

— Почему вы здесь в Новый год?

Сквозь всхлипы девушка проговорила:

— Оставьте меня...

Ответ еще больше озадачил Николая.

— Ведь вы замерзнете. Что случилось?

Продолжая всхлипывать, девушка ответила:

— Мама...

— Что с ней?

— Умерла...

Девушка закусила губу и изо всех сил крепилась, чтоб снова не разрыдаться.

— Когда умерла мама?

— Неделю назад.

Николай хотел сказать что-то утешительное, от чего собеседнице стало бы легче, но, как на грех, на ум ничего не приходило.

— Вы хоронили ее?

— Нет... Мне только сегодня об этом сообщили.

— Откуда вы сами?

— Из деревни...

Разговор походил на допрос. Николай это чувствовал, но что было делать, если он с трудом добивался даже таких скудных ответов.

— А здесь, в Ленинграде, что делаете?

— Учусь.

— Где?

— В институте.

— Живете в общежитии?

Девушка не ответила.

Такое же щемящее чувство жалости Николай испытывал в сорок первом году, при отступлении, когда видел, как плачут испуганные, оставленные на произвол врага люди, которых ждала неволя. Видел, а помочь ничем не мог, и от этой беспомощности еще тяжелее становилось на душе.

— Пойдемте, я провожу вас до общежития. Вы можете простудиться и заболеть.

— Я... не из общежития.

— А где вы живете?

— У тети. Она уехала на праздник в Москву.

— Как вас зовут?

— Наталка.

— Вы остались одни?

— Да.

Николай поднялся со скамейки, твердо взял девушку за руку и помог ей встать на

ноги.

— Вставайте... Вы же совсем заоченели! Где вы живете?

— На Васильевском острове.

Боль, которая всего лишь полчаса назад не давала Николаю покоя, начинала утихать.

— Что же вы стоите? Пойдемте.

Девушка сделала шаг и чуть не упала. Николай успел подхватить ее.

— Что с вами? Вы больны?

— Ноги... Что-то ноги не чувствуют... — тихо простонала она.

На счастье, неподалеку, со стороны главного входа в Летний сад, показалась такси. Николай усадил девушку на скамейку, выбежал на дорогу и остановил машину.

Он нес на руках девушку, которой, казалось, теперь все было безразлично: куда ее повезут, кто повезет... Она чувствовала только, как кружится голова, как саднят ступни ног...

— В больницу! — бросил Николай шоферу.

— В какую?

— В ближайшую!

Шофер резко взял с места и через несколько минут подкатил к старинному особняку с колоннадой, увенчанной массивными атлантами.

На руках Николай внес девушку в приемный покой, снял с ее ног стоптанные ботинки. Они были холодные и каменно гремели. Только теперь, стоя на коленях, он рассмотрел глаза незнакомки. Они были большие и голубые. И не просто голубые, а бездомно голубые и печальные. Они как будто с обидой спрашивали: «Зачем вы все это сделали?.. Я хотела умереть...» Но тот же взгляд одновременно говорил: «Вы хороший и добрый человек... У вас, наверное, сегодня тоже несчастье... Вам трудно, но я ничем вам не могу помочь. Вы видите, какая я беспомощная...»

Девушку положили в больницу.

Спускаясь по запорошенным ступеням крыльца, Николай вдруг хватился, что не спросил фамилии девушки. Хотел вернуться, но раздумал: «Зачем? Такие завязки хороши только в романах да в кино. А тут — жизнь...»

Было половина первого. Скользя взглядом по окнам первых этажей, в которых горели огни елок, Николай думал: «Там, в этих теплых, сверкающих огнями квартирах, льется вино, там гремит музыка... Там стучат счастливые сердца...» Воображение понесло его все дальше и дальше. Вот он уже видел, как где-то на Урале, в маленьком городке, сейчас идет свадьба. Красивая, стройная Наташа сидит рядом с видным плечистым уральцем, и пьяные гости наперебой кричат: «Горько!.. Горько!..» Молодые стыдливо целуются. И снова: «Горько!.. Горько!..»

А что, в Новый год часто бывают свадьбы. Свадьбы в это время — в русском обычае.

Проходя мимо ресторана, Николай остановился. На дверях висела целлулоидная дощечка: «Свободных мест нет». Тут же, у дверей, двое подвыпивших мужчин упрашивали огромного седобородого швейцара в золотой ливрее вынести им из буфета водки. Казалось, вряд ли найдешь во всем Ленинграде другого старика с такой внушительной окладистой бородой.

— Ну, батяня, сделай!.. Будь же человеком! — молил небольшой, средних лет мужчина с рябоватым лицом. — Имей сознание, ведь Новый год! Только что с поезда все магазины обегал, везде закрыто... Ну, батяня...

Его партнер в фуфайке, помогая товарищу, делал просительные мины. На него нельзя было смотреть без смеха. Казалось, не уважь его просьбы — он упадет тут же у дверей и умрет от отчаяния.

— Сделай, отец! Войди в положение-

Николай остановился: «А что, если и мне купить да выпить со сторожем у елки?» Он достал из кармана бумажник в тот самый момент, когда швейцар, наконец смилостивившись, открыл дверь и басовито прогудел:

— Давайте, да побыстрей... У нас с наценкой. Живенько по 45 целковых.

Деньги у всех были наготове. Швейцар захлопнул дверь, закрыл ее на огромный крюк и скрылся в вестибюле, откуда неслась джазовая музыка и веселый ресторанный гул. Вскоре швейцар вернулся. Важно открыл дверь и молча передал водку. Мужчина с рябоватым лицом приподнял над головой бутылку, поцеловал донышко, а потом, приложив правую руку к сердцу, прокричал сквозь толстое дверное стекло:

— Папаня, дай бог тебе на своих ногах проходить еще сто лет! Выпью за твое здоровье... — Помахал старику рукой и исчез в ближайшем переулке.

Николай, боясь, что старик у елки уже отдежурил, торопливо направился к Гостиному двору. И когда издали увидел по-воробьиному прыгающую вокруг елки, ершистую фигуру в длинной неуклюжей шубе и в серой собачьей шапке, обрадовался. В эту ночь старик был для него самым близким человеком.

— Ты чего это? Неужто опоздал на поезд? — обеспокоенно спросил сторож. В глазах его светилась искренняя тревога.

Николай вспомнил, что раньше сказал неправду о вокзале.

— Понимаете, опоздал. С горем пополам билет пере-компостировал на другой поезд, на утро... — Он достал из кармана бутылку, огляделся по сторонам: — А теперь, отец, прими мою хлеб-соль. Жалко, что закусить нечем, но... — Он развел руками. — Уж больно строга жена. Тайком ушел.

— Все они одним миром мазаны. Моя тоже с норовом. Если попадет вожжа не туда, куда нужно, спасу нет. А насчет этого, — он кивнул на водку, — сколько живу со своей — столько и маюсь. Заела.

Николай распечатал бутылку и еще раз настороженно осмотрелся по сторонам. Он боялся встретить патрулей из училища.

— Выпьем за здоровье и счастье в новом году!

Старик поспешно, не скрывая радости, достал из шубы стопку, подставил под горлышко бутылки. А когда выпил, то на секунду закрыл глаза и блаженно закачал головой:

— Фу ты, мать честная, ласточкой завилась! Ну и пошла! — Он отломил корочку хлеба, понюхал ее, а остатки ломтя протянул Николаю.

Николай тоже выпил и закусил хлебом.

— Может, еще по одной? — спросил он, глядя в веселые глаза сторожа.

— А не много ли будет, сынок? Все ж таки я на работе.

— Да это верно, пожалуй, хватит. — Николай заткнул бутылку, и это заметно

встревожило старика.

— А по чести говоря, для мороза еще по одной не мешает. Да и за знакомство пропустить надо. Гора с горой не сходится, а человек с человеком может сойтись. Давай еще по махонькой!

Видно, что старик был «не любитель» выпить. Весь он как-то помолодел, стал выше ростом, раздурманился. После второй стопки блаженно тряс головой и, вытирая ладонью усы, представился:

— Зовут меня Фролом Маркелычем. Игнашкин моя фамилия. Не слыхал? В семнадцатом году Зимний штурмовал. Самого Ильича встречал на Финляндском, когда он приехал в апреле в Питер. В гражданскую два ранения имел, и орден есть за нее, а в последнюю две медали за храбрость получил. От пожара мастерские спас. Сам чуть не сгорел, а мастерские спас! — Старик распахнул шубу и обнажил старенький пиджак, на котором блестяще орден Красного Знамени старого образца и медали «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». — Запомни, сынок: Фрол Маркелыч Игнашкин, родом из Рязани, в Питере с пятого года.

Видя, что сторож разошелся не на шутку, Николай жестом остановил его:

— Извините, Фрол Маркелыч, мне, пожалуй, пора идти. Чего доброго, опоздаю и на этот поезд. Так что желаю вам счастья и здоровья.

— Как?! А... — Старик замялся и остановил взгляд на кармане пальто Николая.

— Мне больше нельзя, отец. Я в дороге. А потом жена у меня уж больно... — Николай махнул рукой. — Если не побрезгуете, то оставьте это себе. — Он протянул старику бутылку. — Только сейчас больше не пейте. Вы на работе.

Старик хитровато прищурил левый глаз, склонил набок голову и, грозя пальцем, словно по большому секрету, проговорил:

— Эх, сынок, сынок!.. Кого ты учишь?! Фрола Маркелыча Игнашкина? Да ты спроси на всем Кировском заводе — кто не знает Игнашкина?! Ученик, несмышлениш еще и тот скажет тебе, кто такой Игнашкин. У меня на завод пожизненный пропуск, на каждом профсоюзном собрании с речью выступаю, сам директор при встрече кепочку снимает... А ты мне говоришь, не запьяней. Я меру свою знаю. А это ты убери. — Он отстранил бутылку. — Худо ли бедно живем, а в красный праздник всегда на столе стоит. От водки старик наотрез отказался. Но ему очень не хотелось расставаться с Николаем. Хотелось поговорить еще, излить свою душу. Прощаясь, он чуть ли не повис у него на руке, все доказывая, кто такой Фрол Игнашкин.

— А как он вышел из поезда, да как подхватили мы его на руки, да через всю площадь к броневнику несем. А он, родной наш Ильич, как встал на броневик вот так, — старик решительно выбросил вперед руку, — да как фуражку свою снял... И заговорил. А как говорил! По спине аж мурашки пробежали...

Николай почувствовал, что ноги его коченеют. Уже три часа он на морозе. По телу расплывался озноб.

Простившись со стариком, который еще больше расчувствовался, когда стал вспоминать свою молодость, Николай направился домой, в казарму. Перед глазами вдруг всплыла картина приезда Ильича на Финляндский вокзал в Петроград. Он отчетливо видел лицо вождя. Видел, как грубые, натруженные рабочие руки подняли его над головами и понесли, понесли... Среди незнакомых, но близких ему худощавых лиц рабочих он узнает лицо Фрола Игнашкина. Хоть Фрол Маркелыч и неказист и ростом невелик, но и он на цыпочках тянется к Ленину, чтобы и его рука коснулась родного и великого человека. Николай даже видит, как на глазах Фрола Игнашкина навернулась слеза, которую он сбил шершавой ладонью.

У больницы, мимо которой он проходил, возвращаясь в казарму, Николай остановился. В одном из окон горел свет. Это, очевидно, было окно приемного покоя.

За каждым черным четырехугольником заиндевелою окна на койках лежат больные. «Спят ли они сейчас, в новогоднюю ночь? Пожалуй, мало кто спит... У каждого есть дом, семья, свои радости и заботы. Мыслями и сердцем каждый с родными и близкими. И в одной из палат лежит девушка, о которой в эту ночь, наверное, никто не подумает, никто ее не вспомнит. Кроме меня, никто даже не знает, что Новый год она встречает в больнице».

Заиндевевшие, холодные атланты с мощными геркулесовскими плечами застыли вечно напряженной позе. Глядя на них, Николай в какую-то минуту ощутил на своих плечах тяжесть, которую держали на себе каменные молчаливые гиганты.

«А что, если узнать фамилию? Чтобы хоть оставить записку, поздравить с Новым годом, пожелать здоровья. Завтра ей будет приятно это получить...»

Некоторое время он колебался, стоял на холодных каменных ступенях у парадной двери, потом решительно постучал. Открыли не сразу. Пришлось барабанить каблуками ботинок. Голос у пожилой няни был хрипловатый, сонный.

— Кто там?

— Откройте, няня, мне необходима одна справка.

— Какая тебе справка? Здесь не выдают никаких справок, здесь больница, а не домоуправление...

— Мне нужно узнать фамилию девушки, которую час назад положили с обмороженными ногами.

Спросонья няня не могла понять, что от нее хотят, и открыла дверь, но когда цель посещения мужчины, от которого пахло водкой, стала ясна, она замахала руками:

— Ишь чего надумал!.. Нализался как сапожник и припер середь ночи узнавать фамилию! — Не давая Николаю раскрыть рта, няня причитала: — Ты мне не тумань голову, я вижу, кто ты есть. Вот позвоню в милицию. Ишь какой! Налижется винушка и ломится куда ни попало. — И захлопнула перед носом дверь.

Николай почувствовал всю нелепость своего положения: его приняли за пьяницу.

В казарму Николай не вернулся до тех пор, пока из дежурной комнаты соседнего отделения милиции, где ему пришлось предъявить удостоверение курсанта, не узнал у дежурной сестры больницы интересовавшую его фамилию. Наталья Петренко. Она была студенткой второго курса медицинского института и проживала по улице Соболевского в семнадцатом доме.

...Заснул Николай уже утром. Перед глазами чередой, одна за другой, проплывали картины: веселая свадьба Наташи, седобородый швейцар ресторана, могучие атланты, фигурка одинокой девушки на скамейке... Тоскливые глаза ее смотрели на него в упор и спрашивали: «Зачем вы это сделали?! Лучше б мне умереть...» Потом и эти глаза заволкло белесым туманом. Но туман рассеялся, и перед ним предстала могучая картина темного ночного неба, проткнутого пиками прожекторов. К броневнику со стороны вокзала кадровые питерские рабочие в фуражках и промасленных блузах на руках несут Ленина... В этом живом, мускулистом потоке Николай отыскал Фрола Игнашкина. Он тоже тянет к вождю свою в шрамах и ссадинах руку. Даже непрошеную слезу, которую Игнашкин стер со щеки шершавой ладонью, и ту отчетливо заметил Николай.

3

Всю ночь Наталку мучил жар. Отошедшие в тепле ноги горели, пальцы ломило, и в



такт каждому удару сердца в них пульсировала острая игольчатая боль. А когда под утро наступили минуты полусонного оцепенения и из сознания куда-то, словно в бездну, провалилась картина похорон матери, перед глазами встали дорогие сердцу дни детства. Особенно неотступно всплывал в памяти весь заросший лопухами, ежевикой и красноталом берег речушки Пескаревки. Вот она, пробираясь сквозь спутанные кусты ежевики, отчетливо слышит зычные, утробные удары валька. Раскатисто и гулко несутся эти удары над водой и, взрыгнув где-то вдали, умирают. Наталка знала, что это ее мать полощет белье.

Наталка раздвигает густые кусты краснотала и видит, как в сильных загорелых руках матери легко взлетает деревянный валец, с которого радужным веером срываются крупные чистые капли воды. Мать кладет только что прополосканную в воде отцову парусиновую куртку на гладкий серый камень и со всего размаху бьет по ней вальком. И снова над речкой зычными выстрелами раздаются раскатистые звуки.

— Мама, смотри, какую я стрекозу поймала! — восторженно визжит Наталка, подбегая к матери.

Та поднимает свою красивую, гладко причесанную на пробор голову и смотрит на дочь карими лучистыми глазами, над которыми взметнулись черные брови. Мать улыбается. Ее ровные зубы слились в сплошной бело-кипенной ленте, которая под вишневыми полосками влажных губ резко бросается в глаза.

— Доченька, отпусти, пусть летит, она тоже хочет жить.

Наталка отпускает стрекозу. Та, словно не веря, что ее освободили, трепещет крылышками, не двигаясь с места, потом неровными толчками слетает с маленькой ладошки Наталки. Описав в воздухе кривую, стрекоза садится на куст ежевики.

А потом они с матерью узенькой стежкой через огород возвращаются домой. Мать развешивает на веревках белье. Наталка забирается на самую высокую раскидистую вишню и смотрит из-под ладони на проселочную дорогу. Скоро с поля должен на обед приехать отец. Уже третий год он назначается бригадиром полеводческой бригады. Наталка гордится тем, что отец ездит на красивом рысаке в серых яблоках. Еще издали завидев беговые дрожки, она стремглав несется по пыльной дороге, чувствуя, как трепыхаются на голове ее светлые, с ржаным, золотистым отливом, косички. Отец подвозит ее до дому, потом поднимает высоко на руки. «Видишь, — кричит он, — Москву?» Как ни старается Наталка таращить глазенки, никакой Москвы ей разглядеть не удается.

Отец был высокий, с покатыми тугими плечами.

Освободив лошади чересседельник и подпруги, он разнуздывает ее и ставит под навес. Наталка любила смотреть, как Орлик — так звали лошадь — смачно и вкусно жевал овес, как, всхрапывая, фыркал он своими нежными ноздрями и как дрожали при этом его бархатистые губы. А когда у Орлика кончался корм, Наталка украдкой пробиралась в сенцы, нагребала из мешка целый подол овса и, незаметно прошмыгнув мимо дверей, высыпала корм в деревянное корыто перед Орликом. В знак благодарности рысак как бы делал немой поклон, трогая нежными губами загорелое худенькое плечико девочки.

Но недолго пришлось Наталке быть балованной и любимой. Грянула война. В первые же дни отца вызвали в военкомат и отправили в Полтаву. Словно вешун чуяло сердце матери, когда она, плача в голос, собирала отца в дорогу. Припав к нему на грудь, она с трудом выговаривала горькие прощальные слова. Как-то сразу осунувшийся и посеревший в лице, отец сжимал ее плечи в сильных руках и принимался успокаивать:

— Да что с тобой, Ирина?! Ведь не хоронишь же ты меня. На финскую уходил — слезинки не проронила. А тут... Ну, успокойся, слышишь...

Глядя на слезы матери, плакала и Наталка.

А вечером три пароконные брички с мобилизованными скрылись в клубах горячей, удушливой пыли, повисшей над проселочной дорогой. Мать вместе с другими солдатками долго-долго смотрела из-под ладони туда, где, как живое, катилось над раскаленным шляхом серое облачко. Когда же дымчатый клубок растаял совсем, она вернулась домой, упала на широкую лавку и горько, безутешно плакала.

А потом... Потом наступило страшное. В деревню, стоявшую на старом гетманском шляху, вошли немцы. Они ворвались на своих танках и бронетранспортерах, запрудили улочки и переулки машинами, пушками, минометами, тракторами-тягачами... За какой-то час в колодцах была вычерпана вся вода. Хорошо, что за огородами протекала речка.

Деревня поникла, поблекла. Трава и деревья покрылись толстым слоем пыли. В воздухе пахло бензином, горелым порохом. В первый же день сгорели лучшие дома: школа, больница, клуб. От правления колхоза, в которое при обстреле угодили большой снаряд, остались одни развороченные бревна.

К вечеру немцы ушли, оставив в деревне комендантскую службу и регулировщиков.

Но беда только дала о себе знать. Она пришла несколькими днями позже, когда в знойный полдень часовой у комендатуры принялся осатанело бить в рельс, висевший на дереве. Отряд эсэсовцев тем временем выгонял из домов всех, кто мог ходить. Через полчаса площадь перед сельсоветом, в котором разместилась немецкая комендатура, гудела мерным, приглушенным рокотом. Собрались все: молодые и старые, женщины и мужчины, матери принесли с собой грудных детей.

Как сейчас, Наталка видит себя совсем еще девочкой, у которой от волнения и страха пересохло во рту. Никогда не забудет она выражения глаз матери, в которых сверкали искры затаенной злобы.

Немецкий майор, высокий и сутуловатый, медленно сошел по скрипучим ступеням с крыльца комендатуры на площадь, не спеша натянул красивые белые перчатки и, картинно играя плеткой, направился к притихшему сходу. Он сказал что-то по-немецки и оглядел толпу. Слова коменданта переводчик повторил по-русски. Было приказано: тем, на кого покажет комендант, отойти к крытым пустым машинам, которые стояли у сельсовета. Машин было четыре.

Чтобы народ не разбежался, сзади по знаку коменданта (в это время майор поднял рукоятку плети) пулеметчики дали поверх толпы несколько очередей.

— Тот, кто вздумает ослушаться приказа, будет расстрелян на месте! — отчетливо, на чистом русском языке повторил переводчик слова коменданта и тупо посмотрел на губы поджарого сутуловатого майора.

Немец, постукивая рукояткой плети по голенищу, прохаживался по площади.

Наталка все еще не понимала, зачем здесь так много народу. Происходящее она поняла лишь тогда, когда майор приблизился к ее матери и неожиданно круто остановился. Прищурив один глаз, он оглядел ее с ног до головы, потом уперся рукояткой плети в грудь и криво ухмыльнулся.

— Зер гут фрау, — произнес он все с той же ухмылкой и хотел было коснуться ее груди, но случилось то, чего никто не ожидал. Резким и сильным движением мать выхватила из рук фашиста плеть и швырнула ее в сторону.

— Собака!.. — злобно проговорила она и закусила нижнюю губу.

Офицер достал пистолет, неторопливо взвел курок, медленно, как в учебном тире, поднял руку. По толпе пронесся сдавленный вздох — так ухает в глубоком колодце сорвавшееся с веревки ведро с водой.

Все ждали выстрела. Майор долго целился в лицо матери, а она, гордо подняв голову, ждала своей последней минуты.

Офицер, видя, что женщина даже не дрогнула, опустил руку и повернулся к переводчику. Он велел спросить у обреченной, что она хочет сказать перед смертью. Переводчик повторил вопрос по-русски. Мать разомкнула пересохшие губы и со стоном проговорила:

— Скажи ему, что с безоружными бабами воевать легко... — Злая улыбка пробежала по ее лицу.

Майор вложил пистолет в кобуру и что-то скомандовал солдатам, стоявшим за его спиной. Те со всех ног кинулись к матери, заломили ей руки и поволокли в комендатуру. Наталка видела, как упиралась она ногами в ступеньки крыльца, как изо всех сил пыталась вырваться, но солдаты грубо подняли ее на руки и внесли в сенцы комендатуры.

Что было дальше, Наталка помнит плохо. Все плыло, как в тумане... Смутно припоминается только одно: она кинулась за матерью, но на крыльце ее схватил за косы часовой и швырнул по ступенькам вниз. С разбитыми губами она еще раз попыталась проскочить в сенцы комендатуры, но удар прикладом сбил ее с ног. Наталка ощутила во рту что-то липкое, солоноватое. А когда очнулась, то увидела: четыре крытых грузовика были набиты людьми.

Заведены моторы. Поддерживаемая под руки двумя здоровенными солдатами, по ступенькам сходила мать Наталки. Лицо ее в кровоподтеках, губы походили на свежую рваную рану, волосы растрепаны. А в больших карих глазах застыл такой ужас, что, встретившись со взглядом матери, Наталка почувствовала, как ноги у нее подкосились. Она упала на колени:

— Мама! Мама!..

Мать рванулась к дочери, но солдаты заломили ей руки. Она глухо простонала:

— Прощай, доченька...

Как посадили мать в машину, как подобрала Наталку бабка Апросиниха и принесла к себе домой, девочка не помнила. В тот же вечер она заболела и без сознания, в бреду пролежала два дня. Лишь на третий открыла глаза и никак не могла понять, где она находится.

...Был сорок первый год. Горели хлеба... Пролетали над Украиной косяки немецких истребителей и бомбардировщиков. Месили грязь и поднимали пыль танки и пушки-самоходки. Буксовали на разбитых дорогах колонны автомашин с солдатами и снарядами. И все это двигалось на восток... Кажется, не было конца и края этой черной силе, которая разоряла разбитые, полусожженные деревни.

Вслед за летом наступила дождливая осень. После осени пришла холодная, ветреная зима. Железные лавины с черной свастикой все текли и текли. К сердцу России, к Москве...

Весной с первыми подснежниками в сердце Наталки вдруг светлячком вспыхнула надежда, что не за горами тот день, когда войска, в которых сражался ее отец, придут в деревню с востока и, даже не отдохнув, двинутся на своих грохочущих танках в ту сторону, куда увезли мать — в Германию.

Отцвели подснежники... Зацвели вишни и яблони. Надежда еще сильнее застучала в детском сердце. Отец так любил открывать в это время окна в сад!

Отцвели вишни и яблони... А советские краснозвездные танки все не показывались. Лишь с запада, куда увезли мать, все шли и шли новые пополнения солдат, одетых в зеленую форму.

Нарядив в червонное золото деревья, осень тихо, беззвучно плакала над погибшими русскими воинами, роняя над их могилами кленовые желтые слезы. И печальный ветер тихо и уныло пел погребальную песню над холмиками безымянных героев.

В декабре золотой наряд над могилами зима покрыла белым пушистым саваном. Скорбела и плакала Украина. Но сердце в ее широкой груди стучало гулко. Она жадно прислушивалась к тому, что делалось под Сталинградом. Там решалась судьба войны.

...И снова весенние подснежники тарачили свои пушистые глазенки в голубое небо Украины. Таких подснежников не было в Сталинграде, там земля была сожжена и смешана с железом и камнем. Зато в украинских степях подснежники тянулись к солнцу и были венком для тех, кто остался лежать в земле Сталинграда.

И вот наступил наконец тот долгожданный день... Великий день! Недаром школьники, которым пришлось узнать, что такое немецкая неволя, в своих классных сочинениях на тему «Самый памятный день в моей жизни» с волнением описывают, как вступали советские войска в родной город или село.

Наталка задыхалась от счастья, когда увидела, как мимо огородов отступали немцы. Она даже позабыла страх и распахнула настежь окно, чтобы отчетливей слышать, как где-то совсем недалеко грохочут наши танки, как на окраине деревни рвутся снаряды... Бабка Апросиниха, пугливо выглядывая из погреба, крестилась при каждом разрыве. Она то принималась ругать Наталку, то умоляла спуститься в убежище, но та, раскинув широко худенькие руки, уперлась ими в косяки окна и восторженно кричала:

— Наши!.. Ты слышишь, бабушка, наши идут!..

Чувства безудержной радости и восторга, которые распирала грудь Наталки, постепенно передались и бабке Апросинихе. Вылезая из погреба, она после каждой ступеньки крестилась и приговаривала:

— Слава тебе, господи! Дожила до светлого денька. Теперь и умирать можно! Дождалась своих соколик! — По ее морщинистым щекам текли слезы. На коленях она проползла в угол, где под самым потолком висела закопченная икона божьей матери, и принялась класть поклоны.

А снаряды рвались совсем близко. Один угодил где-то рядом с хатой. С дребезгом посыпались стекла. Не шелохнувшись, Наталка стояла у распахнутого окна и смотрела туда, откуда вот-вот должны показаться солдаты с красными звездочками на пилотках. Они ей часто снились по ночам...

Когда перед самым окном хаты прогудела грузовая машина, за рулем которой сидел седой, с искаженным от страха лицом немецкий офицер, Наталка увидела, как из-за дубовой роши выполз, вытянув свой орудийный хобот, краснозвездный танк. За ним показались еще танки. Девочка не могла больше оставаться в хате. Выпрыгнув из окна, она выбежала на дорогу и кинулась навстречу гремящим машинам.

Наталка не помнит, как очутилась в объятиях высокого пожилого танкиста, который подхватил ее и прижал к груди. Обвив руками потную шею солдата, она рыдала от счастья... А когда опомнилась, то увидела, что вся деревня вышла на улицу приветствовать освободителей. Даже бабка Апросиниха и та приковыляла к танкам. Одной рукой она вытирала слезы, другой крестила загорелых и прокопченных солдат:

— Спаси вас бог!.. Спаси вас бог, детки мои!.. — Это единственное, что могла она выговорить. Губы ее дрожали, руки тряслись.

Дед Евлампий, живший в переулке на отшибе, принес на железном листе только что подсохший рубленый самосад и потчевал им солдат. Солдаты тянулись к листу,

шепотками брали табак и тут же вертели огромные самокрутки. На этот же лист с самосадам чьи-то руки клали ответные подарки: немецкие трофейные сигареты, куски мыла, кто-то положил красивую зажигалку, металлический портсигар, гвардейский значок...

Растроганный дед Евлампий долго не мог выговорить ни слова. Наконец справился с волнением:

— Да за что же это, сынки? За что честь такая?! Спасибо, спасибо, родные... — А у самого слезы... Неудержимые слезы текли из глаз и скрывались в бороде. Высокий, худой и загорелый, он был точно высечен из дубового корневища, а вот слезы подвели... Не выдержал.

Молоденький шустрый танкист с белесыми усиками подскочил к деду и, свинтив с фляги колпачок, налил в него трофейного рому:

— Давай-ка, дедушка, за возвращение! За победу!

Старик выпил даже не поморщившись.

Раздалась команда «По машинам!», и все потонуло в реве моторов, лязге гусениц, грохоте прицепов...

Теперь уже Наталке жилось легче. И только один червь день и ночь, не переставая, точил ее сердце: что с матерью? Где она? Жива ли?

Не было писем и от отца. А через два месяца после освобождения, в сырой, пасмурный день, пришла похоронная. Командир части писал на имя Ирины Петренко, что муж ее, Петр Гаврилович Петренко, погиб смертью храбрых в бою за Советскую Родину.

Как подкошенный цветок, рухнула Наталка на расшатанную деревянную кровать, накрытую рядом.

Где-то под Орлом выросла новая солдатская могила, над которой в немом молчании стояли уставшие от боев однополчане. Потом прозвучал троекратный ружейный залп: последняя почесть воину.

...Весной сорок пятого года, в мае, девятого числа, пролетела над страной весть о том, что война кончилась. Победа!..

*Победа!.. Короткое слово,*

*Короче, чем сабельный взмах.*

*А взглянься — видишь пропитанный кровью*

*Тысячеверстный солдатский шлях.*

*Победа... Литавры, фанфары,*

*Волны знамен, громовой салют...*

*Только у матери, матери старой*

*Слезы неволью текут, текут...*

*Был ее сын боевым офицером,*

*Он не вернулся в родительский дом.*

*Где-то под Ельней звезду из фанеры*

*Разве лишь ветер заденет крылом...*

Эти строки недописанного стихотворения нашли в сумке убитого под Берлином солдата. До конца войны он не дожил несколько часов. Когда Наталка прочитала эти стихи в газетном очерке военного корреспондента, отчетливо увидела лицо женщины, очень похожей на ее мать. Радость торжества великого дня облита горечью слез. А где теперь ее мать?.. Где мать Наталки?..

...И снова, казалось, уже по-особому, зацвели вишни и яблони. Ожила и неслась над Украиной раздольная песня «Рэвэ тай стогнэ Днипр широкий».

В июне, в тихий солнечный полдень, когда в воздухе колыхалось стеклянное знойное марево и разомлевшие тополя струили еле уловимый сладковатый аромат, к калитке хаты бабки Апросинихи подошла худая женщина с котомкой за плечами. «Нищенка», — подумала Наталка и уже хотела бежать в комнату, чтобы вынести хоть несколько вареных картофелин, как вдруг почувствовала, что в сердце ее что-то кольнуло. Эти глаза!.. Большие печальные глаза!..

А женщина стояла у калитки неподвижно, как высохшая мумия, для которой искусный художник-муляжист сделал почти живые глаза. Ничто не дрогнуло, не шелохнулось в ее лице. Даже взгляд и тот, как остановился на Наталке, так и замер.

— Мама!.. — выдохнула Наталка и попятилась назад. Потом, словно подхваченная вихрем, бросилась к калитке. — Мама!.. Мама! — только и могла она проговорить.

Это была уже не та гордая чернобровая красавица. Вместо отливающих синевой густых черных волос, всегда аккуратно расчесанных на пробор, теперь осталась блек-лая, с проседью, прорежь. Не было и той осанки, которая придавала всему ее облику властность и гордость от сознания собственной красоты. А потом этот кашель, сухой, надрывной, при котором высохшая рука с платком тянется ко рту. Выщвели и глаза. Они стали тоскливыми и как будто оправдывались: «Мне осталось недолго... Но я никому не помешаю. Я только побуду свои последние дни с тобой, моя родная...»

Бабка Апросиниха приютила у себя и мать Наталки. Безродная и богомольная, она всю жизнь старалась делать людям только добро. А здесь, как ей казалось, сам бог послал несчастную женщину, для которой она по его велению должна сотворить благодеяние.

Часто по ночам мать просыпалась от удушливого кашля и, забиваясь головой в подушку, старалась не разбудить дочь. Но Наталка, чуткая во сне, вставала, тихо подходила к кровати матери и, глядя ее волосы, успокаивала:

— Ты только не расстраивайся, мама, вот кончу десятый класс, пойду учиться на врача и вылечу тебя. Сейчас медицина с каждым годом становится все сильнее и сильнее.

Мать изо всех сил старалась сдерживать кашель и, когда ей это удавалось, брала в свои потные холодные руки руку дочери:

— Спасибо, доченька, я скоро поправлюсь. Это у меня от простуды. Вот схожу в баню, хорошенько попарюсь, и все пройдет. Ступай спи, ты не сердись, что я тебя разбудила.

И так каждую ночь. Надрывной кашель и тихая, печальная беседа медленно умирающей матери с дочерью. В выздоровление обе верили как в чудо, хотя обе знали, что чудес на свете не бывает.

Но зимой, казалось, чудо стало свершаться. Мать с каждым днем чувствовала себя лучше.

После окончания десятилетки Наталка собралась в Ленинград, в гости к тетке. Мать уговорила ее захватить документы для поступления в институт: в Полтаве родных никого не было, а в Ленинграде родная сестра мужа.

Ленинград...

Первый день в городе Наталке показался волшебной сказкой, которую рассказывает чародей-старик. На каждом камне мостовых лежала печать истории, следы великих битв и прошумевших эпох. Впечатления были настолько сильными, что первую ночь Наталка долго не могла заснуть. Перед глазами стоял на вздыбленном коне Петр, и где-то рядом с памятником громоздились огромные, чуть ли не выше памятника, сапоги-бахилы великого русского царя, которые она видела в музее. Из Петропавловской крепости виден шпиль Адмиралтейства... Потом вдруг все это заслоняется старинной росписью на стенах Исаакиевского собора. Летают на крылышках ангелы...

Только под утро сломил сон.

А через месяц, когда Наталка узнала, что зачислена студенткой первого курса медицинского института, вряд ли мог найтись во всем Ленинграде такой счастливый человек, как она. Эта радость не оставляла ее всю дорогу в родную деревню.

Не меньшую радость пережила и мать. В ее потухших глазах все чаще и чаще, как искристые угольки, задетые налетевшим ветром, вспыхивала гордость. А бабка Апросиниха, воспринявшая поступление Наталки в институт как милость божью, в этот день молилась особенно усердно и долго. Шамкая беззубым ртом, она благодарила бога, что тот услышал ее молитву и пожалел бедную сиротку.

Наталка, и раньше никогда не оскорблявшая религиозных чувств старушки, с самым серьезным выражением лица поблагодарила Апросиниху за то, что та помогла ей своими молитвами выдержать конкурсные экзамены. И старуха верила. Верила фанатично как в свою спасительную молитву, так и в искреннюю благодарность девушки.

...После окончания первого курса Наталка приехала на каникулы домой и в первый же день обратила внимание на то, что мать снова нехорошо кашляет. Не помогли и лекарства, которые она привезла. Хотя Наталка делала вид, что не придает серьезного значения болезни, однако она все больше и больше тревожилась за мать. Много книг и брошюр о легочных болезнях прочитано за год учебы в институте, а о туберкулезе Наталка могла легко написать курсовую работу. Ей стало страшно, когда она поняла, что мать уже недолгий жилец. Если бы добиться специального лечения в ленинградской клинике, где сосредоточены новейшие препараты по борьбе с этой тяжелой болезнью, то можно было бы еще некоторое время бороться. Здесь же, в глухой, полусожженной деревушке, ни о каких радикальных методах лечения пока нечего было и думать.

С тяжелым камнем на сердце уехала Наталка в Ленинград после каникул. Хоть мать и бодрилась, хоть и делала вид, что ей лучше, но дочь все понимала.

На вокзале мать даже не разрешила себя поцеловать.

Потом от нее шли письма... Ни в одном из них не было намека на то, что надвигается последняя осень.

А тут, как на грех, вздумали ремонтировать дом, в стене которого строители обнаружили опасную трещину. Жильцам трех квартир было предложено выселиться на время ремонта. Тетка в двадцатых числах уехала вместе с мужем в Москву, и Наталке пришлось временно поселиться у подруги, снимавшей маленькую комнатенку на улице Пестеля. Однажды Наталка пыталась подняться в квартиру тетки, но ее отговорила дворничиха, которая, поджав многозначительно губы, таинственно сообщила, что «потолок в коридоре держится на липочке» и что «кота Ермохиных насмерть придавило кирпичами»... Постояв во дворе, Наталка вернулась к подруге. Из головы не выходила мысль о матери.

Еще вчера утром Наталка подсознательно ощутила, что гнетет ее какое-то недоброе предчувствие беды. Не находила себе места. Несмотря на

предупреждение дворничихи, она все-таки поднялась на третий этаж. Кроме небольшой трещинки в штукатурке потолка, она ничего не заметила. Никаких битых кирпичей и обвалов нигде не было видно. Выстуженный коридор пустовал.

На дверях с надписью: «Н. Г. Петренко» висел замок. Сквозь круглые отверстия в железном почтовом ящике что-то белело. «Наверное, письмо или телеграмма от мамы». Озябшими пальцами Наталка шпилькой открыла маленький замочек. Эту нехитрую операцию она освоила с тех пор, как тетка потеряла ключ.

В почтовом ящике лежала телеграмма и письмо. Письмо было адресовано тетке. Телеграмма — на имя Наталки. «От мамы!» — обрадовалась она.

Разорвана ленточка на сгибе телеграммы. И текст... Непонятный текст: «Мать скончалась 21 приезжай немедленно хоронить. Фатеев». Телеграмму отправил школьный учитель Александр Миронович Фатеев, хромой старичок, выучивший грамоте не одно поколение.

А что было дальше, Наталка припоминала плохо. Дома, большие каменные дома... Много домов... Машины, люди... Счастливые, улыбающиеся лица... Все куда-то спешат, чему-то радуются, о чем-то на ходу разговаривают друг с другом...

Когда она выходила со двора, дворничиха в белом фартуке что-то сказала ей вслед, а что — она так и не поняла. У Аничкова моста чуть не попала под грузовичок. Хорошо, что шофер оказался опытным водителем и намертво затормозил почти на полном ходу. «Хоронить... Хоронить... 21 числа... Сегодня 31... Фатеев...»

Наталка не плакала. Слез не было. Была боль, была обида... Не заметила, как спустились над Ленинградом сумерки, как в домах зажглись огни. Не помнила, по каким улицам шла, не думала, куда идет. Не знала, зачем очутилась на скамейке в сугробах Марсова поля. Потом этот незнакомый мужчина с добрыми глазами, в которых затаилась тоска. Кто он? Что ему от нее нужно? Неужели он мог подумать о ней что-нибудь плохое? Нет... Он не мог подумать ничего дурного, иначе он так не поступил бы. Он даже не сказал ей своего имени.

На глазах Наталки появились слезы. Наливаясь, они дрожали все сильнее, потом скатились по щекам и, как в песке, растаяли на белоснежной подушке. Потом кто-то потрогал за плечо. Подняв заплаканное лицо, она увидела седую голову няни.

— Вам подарочек.

— От кого?

— От того самого, что привез вас ночью. Да вот и записочка.

Наталка взяла пакет. Сверху, на яблоках и мандаринах, лежала записка:

*«Дорогая Наталка! Поздравляю вас с Новым годом и желаю вам хорошего здоровья, а также бодрости духа. Сердечно готов разделить с вами ваше великое горе, если б это было можно. Верю в вас и в то, что вы стойко перенесете тяжелую утрату. Желаю вам скорейшего выздоровления.*

*Николай».*

Снова и снова Наталка перечитывала записку и не могла понять: что нужно от нее этому чужому, незнакомому человеку? Зачем он пришел к ней? Зачем потратил деньги на подарки? Она ничего не понимала. И потом: кто он? Студент? Нет, он не студент, он слишком взрослый для студента, ему не меньше тридцати. Офицер? Вряд ли, он был в штатском, в черном пальто, в ботинках. Она запомнила даже его клетчатый шерстяной шарф, в который уткнулась лицом, когда он нес ее к такси.

В первую минуту Наталка хотела позвать няню и попросить, чтобы она пригласила в палату этого человека, если он еще не ушел. Но не решилась.



Наступил вечер. В скорбные мысли о матери светлым облачком всплывала неразгаданная тайна: кто он, этот человек, который спас ее вчера и навестил сегодня? Он единственный, кто поздравил ее с Новым годом.

...Прошло три длинных больничных дня. Врачи разрешили Наталке вставать и пообещали скоро выписать. На четвертый день в час посещения больных няня снова подала ей небольшой пакет и записку. Тем же твердым почерком было написано:

*«Наталка! Очень рад, что вам разрешили вставать. Скорей поправляйтесь и не делайте больше глупостей. Желаю вам хорошего аппетита, а глазное — бодрости духа. Незримо я всегда с вами. Делю пополам ваше горе и отдаю вам последние крупницы своих радостей.*

Николай».

В пакете, как и в первый раз, лежало несколько яблок, три мандарина и четыре «Мишки».

Светлое облачко обволакивало сердце. Оно заметно притупляло ту боль, которая поселилась в душе Наталки с момента, когда она прочитала телеграмму от старого школьного учителя.

«Почему он не хочет навестить меня и поговорить со мной? Неужели он не найдет для этого несколько минут? Зачем он затеял всю эту игру? Кто он — этот Николай — порядочный человек или интриган? — Наталка тут же устыдилась своих подозрений. — Нет, он хороший. Он слишком порядочный для того, чтобы поступить нечестно, обидеть. Как сейчас, вижу его лицо... Суровое, мужественное лицо с твердым взглядом. Людям с такими лицами и такими глазами можно верить».

Прошло еще четыре дня. Николай больше не приходил. Кроме имени, Наталка ничего о нем не знала. Хотя бы фамилию... Через адресный стол она могла бы разыскать его и отблагодарить за доброе участие.

Наступил день выписки из больницы. Наталка вышла на улицу и чуть не захлебнулась морозным воздухом.

Так уж, видно, устроено в природе: когда гибнет в лесу старая ель, лес от этого не исчезает. На месте умирающего дерева тянется к солнцу и борется за жизнь молоденькая елочка. Она наверняка вырастет, дотянется до солнца, перерастет своего предка и будет живым продолжением рода. Те же приметы и законы можно наблюдать и в человеческих судьбах: когда в одном сердце одновременно поселяются большая боль и тихая, почти неприметная радость, то можно с уверенностью сказать, что радость, как молодая елочка, простирающая свои сочные зеленые ветви к солнцу, захлестнет все печали и горести.

Было шесть часов вечера, когда Наталка дошла до Марсова поля. Взгляд ее упал на скамейку, на которой она чуть не замерзла в новогоднюю ночь. И в сотый раз встал перед ней тот же вопрос: «Кто он? Зачем он так сделал — пожалел и ушел...»

И тут же другая мысль: «Я уверена, он из тех, кто безыменными бросаются на амбразуру вражеского дзота и умирают не во имя славы, а во имя долга. Высокого человеческого долга!.. Умирают даже тогда, когда наперед убеждены, что об их героической смерти никто не узнает... Это похоже на него. У него такое лицо...»

4

В голландской печке, облицованной белым кафелем, потрескивали сухие дрова и плясали голубоватые языки пламени.

Анна Филипповна чувствовала, как горят ее щеки, как от железного жерла печки тянет сухим теплом. На коленях у нее лежал недовязанный шерстяной шарф. В

ногах играл с клубком маленький пестрый котенок. Мягко ударив по клубку лапой, он стремглав бросался за ним следом и, вцепившись в него острыми коготками, замирал на месте. Глаза котенка горели фосфорическими угольками.

Лимонно-зеленоватый свет настольной лампы, стоявшей на тумбочке, падал на вязанье и освещал небольшой квадрат пола. В комнате стоял полумрак, в который из печки время от времени вырывались желтоватые блики огненных языков.

На работе Анне Филипповне было лучше, чем дома. На людях горе переносилось легче. Но когда оставалась наедине с собственными думами, перед ее глазами вставал сын. И почему-то чаще последние дни она вспоминала Толика ребенком, когда он делал первые шаги. Она видела его улыбку, которая лучилась на детском личике, даже когда оно было вымазано в угле. Еще ползунком Толик пристрастился к древесному углю, и стоило только Анне задержаться на кухне и на минуту забыть о сыне, как он проворно подползал к голландке, подбирая холодные угольки, заминал их за щеку и буквально через минуту походил на негритенка.

Стук в дверь испугал Анну Филипповну. Уронив чулок, она порывисто подняла голову. В комнату вошел старик почтальон. Он принес письмо. Письмо было от Толика.

Чтобы не мешали посторонние звуки, Анна Филипповна выключила радио и вскрыла конверт. Сын писал:

*«Дорогая мама! Вот уже полгода, как мы разлучены. Я знаю, тебе тяжело одной. Но что поделаешь, видно, судьба твоя страдать не только от врагов, но и от тех, кому ты отдаешь свои силы и тепло сердца. Если б мог я в словах передать, как мне хочется уменьшить твою горе! Я делаю все, чтоб больше никогда не омрачать ни одного дня в твоей жизни. Работаю хорошо. В день выполняю по полторы-две нормы. Аппетит у меня отличный. Только вот сплю неважно, давят сны. Каждую ночь вижу во сне тебя. И ни разу не видел улыбающейся. Ты всегда плачешь. Иногда просыпаюсь в холодном поту и боюсь заснуть: а вдруг опять увижу твои слезы и печальное лицо? Успокаиваю себя только тем, что сны — это и есть продолжение дневных дум. А думаю я о тебе всегда.*

*Письма от Катюши получаю аккуратно. Она по-прежнему не хочет меня забыть. И это, признаться, согревает. От ее писем становится легче жить и работать. Я не тешу себя надеждой, что она дождетя меня, но мне все-таки дорого, очень дорого, что кроме тебя есть ещё человек, который думает обо мне, ждет. Только последние письма от нее нерадостные. Она пишет, что дома ее ругают за то, что она переписывается с заключенным. Дело доходит до скандалов. Она уже уходила из дому к подруге, но мать ее снова привозила домой и строго-настроено предупредила, что не позволит связать свою жизнь с таким, как я.*

*Конечно, во многом мать права. Каждая мать хочет для своей дочери такого друга, которым можно гордиться. В последнем письме Катюша пишет: если бы ты разрешила ей пожить у тебя, то она с превеликим счастьем ушла бы из дому, где ее хотят выдать замуж за нелюбимого человека. Катюша его ненавидит, но она уже устала каждый день выслушивать нотации матери.*

*Мама, я не хочу тебя стеснять посторонним для тебя человеком, но подумай об этом хорошенько. Ведь не все же восемь лет я буду за колючей проволокой. Может быть, в московском небе когда-нибудь загорится и моя счастливая звездочка. Думаю, что если дела по работе будут идти так же хорошо, то вернусь года через три-четыре. А это уж не так страшно. Если это может быть страшным для Катюши, то для нас с тобой, дорогая мама, и тысяча лет не станут пропастью.*

*Иногда я думаю: а что, если дождетя? Ведь я люблю ее. Она для меня горит огоньком в степи, в которой я заблудился, как неопытный путник. И вот я иду*

*на этот огонек. Не тушите его, ради бога. А если можно — заслоните от ветра, который может сбить это слабенькое пламя.*

*Родная, подумай немного и обо мне. Кому я буду нужен, когда приду домой? Ведь в каждой анкете нужно будет снова писать, что я бывший вор, бандит. Какая девушка наберется мужества связать свою судьбу с бывшим преступником?*

*Три дня назад я написал Катюше письмо, в котором просил, чтобы она пришла к тебе и все рассказала. Теперь я ей пишу уже не по домашнему адресу, а на Главпочтамт. Мои письма перехватывают родители.*

*Прошу тебя, мама, не делай этой жертвы ради меня, если она только жертва. Если Катюша будет тебя стеснять, считай, что я не просил тебя об этом. Но мне кажется, что вы станете хорошими друзьями.*

*В конце письма порадую тебя тем, что мы здесь делаем большое дело. Какое — это пока секрет. А вообще могу похвалиться, что страна наша с вводом шахт, которые мы строим, получит неисчислимые богатства, и когда-нибудь она вознаградит меня за мой честный труд чистосердечным русским прощением.*

*Передай привет всем близким и знакомым. Целую тебя и Валю. Ваш Толик».*

Языки пламени плясали а голландке, неровно освещая письмо на коленях Анны Филипповны. Уставившись невидящим взглядом в многоцветную игру огня, она представляла себе Толика таким, каким запомнила его, когда первого сентября вела в первый класс. Среди малышей он казался ей самым умным, самым примерным мальчиком. Он стоял в строю и, не дыша от волнения, слушал речь директора школы.

У ног ее по-прежнему неумоимо играл котенок. Поблескивая глазенками, он хитровато посмотрел на Анну Филипповну, потом, выгнув дугой хвостик, пружинисто и мягко отошел назад, разбежался, ударил лапкой по клубку и молниеносно бросился за ним под кровать.

Анна Филипповна облегченно вздохнула, поднялась со стула, подошла к окну и открыла форточку. С улицы потянуло морозной свежестью. Включила радио. Передавали концерт русских народных песен. По комнате разлилась раздольная песня:

*...Эй, баргузин, пошевеливай вал,*

*Молодцу плыть недалечко...*

По щекам Анны Филипповны катились слезы, а на душе стало как-то легче, спокойней.

5

Чем ближе подходила Катюша к дому, где когда-то жил Толик, тем сильнее ею овладевала робость. Если бы не настоятельная просьба Толика в последнем письме, она никогда бы без приглашения не осмелилась пойти к его матери. Мало ли что могут подумать со стороны: вот, мол, сама в невесты набивается, из порядочных, поди, никто внимания не обращает, так она заключенного решила окрутить. А потом, о чем ей говорить с его матерью? Ведь она всего-навсего видела ее два раза, да и то мельком, при встречах застенчиво краснела. Катюша помнит, что и Анна Филипповна в ее присутствии чувствовала себя не совсем свободно.

«Будь что будет!» — решила она и свернула в переулок.

Стоял тихий морозный вечер. В темном небе, словно пастух, охраняющий рассыпавшееся стадо звезд, задумчиво дремал голубоватый месяц. Слева и справа на Катюшу смотрели залитые светом окна. Ей казалось, что из одних сочитя лимонно-желтая скука, из других — зеленоватая тоска. Невесело было на душе у

Катюши.

Под ногами похрустывали крошки только что сколотого дворниками льда. Катюше казалось, что она слишком торопится, что она еще не придумала, с чего начать разговор с Анной Филипповной.

У освещенной витрины ателье Катюша остановилась и увидела в зеркале свое отражение. Из воротника коричневой цигейковой шубки, которую в прошлом году привез ей из Германии отец, выглядывало круглое, по-детски удивленное личико. Щеки на морозе разругались, со стороны никто бы не подумал, что в эту минуту она считает себя самой несчастной на свете. Письмо, которое Катюша получила на Главпочтамте, случайно попало в руки матери, и сегодня вечером у них состоялся тяжелый разговор. Каких только обидных и горьких слов не говорила мать: и «вор», и «бандит», и «жулик»... и то, что позор свой он не смает за всю жизнь и что поведением своим она бросает тень на отца-коммуниста. Устав от упреков и ругани, Катюша схватила с вешалки шубу, на ходу оделась и со слезами выбежала на улицу. «Уйду!.. Если будут так издеваться — уйду к тетке или к подруге. На свои семьсот рублей я и одна не пропаду. А за этого закройщика ни в жизнь не пойду. Пусть все уши прожужжат о нем! Провались он со своим заработком и «Москвичом».

Поднимаясь по ступенькам на второй этаж, Катюша ощущала, как гулко бьется ее сердце. Теперь нужно как-то незаметно пройти мимо кухни, дверь которой всегда была открыта и по коридору взад-вперед сновали жильцы. Но, словно нарочно, у самой кухни дорогу ей преградила Иерихонская Труба. Уперев руки в бока, она, как стог сена, встала посреди узкого коридора:

— Давненько, давненько к нам не навевались!.. — А сама острым глазом ощупывала и оценивала цигейковую шубку девушки. И так как шубка была совсем новенькая и могла украсить гардероб первоклассной модницы, авторитет Катюши в глазах Иерихонской Трубы сразу намного вырос. Летом Катюша приходила в простеньких платицах, с заплетенными косичками, а сейчас... — Эдак можно и дорогу к знакомым забыть, — На жирных щеках Иерихонской Трубы играли глубокие ямочки.

Катюша поздоровалась и бочком проскользнула мимо кухонной двери. Когда она вошла в комнату Анны Филипповны, та сидела у горячей голландки. На коленях у нее лежал недовязанный шерстяной шарф. В первую минуту Анна Филипповна не узнала вошедшую и зажгла большой свет.

— Катюша! Здравствуйте! Наконец-то!.. А я уж думала, что вы к нам больше и не зайдете. О, да как вы похорошели-то! Совсем стали барышней. Раздевайтесь, чувствуйте себя как дома. — Анна Филипповна помогла девушке раздеться.



Катюша подошла к голландке и, грея озябшие розовые пальцы, стала смотреть, как над сухими поленьями струились многоцветные языки пламени.

— Как здорово!.. Я еще не видела, как топится печка. Это намного красивее, чем паровое отопление. Вот бы нам такое!.. — На лице Катюши цвел неподдельный восторг. — Дворяне раньше так же сидели по вечерам у горящего камина и вели светские разговоры. И вы тоже, как дворяне. — Катюша улыбнулась.

Анну Филипповну умилили непосредственность и простота девушки.

— Вот уже четвертый год обещают установить паровое отопление, а толку никакого. — Она подставила гостье мягкий пуф. — Вы, Катюшенька, погрейтесь, а я пойду поставлю чаек.

Оставшись одна, Катюша обвела взглядом стены, на которых висели фотографии. С тех пор как она была здесь в последний раз, в комнате почти ничего не изменилось. Только рядом с портретом покойного мужа Анна Филипповна

повесила увеличенный портрет Толика. Толик смотрел со стены грустным, усталым взглядом. Таким она знала его в минуты, когда говорила, перед тем как расстаться, что ей пора домой, что уже поздно, что дома будут ругать строгие родители... В комнате было уютно, тепло. Но чувствовалось, что здесь чего-то не хватало, не было того домовитого запаха семьи, в которой все благополучно. Смолистый дух сосновых дров, белизна отороченных кружевами покрывал на подушках, воздушная пышность аккуратно застеленной тканевым одеялом постели, строгая симметрия белоснежных салфеточек — все было так же, как и раньше... и все-таки не так. Может быть, не хватало того устоявшегося терпкого запаха табака, который ощущался раньше, — Толик много курил.



За чаем шел обычный, ни на чем не задерживающийся разговор: о погоде, о предстоящем снижении цен на продукты и товары широкого потребления, о работе — Катюша жаловалась на своего начальника цеха, который окружил себя подхалимами и зажимает критику. Анна Филипповна похвалилась успехами Вали, премированной за хорошую работу туристической путевкой. Однако каждая из собеседниц ждала удобного случая, чтобы заговорить о главном. Но так как разговор, из-за которого Катюша пришла к Максаковым, она первой начинать не осмеливалась, то и Анна Филипповна пока ни одним словом не обмолвилась о сыне. Эту ее нарочитую сдержанность Катюша понимала и сама уже не хотела, чтобы разговор о Толике и о ней начался за чашкой чая. Через полчаса они снова уселись у огонька печки. Катюша мечтательно смотрела на огонь. Анна Филипповна принялась за шарф. В ее проворных и ловких пальцах быстро сновали вязальные спицы, губы шевелились: она про себя считала петли. Так, в молчании, прошла минута, другая... Почти одновременно обе почувствовали, что наступил момент для желанного откровения.

Первой заговорила Катюша:

— Анна Филипповна, я пришла поговорить с вами... Сегодня я получила от Толика письмо. Его прочитала мама, и был целый скандал. Папа пока не вмешивается, но я догадываюсь, что и он против меня. Мне сейчас очень тяжело. Вот я и пришла к вам.

Анна Филипповна положила вязанье на колени и подняла голову:

— Что я могу посоветовать, Катюша? Как мать Толика, я очень рада, что есть еще один человек, который думает о нем. Когда из писем Толика я узнала, что вы и сейчас продолжаете считать его своим другом, я как-то по-новому стала смотреть на вас, Катюша. Вы сделались мне вроде родной. Я не знаю, как это все высказать, но мне легче ждать сына. Вы меня понимаете?

— Я понимаю вас, Анна Филипповна.

Анна Филипповна глубоко вздохнула:

— Вы не судите строго свою маму. Она как все матери. Войдите в ее положение и подумайте — с кем дружит ее дочь? Что ожидает ее впереди, если тот, кого она ждет, осужден на восемь лет? И за что осужден! — Анна Филипповна поправила отделившуюся седую прядь, брови ее строго слились у переносицы, — Разве это не позор?! Я, родная мать, и то стыжусь смотреть в глаза людям. А она тем более. Есть у меня к вам, Катюша, единственная просьба — пишите Толику. Я знаю, что ваши письма для него дороги. Они вселяют надежду, что не все еще в жизни потеряно. Он прекрасно понимает, что мать не отвернется от своего сына даже и в том случае, когда от него отвернутся все. Но если отвергнутый человек знает, что, кроме родной матери, он нужен еще и любимой девушке, то он становится сильнее, чище душой. Иногда любовь женщины может помочь в тысячу раз больше, чем назидания начальства и мораль воспитателей. Может быть, у меня не хватает слов, чтобы высказать свою просьбу, но я всю жизнь останусь благодарна вам, если вы будете такой опорой Толику.

Катюша, подперев ладонями голову, сидела на низеньком пуфе и не отрываясь смотрела на огонь.

— Знаете, чего я боюсь, Анна Филипповна? — тихо, не шелохнувшись начала она, — Я боюсь, что когда Толик вернется, то я стану уже старой и он меня разлюбит. Ведь через семь с половиной лет мне будет около тридцати, совсем старуха, а он красивый, все такой же видный. Найдет себе молоденькую девушку и про меня забудет, — Катюша вздохнула: — Я об этом много думаю, и мне становится страшно.

— Какая вы глупенькая, Катюша! — Анна Филипповна улыбнулась. — Вы боитесь того, чего нужно бояться Толику. Если такое когда-нибудь и случится в жизни, то случится наоборот — вы его можете разлюбить, а не он вас. Но это дело вашего сердца.

От горящего соснового полена с треском отскочил кровавый уголек и упал к ногам Катюши. Анна Филипповна подхватила его голыми пальцами и, перекатывая в ладонях, бросила в печку. Потом она стала мешать догорающие дрова. Катюша следила за ее движениями, находя в них что-то очень похожее на движения сына.

— Вы никогда не говорили, да, собственно, у нас об этом и не заходил разговор: кто у вас родители, Катюша? Простите за мою прямоту. Это не любопытство, а просто мне хочется знать о вас больше, чем я знаю из писем Толика.

— Папа шофер в Министерстве иностранных дел. Мама нигде не работает. Я у них одна дочь. Вот и вся семья. Была еще бабушка, но умерла в войну.

— А что папа говорит о вашей переписке с Толиком?

— Папа?.. — Катюша пожала плечами: — Папа сам ничего мне не говорит. Но я знаю, что у них с мамой был об этом серьезный разговор. Я догадалась о нем позже.

Анна Филипповна некоторое время колебалась, но потом решила спросить:

— Я могу знать об этом разговоре? — И после некоторой паузы добавила: — Поскольку речь идет о вас и о Толике, коль мы решили быть друг с другом откровенны.

Катюша нахмурила свой чистый, не тронутый ни единой морщинкой лоб и озабоченно проговорила:

— Вы понимаете, Анна Филипповна, мой папа работник Министерства иностранных дел. Мама мне прямо заявила, что я не только себе жизнь хочу испортить, но и папе. — Лицо Катюши стало озабоченным, грустным. Нижняя губа ее дрогнула, казалось, она вот-вот расплачется.

Анна Филипповна положила руку на плечо девушки, погладила ее гладко причесанную голову и долго на нее смотрела.

— Катюша, вы милая, хорошая девушка. У вас добрая, чистая душа. Я верю, что вы любите Толика. Но... — Горький вздох оборвал ее фразу. — Но подумайте и о своих родителях. И о себе. Вы еще очень молоды. У вас все впереди.

— Но вы же сами знаете, что для тех, кто любит, нет никаких преград, что им не страшны никакие разлуки...

— Эх, Катюша! Все это очень сложно. Если вы не хотите скандалов дома, то нужно позаботиться, чтобы письма Толика не попадали в руки ваших родителей. Он может писать их по моему адресу, а я буду передавать их вам. Правда, это не совсем хорошо, я вас толкаю на маленькую ложь. Но иногда ложь бывает святая. Когда умирающий, чтоб не огорчать родных и близких, уверяет их, что он чувствует себя прекрасно, он говорит неправду. Но в этой неправде есть высшая

правда, правда человеческой любви. Нужно бояться той неправды, от которой бывает людям плохо.

Анна Филипповна поколотила в печке головешку и продолжала:

— Все это я советую, Катюша, с той целью, чтоб мне самой быть в душе уверенной, что я не толкаю вас на дурной поступок. А на родителей вы не обижайтесь. Они по-своему правы. Вы о чем задумались?

— Я?.. Я вас слушала, Анна Филипповна. Я так и сделаю. Напишу, чтоб письма он слал по вашему адресу. Меня сейчас другое беспокоит.

— Что же? Говорите.

Катюша наклонила голову и просяще посмотрела на Анну Филипповну:

— Разрешите мне пожить у вас недельку, пока Вали нет дома. Я вас не стесню. Вы меня извините, но я... затем и пришла к вам.

— Пожалуйста, и не только недельку, оставайтесь хоть навсегда.

Щеки Катюши зарделись стыдливым румянцем.

— Вначале я хотела уйти к тетке, но тетка меня на второй же день прогонит домой. Они с матерью заодно. А у вас они меня не найдут. — Комкая в руках носовой платок, Катюша ждала, что ей ответит Анна Филипповна, но, так и не дождавшись, подняла на нее обиженные глаза, которые и жаловались и упрашивали: — Разрешите мне остаться у вас, Анна Филипповна? У меня есть деньги, я не буду иждивенкой. Завтра я возьму кое-что из белья и оставлю дома записку. А вечерами, чтоб меня не искали с милицией, буду им звонить. Пусть знают, что я жива, здорова. Так можно, Анна Филипповна?

Анна Филипповна с мягким укором покачала головой:

— Молодо-зелено... Что ж, по мне, хоть совсем переходите, но чтоб дома не было неприятностей и волнений. А места у нас хватит. Валя будет спать на раскладушке, вы — на диване. Втроем будет веселее.

Дрова догорели. В печке рассыпались красные угли, поверх которых переливалась и рдела радужная прозрачная пелена огня. Глазастый котенок притаился на валике дивана и заворуженно смотрел на прыгающие огоньки.

Было уже одиннадцать часов. Катюша надела свою мягкую шубку, поцеловала Анну Филипповну в щеку и, по-детски склонив набок голову, проговорила:

— Простите, если я что-нибудь не так делаю. Завтра я приду к вам, ладно?

— Приходите. Я буду только рада.

А на второй день вечером, после работы, Катюша ввалилась в комнату Анны Филипповны с огромным узлом в руках.

У Максаковых она прожила две недели. И если б не болезнь матери — ее положили с аппендицитом в больницу, — Катюша еще долго не вернулась бы домой.

6

С волнением ждала Наталка первомайской демонстрации. Ничего подобного по красоте она в жизни не видела. В прошлом году с майской демонстрации пришла, точно пьяная от счастья. Люди в этот день словно молодеют, делаются милее, добрее. Чего только не увидишь на площадях и улицах праздничного города! Вот и теперь с самого раннего утра живет Наталка в бурном праздничном ритме как неотделимый органичный звук его, как световая частица радужного спектра. Улыбка ее слилась с улыбкой ликующего Ленинграда, глаза светятся тысячью

отблесков сверкающей под солнцем Невы, сердце взвывается выше шпиля Петропавловской крепости. Ночью она почти не сомкнула глаз, боясь проспять сборы у института. С рассвета уже на ногах и, наверное, стесала каблук своих единственных туфель, танцуя на шероховатом асфальте... Но разве можно думать о каблуках, когда кругом звенит май, бушует весна, не умолкает музыка и кружится каруселью счастье...

Стоит только колонне остановиться на несколько минут, как ряды демонстрантов рассыпаются, где-то в стороне, рядом со студенческой колонной, под губную гармошку уже пляшет девушка в украинском наряде, а вокруг нее козырем ходит парень в огненно-красной рубашке с крутым заливчатским чубом. Точно по команде, вокруг них образовывается живое кольцо. Ладoshi хлопают в такт гопака. А вот стоит девушка с озорными, острыми глазами. Она вспыхнула, как алая вишня на утреннем солнце, и вся дрожит, ей не стоит на месте. Не выдержала и вошла в круг. Теперь уже танцуют трое. Гармонист устал дуть в свою гармошку. Белки его глаз от натуги порозовели, щеки раздулись, а пляска только в разгаре, остановиться нельзя... Вот уже танцуют не трое, а четверо, пятеро...

Вдруг справа грянул духовой оркестр. Губная гармошка потонула в зычных наплывах медленного вальса. Высокий, звонкий голос русой светлоглазой девушки с типичным славянским лицом ведет песню, которую тут же подхватывают остальные. Светлоглазая девушка сама подходит к парню в вельветовой куртке, кладет ему на плечо руку и, продолжая петь, начинает кружиться. Парень из соседней колонны, она видит его первый раз в жизни и, может быть, никогда больше не встретит, но сейчас она не испытывает ни капельки неловкости, подходя к незнакомому человеку. Это не вечеринка, где неизменно господствуют старомодные правила хорошего тона, — здесь первомайская демонстрация! Кто осудит светлоглазую девушку за то, что она сама пригласила чужого парня (и не просто пригласила, а почти силой увлекла за собой!) танцевать, а ее подруга закружилась в вальсе с молодым морским офицером, которого она впервые видит.

А вот справа от студенческой колонны с трудом протискивается вороненая легковая машина с особым пропуском на лобовом стекле кабины. Это, по всей вероятности, едет какой-то начальник. Он должен, видимо, стоять на трибуне.

Музыка, не умолкая, гремит и гремит. Вальсы сменяются фокстротами, фокстроты обрываются бурной русской пляской. В воздухе на ниточках взвиваются упущенные разноцветные шары. Дети, сидя на плечах у отцов, взирают вокруг изумленными глазенками, в которых плещутся восторг и восхищение. Вездесущие кинооператоры с бортов плывущего в толпе грузовика, неестественно изогнувшись, ищут примечательные кадры, трещат аппаратами. И над воем этим пламенеют знамена, разноцветным лугом пестрят цветы, транспаранты, возвышаются и колышутся портреты вождей, призывные лозунги.

Никогда Наталка не видела такого бурного и красивого людского потока, такого и солнечного торжества простого советского человека-грузеника.

Но вот наконец и Дворцовая площадь. Строже и собранней ряды демонстрантов. Чеканней шаг. Впереди колонны оркестр играет марш. Весь трудовой Ленинград стекается сюда, на Дворцовую площадь, где на возвышающейся над людским морем трибуне — члены правительства, герои труда, лучшие люди страны.

Напрягая зрение, Наталка смотрит на трибуну. Видит знакомые лица членов правительства. Еще туже сжимает она в своей руке пальцы подруги и, когда над площадью разносится гулкое: «Да здравствует советское студенчество!», в крик «ура» Наталка готова выплеснуть всю свою влюбленную в жизнь душу. Вот колонна поравнялась с трибуной. Наталка отчетливо видит уже немолодое мужественное лицо маршала, имя которого она знала еще в дни войны. Снова возгласы призывов — и снова тысячегрудое «ура» несется над волнами знамен, цветов и человеческих голов. Вряд ли можно найти в колоннах хотя бы одно безразличное лицо, способное оставаться равнодушным в этой наэлектризованной лавине, движущейся накатистыми валами.



Одни лишь милицейские постовые да с красными повязками на рукавах дежурные, стоявшие живой цепочкой между колоннами, оставались равнодушными и суровыми с виду, хотя и их не раз захлестывало желание влить в рокошующее «ура» свой голос.

Этот контраст человеческих лиц и настроений невольно бросился в глаза Наталке. А когда трибуна осталась позади и колонны демонстрантов двигались к концу площади, в цепочке милиционеров она увидела знакомое лицо. Но где она видела его раньше — сразу припомнить не могла. Наталка уже поравнялась с этим высоким человеком в милицейской форме с погонами сержанта. Он бегло окинул ее взглядом с ног до головы и переключил внимание на других, на тех, кто шел сзади. «Ну где? Где я его видела?» — мысленно спрашивала себя Наталка и еще раз оглянулась назад, когда между сержантом и ею было уже порядочное расстояние. И тут-то в памяти мгновенно всплыла новогодняя ночь, скамейка на Марсовом поле, неподалеку от братской могилы, и незнакомец с приятным лицом, который привез ее в больницу. «Николай!.. Это он!» — обрадовалась Наталка и кинулась назад. Но не успела она пробежать и нескольких шагов, как ее остановил человек в штатском, у которого на рукаве была приколотая красная повязка:

— Куда вы, девушка?

— Простите, я... я выронила платок... Вон он лежит, я подниму его... — солгала Наталка и побежала навстречу плывущей колонне.

Когда она подбежала к сержанту, тот краем глаза заметил ее и, продолжая пристально сопровождать взглядом ряды демонстрантов, спросил:

— Что вам нужно, девушка?

— Вы меня не помните? Скажите, не помните? — взволнованно спросила Наталка, глядя на чеканный профиль сержанта.

Сержант на секунду повернулся в ее сторону и, мягко улыбнувшись, ответил:

— Прекрасно помню. — Сказал и отвернулся.

— А где... где вы меня видели?

— В новогоднюю ночь на Марсовом поле, — не глядя на нее, несколько отчужденно и строго ответил сержант: разговаривать на посту не полагалось.

— У вас прекрасная память!..

Наталка не знала, что дальше говорить, хотя ей и хотелось сказать что-то очень важное. О том, как она бесконечно благодарна за его добрый поступок, как долго думала о нем и как надеялась где-нибудь нечаянно встретить на улице. Многие хотелось Наталке высказать этому человеку, но здесь слова благодарности будут неуместны. Она понимала это, но просто так уйти не могла. Она не должна, не отблагодарив, опять потерять его.

— Вы меня простите, но я должна с вами встретиться. Мне необходимо сказать вам очень важное... — Наталка смутилась и замолкла. По глазам сержанта она поняла, что и он обрадовался этой встрече, но обязанности службы сдерживали его, и он только мог сказать:

— Ну говорите же, говорите...

— Сегодня... после демонстрации. Вы можете прийти? — Наталка чувствовала, как сердце ее замерло, а в лицо горячей волной хлынула кровь. Ей было стыдно: она вымаливала свидание! Этого с ней не было никогда в жизни. — В семь часов вечера на Марсово поле.

Сержант на секунду повернул голову в сторону Наталки и улыбнулся краешками

губ:

— Марсово поле большое...

— У той самой скамейки...

— Хорошо, хорошо, обязательно приду!

Наталка кинулась догонять подруг. За спиной ее выросли крылья. Смутная тревога и ожидание чего-то нового в жизни стучали в каждом ударе сердца.

Время тянулось медленно. Несколько раз Наталка перечитала записки, которые четыре месяца назад передала ей няня вместе с подарками от человека, назвавшего себя Николаем. Раньше она почему-то думала, что это или трагический актер, или неудачник-поэт, которого не признает критика. Она допускала даже, что он изобретатель или врач. Все что угодно, только не милиционер! Как-то не совмещались в ее воображении два этих образа: милиционер и тот благородный, бескорыстный человек, который сделал добро и ушел, оставшись загадкой.

Ровно в семь Наталка была на Марсовом поле. Но теперь это было совсем другое поле. Над головой ее склонялась зеленая листва еще не расцветшей сирени. Тогда, зимой, поле было безлюдным, холодным... Сейчас оно пестрело празднично одетыми людьми, звенело молодыми голосами... И сама скамейка была другой: к празднику ее покрасили.

Ждать Наталке пришлось недолго. Она успела лишь оправить свое коротенькое платьице и украдкой посмотреться в крошечное зеркальце, как появился Николай. Он был в сером плаще. Наталка встала и протянула ему руку.

— Будем знакомиться? — улыбнувшись, спросил сержант.

— Конечно... Вы мое имя уже забыли. Ведь это было давно, и притом так необычно... — Она смутилась.

— Нет, не забыл. Наташа. Наталья Петренко, студентка второго курса медицинского института. Прописана по улице Соболевского в доме номер семнадцать, квартала три.

— Ой!.. Откуда вы все это знаете?

— Профессиональное несчастье. Запоминается все, что нужно и не нужно.

— А как мне разрешите вас называть?

— Как угодно: можете Николаем Александровичем. Если я не покажусь отцом, можете звать просто Николаем.

— Нет, зачем же? Почему отцом? — Наталка покраснела. — Разрешите называть вас Николаем Александровичем?

— Пожалуйста.

— Николай Александрович... Вот когда вы привезли меня в больницу, а потом на другой день и еще через три дня приносили подарки... я очень хотела вас встретить после болезни, но... — Наталка вертела на пальце ручку дешевой сумочки.

— Почему вы замолчали?

— Николай Александрович, вы понимаете... — Наталка снова споткнулась на середине фразы. Она не знала, куда деть свои руки. — Может, мы погуляем?

— Пожалуйста.

Они пошли к Неве.

— Мне очень много хочется сказать вам, Николай Александрович, — тихо начала Наталка после некоторого молчания, — но я боюсь, что вы не так поймете. Я никогда в жизни не забуду того, что вы сделали для меня. Вы спасли меня не только от смерти. Своим посещением, поздравлением, вниманием вы вселили в меня такое, что трудно назвать словами. Тогда умерла мама, и мне было очень тяжело. Все были какими-то чужими, все заняты своей новогодней радостью, своим счастьем... — Наталка подняла на Николая большие голубые глаза. В них отражалась доверчивая кротость. — Как вы узнали, где я живу?

Николай пожал плечами:

— Работа.

После некоторой паузы он попросил Наталку рассказать о себе.

С Невы тянуло сыроватым холодком. Наталка зябко поежилась: она была в легком пиджачке. Николай заметил это и предложил ей плащ.

— Что вы! Мне ничуть не холодно.

Николай строго посмотрел на девушку, решительно остановился, молча снял с себя плащ и накинул ей на плечи.

— Делайте то, что прикажу. Старший здесь я. Ясно? — он шутливо улыбнулся.

— Ясно, — смущенно ответила Наталка.

— То-то! Выполняйте! А теперь, пожалуйста, расскажите о себе. Когда замерзнете — дайте знать, я провожу вас домой.

Наталка боялась, что Николаю будет с ней скучно, и он, сославшись на холод, быстро намекнет, что прогулку пора кончать.

— Может, вам со мной не интересно? Вы куда-нибудь торопитесь и пришли на свидание только потому, что обещали?

— У меня вечер свободен.

— А разве вы сегодня не справляете праздник в компании?

— Нет!

— Почему?

— О себе я расскажу как-нибудь в другой раз. А сегодня хочу послушать вас.

И Наталка стала рассказывать. Когда она дошла до того страшного дня, который надолго разлучил ее с матерью, голос ее неожиданно осекся. Сырой ветерок нежно тронул опустившуюся светлую прядку волос девушки. В наступившей тишине слышно было, как волны Невы, печально всхлипывая, глухо бились о каменный берег.

Николаю стало жаль эту хрупкую, как весенняя вербочка, тоненькую девушку. Ему захотелось сказать ей что-нибудь теплое, ласковое, но он не знал, как это лучше сделать. Утешить тем, что жизнь только начинается и что у нее все еще впереди, — это настолько избито, что он не мог произнести эту банальную фразу. Сказать, что не у нее только одной война отняла самых близких и дорогих людей, — это могло выглядеть нечутко: нельзя горю одного человека противопоставлять горе других людей. Ему от этого не станет легче.

Прошли Кировский мост. Видя, как Наталка зябко передернула плечами, Николай застегнул на ней плащ.

— Вы озябли?

Девушка отрицательно покачала головой.

— Рассказывайте дальше, — попросил Николай.

— Потом все было очень грустно. Маму угнали в Германию, меня приютила одна старушка...

Дальнейший рассказ Наталки был сух, как краткая автобиография: вернулась больная мать, закончена десятилетка, поездка в Ленинград, первые студенческие каникулы, опасение за здоровье матери и... телеграмма о ее смерти.

Всего два часа прошло с тех пор, как встретился Николай с почти незнакомой девушкой, а за эти часы вся она стала ясна и понятна, как друг, с которым проведено детство, с которым вместе прошли через суровую юность... Незаметно они очутились в скверике против татарской мечети. Николай предложил присесть. Сели.

— Разрешите закурить?

Наталка встрепенулась:

— Зачем вы спрашиваете?

Николай закурил. Стараясь подавить ознобную дрожь в теле — к вечеру заметно похолодало, — он отвернулся в сторону и сделал вид, что любуется карапузом на велосипеде. Когда он снова повернулся к Наталке, она сидела задумчивая.

— О чем вы думаете?

Девушка печально улыбнулась:

— Странно все как-то в жизни устроено. Сколько разных людей на свете: хороших, плохих, красивых, уродливых, подлецов и благородных... И все это совмещается в одном слове!

— В каком?

— Человек!

— О, вы склонны к философии! — пошутил Николай. Наталка ничего не ответила, только опустила голову. Николай смотрел на ее тонкий красивый профиль и мучительно пытался припомнить: где же он раньше видел это лицо? Где?.. И только когда девушка слегка повернула голову в его сторону, он неожиданно вспомнил: «Аленушка... такая же славянская грусть в глазах, такая же тихая и нежная покорность, которые, если их оскорбить, могут в одну секунду переродиться в свою противоположность: в гордую власть и буйную независимость».

Ему захотелось больше узнать эту девушку, богатство души которой все глубже и ярче раскрывалось перед ним. Теперь она уже не казалась ему такой простой и ясной, как два часа назад.

— Вы когда-нибудь любили? — неожиданно спросил Николай и пристально посмотрел на Наталку. Он хотел видеть, что будет выражать ее лицо, не обескуражит ли этот вопрос.

Наталка ответила не сразу:

— Нет... Никогда! — И тут же спросила: — Почему вы об этом спросили...

— Есть в вас какой-то надлом. Он бывает после больших душевных травм. Чаще всего после неудачной любви...

Наталка сорвала клейкую веточку сирени, откусила маленький листок и, глядя

вдаль, поверх кустов, медленно проговорила:

— Однажды я полюбила... Но это был не человек.

— Кто же? — тихо и осторожно спросил Николай.

— Это был миф! Всего-навсего лишь призрак!

— Призрак? Давно это было?

— Не очень.

— В раннем детстве? — попытался пошутить Николай.

— Нет, в зрелой юности. А если точнее — четыре месяца назад.

В голове Николая мелькнула смутная догадка: «Четыре месяца... Нет, не может быть!»

— Ну и что же? Этот призрак растаял?

— К сожалению, нет. И этого я больше всего боюсь.

— Чего же вы боитесь?

— Я боюсь, что этот призрак станет живым человеком. — И тогда?..

— Тогда могут начаться те душевные надломы, о которых вы только что сказали.

И снова Николаю показалось, что он очень давно, почти целую вечность знает эту девушку. Но почему?.. Почему она вдруг стала ему такой близкой? Мысленно он поставил ее рядом с Наташей Луговой и увидел, что между ними непроходимая пропасть. Одна шла через жизнь и продолжает идти по ней, как по утреннему, окропленному росой, вишневому саду. Другая с тринадцати лет идет босая по колючей проволоке и вынуждена улыбаться даже тогда, когда ноги кровоточат, когда невыносимо больно.

— Мне кажется, что вы излишне безжалостны к себе и к своим радостям.

— К радостям? — Наталка подняла на Николая глаза и горько улыбнулась.

— Да, к радостям.

— О каких же радостях я могла сказать сегодня, если я рассказывала вам о самом печальном в моей жизни?

— М-да... — неопределенно протянул Николай и вздохнул. — Вам не кажется, что вечер сегодня холодный? Вы окончательно продрогли.

— Вам со мной уже скучно? — стыдливо спросила Наталка. Ей почему-то вдруг показалось, что она надоела Николаю. — Я, наверное, утомила вас своим нытьем? Простите меня. Но, может, когда-нибудь, если мы еще встретимся друзьями, я покажусь вам совсем иной. Я умею быть веселой. А сегодня вы заставили меня вспомнить все, что для меня дорого, но безвозвратно потеряно... А поэтому... поэтому, вы сами понимаете, что я не могла быть интересным собеседником. — Наталка опустила глаза и виновато спросила: — Вы не жалеете, что встретились со мной сегодня?

— Нет. — Николай еще раз мысленно сравнил Наталку с Наташей и еще больше утвердился в мысли, что они совершенно разные.

— Вы проводите меня?

— Да.

Они встали. Николай посмотрел на часы.

— Который час?

— Одиннадцать.

— Как быстро пролетело время!

По набережной шли молча. Каждый думал о своем. Николай слегка поддерживал Наталку за локоть и ощущал, как время от времени по телу ее пробегает зябкая дрожь. «Бедняжка, совсем замерзла. Не намеки ей, что пора домой, она до утра готова быть рядом с человеком, которому можно доверить свои мысли. Какая она чистая и многострадальная для своих двадцати лет...»

У дома, где жила Наталка, они остановились.

— Вон мои окна. Видите, третий этаж, слева от водосточной трубы?

— Вижу.

Толстая дворничиха в ватной фуфайке и белом фартуке, подвязанном на округлом животе, выкатилась точно из-под земли и, наострив уши, поджала бесцветные губы. Всем своим существом она говорила: «Вот так монашенка (так она прозвала Наталку), нашла себе кавалера!» За два года она ни разу не видела девушку с молодым человеком. И вдруг на тебе: такой с виду «сурьезный, представительный, хоть и годами в отцы ей годится».

Чувствуя на себе взгляд дворничихи, Наталка тихо спросила:

— Мы еще встретимся?

— Вы этого хотите?

— Да, очень хочу, — Наталка смутилась. — Мне с вами хорошо. Понимаете — легко. Мне ни с кем не было так, как с вами. Я говорю правду. Но если со мной скучно, тогда... — Она хотела уйти, но Николай удержал ее. Ему стало жаль девушку.

— Вы обиделись?

— На что же мне обижаться?.. Вы для меня сделали столько хорошего, что я...

— Когда мы встретимся?

— Когда угодно. Хоть завтра. Только после пяти часов. До четырех я всегда в институте.

— Я жду вас в среду в семь часов на старом месте. Сегодня говорили вы, в следующий раз я расскажу о себе. Вам это интересно?

— Очень! — Глаза Наталки расширились. — Вы для меня какая-то загадка! Я так много думала о вас после нашей первой встречи!.. — Почувствовав, что высказала что-то запретное, она продолжала нерешительно: — Если мы с вами будем... встречаться, то давайте условимся...

— Давайте, я согласен! — выручил ее Николай.

— С чем вы согласны? — Стыдливый румянец залил щеки Наталки.

— С тем, чтобы постоянным местом встреч назначить знаменитую лавочку на Марсовом поле... Угадал?

Наталка по-детски хлопала длинными пушистыми ресницами и даже полуоткрыла от удивления рот.

— Угадали... А почему? Почему вы отгадали? Вы согласны?

— Согласен.

В эту минуту Наталка вдруг показалась Николаю младшей сестренкой, которой уже давно пора спать.

— А сейчас... — Он протянул ей руку: — Спокойной ночи. — Он пожал холодные тонкие пальцы девушки и смотрел ей вслед до тех пор, пока она не скрылась в подъезде.

Дотошная дворничиха принялась без стеснения в упор рассматривать Николая, всем своим видом как бы восклицая: «Ну и тихоня! Ишь какого подцепила!.. Не зря говорят, что в тихом омуте черти водятся».

Домой Николай вернулся в двенадцатом часу. Товарищи по казарме уже спали. Осторожно, чтоб не разбудить соседей, он, не включая света, на цыпочках прошел к своей койке, разделся и лег. Сквозь проемы продолговатых окон сочился жидкий лунный свет. Сосед слева сладко похрапывал.

«О, если бы эта девочка могла заслонить собой Наташу! Если бы она хоть немного остудила боль...»

И словно наперекор его желаниям, перед глазами, как наяву, стояла Наташа Лугова. Николай почувствовал, как тупая, давящая боль наваливается на грудь.

7

Не знала и не ведала Наталка, что любовь в ее сердце постучится так неожиданно. И не такая, о какой пишут иные поэты — в венках и соловьиных трелях, — а мучительная, неразделенная. Уж лучше бы не встречался ей Николай, не рассказывал бы о себе и о своей любви к Наташе. Где-то в глубине души шевелилась ревность, перемешанная с обидой. Если б смог кто-нибудь полюбить и ее так, как Николай любит свою Наташу! Нет, зачем кто-нибудь... Кто-нибудь — это не то... Ей нужна его любовь, только его! От него, от каждого его слова, взгляда веет какой-то силой, которой все по плечу. И какая же глупая эта взбалмошная Наташа, если оттолкнула такого человека! Она или слепая, или... Нет, тут, очевидно, что-то другое, о чем Николай не сказал. Кто поверит, что можно разлюбить человека лишь за то, что он милиционер? Да она, Наталка, если б он захотел этого, не задумываясь, пошла бы за ним хоть на край света... Лишь бы он хоть разочек посмотрел на нее не как старший брат, а по-другому...

Прошел май. Над Ленинградом повисли тихие белые ночи. В парках и скверах распустилась сирень.

Сколько исхожено улиц и переулков! Несколько раз вдвоем встречали рассветы, и хотя бы один раз попытался он переступить заповедную черту чистой товарищеской дружбы. Были такие минуты, когда, сидя где-нибудь на скамье в пустынной аллее, Наталка хотела сказать ему, что любит его, что готова на все, лишь бы быть рядом с ним, видеть его лицо, слышать его голос, чувствовать на своей руке его руку... Но какая-то сила удерживала от этого шага, который, как ей казалось, мог разрушить то, что сближало их.

Так было в мае...

Когда же пришел июнь, Наталка совсем потеряла сон. Она не знала, что ей делать дальше: расстаться с этим равнодушным к ней и вместе с тем до бесконечности родным и милым человеком или признаться во всем? Оставаться дальше в такой неопределенности у нее не было больше сил.

Надвигалась летняя сессия. Подруги дрожали, боясь завалиться на экзаменах. Наталка встречала сессию спокойно. Ей было даже смешно. Экзамены... Глупенькие девочки! Если б они знали, что есть вещи страшнее экзаменов. Есть

любовь!.. Да такая, от которой все идет кругом. Все как в дыму. А еще хуже становится, когда от любви этой не ждешь ничего хорошего. Хоть разревись, хоть умри перед ним на коленях, а он по-прежнему любит другую.

Нет, дальше так не может продолжаться! Сегодня она непременно выскажет ему все. Пусть делает что хочет! Вздумает прогнать — пусть гонит. Оставит при себе, скажет — будь... Нет, нет, этому никогда не бывать! Он любит другую!.. Это нужно выбросить из головы!..

Сомнения, одно тревожнее другого, терзали Наталку. Захлестывала обида. Никто еще в жизни не коснулся ее губ. Никто не потревожил ее покоя... И ведь знала, что красивая, что многие девушки завидуют ей, стройной, голубоглазой... Сколько парней всегда вокруг нее на танцах! На сколько приглашений в кино и театр она ответила отказом!.. И нужно же так случиться: встретила неожиданно, влюбилась, а он... Он любит другую. «Что делать?! Что дальше делать?!» — мучил один и тот же вопрос. Слез не было. Была какая-то отрешенность и боль.

Времени без пятнадцати восемь. Пора идти на Марсово поле. И главное... Главное — держать себя в руках, не расхныкаться. Наталка знала от подруг и из романов: если девушка первой признается своему любимому, она становится жалкой, ее отвергают.

«Ни за что в жизни он не узнает об этом!» — твердила она про себя и ускоряла шаг. И чем взволнованней становился этот ее внутренний спор, который сводился к тому, чтобы не признаваться Николаю в своей любви, тем быстрее она шла. По Литейному почти бежала.

К месту свидания Наталка пришла на пять минут раньше назначенного срока. Николая она увидела еще издали. К ее удивлению, он сидел не на их заветной скамейке, хотя она была свободной, а на другой. Время от времени Николай поднимал голову в сторону Невы и во что-то пристально всматривался. Он был чем-то встревожен. Даже не заметил прихода Наталки. Или сделал вид, что не заметил, играл с малышом. Краснощекий курносый бутуз был таким забавным, что им нельзя не залюбоваться. Ему около трех лет, и он, как все дети этого возраста, забавно и мило картавил. Обняв колени Николая, мальчик смотрел на него своими ясными темными глазенками, похожими на крупные незрелые ягоды черной смородины, лежавшие на белых блюдах. Он хвалился карманами на новых штанишках. Карманы были красные, сатиновые. Малыш выворачивал их и причмокивал губами. Он ликовал: очевидно, впервые в жизни ему купили штанишки с карманами, да еще с красными. Но неожиданно, забыв о карманах, он серьезно, исподлобья посмотрел на Николая и спросил:

— А вас как зовут?

— Дядя Коля.

— А меня Валелик. А няню, — мальчик показал пальцем в сторону, где на соседней скамейке сидела молодая няня и настороженно следила за своим подопечным, — а няню зовут Суя.

— Как, как?

— Суя, — прокартавил малыш.

— Шура?

Малыш лучисто улыбался.

Наталка остановилась сзади скамейки и наблюдала за трогательной сценой.

— Кем ты будешь, когда вырастешь большой, Валерик?

— Милицинелом.



— Милиционером? — Лицо Николая просветлело. —

А почему ты хочешь стать милиционером?

— Я буду все время свистеть и ездить на мотоцикле. А еще я буду сафелом и летчиком.

— О, так, друг мой, не годится! — Николай неодобрительно покачал головой. — Все сразу нельзя — и милиционером, и шофером, и летчиком... Нужно быть кем-нибудь одним, а так не пойдет. Кем же ты вначале будешь? Летчиком, милиционером или шофером?

— Милицинелом.

— А почему?

— А потому что... — Набрав в себя до отказа воздуха, Валерик сердито свел брови: — Тогда Иголек не будет отбивать у меня самосвал и длаться... Я его слазу посазу в машину и отвезу в милицию. Оттуда его не выпустят.

Неизвестно, сколько бы еще продолжалась эта беседа, если бы не подошла няня и не сказала мальчику, что пора домой, что папа уже пришел с работы и принес гостинцы.

— Из вас может получиться хороший папа! — произнесла Наталка из-за спины Николая и слегка коснулась его плеча.

Николай встал:

— А, вы подсматривали?

— Не только подсматривала, но и подслушивала.

По-мужски, рукопожатием Николай простился с Валериком и взял под руку Наталку.

Над головой плыли сизые облака. Вода в Неве казалась холодной, несмотря на то, что день был солнечный. Они шли вдоль набережной. Николай по-прежнему во что-то пристально всматривался. Наталка не могла не заметить, как к щекам его вдруг прихлынула кровь, потом они сделались пергаментно-серыми.

— Что с вами?

Николай поднес ладонь к щеке:



— Зубы. Иногда так хватит, что из глаз искры посыпятся.

— Может, вам лучше пойти домой?

— Ничего, уже прошло...

Николай отвечал машинально, а сам не отводил взгляда... А от чего — Наталка не могла понять.

— Во что вы так всматриваетесь? Можно подумать, что увидели самого злого врага или лучшего друга.

— Ни того, ни другого. Мне показалось: у старика клевало, а он не заметил.

— Неужели вы такой заядлый рыбак?

— Вы угадали!..

Николай был недоволен, что не сумел скрыть волнение при виде рыбака. Тут же твердо решил: «Он!.. Наконец-то! Второго такого лица не встретишь во всей России. Главное, не выдать себя. Не торопиться...»

Облокотившись на гранитный барьер набережной, высокий худощавый старик ловил рыбу. Он только что закинул удочку. Николай и Наталка остановились рядом и замолкли: они знали, что разговаривать в таких случаях не следует, можно спугнуть рыбу. Наталка, зажав дыхание, смотрела на цветной поплавок, плясавший на рябоватых, витых волнах. Николай искоса поглядывал на орлиный профиль старика в выцветшей фетровой шляпе, на ленте которой темными подтеками проступали следы пота. Из-под шляпы свисали редкие седые кудри, еще сильнее оттенявшие щеки, изборожденные глубокими морщинами, отчего они походили на подсохшее моченое яблоко. Худ и костляв был рыбак. На шее его пестрел шелковый старенький шарф.

Шарф был надет не по сезону. Так повязывают его в сильные холода, чтобы не простудить горло, певцы, для которых простуда голосовых связок равносильна профессиональному краху.

«Это память Одессы», — подумал Николай, заметив шрам на шее старика.

Наталка, которой уже надоело наблюдать за поплавком — у нее рябило в глазах, — перевела взгляд на старика. «Интересно, кто он? — думала она. — Потомственный дворянин, который за годы Советской власти так и не нашел себя в труде... Или одинокий, без родных, человек, доживающий свои дни на пенсии за безупречную и многолетнюю службу в каком-нибудь третьестепенном оркестре?.. — Догадки сменяли одна другую. — Нет, это, очевидно, спившийся драматический актер. От алкоголя у пьяниц дрожат руки, как у этого дедушки. Об этом нам говорили на лекции. А потом отеки под глазами... Интересно, какой у него голос? Заговорил бы. Если пьяница — можно безошибочно узнать с двух-трех слов».

Точно подслушав мысль Наталки, Николай сдержанно обратился к рыбаку:

— Как клев?

Старик медленно повернулся и посмотрел на подошедшую пару изучающе и подозрительно:

— Никуда не годится. Три часа торчу и все попусту! — Голос его был надтреснутый, хрипловатый.

«Пьет!» — решила Наталка и стала еще внимательнее всматриваться в лицо рыбака.

«Врешь!.. — подумал Николай. — Ты только что пришел. Уже два часа я держу под наблюдением этот участок набережной». И голосом, в котором звучала самая искренняя любезность, спросил:

— Скажите, пожалуйста, неужели есть какая-то тайная страсть в рыбной ловле? Или тут что-то другое? Никак не пойму. Ведь иной простоит полдня из-за двух ершей и ни капли не жалеет, что потерял время и что гудят ноги.

Старик задумался. Он рассеянно смотрел на поплавок. Потом тихо ответил:

— У одних — страсть, у других — лекарство.

— То есть как лекарство?

— Очень просто. Специально прописывают доктора.

После некоторого молчания Николай снова спросил:

— А вы, простите за любопытство, рыбачите из-за любви к спорту или по предписанию врача?

Старик неторопливо выдернул из воды удочку, сменил червяка, поплевал на него и снова закинул.

— Я недавно вышел из больницы. Лечили меня.

Продолжая прикидываться наивным простаком, Николай спросил:

— Что-нибудь с нервами?

— Да... с ними... — неопределенно ответил старик и вздохнул. — То же самое, чем страдают люди, которым пришлось хлебнуть на своем веку...

— А... Понятно... — Николай закивал.

«Я так и знала!» — обрадовалась Наталка. А Николай думал: «Он даже не подозревает, что обеими ногами попал в капкан. Ну что ж, полюбуюсь еще немного, старина, на твою игру...»

— Ну и как сейчас?

— Профессор сказал, если снова потянет, то можно попробовать лечиться удочкой. Некоторым, говорят, помогает.

— Чем же?

— Отвлекает.

— И большие у вас были запои?

Старик недовольно взглянул на незнакомца: вопрос был не совсем тактичный. Но ответил:

— Всяко бывало. Случалось, что по два месяца на себя не походил.

— И долго вас лечили?

— Два месяца.

— Чем?

— Гипнозом.

— Сейчас уже не тянет?

— Как вам сказать... Живу, как волк на картофельном огороде. Ползаю в ботве и все время на лес озираюсь. Вижу этот лесок, а боюсь. Знаю, что там западня. Если еще разок махну через прясла, значит, амба, каюк.

«А ты, я вижу, артист. Такая импровизация не по плечу мелкому жулику», — подумал Николай и решил расспросить старика еще кое о чем.

— Какая же у вас профессия, отец?

— У меня? О, это сложно, молодой человек. Когда-то писал стихи, потом работал страховым агентом, а основная специальность — маркер.

— Маркер? — Николай сделал вид, что не знает, что это за специальность.

— Да-да, бильярдный маркер. Ночная работа, всегда пари, вино, скандалы... Вот и докатился, что ни пенсии, ни радости на старости.

— А дети-то у вас есть?

— Если б не дети, давно бы где-нибудь подох под забором. — Старик глубоко

вздыхнул и перекинул удочку вверх по течению. — Спасибо, что дети в люди вышли: один — инженер, другой — архитектор, дочка — учительница.

— С кем же вы живете?

— Жил один. Комната у меня на Васильевском. А сейчас вот дочка позвала к себе, пожалела. Пообещал ей бросить пить. Вот теперь хожу по вечерам рыбачить.

— И надолго хватит этого запала?

— Пока держусь. Вот уже месяц, как из больницы, ни грамма не выпил.

— Что ж, это хорошо. И внучата, поди, есть?

— Из-за них-то вот и рыбачу. А так бы не удержался. — Старик посмотрел на собеседника таким взглядом, точно выискивал на лице его какие-то особые приметы для подтверждения своих догадок. — А вы что, молодой человек, тоже начинаете страдать этим пороком, коль так интересуетесь?

— Как сказать? — Николай грустно склонил голову. — Тянет. Чем дальше, тем сильнее. Особенно по вечерам, когда в городе зажигаются огни.

Глаза старика озарились каким-то холодным светом.

— И тоска? Да? Тоска сосет? Прямо вот где-то здесь, под ложечкой. Так?

— Совершенно точно. Как вечер — не нахожу себе места.

— С этого, молодой человек, начиналось и у меня. — Рыбак забыл об удочке, поплавок которой отнесло далеко течением. — Но на этой точке еще можно удержаться. Меня никто не удержал. Я в эту грязь лез дальше и дальше. Сначала по вечерам, потом стало тянуть и днем. А потом... потом все пошло каруселью. Не разберешь, где утро, где вечер, где день, где ночь... Это страшно! И мой вам совет: если есть силы, пока не поздно, остановитесь.

— А как остановиться? Ведь тянет.

— Приходите со мной рыбачить. Я каждый вечер на этом месте стою допоздна. Ходил со мной еще один дружок, вместе в больнице лежали. Целых две недели держался. Потом что-то затосковал и вот уже третий день не показывается. Наверное, опять попал в циклон. Хороший человек был.

Наталка, затаив дыхание, делала вид, что думает о своем, а сама старалась не пропустить ни одного слова. «Какой он странный... Зачем ему вся эта игра? Ведь он же не пьет. К чему глумиться над больным человеком?»

«Пора!» — решил Николай.

— Спасибо, отец! Если уж очень припрет — приду с вами рыбачить. До свидания!

Они попрощались.

Рыбак глубже надвинул на лоб шляпу и подозрительно смотрел вслед удаляющейся парочке. «Что-то не то, — говорил его взгляд. — Этот разговор неспроста». Он отвернулся и перекинул удочку.

Белесые облака над Невой смешались с темными тучами и плыли к Финскому заливу. Они походили на огромные груды серой шерсти, в которую, словно по ошибке, было брошено несколько охапок черного руна. Николай и Наталка шли молча. Николай думал о старике, он спиной чувствовал его взгляд. Наталка думала о Николае, о том, что его сейчас занимает.

Молчание нарушила Наталка:

— Вы сейчас думаете об этом старике, Николай Александрович?

— Вы не ошиблись.

— Я тоже. Мне так жалко этого дедушку. Он такой несчастный... В клинике нам показывали алкоголиков, они всегда производят на меня тяжелое впечатление. И этот... Вряд ли он больше недели продержится на рыбной ловле.

— А что с ним может случиться? — Николай обернулся и посмотрел на рыбака. Взгляды их на какое-то мгновение встретились.

— То же, что и с его другом. Опять запьет, или, как он выразился, попадет в циклон...

— Не попадет! — Николай оборвал Наталку на середине фразы, потом замялся и виновато продолжал: — Да, да... Говорите. Я перебил вас. Я слушаю...

Наталка подумала, что старик Николаю уже надоел, и перевела разговор на другое.

— Мы, кажется, собирались сегодня в кино? — спросила она.

— Мы не можем сегодня пойти в кино. Извините меня. Я сейчас нахожусь на работе и к вам смог вырваться ненадолго.

Глядя себе под ноги, Наталка проговорила:

— И из этих немногих минут вы мне уделите всего лишь десятую долю...

— А девять десятых?

— Девять десятых — старику. Вы скажете, что это работа? Профессиональная тренировка, психоанализ или что-нибудь в этом роде?

Николай мягко улыбнулся:

— Вы совершенно правы. Беседа со стариком — это моя сегодняшняя работа. И не рядовая работа. Если можно так выразиться, то это венец большой оперативной разработки. Вы можете меня поздравить: встреча с этим интересным стариком, на котором замкнулась запутанная операция, есть результат двухмесячного напряженного труда. — Николай взглянул на часы: — Еще раз прошу прощения. Вам куда сейчас?

Раскрыв от удивления рот, Наталка сбивчиво ответила:

— Мне... Мне в институт...

— Это не так далеко. На ваше счастье, вот и такси... — Он поднял руку.

Шофер затормозил так, что колodки надсадно, металлически взвизгнули. Николай быстро открыл дверцу и помог Наталке сесть. Она пыталась было возражать, но он, поняв ее смущение, оборвал:

— Не волнуйтесь, счетчик набьет не больше трех рублей. — Николай протянул шоферу пятерку: — Прошу вас, довезите, пожалуйста, девушку до медицинского института.

— А как же?.. — Наталка смущенно замялась.

— Завтра в это же время жду вас в Летнем саду у скульптуры Беллоны. До свидания. — Последние слова он произнес, когда машина уже тронулась.

Трудно было Николаю сдерживать волнение и радость. Два месяца в составе оперативной группы уголовного розыска ленинградской милиции он ищет старика

со вставленным металлическим горлом.

В прошлом это был крупнейший контрабандист. В 1916 году свои же «друзья» в одесских катакомбах во время карточной игры перерезали ему горло и бросили истекать кровью. Но он каким-то чудом остался жив. В двадцатые годы за ним долгое время охотилась прокуратура Владивостока, и, когда один из следователей уже решил, что Туман (это была кличка контрабандиста) у него в руках, след преступника внезапно оборвался. Через неделю на имя прокурора города пришло письмо, в котором в самых вежливых и деликатных словах Туман извинялся, что причинил «отцам города» столько беспокойства. Он успокаивал прокурора тем, что, покидая Владивостокский порт и побережье Японского моря, клятвенно обещает никогда больше по «собственному желанию» не осчастливить своим присутствием «берега Тихого океана».

А в тридцатом году, в июньский полдень, по территории Одесского порта ходил высокий, лет сорока мужчина с темным шарфом на шее. На голове у него был черный цилиндр, на ногах — черные лакированные башмаки. По манере снимать перчатку и играть тростью его можно было принять за аристократа. Но это был уже не Туман, а Виталий Александрович Сухаревский. В паспортном столе милиции при прописке он отрекомендовался научным работником, который по совету московских врачей вынужден на длительное время бросить серьезную исследовательскую работу и отправиться лечиться на юг. Он выбрал Одессу и поселился неподалеку от порта, поближе к морю.

Однако курс лечения профессора Сухаревского не затянулся. Не прошло и двух месяцев, как однажды ранним утром, когда морской берег выглядел еще пустынно-безлюдным и волны однообразно накатывались на молчаливые камни, два работника уголовного розыска постучали в дверь маленького домика, в котором жил неразговорчивый московский профессор. Через несколько минут из дома вышли трое. Щедрый жилец, оплативший комнату за полгода вперед, больше не вернулся. Хозяйка подождала несколько дней и пустила нового квартиранта.

Дальнейшие похождения Тумана занимали два объемистых тома. Когда Николайзнакомился с ними, временами ему казалось, что он читает не уголовное дело, а увлекательный детективный роман, герой которого, доходя порой до безрассудной удалости и смелости, за всю жизнь не выпил ни одной рюмки водки, не выкурил ни одной папиросы.

И это Николаю казалось особенно странным. Как-то не укладывались в сознании два столь полярных начала: с одной стороны, дерзкий и тонкий преступник-авантюрист, с другой — аскет в быту.

Теперь Туману перевалило уже за шестой десяток. Два года назад он вернулся из Магадана и поселился под Ленинградом у родной сестры, тоже, как и он, бездетной и доживающей свой век в полном одиночестве. Сестра работала в аптеке и на скромное жалованье содержала неработающего братца.

Может быть, и замкнулась бы на этом преступная цепь в судьбе Тумана-Сухаревского, если б не злополучная бриллиантовая брошь, которая два месяца назад была похищена двадцатилетним малограмотным Сердюковым у старой, еле передвигающей ноги вдовы бывшего придворного генерала Родыгина, любимца Николая II. Верный воинской присяге, Родыгин в 1917 году погиб, защищая «царя и отечество», а его вдова на долгие месяцы слегла в постель и не смогла выехать из России, когда после Октябрьской революции и гражданской войны в Европу хлынул поток эмигрантов из дворян, купцов, фабрикантов. Более тридцати лет прятала вдова Родыгина драгоценности, похищенные ее мужем из царских покоев во время штурма Зимнего.

Стоимость бриллиантовой броши по реестру царского имущества, перешедшего в собственность народа, исчислялась в 300 тысяч рублей. Вместе с брошью у старухи были похищены золотые кулоны, перстни, кольца, браслет — ее фамильные ценности.

Больше всего Николая Захарова волновала бриллиантовая брошь — это была собственность государства.

И эту брошь теперь ищут... Ищут около двух месяцев. Вначале след из Ленинграда переметнулся в Сочи. Пришлось подключить к расследованию сочинскую прокуратуру.

Установили, что, похитив драгоценности, Сердюков решил покутить на Черноморском побережье. Золотой кулон он сдал в скупку в Сухуми, два перстня и браслет продал в Гагре. Все эти ценности нашли сравнительно легко. А вот бриллиантовая брошь точно канула в Черное море. На одном из допросов Сердюков показал, что продал ее за пятьсот рублей какому-то пожилому еврей в Сочи. С большим трудом отыскали этого скупщика. Действительно, около двух месяцев назад некий Лившиц Исаак Моисеевич, работавший парикмахером в Сочинском порту, купил золотую брошь у неизвестного гражданина, которого он побрил. Парикмахерская располагалась неподалеку от комиссионного магазина. Магазин в этот день был закрыт, а Сердюкову до зарезу требовались деньги.

Казалось, все идет как нельзя лучше. И вдруг неожиданные трудности: Лившиц перепродал брошь одному курортнику из Хабаровска. Тщательно проверили списки отдыхающих всех сочинских курортов и пансионатов. Из Хабаровска в июне здесь отдохали четыре человека. С помощью хабаровской прокуратуры удалось отыскать гражданина, который приобрел у сочинского парикмахера драгоценность за две тысячи рублей. Спецбандеролью брошь была немедленно отправлена для опознания в Ленинград. Три дня назад бандероль пришла. Показали драгоценность Сердюкову. Он признал в ней ту самую брошь, которую похитил у старухи. Вызвали опытного эксперта из ювелирного магазина, и тот установил, что стоимость «драгоценности» не больше восьмидесяти — ста рублей. Обычный позолоченный металл с поддельным клеймом червонного золота. То, что должно было быть бриллиантами, оказалось обыкновенными стекляшками.

Вызвали Родыгину.

— Ваша? — спросил у нее начальник уголовного розыска.

Нижняя челюсть у старухи запрыгала.

— Что вы!.. Ничего общего!.. Это же подделка...

Следствие зашло в тупик. Оставались две версии: или старуха выжила из ума и многие годы принимала фальшивку за подлинник, может быть, подмененный еще самим Родыгиным, у которого, кроме жены, была еще и любовница, эмигрировавшая за границу, или какой-то опытный и матерый шеф Сердюкова как по нотам разыграл всю эту историю с подделкой, чтобы замести следы к настоящей бриллиантовой броши. Трудно было поверить, что эта работа — дело рук самого Сердюкова. Но кто? Кто этот ловкий авантюрист, который задал задачу прокуратуре четырех крупных городов?

Трое суток оперативная группа милиции Ленинграда шла по пути второй версии, и вот наконец счастливым образом оказался Николай Захаров, которому удалось на квартире Сердюкова при обыске обнаружить неотправленное письмо из Сухуми. В письме некоему Василию Ивановичу (фамилия его оставалась пока неизвестна, так как письмо было без адреса) сообщалось: «...Липу сбавил одному местному еврей за пятьсот колов. Остальные рассыпал в Гагре и Сухуми». В конце письма была сделана маленькая приписка: «Случайно в Гагре встретил на пляже одного пахана, у которого, как и у тебя, вставное горло. Говорит, что три года назад мучился кашлем, а теперь, как съездил два раза на курорт, кашель прекратился. Так что давай приезжай сюда погреть свои старые кости».

...Вот он, этот человек со вставным горлом, теперь встретился Захарову. Туман, Виталий Александрович Сухаревский, Николай Семенович Бердников, «дядя Петя», обладатель еще многих и многих кличек и имен... И, наконец, Василий

Иванович Макаров. Под этим именем и фамилией он и проживает последние два года в Гатчине.

...Николай вернулся к старику. Тот, облокотившись на каменный парапет, равнодушно смотрел на красный поплавок, плясавший на рябоватых волнах. Догадывается или не догадывается? И прежде чем заговорить с рыбаком, громко откашлялся.

— Кончайте, Василий Иванович!

Старик посмотрел на Николая равнодушным, тоскующим взглядом:

— Я вас не понял.

— Я говорю, сматывайте удочки. — Николай достал из кармана удостоверение оперативного уполномоченного уголовного розыска ленинградской милиции и показал его старику, — Вам придется пройти со мной.

— И далеко?

— В уголовный розыск.

Что-то рысиное вспыхнуло в выцветших глазах старого рецидивиста. Вспыхнуло и тут же угасло. Не торопясь, он аккуратно смотал удочку, положил ее на правое плечо и сказал, не глядя на Николая:

— Я к вашим услугам, молодой человек.

После обыска старик зашагал вдоль набережной.

...В этот же вечер бриллиантовая брошь лежала на столе перед начальником уголовного розыска городского управления милиции. Пожилой лысый эксперт, рассмотрев драгоценные камни через огромную лупу, некоторое время стоял с растерянным видом, потом тихо проговорил:

— Тридцать пять лет имею дело с драгоценностями, а такое сокровище встречаю впервые.

— Сколько она стоит? — сухо спросил начальник, поглядывая то на брошь, то на смутившегося эксперта.

— Ей нет цены!..

— Эмоции оставьте при себе. Нам нужна оценка специалиста. — Начальник угрозыска, смуглый, худощавый мужчина с энергичным лицом, взглянул на Николая Захарова, потом на эксперта: — Тут не музей, а милиция. Здесь все похищенные вещи имеют свой денежный эквивалент.

— В таком случае... — эксперт развел руками. — Я могу утверждать, что брошь стоит не меньше трехсот тысяч рублей.

— Вот это нам и нужно.

Начальник записал в протоколе: «Триста тысяч рублей».

На этом операция по розыску драгоценностей была закончена, и дело передали в городскую прокуратуру. А бриллиантовая брошь вернулась к ее законному владельцу — государству.

8

Наталка медленно шла по центральной аллее Летнего сада и внимательно вчитывалась в имена богов и богинь древнегреческой мифологии, которые, точно на парад, выстроились на постаментах. Искренность, грация, изобилие,



милосердие, правосудие — все добродетели земли и неба предстали здесь в неповторимых шедеврах мирового искусства.

«Где же эта Беллона?..» — думала Наталка, рассеянно оглядывая богиню милосердия, стоящую с открытой книгой законов, в которой было начертано:

*«Правосудие преступника осуждает;*

*Милосердие же милость дарует».*

Левой ногой богиня попирает наручники каторжника. На лице ее святая доброта и всепрощение.

Наталка пошла дальше. Вот уже и добрая половина аллеи осталась позади, а Беллоны все нет.

Солнце расплавленной лавой врывается через державную решетку Летнего сада и, обжигая зеленую листву вековых лип, бросает свои золотые блики к ногам неприступной Немезиды — богини судьбы и возмездия. Наталка остановилась у скульптуры «Рок». Лицо мудрого старца-прорицателя. В левой руке он держит книгу судеб, правой опирается на алтарь, обвитый дубовой гирляндой. Глаза подняты к небу. Кажется, по звездам он читает судьбы людей. Спокоен, уверен в своих предсказаниях.

Наталка глядела на скульптуру старца и вспоминала стихи:

*Скажи мне, кудесник, любимец богов,*

*Что сбудется в жизни со мною...*

Но вот наконец и Беллона. Наталка первый раз слышала имя этой богини. Остановившись, она прочитала коротенькую надпись на постаменте: «Богиня жестокой, кровавой войны». Прочитала и отступила назад, рассматривая надменное лицо гордой Беллоны, которая устремила свой взгляд в землю. Из-под козырька ее тяжелой каски, казалось, исходит молчаливое проклятие всему живущему. В лучах заходящего солнца она показалась Наталке символом мрака и уничтожения. В руках Беллоны пылающий факел, пламя которого направлено вниз, на людей.

«Почему он назначил свидание у этой скульптуры?.. — думала Наталка, продолжая всматриваться в черты лица Беллоны. — Неужели в этом есть какой-то смысл?» Она повернула голову влево, и взгляд ее упал на скульптуру Сатурна — бога времени, отца дней и лет. Он показался ей ужасным. Старик, с жестоким лицом, подняв на руки младенца, высасывает из него кровь. Сатурну было предсказано, что дети лишат его власти, и вот он... умерщвляет своего сына.

Наталка посмотрела на часы. Назначенное время уже прошло, а Николая все еще не было. «А вдруг у него сегодня опять что-то непредвиденное?»

Николай подошел незаметно. Казалось, он появился откуда-то из-за скульптуры «Рока»... От неожиданности Наталка вздрогнула.

— Простите, я немного опоздал.

— А я только что подошла. Дорогой занималась мифологией.

— Ну и как?

— Грустное место для свидания.

Николай осмотрелся. Он не мог не согласиться с Наталкой, что уж слишком жестокие и кровавые боги сгруппировались у главного входа в Летний сад.

— Пойдемте отсюда.

— Куда?

— К цветам, к Плодородию, к богине утренней зари,..

Они направились по центральной аллее, потом свернули вправо. Маленькая аллея была безлюдна, скамейки свободны. Шли молча.

Первой заговорила Наталка. И заговорила о том, о чем она более всего не хотела сегодня говорить:

— Вы знаете, Николай Александрович, я много думала над тем, что вы рассказывали мне в прошлую среду. Конечно, телеграмма жестока, но.., многое мне все-таки непонятно.

— Что непонятно?

— Почему вы не хотите написать Наташе?

Николай посмотрел на Наталку:

— Зачем?

— Мне кажется, вы все-таки не правы. Нельзя в любви быть таким гордым. Кто любит по-настоящему, тот должен находить в себе силы прощать.

По губам Николая скользнула усмешка.

— Вы говорите, в любви нельзя быть гордым? А я думаю — наоборот. Кто не может быть гордым, тот не может любить.

— Вы не так меня поняли. Я хотела сказать, что вам необходимо за свою любовь бороться. Вы сильный человек! И потом вы же безумно любите Наташу. Почему бы не сделать шаг навстречу ей?

— Что это, по-вашему, за шаг? — тихо спросил Николай.

Наталка боялась, что не сумеет выразить свою мысль достаточно убедительно.

— Может быть, по молодости я не все понимаю, но ведь так нельзя, Николай Александрович! Поймите, нельзя!.. Любить друг друга и истязать себя мелочными придирками и сомнениями!.. Это же пытка!..

— Вы слишком неопределенно говорите. Научите меня, подскажите, вы же женщина!

Наталка ответила запальчиво, прижав руки к груди:

— Вы должны немедленно поехать к ней сами и все объяснить! Письма — все это не то, не то!..

— Это исключено! — сухо отрезал Николай.

— Почему?

— Представьте, каким будет выражение лица этого гостя, если на вокзал его придет встречать Наташа вместе... с мужем.

— Но ведь вы не убеждены по-настоящему, что она замужем.

— Я говорил вам о ее последней телеграмме. А Наташу я знаю хорошо. Об этом она может сказать лишь тогда, когда все совершилось.

Наталка нагнулась, сорвала травинку и, надкусывая ее, шла некоторое время молча. Ей было тяжело выслушивать исповедь любимого человека, который думает не о ней, а о другой.

Молчание становилось тягостным. Наталка чувствовала: если пройдет еще минута в молчании, она не выдержит и во всем признается. Выручил Николай.

— Вот видите, как все просто со стороны и как все сложно, когда в таком положении оказываешься сам, — сказал он.

— Я знаю только одно: за любовь нужно бороться! Ее нужно оградить от злых людей, от предрассудков, от сплетен.

Что-то неуловимо горькое мелькнуло в выражении лица Николая.

Они проходили мимо скамейки, над которой нависли тяжелые сучья старой липы.

— Присядем?

Наталка села на лавочку, разгладила на коленях пестренькое ситцевое платье.

Лучи солнца, пробившись сквозь листву могучих деревьев, золотыми рваными лоскутами лежали на желтой песчаной дорожке.

— Николай Александрович, вам не кажется, что вы иногда бываете чрезмерно жестоки?

— К кому?

— К себе, к своим чувствам.

— Не знаю. Может быть. Но другим я не могу быть. И не хочу! — Николай задумался, глядя, как переползает через дорожку гусеница, то сокращаясь, то удлиняясь: какой-то особый инстинкт самозащиты точно подсказывал ей, что на дорожке ее могут раздавить. — Есть у меня в Москве друг, Григорьев. Если бы вы сказали ему, что он жесток по отношению к себе, к своим чувствам, знаете, что бы он вам ответил?

— Что?

Николай достал папиросу, помял ее и закурил.

— Прежде всего объясню, что у Григорьева слабость к крылатым фразам, афоризмам. На ваш вопрос он ответил бы глубокими и умными строчками одного нашего поэта. — Силясь что-то припомнить, он тер ладонью лоб. — Пойдите, пойдите... Как же это?.. Ах, вспомнил:

*В любви есть качество смешное:*

*Порой с ней поступают так,*

*Как Разин поступил с княжною...*

Некоторое время Николай сидел неподвижно, точно забыв, что рядом Наталка. Потом невесело проговорил:

— Вдумайтесь хорошенько в смысл этих трех строк, и вы многое поймете.

Наталка тихо, с какой-то еще не осознанной ею самой затаенной надеждой спросила:

— Со своей любовью вы поступили так же, как Разин с княжной?

Николай вздохнул:

— Нет, пока еще нет. Пока не хватает духу. Вот когда наберусь сил, тогда подниму ее высоко над головой и выброшу за борт. Может быть, тогда станет легче. А сейчас... Сейчас не могу. — Он ослабил галстук и расстегнул верхнюю пуговицу

рубашки. — Понимаете, как-то душно, будто наваливается на грудь что-то тяжелое, и все кажется, что не туда иду. словно что-то забыл, а что — не знаю... — Он неожиданно умолк и спустя минуту продолжал: — Простите, что я разоткровенничался. После такой исповеди станет легче. Кроме вас, я никому не могу сказать об этом.

Наталке неудержимо захотелось броситься на грудь Николаю и, не стыдясь, рассказать ему, что и ей не легче. Даже наоборот, в тысячу раз труднее. О, если бы он мог догадаться, как тяжелы для нее эти его признания!

— А есть, есть такие люди, у которых хватает силы поступить со своей любовью так, как это сделал Разин, — задумчиво проговорил Николай и затянулся папиросой. — Я сам встречал такого человека. Сильный, красивый! Мне далеко до него.

— Расскажите об этом человеке, — попросила Наталка.

— Могу. Только это будет долго. Если о нем рассказывать, то нельзя обойтись без некоторых деталей. Запал мне в душу этот человек, и вряд ли я когда-нибудь его забуду. Хватит у вас терпения выслушать о нем все?

Наталка была готова слушать хоть целый вечер.

— Его зовут Остапом. Где он сейчас — не знаю. Это было два года назад. Я частенько бывал в студенческом общежитии на Стромынке, хоть и не жил там. Иногда во время экзаменов пропадал в студгородке целыми сутками. Остап тогда учился на первом курсе юридического факультета. Однажды мы с ним разговорились и сразу же пришли друг другу по душе. Чтобы вы могли яснее представить этого человека, вообразите себе двадцатичетырехлетнего парня среднего роста, крепкого, вся грудь в орденах — с войны он пришел капитаном, служил в разведке, сам из Рязани. — Николай затушил папиросу и положил ее на портсигар. — Остап подружился с одной девушкой. Ее звали Светланой. Тоже видная, красивая, дочь известного изобретателя. Я не хочу называть его имени, он здесь ни при чем.

Такой трогательной и нежной дружбы я не встречал даже в романах. Все мы, кто знал Остапа, по-хорошему завидовали ему. Светлана была на пять лет моложе его и училась на втором курсе пединститута. У нее были большие синие глаза, косы до колен, а талия, кажется, подует ветерок, того и гляди, переломится. Бывало, смотришь на эту пару — не наглядишься. Вот, думаешь, судьба свела двух таких людей. Как тут не быть счастью?

Друзья уже приставали к Остапу: когда свадьба, в шутку стали напрашиваться в крестные отцы, а кое-кто по-товарищески шутил: «Смотри, Остап, прозеваешь свою Светлану!», «Я своими глазами видел, как она кокетничала с физиком на танцах». Остап только улыбался и дружески отвечал: «Ничего, ничего, *Festina lente.*» («Торопись не спеша», лат.)

Так прошел год. Наступили летние каникулы. Остап повез свою невесту в Рязань. Пробыли они там больше месяца. Вернулись веселые, загорелые. А в сентябре Остап сделал Светлане предложение. Она приняла его с радостью и обещала поговорить с родителями. Остапу даже и в голову не могло прийти, что дальше обернется все так нелепо и обидно. Целую неделю не приходила Светлана в общежитие. Раньше такого с ней никогда не случалось. Не было дня, чтоб она не забежала хоть на минутку поведать своего друга. А тут как в воду канула. Дома у нее был телефон. Остап позвонил раз, позвонил два — Светлану не подзывают. То она, видите ли, спит, то плохо себя чувствует, то ее вообще нет дома. Неладное что-то почувствовал Остап. Однажды, отойдя от автомата, он попросил позвонить знакомую девушку. На женский голос Светлану позвали к телефону. Я стоял в это время рядом с Остапом. Нужно было видеть его лицо!.. Оказалось, мать Светланы узнавала Остапа по голосу и всячески ограждала свою дочь от разговоров с ним.

С этого дня Остапа словно подменили. Он осунулся, почернел, стыдился смотреть друзьям в глаза. Не находил себе места. Со мной он был откровенным и однажды чистосердечно признался — не знает, что делать дальше.

Я посоветовал терпеливо ждать. Он согласился. Прошло еще несколько дней. И вот в один из вечеров, помню, лил сильный дождь, в комнату постучала Светлана. Вошла в прозрачном голубом плаще. С него скатывается вода, на щеках не то слезы, не то капли дождя. Это было в субботу. Я приезжал в общежитие за конспектами по римскому праву. Все, кто был в комнате, вначале удивились, ну и, разумеется, обрадовались. Тут же под разными предлогами стали выходить.

Остап остался вдвоем со Светланой.

Целый час я стоял у раскрытого окна в коридоре. Над Москвой разразилась такая гроза, что казалось, где-то рядом трескаются и разваливаются целые дома. Молния слепила, от ее вспышек зеленые тополя под окнами казались бледно-серыми, перепуганные голуби жалобно стонали.

Через час я вошел в комнату Остапа, Светланы там уже не было. Остап лежал на койке и смотрел в потолок. Я спросил, как дела. Молчит. Я повторил вопрос. Он продолжает смотреть в потолок, потом спокойно говорит: «Конец». — «Почему?» Вначале я думал, что это шутка. Остап отвечает: «Отказала потому, что я инвалид! Понимаешь — калека, безногий человек!..» Я забыл вам сказать, что Остап вернулся с войны без ноги, ходил на протезе, с палочкой. Вначале я не поверил: как, такая умная, такая чуткая и нежная девушка — и вдруг... могла поступить так! В уме моем это не укладывалось. Остап был прямой и открытый парень. Он подробно передал разговор со Светланой. Оказалось, что мать и слушать не хотела, чтобы ее дочь, дочь знаменитого изобретателя Ветлугина — вот, видите, я и проговорился, — дочь знаменитого Ветлугина вышла замуж за калеку из Рязани. Поплакала Светлана, а потом смирилась. И когда горе немного улеглось, пришла сказать об этом Остапу. И, разумеется, попросить прощения.

Николай достал из портсигара папиросу и снова закурил.

Чувствуя, что конец этой печальной истории еще не наступил, Наталка торопила его:

— Неужели они так и расстались навсегда? Ведь они же любили друг друга?

И снова потек неторопливый рассказ:

— Дальше все шло своим чередом. Остап вначале сдал. Я бы даже сказал, опустил. Перестал следить за собой, протез забросил под кровать, стал ходить на костылях, небритый, с тоскующими глазами, утром идет не в университет, а в пивную. Там просиживал до обеда, потом возвращался в общежитие, ложился на кровать и ни с кем не разговаривал. Вечером куда-то уходил и возвращался поздно ночью. Несколько раз мы пытались урезонить парня, помочь ему дружеским советом, но он раздраженно отмахивался и просил, чтобы его оставили в покое. Трудно было с ним в это время разговаривать. Он попал в глубокую воздушную яму. — Николай посмотрел на Наталку и спросил: — Вы когда-нибудь летали на самолете?

Наталка отрицательно покачала головой.

Николай продолжал:

— Когда летишь, все как будто хорошо... И вдруг, неожиданно как будто останавливается сердце, захватывает дух... Вначале даже не понимаешь отчего. И только спустя несколько секунд догадываешься: самолет попал в воздушную яму. — Николай на минуту зажмурил глаза. — В жизни человека тоже бывают воздушные ямы. У одного они мельче, у другого глубже. Но бывают и такие ямищи, из которых люди так и не выкарабкиваются. Вот взять хотя бы вчерашнего старика с удочкой. Этот человек однажды попал в такую яму, из которой вряд ли когда-

нибудь выберется... Но это между прочим.

Продолжим об Остапе. Однажды я зашел в общежитие, вижу: по коридору идет он. Посмотрел ему вслед, и сердце у меня защемило. Костыли выбрасывает далеко впереди себя, шаг длинный, пряди волос спадают на глаза, он их откидывает взмахом головы — это его привычка, — а сам поет вполголоса:

*Жена погорюет, жена потоскует.*

*Выйдет за другого и забудет про меня,*

*Жалко только волю во широком поле,*

*Матушку-старушку да буланого коня...*

Эту песню он хорошо певал и раньше, но тут она звучала особенно. Коридоры в общежитии длинные, гулкие. Из комнат выскакивают девчата, успокаивают Остапа. А он, как назло, бросит впереди себя костыли, махнет несколько саженных шагов да на весь коридорище снова как затянет:

*Жалко только волю во широком поле,*

*Матушку-старушку, да буланого коня!..*

Подошел к автомату, набрал номер телефона Светланы и ждет. От волнения на лбу даже пот выступил. А когда услышал длинные гудки, тут же бросил трубку.

Николай замолк. Взглядом он следил за белой тучкой. Ее золотистый, подпаленный солнцем верхний ободок клубился и переливался, как живой. Но вот облачко скрылось за кронами вековых лип, и снова бездонная стеклянноподвижная просинь неба открылась над садом.

— Вы любите песни? — рассеянно спросил Николай.

— Люблю, — с какой-то тихой покорностью ответила девушка.

Николай словно не расслышал ответа. Он сидел задумавшись и полузакрыв глаза. Наталке почему-то показалось, что он забыл про Остапа. Она робко напомнила:

— Что же было дальше с вашим другом?

— С другом?.. — Николай даже не шелохнулся. Взгляд его был устремлен куда-то далеко-далеко. — Как сейчас помню, это было в октябре, дворик студенческого городка устлан багряными кленовыми листьями. За Яузой, метрах в двухстах, на противоположном берегу — восьмиэтажный серый дом. Большущий дом... В одной из квартир этого дома жила Светлана. Остап знал ее окна. Они выходили на Язу и из общежития были хорошо видны. Я сидел за столом и переписывал задание по латинскому языку. В комнате, кроме меня и Остапа, никого не было. Он подошел к окну, уперся руками в косяки и запел. Ох, как он пел!.. Я никогда не думал, что можно вот так всю боль души выплеснуть в песне. В глазах его стояли слезы. А он смотрел туда, через Язу, на окна Светланы, и пел:

*Думы моц, думы моц,*

*Лыхо мэни з вамы,*

*Що стали вы на паперы*

*Сумными рядами...*

— Грустная песня. Ее пел мой отец, — с затаенной горечью проговорила Наталка.

— Неужели они так и расстались?

— Через неделю Светлана пришла к Остапу, но он ее прогнал.

— Прогнал? Как он мог это сделать?! Ведь он же ее любил!

— Вот потому-то и прогнал, что любил! Даже разговаривать не стал.

— А она? — Наталке не терпелось узнать дальнейшую судьбу Светланы.

— Она заплакала и ушла. Через неделю пришла снова. Остапа не было дома. Светлана прождала его больше двух часов. Наконец он появился. Она бросилась к нему: «Остап, я не виновата!..» Он отстранил ее, сказал, что занят важными делами, хотя никаких важных дел в этот вечер у него не было... Ушел, не сказав ни слова. Из окна я видел Светлану, когда она брела по дворику, не отнимая платка от глаз.

— А Остап? Что стало потом с Остапом? Неужели он опустился?

— О нет! Таких согнуть нелегко. Пить бросил, вставал с рассветом и уходил в библиотеку. А через полгода написал такую научную работу по уголовному праву, что ее в числе лучших послали на всесоюзный студенческий конкурс. Даже премию за нее получил.

— А вы считаете, что он поступил правильно, расставшись со Светланой таким образом?

— Не знаю, правильно или неправильно, знаю только, что поступил он по-мужски.

Золотые солнечные прожилки на песчаной дорожке доползли до газона и незаметно растаяли. Над садом сгустились прохладные вечерние сумерки, которые через час-полтора растают, и город с его проспектами и мостами потонет в голубоватом океане белой ночи.

— А вы?.. Как бы поступили вы, если бы после всего, что произошло, Наташа вдруг вернулась к вам? Прогнали бы ее?

— Я? Нет, у меня на это не хватит сил.

— Николай Александрович, дайте мне адрес Наташи. Я напишу ей. Я расскажу, как вы любите ее. Она поймет. Мне так хочется помочь вам! Я даже не знаю, что мне сделать, чтоб вам было легче.

Николая тронуло искреннее участие Наталки. Он горько улыбнулся:

— Не нужно. Разбитую чашу надолго не склеишь.

Наталка притихла, потом задумчиво спросила:

— Как вы сказали? «В любви есть качество смешное...» А дальше?

Николай поднял на девушку глаза.

— «Порой с ней поступают так, как Разин поступил с княжной...»

Щеки Наталки зардели вишневым румянцем. Затаенная надежда на какое-то мгновение снова вспыхнула в ее глазах.

Некоторое время сидели молча. Николай решил, что пора идти домой.

Они встали. Слева и справа у обочин аллеи в самых различных позах застыли на постаментах мраморные боги.

Почти всю дорогу разговор поддерживался обрывками несвязных фраз. О себе не говорили. Говорили о погоде, об экзаменах, о придирчивых преподавателях. И только у дома Наталки Николай сказал, что через три дня он сдает последний экзамен и уезжает на каникулы в Москву.

— Уезжаете? Вы раньше об этом не говорили...

— А зачем? В сентябре приеду, и мы снова встретимся.

Тихая улочка выглядела пустынной. Не видно было даже вездесущих дворничих, которые особенно охочи до интимных разговоров влюбленных пар.

— Николай Александрович!.. Вы понимаете... Я давно хотела сказать... — После каждого слова Наталка нервно кусала нижнюю губу. Волновалась, как отличница, которую вызвали к доске решать трудную задачу. Она испробовала уже несколько вариантов, а задача все не получалась. Под ударом ее престиж первой ученицы в классе. — Мы больше уже не встретимся до вашего отъезда?

— Пожалуй, не встретимся. У меня много дел, да и у вас экзамены. Отложим на сентябрь.

— Николай Александрович... Вы понимаете... Я... — Наталка опустила голову и закрыла глаза ладонями: такой жест человек делает инстинктивно, когда его только что ослепило вспышкой молнии.

— Что с вами? — с тревогой спросил Николай.

— Я... Я вас... — Она порывисто отняла от лица руки, посмотрела на Николая испуганными широко открытыми глазами, молниеносно обвила его шею и поцеловала. — Прощайте...

И убежала.

Николай растерялся. В первую минуту он не мог сообразить, что произошло, и испуганно смотрел на дверь, за которой скрылась Наталка.

...Два чувства боролись в нем, когда он шел домой. Одно наполняло все его существо светлой радостью: «Любит!.. Хоть один человек на свете...» Другое чувство наперекор ему тянуло сентябрьским холодком и рассудочно шептало: «Что ты делаешь? Зачем губишь девушку?! Ведь ты любишь другую... Кроме страданий, ты ничего не дашь ей. Она и без того столько выстрадала, что хватит на десятерых. Оставь ее! Но сделай это осторожно, чутко, чтоб не ранить хрупкой души...»

Уже в двенадцатом часу ночи, когда все в казарме спали, Николай присел у настольной лампы и принялся писать:

«Дорогая Наталка! Простите, если я причинил вам хоть маленькую боль. Мне всегда было легко и хорошо с вами. Вы умная девушка, вы все поймете. У меня в жизни многое исковеркано и сложилось не по-людски. С вами мы можем быть хорошими друзьями. Я всегда приду к вам, когда вам будет трудно, когда позовете. В среду я уезжаю. Желаю вам хорошо сдать сессию, а главное — здоровья и бодрости духа. С приветом — Николай.

Через три дня, сдав последний экзамен, Николай уехал в Москву.



### ЧАСТЬ III

1

С тех пор как Наташа переступила порог горноуральской школы и начала свой первый урок по литературе, прошло почти три года.

Много воды утекло за это время, на многое Наташа стала смотреть другими глазами. Самым тяжелым воспоминанием для нее был Николай. Все письма, написанные ему за первые полгода жизни в Горноуральске и адресованные на милицию, канули как в воду. Только одно вернулось с короткой припиской на конверте: «Адресат выбыл». Писала Наташа и на домашний адрес Николая, но и эти письма оставались без ответа. Молчание это она понимала: такие, как Николай, если уходят, то не возвращаются. Все яснее и яснее становилось для нее, как глубоко и несправедливо она его обидела. Она все больше убеждалась, что прошлое вернуть невозможно. А после телеграммы, которую Наташа получила из Ленинграда — это было в первую зиму жизни в Горноуральске, как раз накануне Нового года, — она поняла, что писать Николаю больше незачем.

Спустя три месяца из письма матери Наташа узнала, что Николай женился и в милиции уже не работает. Эта новость была тяжелой.

Еще будучи студенткой, Наташа проявляла большую любовь к устному народному творчеству. Ее доклады по русскому фольклору отличались самостоятельностью и глубиной. Руководители семинаров предрекали ей успех в науке и считали, что если на кафедре русского фольклора в этом году будет принят только один аспирант, то самым достойным претендентом, несомненно, явится Лугова. Но, к удивлению всех, от аспирантуры Наташа отказалась. А когда профессор Вознесенский укорял ее, что она зарывает заживо в землю талант филолога-фольклориста, отказываясь от аспирантуры, Наташа твердо заявляла, что плохо знает жизнь и потому ей непременно нужно несколько лет поработать.

Но были и другие причины, по которым Наташа так резко изменила свои планы, отказавшись от аспирантуры. В душе она питала надежду, что на Урал с ней поедет и Николай. Однако все получилось не так. В ту последнюю встречу, когда она долгое время под дождем ждала его, чтоб высказать все, что тревожило и мучило, он даже не захотел говорить с ней. Перед отъездом она намеревалась зайти к нему, но в последнюю минуту решила лучше написать из Горноуральска. Объяснилась, но в ответ на шестое послание получила такую телеграмму, что лучше бы уж и не писала.

Когда в школе наступили летние каникулы, Наташа написала матери, что в Москву она этим летом не приедет, и приглашала ее к себе в гости. Елена Прохоровна вначале подумала, что дочь шутит и хочет приехать без предупреждения, как снег на голову, но следующее большое письмо рассеяло ее предположения. Наташа писала, что все это лето намерена провести с фольклорной экспедицией от Уральского университета.

В нежелании дочери приехать на каникулы в Москву Елена Прохоровна видела только одно — дочь стала забывать мать.

Упреки и обиду Наташа переживала остро, но никак не могла победить в себе новую страсть — уральский фольклор. Все лето она кочевала по уральским селам. В старинных кержацких песнях и былинах перед ней вставала история края, который раньше заселялся преимущественно политическими ссыльными, беглецами и людьми, бросавшими свои истощенные клочки где-нибудь на Рязанщине или Тамбовщине, чтобы испытать счастье на «вольных землях». Только сильные доходили до этих «вольных земель». И эта сила и широта человеческой души выливалась в песнях и пословицах.

Каких только людей не приходилось встречать в деревнях, заброшенных на сотни километров от железной дороги! Но самое примечательное, что бросалось в глаза Наташе, — это то, что все эти большие, сильные люди были по-детски чисты и как-то особенно добры.

Мать не могла понять восторгов дочери. И когда приехала в Горноуральск, сразу же заскучала и через две недели вернулась в Москву. А Наташа догнала экспедицию — и снова песни, сказания, легенды...

Так прошло два лета. Наступило третье, а Наташа упорно не приезжала в Москву. Все эти два с лишним года она как одержимая была во власти уральского фольклора. Три большие связки тетрадей, которые уже начали желтеть от времени, хранились как драгоценность. И как ей хотелось показать собранные сокровища профессору Вознесенскому! Она даже представляла, сколь велика будет его радость, когда он увидит все это.

В первые месяцы жизни на Урале Наташа получала письма каждые два-три дня. И почти все от Ленчика. Наташа не дочитывала их до конца: они были утомительные и длинные. Некоторые она, даже не распечатывая, бросала в печку.

В письмах Ленчика повторялось одно и то же: цитаты из романов, выдержки из стихов, клятвенные заверения.

А одно письмо он целиком посвятил оправданию интриги с гадалкой. В нем были громкие высказывания о любви — о такой любви, которая толкает на подвиги и на преступления. Если Андрий, сын Тараса Бульбы, писал Ленчик, мог из-за любви к женщине даже изменить родине, то его поступок по сравнению с тем, что сделал Андрий, — только милая, безобидная шутка.

Все это Наташе давно надоело, и она ответила — это было ее первое письмо Ленчику — коротенькой запиской, в которой посоветовала хоть капельку уважать себя и иметь достоинство, чтобы не писать писем, которые она не читает.

После этого Ленчик замолчал. Молчал два года, до тех пор, пока снова не расположил к себе Елену Прохоровну. А мир между ними наступил просто: вначале он открыткой поздравил ее с Новым годом, потом, в день рождения, осмелился позвонить по телефону и, уловив в голосе именинницы благожелательность, через полчаса собственной персоной ввалился к Луговым с корзиной цветов. А цветы и лихая память не живут под одной крышей. Так Ленчик снова завоевал утраченные симпатии.

Со временем скандальная история с гадалкой забывалась, и в памяти Елены Прохоровны оставалась только яркая речь Ядова. Постепенно она стала убеждать себя, что в случившемся прежде всего виновата сама: если б не выложила тогда перед гадалкой драгоценности, никакой кражи и не случилось бы. А там, глядишь, дело пошло бы к свадьбе...

Обо всем этом Елена Прохоровна писала Наташе, пытаясь помирить ее с Ленчиком, и советовала серьезно подумать о своей дальнейшей судьбе: ведь годы идут.

После таких писем от матери вновь стали приходиться надушенные конверты от Ленчика. О его вине в истории с цыганкой в них не было ни слова. Ленчик изменил тактику. Наташе казалось, что здесь не обошлось без совета Елены Прохоровны. Письма были веселые, без нытья и любовных заклинаний.

На одно из таких посланий Наташа даже ответила. Она просила поподробней узнать о Николае, где он, что с ним, его адрес. «Не мог же он так легко разлюбить меня и полюбить другую! А если женился, то сделал это назло, очертя голову...» Эта тайная мысль не давала покоя, она приходила часто, хотя Наташа стыдилась ее и упрекала себя в малодушии.

Через месяц — это было в мае — пришел ответ от Ленчика. Из него Наташа узнала

ужасное. Ленчик писал, что он очень долго разыскивал Николая и наконец нашел. С матерью он уже давно не живет и окончательно спился. Три года назад Захарова командировали учиться в Ленинград, но после одной пьяной скандальной истории, которая чуть не кончилась тюрьмой, его исключили из партии и отчислили из училища. Вернувшись в Москву, он снова хотел поступить в вокзальную милицию, во его не приняли. Потом связался с какой-то вдовой, которая торгует пивом на Пресне, и перешел жить к ней. У нее двое детей, и она лет на шесть старше его.

Сцена встречи с Николаем была описана подробно. Это случилось в воскресенье. Барак на окраине Москвы Ленчик насилу нашел. Адрес он взял у матери Николая. Старуха окончательно убита горем, живет в большой нужде. Когда он постучал в комнату, которую указали соседи, никто не ответил, хотя за дверью слышался мужской голос. Открыв дверь без разрешения, Ленчик а первую минуту растерялся: на полу, пьяный, ползал Николай. Он силился встать, но не мог. Ленчик подошел к нему и хотел помочь подняться, но тот уставился на него такими дикими оловянными глазами и разразился такой площадной руганью, что слушать ее было стыдно даже мужчине. Ленчика Николай не узнал даже тогда, когда тот напомнил ему, что раньше они были знакомы. Упоминал все о какой-то пропитой кофте, грозил какой то Варьке.

Много других горьких подробностей сообщил Ленчик, и каждая из них была тяжела для Наташи. Виновницей во всем она считала себя.

Первое впечатление от письма было настолько тяжелое, что Наташа хотела все бросить и немедленно ехать в Москву. Найти Николая и спасти его. Спасти во что бы то ни стало! Ведь он ее так любил! Он ее послушается и станет таким же чистым и твердым, каким был раньше. Воображение уже несло ее в Москву. Одна за другой проплывали картины спасительного милосердия. И почему-то чаще всего Николай вспоминался таким, каким она видела его в последний раз: дождь, а он пьяный и в глазах слезы... Старалась заслонить эту картину другими светлыми эпизодами их дружбы, но она выпирала отовсюду, становилась все ярче. Здесь же перед глазами вставал образ матери — неумолимой, строгой и властной. Вот она повторяет слова: «Никогда! Никогда этого не будет, пока я жива!»

Это было в то время, когда Николай работал, учился и не пил. А сейчас? Что подумает о ней мать теперь, если узнает о ее намерении? Она этого не переживет. А потом эта... его жена Варька. Ведь она, наверное, не даст даже повидаться с ним. Пишет же Ленчик, что она из-за ревности ошпарила кипятком свою соседку.

...Так проходили недели. Наташа поздно ложилась спать и рано вставала. Похудела и как-то внутренне потухла. Илья Филиппович и Марфа Лукинична, жена его, видели, что она тает на глазах, но не могли понять отчего.

Ученики приносили своей любимой учительнице цветы и провожали гурьбой до самого дома. Внутренний надлом в Наташе почувствовали все: ученики, учителя, знакомые. Но причины не знал никто. Поделиться же своим горем Наташа не хотела.

За обедом Марфа Лукинична подкладывала Наташе ее любимые грибочки, соленые огурцы, мороженую клюкву, но та ела мало.

А однажды Марфа Лукинична застала Наташу плачущей. Она тоже принялась плакать и жалеть, допытываясь, что с ней приключилось? Откуда налетел этот «вихорь»? Не в силах больше оставаться наедине со своим горем, Наташа все рассказала. Марфа Лукинична слушала и сокрушенно вздыхала:

— Да разве ты сможешь ему слезами? Только себя горем-то убьешь. Хватит по целому лету за песнями ездить. Поезжай-ка в Москву, разыщи его, и, бог даст, все обойдется по-хорошему, небось ведь не без головы, одумается.

— А если не одумается? Если я его потеряла? — спрашивала Наташа и умоляюще смотрела на Марфу Лукиничну, ожидая утешительного слова.

— Бывает и так, голубушка. Ведь любовь — она штука особая, ее рукой не поймаешь. Бывает и так, что полюбится сатана пуще красного сокола, а бывает и наоборот. По-всякому бывает, раз на раз не приходится. Так-то вот, дитятко.

Весь этот вечер Наташа и Марфа Лукинична просидели в горенке и обо многом переговорили. Марфа Лукинична рассказывала про свою горькую долю, когда она девкой жила в работницах, о том, как Илья Филиппович посватал ее, а выдавать за него не хотели: беден был. Сколько было слез ею пролито, как она убивалась, как уговаривала отца!..

Скрывать горькую новость, которую узнала от Наташи, Марфе Лукиничне было трудно. Как ни крепилась, но не вытерпела и на второй же день рассказала все Илье Филипповичу. Тот пообещал не подать и виду, что знает об этом, но тоже не удержался. Однажды вечером, спустя неделю, он подошел к столику, за которым Наташа склонилась над тетрадками со школьными сочинениями. Нахмутив густые спутанные брови, Илья Филиппович часто моргал. В душе его давно гнездилась жалость к Наташе, а вот слов подходящих, таких, чтобы выразить в них все: и отцовскую нежность, и заботу, и добрый совет — не находилось.

— Хватит вам, Наталья Сергеевна, себя казнить-то, — начал он. — Твердый человек с рельсов не сойдет. А этот сошел. Значит, середка в нем не та. Подыщем вам здешнего, уральца. Будет не хуже любого москвича.

Наташа чувствовала, что вместе с печальной новостью от Ленчика горе вошло не только в ее сердце, но и во весь барышевский дом.

Принимая от почтальона письма, Марфа Лукинична стала незаметно крестить их и что-то пришептывать: а вдруг и в этом что-нибудь плохое? Не дай бог! Раньше к почтальону выходил сам Илья Филиппович. Бывало, еще из окна завидит его, шагающего с пузатой сумкой, и уже спешит навстречу, басовито причитая:

— Наталья Сергеевна, приготовьтесь танцевать. Чую печенкой, что из Москвы.

Теперь же он старался избегать встречи с почтальоном.

Все чаще и чаще Илья Филиппович стал заходить после работы в заводской клуб и покупать билеты в кино. Если Наташа еще не возвратилась из школы, он клал билеты на видное место в ее комнате. Если она была дома, он потихоньку, тяжело припадая на обе ноги, подходил к ней сзади и, положив на стол билеты, виновато и неуклюже просил:

— Наталья Сергеевна, говорят, уж очень хорошее кино. Сходили бы, а то все сидите и сидите над книгами. И отдохнуть бы не мешало.

Эта забота трогала Наташу. В такие минуты она снова чувствовала себя маленькой девочкой, которую балует отец.

— Пойду только в том случае, если пойдете со мной и вы, — отвечала Наташа, совсем не подозревая, сколько радости и гордости вселяет она этими словами в душу старика.

Не в силах скрыть своего ликования, Илья Филиппович шел на кухню и делился радостью с Марфой Лукиничной.

Марфа Лукинична в кино почти не ходила: или некогда или недомогала, а если и собиралась в полгода раз, то, намаявшись за день по хозяйству, как правило, засыпала через пять минут после того, как в зрительном зале гас свет. Все попытки Ильи Филипповича сбить с нее сон, толчки локтем в бок и просьбы, чтоб она не позорила его перед людьми, были напрасны. Марфа Лукинична на минуту брала себя в руки, но вскоре ее голова снова беспомощно клонилась на грудь. Таким сладким, как в кино, сон ей никогда не казался. Зато любила Марфа Лукинична слушать длинными зимними вечерами рассказы Наташи. Живыми из этих рассказов вставали люди, которые боролись, страдали, любили...

Из клуба Марфа Лукинична ждала Наташу с нетерпением: уж так было заведено, что Наташа подробно рассказывала содержание картины. А рассказывала она с большим искусством. С не меньшим интересом слушал и Илья Филиппович, хотя всего полчаса назад весь этот сюжет проплыл перед его глазами на экране.

Бывали случаи, когда Наташа пропускала в рассказе какую-нибудь мелочь. В таких случаях Илья Филиппович начинал кашлять, ворочаться, нетерпеливо ерзал на скамейке. Ему хотелось напомнить то, что опущено. Но подсказывать не решался — знал, что Марфа Лукинична не даст ему и рта раскрыть.

Иногда вечерами Наташа читала что-нибудь вслух.

Так в дружбе и согласии, как в хорошей семье, проходило время. Илья Филиппович и Марфа Лукинична привыкли к своей квартирантке, как к родной дочери.

А сколько смеха было, когда Наташа училась доить корову! И сейчас, когда после этого дня прошло уже два года, Илья Филиппович не мог вспомнить о нем без улыбки. Как ни старалась Наташа нажимать на тугие коровьи соски так, чтоб звонкая струйка молока била в ведро, а не на землю, у нее этого не получалось. Молоко лилось на туфли, на чулки, на юбку. Наташа злилась, кусала губы. Но доить корову она все-таки научилась, и научилась хорошо.

Однажды в доме вспыхнул небольшой семейный скандал. Было это перед Новым годом. Придя из школы, Наташа увидела, что Марфа Лукинична домывала пол в ее комнате. Сняв валенки, в одних чулках, на цыпочках Наташа прошла к дивану. Прилегла, закутала ноги старым клетчатым платком и стала читать Куприна. В голландке дружно потрескивали дрова, на стене бойко и торопливо отстукивали ходики, на цепочке которых рядом с гирькой, изображавшей сосновую шишку, висел ржавый замок. Читая, Наташа вдруг услышала из соседней комнаты тяжелый вздох. «Моеет уже в кухне», — машинально отметила она, и ей стало стыдно: старый человек моеет, а она разлеглась с книжкой.

На переодевание ушло не больше минуты, гораздо больше времени потребовалось упросить Марфу Лукиничну помочь ей. В Москве Наташа пол никогда не мыла, поэтому около часа возилась над широкими сосновыми половицами. Не успела она закончить, как пришел Илья Филиппович. Впустив с собою облако морозного пара, который белыми клочьями пополз над теплым и влажным полом, он так и замер:

— Что за новая мода?

Редко за последние годы Илья Филиппович повышал на жену голос. Не зная, как оправдаться, Марфа Лукинична молча, с подоткнутой юбкой виновато стояла посреди кухни.

— Я и то говорила — не твое это дело. Да разве ее урезонишь? Из рук тряпку вырвала. Поди вот, управься с ней.

Илья Филиппович в сердцах хлопнул дверью.

— Ты уж, Наташенька, больше этого не делай. Не любит Илья Филиппович. Видишь, как туча пошел, теперь, того и гляди, или в шанхайку направится, или в заводской столовой засядет.

«Шанхайкой» в Горноуральске называли пивную.

Вылив грязную воду в яму за забором, Наташа ополоснула ведро, выжала и развесила тряпки, вымыла руки и, усталая, но довольная, прошла в свою горенку. Казалось, никогда в жизни она не чувствовала такой приятной усталости.

Через час вернулся Илья Филиппович. От него пахло водкой, а в глазах светился огонек гнева, который просился наружу. Молча прошел он в спальню. А минут через пять Наташа услышала приглушенную ругань. Надев нагретые в печурке валенки, она подошла к двери.

— Ты что, старая, из ума начинаешь выживать? Боишься надорваться? Заставила ее пол мыть?

— Ильюша...

— Что «Ильюша»? Обрадовалась! Доить корову — Наталья Сергеевна! Распилить дровишки — Наталья Сергеевна. За водой сходить — опять бежит Наталья Сергеевна. Нет, по-твоему не будет!

Глухой удар тяжелого кулака по дубовому столу испугал Наташу, и она открыла дверь:

— Вы меня извините, Илья Филиппович, но мне нужно с вами поговорить. Прошу вас, зайдите, пожалуйста, ко мне.

Следом за Наташей в ее горенку вошел Илья Филиппович. Поглаживая широкую бороду, он виновато молчал и старался не встречаться с ней взглядом.

— Знаете что, Илья Филиппович, если вы еще раз так обидите Марфу Лукиничну, то я от вас уйду.

Илья Филиппович часто заморгал глазами:

— Наталья Сергеевна, я из-за вас все стараюсь. Ведь вы человек занятой, разве ваше дело возиться с полами?..

— Послушайте, Илья Филиппович... — И Наташа принялась рассказывать старику, как она благодарна Марфе Лукиничне за то, что та многому в жизни ее научила. — Вы только поймите, разве это плохо, что я теперь все умею делать: и стирать, и мыть полы, и доить корову, и пилить дрова? Разве вам будет неприятно, если я возьму и приготовлю вам завтра обед или заштопаю носки? Если б вы знали, как я хочу научиться косить траву!

Илья Филиппович смотрел на Наташу и, словно первый раз в жизни осененный какой-то новой истиной, не мог ничего возразить.

А Наташа все говорила. Она объясняла, как горька и унижительна участь женщины, когда муж не видит в ней друга.

Растроганный Илья Филиппович громко высморкался в платок и проговорил дрогнувшим голосом:



— Извиняйте меня, Наталья Сергеевна. Стар я стал, должно быть, и думаю по-стариковски. За молодыми никак не поспеешь. Хочешь уважить — выходит наоборот. Думал, как лучше, а вышло... — Илья Филиппович замялся и, откашляваясь, продолжил: — Если хотите, я у Марфы Лукиничны прошеньица попрошу.

Эта стариковская слабость растрогала Наташу. В душе она уже каялась, что сказала об уходе. Подойдя к Илье Филипповичу, она обняла его большую седеющую голову, прильнула к заросшей щеке своей разрумившейся щекой, как это делала с отцом в детстве:

— Простите, если я вас обидела. Да разве я от вас могу уйти? Вы мне как родные. Только прошу вас, не обижайте больше Марфу Лукиничну.

Скупая слеза обласканной старости сбежала по щеке Ильи Филипповича и спряталась в бороде.

Когда Илья Филиппович был молодым, он все просил жену, чтоб та родила ему дочку, но она рожала одних сыновей. Они росли отчаянными, непослушными. Вырастая, уходили в армию и уж больше не возвращались в родной поселок. Трое

стали военными, двое выучились на инженеров. В гости приезжали каждый год, но, когда Илья Филиппович заводил разговор о том, чтобы сыновья остались дома, те отговаривались, что в Горноуральске с их специальностью делать нечего. Любимцем Ильи Филипповича был третий сын, Иван, которого он с детства звал Ваняткой. Ждал, что, может быть, его жена родит ему внучку, но и у них были только одни сыновья.

В разговоре с Наташей Илья Филиппович всем сердцем почувствовал дочернюю нежность. Встав, он поклонился и тем же дрожащим голосом сказал:

— Спасибо вам, Наталья Сергеевна, за ласку.

Сказал и вышел. Вскоре в горенку к Наташе вошла Марфа Лукинична. Глотая слезы, она рассказала, как Илья Филиппович просил у нее прощения и обещал больше никогда не обижать.

Вечером ссора была забыта.

Собираясь в заводской клуб, куда на новогодний бал были приглашены лучшие рабочие завода, Илья Филиппович стоял перед зеркалом и подравнивал большими овечьими ножницами усы, все время стараясь загнуть вверх кончики.

— Наталья Сергеевна, а что если и мне вырядиться? — кричал он через открытую дверь в горенку Наташе.

— Во что? — доносился оттуда ее голос.

— В медведя! Шкуры есть. Что они зря лежат!

Вмешалась Марфа Лукинична:

— Сиди уж, не смеди народ, и так форменный медведь!

— Тебе назло возьму и наряжусь.

— Так я и пошла с тобой. Срамота одна.

— Вот и хорошо. Пойду один. Подкачусь к какой-нибудь молодухе и начну за ней ухлестывать. А уж если не понравлюсь, зареву по-медвежьи что есть духу, перепугаю насмерть.

Марфа Лукинична покачала головой:

— Пошел седьмой десяток, а тебе все не легчает, все чудишь.

— Чем ругаться, ты лучше посмотри, что я тебе купил. — Илья Филиппович вытащил из кармана пиджака настенный календарь. Этим подарком он окончательно покорила Марфу Лукиничну.

...Все это вспоминалось Наташе как далекие, милые сердцу дни, когда она не знала еще некоторых, самых горьких, подробностей о Николае. А теперь даже мысль о поступлении в аспирантуру, которая крепла в ней все сильнее, и та питалась желанием встретиться с ним. Наташа не хотела верить, что Николай опустил окончательно. Ведь он стремился к светлому, большому. Если б жизнь сложилась по-другому и он счастливо создал бы свою семью без нее, Наташа издалека пожелала бы ему счастья, и все прошлое, что у них когда-то было, сохранила бы в своей памяти как первую, чистую любовь, которую не забывают. Но все это разрушено матерью, ее единственным родным и самым близким человеком, против воли которой она не могла пойти.

На Урале Наташа повстречала многих хороших людей. Она чувствовала, как постепенно начинала прирастать душой к этому интересному, самобытному краю. Какие песни она слышала по вечерам! Сколько в них души!.. Ото всего, что ее окружало здесь: от людей, от гор, от тайги, от крепкого и образного языка народа

— веяло силой могучей природы и чистотой утренних зорь. И если б не последнее письмо Ленчика, то Наташа, может быть, и смирилась бы с мыслью, что дружба с Николаем останется хорошим, светлым воспоминанием.

Наташе было уже двадцать пять лет. В эти годы она не могла не думать о замужестве, о семье. Природа давала себя знать: ее тянуло к материнству. Она даже пыталась полюбить Валентина Георгиевича, инженера завода, который под большим секретом рассказал ей историю о том, как он ехал в одном вагоне с Ильей Филипповичем из Москвы в Горноуральск и тот принял его за вора. Влюбленные плохо хранят тайны. Много раз ходила Наташа с Валентином Георгиевичем в кино, но, кроме простого уважения, ничего к нему не питала. После письма о Николае она совсем отошла от него. Наташа ушла в себя, замкнулась и, кроме школы, почти никуда не ходила. Все ее мысли теперь были обращены к Николаю. А однажды, когда она не смогла заснуть до рассвета, у нее родился смелый и дерзкий план: поехать в Москву, тайно от матери встретиться с Николаем и уговорить его («Умолять! Просить!») поехать на Урал. Им дадут квартиру — директор завода уже давно предлагал комнату, но Наташа не могла расстаться со стариками. Николай переведется в Уральский университет на очное отделение, к его скромной стипендии она каждый месяц будет посылать деньги, будет ждать его на каникулы, ездить к нему... Фантазия поднималась до таких высот, что Наташа отчетливо представляла себе, как Николай, отпросившись на два-три дня, весь запорошенный снегом, с заиндевевшими бровями и ресницами, неожиданно раскрывает дверь и входит в их уютную и натопленную комнатку. Наташа растирает его холодные щеки, помогает раздеться, снимает с него замерзшие валенки... Эти два дня она будет на больших переменах прибегать из школы хоть на одну минутку, чтоб только посмотреть на него. А вечерами? Вечерами они долго будут спорить о том, как назвать сына или дочку. Николай, как все отцы, будет настаивать, чтоб у них был сын, она уступит, чтоб только ему было хорошо. Потом станут выбирать имя. Наташа была уверена, что Николай согласится в память о ее отце назвать сына Сережей. Если будет дочка — назовут Аленкой. Аленка! Какое красивое имя... Наташа сладко потянулась в постели, тряхнув головой, рассыпала по подушке золотистые волосы.

За окнами уже пели вторые петухи и слышно было, как в соседней деревушке пастух щелкал бичом. Скоро выгонят стадо, а ей все не спалось. Хотелось мечтать и мечтать. Особенно счастливыми рисовались каникулы, когда Николай приедет к ней на два месяца и они вместе отправятся собирать сказки, песни, пословицы... Она купит ему хорошее ружье (денег у нее хватит, она уже и теперь имеет кое-какие сбережения), и они будут охотиться. Она тоже научится стрелять, непременно научится. Ей все дается легко.

...И так каждую ночь: думы, думы и думы... Уже давно пропели вторые петухи, к щелканью пастушьего кнута прибавилось ленивое утреннее мычание коров, где-то совсем недалеко горласто надрывался баран.

Переговариваясь на ходу, с ночной смены возвращались рабочие. Горноуральск прсыпался, а Наташа, разбитая и усталая, только начинала засыпать.

Весна, которая на Урале приходит неожиданно быстро и протекает бурно, захлестнула Наташу.

Не раз заглядывал к Барышевым Валентин Георгиевич: приглашал то в кино, то в клуб на репетицию «Платона Кречета», но Наташа, ссылаясь на нездоровье, отказывалась.

Старики это видели, сокрушенно вздыхали.

— Такая красавица и до сих пор одна! — сказал однажды перед сном Илья Филиппович. — В женихи ей нужно Ивана-царевича, а среди здешних нет подходящего. Валентин Егорыч — размазня, об этом я еще в поезде смекнул. Около такой нужно соколом кружить, а он повесит нос и молчит, как филин. Эх, вот Ванятка наш — тот подошел бы, тот в меня. Поспешил, артистку выбрал,



финтифлюшка какая-то окрутила. Тот да, тот мужик что надо, огонь! — С этими словами он повернулся на другой бок к стене.

Марфа Лукинична сонным голосом принялась стыдить:

— Будет тебе молоть-то чего не следует! Разве ей до этого? Разве ученому человеку лезут в голову такие мысли? Посоветился бы. — Марфа Лукинична говорила, а внутренне была согласна с мужем. Вздохи Наташи, слышные на зорьке даже в их спальне, она объясняла тем же, чем и Илья Филиппович.

— Да, что верно, то верно — наука. И я про то же самое, — крякнув, поддакивал Илья Филиппович. — Такой красавице нужно орла, как наш Ванятка. А этот инженер — так себе, заряд без дробы. Пospела девка, давно поспела. Замуж пора.

За бревенчатой стеной в это время, сбросив с себя одеяло и разметав руки, лежала Наташа. Ей снился поезд, перрон, провожающие. Вышла вся школа. Даже директор завода и тот подошел пожать ей на прощание руку. Но почему здесь оказался профессор Вознесенский? Этого она никак не могла понять. Потом все словно завертелось и растаяло. Остался дождь и пьяный Николай. И слезы на его глазах.

2

Заведующий аспирантурой филологического факультета Московского университета Николай Ильич Костичев сидел за столом, заваленным бумагами, и обливался потом. Листая папку с документами, он обратился к заведующему кафедрой фольклора профессору Вознесенскому, когда тот уже собрался уходить.

— Константин Александрович, тут есть заявление. Учительница с Урала. Производственная характеристика хорошая. Хочет учиться на вашей кафедре. Может, познакомитесь с документами?

— Вы меня извините, Николай Ильич. Очень тороплюсь. У меня заседание в Союзе писателей. — Профессор Вознесенский уже совсем было вышел, но в дверях задержался и спросил: — Вы говорите, с Урала? Как фамилия?

— Лугова.

— Лугова? Наталья Лугова?

Профессор подошел к столу заведующего аспирантурой и принялся читать заявление.

— Наконец-то упрямая девчонка повзрослела! Нет, вы только подумайте, Николай Ильич, это же моя бывшая студентка! Талантливая девушка! Я ее уговаривал остаться в аспирантуре сразу же после окончания университета. Не послушалась. Прошу вас, Николай Ильич, немедленно ответьте ей — пусть обязательно приезжает.

Своей радости профессор не скрывал. Рассматривая фотографию Луговой, он разговаривал сам с собой:

— Да, вижу, повзрослела. Все-таки три года! Николай Ильич, как ее отчество? Я ей сам напишу. Непременно напишу.

— Наталья Сергеевна, — ответил Костичев.

Записав адрес Луговой, профессор раскланялся и вышел.

Стоял жаркий июльский полдень. Если б не обсуждение его книги, которое было назначено на начало июля, он давно бы кочевал с экспедицией студентов и аспирантов по Воронежской области, где песня бьет неиссякаемым и мощным ключом из самых глубин народа. От одной Барышниковой было записано столько, что хватило на несколько сборников.

Поджарый и сутуловатый, профессор Вознесенский на целую голову возвышался среди прохожих многолюдной улицы. Толстая трость с набалдашником, широкополая соломенная шляпа говорили, что это скорее заядлый турист, чем известный ученый. По молодой, пружинящей походке ему никак нельзя было дать его шестидесяти лет. Улыбаясь собственным мыслям, он бурчал что-то себе под нос и очень удивился, когда сзади чья-то рука сжала его локоть. Профессор остановился.

— А! Григорий Михайлович! Рад, рад вас видеть, старина. А я-то думаю, куда вы запропастились?

— Все здесь же, — развел руками толстый, заплывший жиром человек в ермолке на лысом затылке. Это был профессор права Львов.

— Ну как?

— Все так же, по-старому. Лекции, семинары, семинары, лекции... А сейчас вот только с государственных экзаменов.

— И не в духе? Не отпирайтесь. Вижу, что не в духе, — погрозил пальцем Вознесенский. — Уж вас-то я, слава богу, знаю. Рассказывайте, что стряслось.

— Мальчишка! Совсем мальчишка и смеет так дерзко заявлять мне, что в системе советского права уголовный и гражданский процессы не должны быть выделены в самостоятельные отрасли. Пытался, видите ли, доказать, что они, как составные, входят в отрасли уголовного и гражданского права. Нашел алогизм. И ведь кто? Молокосос!

— А, старина, — Вознесенский похлопал по плечу Львова, — заиграло ретивое. Молодежь лыжню просит, посторонись, говорит. Так, что ли?

— Почему я должен сторониться? Мой учебник выдержал четыре издания, по нему учатся студенты страны, а тут вдруг какой-то юнец посмел на государственных экзаменах — вы представляете, на государственных, — вступить со мной в спор!

— А вы? Вы, конечно, поставили ему двойку? Как говорится, зарезали парня?

— А разве вы, уважаемый Константин Александрович, не читаете газет? — Львов вкрадчиво прищурился и осмотрелся по сторонам, точно собираясь сообщить большую тайну.

— При чем тут газеты?

— Как при чем? Разве вы не знаете, что критика у нас в моде? Вы говорите — двойка. Напротив! Умиленная государственная комиссия восприняла его выходку весьма и весьма одобрительно. Этому выскочке устроили чуть ли не оvation! Ответ был признан блестящим. Как вам это нравится, Константин Александрович?

— От души поздравляю этого молодого человека. Молодец! Люблю такую молодежь. У нее нужно учиться хватке и прямоте. Если нам в их годы приходилось приплясывать перед авторитетами, то у них сейчас в этом нет нужды. Прощайте, Григорий Михайлович. Советую вам: продумайте хорошенько эту свежую мысль и, если она стоящая, подключитесь и помогите. Будете тормозить — вам придется сторониться.

Огорошенный профессор Львов смотрел вслед уходящему Вознесенскому:

— Ах, и ты, Брут! И тебя, футурист, алхимияхватила?!

3

Чувство простого товарищества к Ларисе у Алексея Северцева стало перерастать в нечто большее. На лекции он всегда знал, где и с кем она сидит, хотя избегал

смотреть в ее сторону. Все было бы хорошо, если б не один злополучный случай, который поссорил их. Поссорились не на неделю, не на месяц, а на годы.

А началось все с пустяка. Алексей нечаянно наступил Ларисе на ногу. «Ох ты, черт возьми, не сердись, совсем не заметил», — сказал он и как ни в чем не бывало продолжал настраивать приемник. Лариса промолчала, но на второй день принесла ему стенограмму лекций «Правила хорошего тона». Лекции эти были прочитаны в Московском институте театрального искусства и в Институте международных отношений некоей бывшей княгиней Волконской. Алексей взял лекции и пообещал вернуть через два дня. Это было в праздничный вечер, на котором Лариса должна была выступать в студенческом клубе в концерте. В зале сидели известная всему миру Раймонда Дьен и ее французские друзья, борцы за мир, приехавшие погостить в Советский Союз. Никогда Лариса так не волновалась, как теперь. Ей очень хотелось, чтоб французским гостям понравился ее танец.

И вот наконец объявлен ее номер. Пианист взял первые аккорды, и Лариса, не чувствуя под собой пола, на одних пальчиках с легкостью пушинки выпорхнула на сцену.

В танец она вложила всю душу. И когда закончила и убежала за занавес, зал клокотал. Ее вызывали три раза: до тех пор, пока она не повторила конец танца.

Разрумянившаяся и счастливая, с букетом осенних цветов, положенных у рампы молодым французом в черном галстуке, Лариса прибежала в свою подшефную комнату студенческого общежития, чтобы переодеться, и увидела Алексея. Он лежал на койке. В комнате, кроме него, никого не было.

— Ты почему не на концерте? — Лариса только сейчас заметила, что он курил («Ах ты поросенок!») и лежал в ботинках («Дикарь! Завтра соберу собрание!»), положив ноги на стул. Рядом валялись лекции княгини Волконской. — Что за безобразие! Ведь это же издевка. Читать правила хорошего тона и вести себя таким образом. Как тебе не стыдно!

Алексей встал, затушил папиросу, поправил смятое одеяло и, собрав разбросанные лекции в одну стопу, подал их Ларисе:

— За то, что в ботинках прилег, и за то, что закурил в комнате, — виноват. А вот за лекции... за лекции о том, как нужно приплясывать, следует драть уши тому, кто их слушает, и сечь ремнем того, кто их усердно распространяет.

Широко открыв глаза, Лариса не знала, что ему на это ответить. Нет, это не Алексей. Таким она его не знала.

— Да-да, драть уши и сечь. Эти лекции рассчитаны на то, чтобы воспитать из молодого человека паркетного шаркуна, который должен улыбаться даже тогда, когда ему хочется плакать. Противно и гадко!

После цветов и аплодисментов эта пилюля показалась Ларисе горькой.

— Увалень! Ты понимаешь, что ты говоришь? По этим лекциям учатся прилично вести себя будущие советские дипломаты, работники искусств, студенты... А ты?! Вылез, как медведь, из своей сибирской берлоги и думаешь, весь мир должен жить по твоим медвежьим законам?

Больше Лариса не хотела разговаривать. Назвав Алексея дураком и тюленем, она зашла за гардероб, чтобы переодеться.

— А обзывать людей дураками и тюленями тоже предусмотрено этими правилами хорошего тона? — язвительно бросил Алексей и снова закурил. Теперь он закурил назло: «Раз дурак, раз тюлень, значит, все можно!»

Этот вопрос еще больше разозлил Ларису. Неестественно расхохотавшись, она покровительственно и сочувственно проговорила из-за гардероба:

— Эх, Леша, Леша, как мне тебя жаль! Год в столице для тебя прошел даром. Правду говорят, что горбатого только могила исправит.

Алексей промолчал.

Лариса, довольная, что ее выпад остался неотраженным, вышла из-за гардероба и, подняв лицо к лампочке, стала пудрить нос перед крошечным кругленьким зеркалом. По ее нервно вздрагивающим ноздрям и изогнутым бровям было видно, что она не сложила оружия в этой словесной дуэли и готова смело принять любой удар противника. В своем ярком цветном платье с пышным бантом она походила на распутившийся куст шиповника, цветущий и колючий.

— Господи, да разве может такого тюленя полюбить девушка? — не унималась Лариса, щелкая крышкой круглой пудреницы.

Алексей затянулся папиросой и спокойно ответил:

— Если такая, как ты, то от этого мужская половина планеты ровным счетом ничего не потеряет.

Чего-чего, а этого Лариса не ожидала. Она даже растерялась.

— Что? Что ты сказал? — зло спросила она, и ее красиво очерченные губы вздрогнули.

Теперь Алексей готовился выпустить последнюю стрелу. И эта стрела нашла самое больное место.

— Ну, знаешь, Лариса, это дело вкуса. Для других ты, может быть, и будешь что-нибудь значить, а по-нашему, по-сибирскому, или, как ты говоришь, по-медвежьему, ты ноль без палочки. У нас в Сибири таких, как ты, зовут свиристелками.

Свиристелка... Это слово Лариса слышала первый раз. Оно показалось ей неблагозвучным, а смысл унижительным и оскорбительным. Не найдя, что на это ответить, она как ошпаренная выскочила из комнаты, даже не закрыв за собой двери.

Об этом разговоре никто из жильцов комнаты и из подруг Ларисы не узнал. Однако все вскоре решили: между Ларисой и Алексеем пробежала черная кошка. Лариса старалась не замечать Алексея. Он отвечал ей тем же. Так проходили месяцы. Так прошел год, но ни Лариса, ни Алексей не попросили друг у друга прощения. Не раз Алексей ловил на себе ее беглый, пугливый взгляд. Ловил и делал вид, что ему все равно, существует она на белом свете или не существует. Однако он чувствовал, что взгляды эти в глубине души его отдавались болью.

А однажды произошел случай, который одних насмешил, а других заставил удивиться. Это было уже на третьем курсе, зимой. После лекции по международному праву Лариса спешила на репетицию. Но в гардеробе оказалось столько народу, что она поняла: в очереди ей придется проторчать не меньше получаса. А через пятнадцать минут у нее репетиция. Лариса подбегала то к одному, то к другому студенту из своей группы, совала номерок, просила, но никто не брал, так как у каждого их было уже по несколько штук.

— Мишенька, ну умоляю тебя, возьми мне пальто, мне очень некогда, — просила она Михаила Зайцева, который в очереди стоял перед Алексеем. Зайцев молча и невозмутимо покачал головой и вытянул указательный палец, на котором была нанизана целая связка алюминиевых номерков.

Алексей стоял рядом и все это видел. Его очередь уже подходила. Ему стало жаль Ларису. Не раздумывая, он протянул руку и свободно снял с ее пальчика треугольный номерок.

Лариса порывисто повернулась. Ее брови выгнулись дугой, а губы зло сомкнулись.

— Я возьму тебе пальто. — В голосе Алексея Ларисе почудилась насмешка.

— Отдай сейчас же! — тихо, но повелительно проговорила она.

— Я возьму тебе пальто, ведь ты же торопишься, — повторил Алексей.

— Отдай номерок! — громко крикнула Лариса и топнула ногой.

Кто-то захохотал.

— Что ты кричишь? Ведь ты же сама просила, — пытался уговорить ее Алексей, но она ничего не хотела слышать.

Проталкиваясь через толпу, Лариса направилась к выходу.

Алексей видел, как она резко хлопнула дверью и выбежала на улицу. Он испугался и выбежал за ней.

День был морозный. Поеживаясь от холода, спешили прохожие. Заиндевевшие провода были толстые и иссиня-белые. В воздухе лениво кружились одинокие, редкие снежинки. Прохожие останавливались и недоумевали: Лариса была в платице с короткими рукавами.

Догнал ее Алексей уже за поворотом у троллейбусной остановки. Она всхлипывала и твердила одно и то же: «Отдай номерок». Алексей стал умолять быстрее идти в помещение и привел ее за руку на факультет. Девушки сразу же оттеснили Алексея и окружили плачущую подругу.

Не одеваясь, Алексей поднялся на четвертый этаж и простоял там с полчаса у стенгазеты «Комсомолия», выкурив за это время несколько папирос. Уставившись в карикатуры, он думал о Ларисе. А когда вернулся на свой факультет, никого из студентов-сокурсников уже не встретил. У гардероба не было ни одного человека.

После этой сцены прошло полтора года, но Лариса и Алексей по-прежнему не обмолвились ни словом. Встречаясь, они делали вид, что не замечают друг друга.

«Три года, три длинных года проплыли как в тумане. А что, если подойти первым и сказать ей все, попросить прощения, отдать ей все стихи, написанные для нее?.. — думал Алексей, стоя у распахнутого окна. Тополя студенческого двора уже покрылись клейкой пахучей листвой. — Нет, дальше так нельзя. Два оставшихся года могут пролететь так же по-дурацки, и мы разъедемся, даже не попрощавшись. Тут нужно что-то другое. Здесь нужна... революционная тактика Дантона: «Смелость! Смелость! И еще раз смелость!..»

Алексей решил подойти к Ларисе и все ей рассказать.

4

Шла последняя минута ожидания свердловского поезда.

— Идет! Идет! — закричал Ленчик, завидев вдаль дым от паровоза. — Вы стойте здесь, Елена Прохорова, а я побегу к вагону.

Наташа стояла в тамбуре и махала рукой. Завидев ее, Ленчик чуть было не сшиб с ног старушку на перроне.

Потрясая над головой огромным букетом цветов, он, оттолкнув носильщика, первым ворвался в тамбур. Цветы из его рук перешли в руки Наташи. Ленчик подхватил ее чемодан.

— Стоп! — крикнул Илья Филиппович и так крепко сжал руку Ленчика, что тот отпустил чемодан.

Наташа в это время была уже на перроне в объятиях Елены Прохоровны.

— Извините, я, очевидно, перепутал чемоданы, — оправдывался Ленчик, стараясь высвободиться из цепких рук старика.

— Перепутал? Знаем мы, как вы путаете нашего брата, — бушевал Илья Филиппович, не выпуская Ленчика.

В тамбуре образовалась пробка.

— Проходите быстрее! Чего там остановились! — кричали сзади.

— Стойте, граждане, нужно разобраться. Не напирайте.

— Илья Филиппович, это мой товарищ! — кричала Наташа с перрона, расталкивая образовавшуюся толпу зевак. — Товарищ сержант, получилось недоразумение, это мой друг, он меня встречает, — пыталась она объяснить подоспевшему на шум милиционеру.

Поняв, что произошло недоразумение, сержант зашагал вдоль поезда к конечному вагону, который обычно бывает общим и везет самых беспокойных пассажиров.

Илья Филиппович и Ленчик, изредка косясь друг на друга, шли впереди. Елена Прохоровна и Наташа несколько отстали.

— Где думает остановиться твой хозяин? — спросила Елена Прохоровна.

— Как где? Разве у нас ему будет плохо?

— Пожалуйста, но в таком случае ему не мешало бы вначале пройти на вокзале санитарную обработку. Как-никак чужой человек, да еще с дороги...

Наташа густо залилась краской:

— Мама, разве он так тебя принимал, когда ты у меня гостила? Он приехал получать орден Ленина.

— Он? Орден Ленина? Вот бы не подумала.

...А на второй день у Луговых была вечеринка. Пришли старые школьные друзья Наташи: Лена Сивцова с мужем, Виктор Ленчик, Марина Удовкина и Тоня Румянцева.

Лена Сивцова, когда-то без ума влюбленная в Николая Захарова, была замужем за морским офицером, с которого целый вечер не спускала глаз. Вся она светилась и искрилась той большой радостью любви, которую невозможно скрыть. Да она и не хотела скрывать. Ее муж, высокий и смуглый моряк, только неделю назад возвратился из дальнего плавания и получил двухмесячный отпуск. Половину отпуска они решили провести в Москве, у родных мужа. В дальнем плавании морской офицер был первый раз и после трехмесячной разлуки с молодой любимой женой не верил, что наконец-то они вместе.

Пили за возвращение Наташи, за ее аспирантуру, за дружбу, за Елену Прохоровну... И только Лена Сивцова и ее счастливый муж, чокаясь хрустальными рюмками, смотрели друг другу в глаза и неизменно пили за одно и то же: «За нашу любовь!» Этот тост, подсказанный сердцем, произносился ими беззвучно, одними взглядами.

Ленчика Наташа не видела три года. Он казался ей постаревшим и подурневшим. Что-то новое появилось в его движениях, в голосе, в манерах. Раньше он никогда не поднимал так плечи, не горбился, потирая, словно с мороза, руки. Со стороны висков на его черные, с вороним отливом, волосы языками наступали залысины. Не было уже того высокого, смазанного бриолином кока, который он холил в студенческую пору. На худых и бледных щеках Ленчика глубоко прорезались две

симметричные складки. В глазах, беспокойно бегающих и в чем-то виноватых, уже не светился тот горделивый, дерзкий огонек, в котором раньше можно было прочесть вызов целому миру. Весь он как-то обмяк и смирился. Пальцы его рук мелко-мелко дрожали — первый признак пьющего человека. О себе, когда его спросила Наташа, он ответил неохотно:

— В одной шарашкиной артели на полставки юрисконсульт. А вообще готовлюсь в аспирантуру. Почва уже прозондирована, в сентябре подаю документы.

Больше Наташа ни о чем не стала спрашивать. Она знала, что Ленчик никогда не любил юриспруденцию. «Шарашкина артель» тем более не могла пробудить в нем любви к профессии, в которой он и раньше не находил и грана поэзии.

За вечер Ленчик несколько раз садился за рояль, но играл плохо.

— Виктор, что с тобой? Ведь раньше ты был чуть ли не виртуозом? — удивлялась Наташа.

Ленчик бросал игру и подходил к столу. Наливал фужер вина и залпом выпивал до дна.

Если б не Марина Удовкина, то вечер прошел бы скучно. За последние четыре года, кочуя с геологическими экспедициями начальником отряда, она научилась поднимать дух у рабочих даже тогда, когда заедали комары, засасывали болота, заливали дожди. И даже тогда, когда кончались продукты. Чего только не показала она гостям за вечер! Исполняла национальный танец хантымансийцев, пела их песни, неожиданно убегала на кухню и через минуту возвращалась наряженная под узбечку и, размахивая бубном (им служил круг с натянутой канвой для вышивания), снова пускалась в пляс. Лена Сивцова даже раза два ущипнула своего мужа, который не отрывал глаз от Марины.

Веселье Марины передалось всем. Пошли в ход шуточные студенческие песни, не забыли и об Адаме, который был первым студентом в институте, созданном богом. Один Илья Филиппович никак не мог влиться в эту волну студенческого веселья: и возраст не тот, и песни чудные, незнакомые, неуральские... Поглаживая бороду, он сидел и чинно слушал. Время от времени посматривал на графинчик с водкой. Один такой взгляд был перехвачен Наташей.

Только теперь она по-настоящему вспомнила о нем. Вспомнила и устыдилась. Взмахом руки оборвав песню, она подошла к столу, отодвинула от Ильи Филипповича рюмку, которая в его руках казалась наперстком, и, пододвинув граненый стакан, налила в него водки.

В глазах Ильи Филипповича блеснули огоньки одобрения. Он начал отказываться, но Наташа понимала, что это для виду.

— Друзья! А сейчас я предлагаю самый главный, самый центральный тост нашего сегодняшнего вечера. Выпьем за здоровье нашего нового друга, за Илью Филипповича, который удостоен высшей правительственной награды — ордена Ленина! Пятьдесят лет Илья Филиппович варит сталь на уральских заводах, за это время он обучил более ста мастеров.

Договорить Наташе не дали. Ее слова потонули в возгласах приветствий и поздравлений.

Илью Филипповича это растрогало. Подняв стакан водки, он встал, чокнулся со всеми и разгладил усы:

— Спасибо, детки, спасибо. Желаю и вам также успехов в вашей науке, в работе и... сердечных делах. — Илья Филиппович двумя глотками опустошил стакан.

Потом отодвинули к окну стол и начали танцевать. Ленчик пригласил Наташу. За последние три года это был их первый танец. Лена танцевала только с мужем.

Марина подхватила Елену Прохоровну. Тоня Румянцева играла на рояле.

Илья Филиппович вышел на балкон и, затушив толстую папироску, тайком завернул самосад, по которому за вечер истосковался. Ночная Москва светилась отблеском пожара, и совсем близко среди множества огней высоко в небе отчетливо выделялись рубиновые звезды кремлевских башен.

Во время танца Наташа попросила Ленчика, чтоб завтра он обязательно зашел к ней. Зачем — не сказала. Боялась, что Ленчик не согласится выполнить ее поручение.

После чая, за которым по поводу кулинарных способностей Елены Прохоровны было высказано много похвал, гости разошлись. На прощание Наташа расцеловалась с подругами, просила их чаще заглядывать, и в самых дверях шепнула Лене, чтоб та обязательно зашла завтра, есть особый секрет.

Всю дорогу домой и дома, лежа в постели, Ленчик пытался разгадать тайну Наташиного приглашения. Неужели он нужен затем, чтоб опять выслушать ее исповедь о том, как она страдает о милиционере? А может быть, еще хуже — быть в роли связного? Значит, еще одно унижение. От этой мысли Ленчика передернуло... А если так — он не простит. На память пришли все обиды. Теперь он даже не знал, любит он Наташу или ненавидит. Ясно понимал только одно, что за все унижения, которые пришлось ему вынести, он должен быть удовлетворен. Он теперь знал, каким должно быть это удовлетворение. Если раньше он, словно экзальтированный пастушок, вздыхал и писал ей стихи, то теперь этой глупости не сделает. За эти три года он много узнал. Он видел женщин. Да, да, женщин!.. Они помогли ему постигнуть тайну, которая три года назад для него была загадкой. Теперь он не будет, как раньше, подстраиваться под тех, кто хлеб, полученный по карточкам на целый день, съедает в обед. «Играть под плебея — жалкая роль. Виски и лесть, лесть и виски — вот тот яд, которым можно отравить даже богиню. А ты, Наташенька, не Венера Милосская, а всего-навсего старая дева. Ты будешь моей, Лугова, будешь! Но это говорит уже не прежний влюбленный и наивный мальчик, а спортсмен. А ты — ты только ленточка финиша, которую я должен оборвать первым, и я оборву ее. О боже, сколько я принял из-за тебя унижений и обид...»

Вдруг откуда ни возьмись в памяти всплыл позорный случай, который произошел лет пять назад, когда Ленчик был еще студентом третьего курса. Вместе с товарищами по группе он отправился с субботы на воскресенье за город, в Абрамцево. Он один тогда взял с собой денег столько, сколько, пожалуй, не было у всей группы. За сутки они истратили все деньги и нарочно ничего не оставили на обратную дорогу. Девушки взяли билеты, а парни решили добираться до Москвы зайцами. Романтика риска захватила Ленчика, и он, гордый сознанием, что совершает что-то опасное и незаурядное, волновался самым искренним образом. Их было семь парней, и все они ехали без билета. Но почему только его одного поймали контролеры? Почему его тогда не выручили друзья? А как его гнали через весь поезд (через восемь вагонов!) в головной вагон! Какой стыд, какой позор! Гнали вместе с молочницами, увешанными бидонами, с торговками, которые тоже ехали без билетов. Как сейчас, он помнит насмешливые, обжигающие взгляды пассажиров. «А все почему? Потому, что был дурак. Растратил все деньги с друзьями и не оставил даже на билет. Хотя бы на штраф! Что друзья? Так, комсомольские сказки для пионеров. Деньги! Деньги, Лугова, вот та сила и та приманка, на которую ты клюнешь. Не пойдешь сама — подтолкнет мать. Отец баллотировался в академики. Это заставит задрожать если не тебя, то твою мамушку. А потом зашатаешься и ты. Зашатаешься! Никуда ты не уйдешь! Подползу лисой, а растерзаю, как коршун!..»

Долго еще сочинял Ленчик варианты мести, но все они сводились к одному концу: овладеть, насытиться и бросить...

Заснул он уже под утро. Спал плохо. Шелковое покрывало валялось на полу. К спинке полированной деревянной кровати были прилеплены папиросные окурки. Окурки валялись на ковре и на паркете. Зато пепельница, стоявшая на резном



деревянном столике рядом с кроватью, была пуста. Со стены невинными глазами смотрела «Вирсавия» Брюллова.

5

Алексей чувствовал, что с каждым днем Лариса все больше места занимает в его жизни. То, что она многим нравилась, он видел. Замечал он также и то, как весела она бывала в кругу товарищей по курсу. Но стоило только подойти Алексею, как все, точно по команде, замолкали и Лариса увлекала группу куда-нибудь в другой угол.

«Пренебрегает, бойкотирует», — проносилось у него в голове, и он отходил, в сотый раз проклиная злополучные лекции княгини Волконской и слово «свиристелка».

А в июне, в конце третьего учебного года, у Алексея произошла еще одна встреча с Ларисой. В городском суде шел интересный процесс, на котором с защитительной речью выступал Ядов. Теперь он был уже доцент, и ходили слухи, что у него почти написана докторская диссертация.

На этот суд Алексей отправился из-за Ларисы. Ядова он не любил за излишнюю сентиментальность и театральную манерность, которыми он стал особенно грешить за последние годы. Кто-то из студентов сказал о нем: «Объелся популярностью».

Речь Ядова Алексей слушал рассеянно. Больше он думал о Ларисе, которая сидела у окна, недалеко от адвокатского столика. Алексей уже мысленно подбирал первые слова, с которыми подойдет к ней во время перерыва. Он был рад, что никого из тех ее поклонников, что, как хвост, всегда волочатся за ней, в зале не было. «Почему она опустила глаза и даже, кажется, чуть-чуть зарумянилась, когда нечаянно встретилась со мной взглядом? Ведь при полном равнодушии так не должно быть. Но тогда что же это такое, неужели презирает?» — думал Алексей, тайком поглядывая на Ларису.

Так прошло минут двадцать. Ядов, все распалаясь, завораживал притихший зал. За перегородкой сидели трое бритоголовых подсудимых. Их обвиняли в ограблении. В ту самую минуту, когда Ядов поднимался на вершину своей адвокатской виртуозности, Лариса неожиданно встала и, стараясь ступать как можно тише, вышла из зала. Алексей ничего не понимал: как она могла на глазах Ядова, не дослушав его до конца, выйти? Ведь Ядов — руководитель ее курсовой работы. Через неделю она будет сдавать ему экзамен по уголовному процессу. Непременно «зарезет».

Рядом с Алексеем сидела Ляля Анурова, слывшая факультетской красавицей. Всегда окруженная вниманием молодых людей и избалованная комплиментами, она втайне возмущалась, почему так холоден и невнимателен к ней Алексей. С самого начала суда она приставала к нему то с расспросами, то с восторженной похвалой по адресу Ядова. Пока в зале сидела Лариса, он еще отвечал ей. Но как только она ушла, Ляля стала его раздражать.

«Так просто уйти она не могла, — думал Алексей, — наверное, заболела». Выбрав удобный момент, когда Ядову подали стакан с нарзаном, он поднялся и потихоньку вышел из зала.

Для того чтобы уйти незамеченным, Алексей был слишком высок. В душе он ругал себя, что упустил хороший случай объясниться с Ларисой. А молчать он больше не мог.

Спустившись по эскалатору в метро, Алексей прислонился спиной к холодной мраморной колонне и стал ждать поезда до Сокольников. Настроение было подавленное. Из головы не выходила Лариса. «Медведь, тюлень!» — ругал он себя за то, что в суде сел так далеко от двери. С этой мыслью он повернулся в сторону и замер от неожиданности. Рядом, у другой такой же колонны, стояла Лариса. И

какое совпадение — она тоже прислонилась к колонне спиной и о чем-то думала. Алексей подошел к ней так, чтоб она его не увидела.

Прошло два поезда, а Лариса все стояла на одном месте, уставившись на стену отсутствующим взглядом. Алексей набрался смелости и, подойдя к ней совсем близко, слегка коснулся ее плеча.

Лариса повернулась и вздрогнула. По выражению ее лица можно было подумать, что она хотела вскрикнуть, но у нее захватило дух.

— Лариса, прости... Я был тогда не прав, — начал Алексей и сразу же замялся.

Лариса быстро взяла себя в руки и не дала ему закончить:

— Оставь меня в покое. Я не в твоём вкусе!

— Лариса!.. — взмолился Алексей, приложив руки к груди. — Выслушай меня.

— Не имею ни малейшего желания. И потом ты ведь сам сказал, что в вашей Сибири таких, как я, зовут свиристелками...

Сказав это, Лариса побежала к головному вагону подошедшего поезда и вошла в него в самый последний момент, когда двери уже закрывались.

Алексей остался на платформе. Он видел через стекло вагона, что она даже не повернула головы, чтобы посмотреть, вошел он или остался. Вот тебе и тактика Дантона.

Дождавшись следующего поезда, Алексей поехал в общежитие.

6

На другой день после вечеринки Ленчик пришел к Наташе. Елены Прохоровны дома не было. Илья Филиппович отправился в Кремль на совещание металлургов.

Некоторое время Наташа не знала, с чего начать разговор, но потом решила, что петлять незачем.

— Виктор, я думаю, ты догадываешься, зачем я просила тебя зайти. Скажу тебе откровенно: Николай мне дорог по-прежнему... — Наташа медленно подошла к окну, поежилась, как в ознобе. — А может быть, еще дороже... Если ты помнишь, я уже однажды говорила тебе об этом. Ты сказал, что хочешь быть моим другом. Если это так, то пойми меня правильно и не обижайся. Я должна повидать Николая как можно быстрее. — Наташа повернулась к Ленчику, в упор взглянула на него: — Отведи меня к нему... Или дай мне его адрес.

Несколько секунд Ленчик молчал.

— Ну что ж, — сказал он наконец, — если эта встреча так необходима, я сделаю все, чтоб она состоялась. Пожалуйста. Хотя предупреждаю, что устроить ее не так-то легко. Его адрес я забыл, а так, зрительно, барак помню. Можем поехать туда хоть сейчас. Только хорошенько подумай, Наташа, стоит ли ехать тебе самой. Его жена пьяница и... — Ленчик замялся, стал закуривать. — Она ревнует его чуть ли не к столбу.

Разговор был трудный. Условились, что Ленчик постарается вечером приехать вместе с Николаем к памятнику Пушкину.

Ожидание Наташе казалось вечностью. Проводив Ленчика, она прошла в комнату матери, в которой висел портрет отца в парадной генеральской форме. Добрый и улыбающийся, он, как живой, смотрел на нее со стены и словно хотел чем-то ободрить. «Вот ты бы меня понял», — мысленно обратилась Наташа к портрету, и ей показалось, что отец легонько наклонил голову в ответ ее мыслям.

На туалетном столике Елены Прохоровны красок, кремов и румян стало больше, чем три года назад. Раньше на нем стояли духи «Красная Москва», пудра, лак для ногтей и крем «Снежинка». Теперь, кроме того, появились какие-то замысловатые ланцеты, зажимы, заколки... Одной губной помады было несколько сортов.

Чтобы убить время, Наташа решила перебрать библиотеку, которая изрядно запылилась и кое-где в дальних углах подернулась тонкой паутиной. Особой любви к книгам Елена Прохоровна не питала, хотя иногда жаловалась, что из-за домашних хлопот ей приходится мало читать.

В старенькой записной книжке, уже пожелтевшей от времени, Наташа нашла номер телефона места старой работы Николая. «Будь что будет», — решила она и набрала номер. В трубке послышался глуховатый голос человека, который представился старшим лейтенантом Гусенициным.

— Простите меня, товарищ старший лейтенант. Я очень прошу вас, помогите мне разыскать вашего бывшего сотрудника сержанта Захарова.

Голос в трубке ответил, что такой у них не работает уже три года.

— Может быть, вы скажете, где он? Я его школьный товарищ. Мы не виделись с ним три года.

Глуховатый голос снова ответил, что никаких сведений о Захарове не имеет.

Не дав Гусеницину положить трубку, Наташа заговорила умоляюще:

— Товарищ старший лейтенант, я вас очень прошу, скажите: это правда, что у Захарова большие неприятности по службе? Не делайте из этого государственной тайны. Мне не нужно подробностей.

Но и на это из трубки донеслось:

— Не знаю, не знаю. А что касается неприятностей, у кого их не бывает. Сведений о нем никаких не имею. У нас его уже забыли.

Никогда короткие телефонные гудки не казались Наташе такими резкими, как сейчас.

Мысль навестить мать Николая пришла неожиданно. Наташа быстро сбежала по лестнице и через двадцать минут свернула в тихий Ковровый переулок. «Неужели я ошиблась?» — недоумевала она. На углу, где раньше стоял маленький двухэтажный домик, все было по-новому. Целый квартал старых деревянных домов был снесен, и вместо них возвышался один большой десятиэтажный корпус, весь первый этаж которого занимал универсальный магазин.

Домой Наташа вернулась усталая. На полу в беспорядке лежали книги. Перебирая их, она думала: «А что, если Виктор приведет его пьяного? Нет-нет, он этого не сделает. А впрочем... Если не так уж сильно, то... О нет! А вдруг за ним следом увяжется жена?»

Много передумала Наташа, пока наконец в коридоре не раздался звонок. Один длинный, один короткий, как точка: так звонил только Ленчик. Дверь она открывала с замирающим сердцем.

Ленчик был один. Он молча прошел в комнату и устало опустился в кресло. Наташа смотрела на него пугливо и настороженно.

— Хорошо, что ты не пошла со мной, — заговорил Ленчик после некоторого молчания. — Мое сердце как будто предчувствовало, что могла произойти колоссальная неприятность. — Он развел руками, словно желая показать размеры этой неприятности. — Когда я постучал в дверь и вошел в комнату, он с отчаянным, хриплым окриком спросил, что мне нужно. Я представился. Он

вначале меня не узнал. Я попытался объяснить, кто я такой и зачем пришел. Он выслушал, потом встал и заревел: «Жалеть пришли? Благодетели! Вон!!!»

«Он, он... Это в его характере!» — думала Наташа.

— Рассказывай, рассказывай, покуришь потом, — торопила она Ленчика, который медленно и со вкусом раскуривал трубку.

Но Ленчик не спешил. Поставив на подлокотник кресла пепельницу, он продолжал с усталым и сочувственным выражением лица:

— Я хотел дождаться, пока он утихомирится, но он расходился все сильнее и сильнее. Потом по твоему адресу понеслась такая ругань!.. Тут я понял, что он стал заговариваться. Обычные галлюцинации алкоголика, и полный провал памяти. Начал спорить с воображаемым доктором — за доктора он, очевидно, принял меня, — который якобы хочет принудительно положить его в психлечебницу. Назвал меня эскулапом, который ни черта не понимает. Когда я собрался уходить, в барак вошла пожилая женщина в грязной, замасленной кофте. Он назвал ее Варькой. Спросила меня, кто я и зачем пожаловал. Видно, что и она изрядно хватила. В ответ я промычал что-то невразумительное. Признаюсь, Наташа, что чувствовал я себя в эту минуту не в своей тарелке. Потом эта Варька достала из-за пазухи четвертинку и разлила ее в два стакана. Если б ты видела, как дрожали ее руки и как горлышко четвертинки стучало о края стакана! Перед тем как выпить, он сказал ей, зачем я пришел. Тут Варька посмотрела на меня такими глазами, что если я когда-нибудь вынесу еще один подобный взгляд, то буду иметь право считать себя героем. Видишь, это следы водки. — Ленчик показал на пиджак, где у самого плеча на рукаве темнели два больших влажных пятна. — Хорошо еще, что стакан пролетел мимо. Боже мой, она подняла такой хай, набросилась на меня с такой похабщиной, что я опомнился только у трамвайной остановки. Признаться, Наташа, такого срама я еще в жизни не испытывал. — Ленчик сделал большую затяжку, постучал трубкой о пепельницу. Затем он встал, подошел к столу и снова сел в кресло. — Ты прости меня, Наташенька, но больше туда я не пойду. Мне еще не надоело носить голову на плечах.

Слушая этот страшный рассказ, Наташа становилась бледнее и бледнее. Ожидая встречи с Николаем, она приготовилась ко всему, и не удивление, не страх, а выражение глубокой душевной боли запечатлелось сейчас на ее осунувшемся лице.

Ленчик сидел в кресле и изредка украдкой поглядывал на Наташу.

— Виктор, ведь ты мужчина. Ну подскажи, что нужно сделать. Как его спасти? — Наташа подошла к нему и положила на его плечо руку: — Ведь он же гибнет. Гибнет...

Ленчик холодно отстранил ее руку. Встал и заговорил тоном наставника:

— Прежде чем кому-то помогать, нужно знать, ждет ли от тебя этот человек помощи. Нужна ли ему эта твоя помощь? Это первое. Второе: допустим, Николай ждет этой помощи. Тогда вполне естественно возникает вопрос: с чего начать? Я уже об этом думал. В лекциях профессор Грязнов говорил, что между запоями у алкоголиков наступают просветления, когда они критически оценивают свое поведение. Так вот, нужно поймать, когда у него наступит это просветление. Встречаться с ним тогда, когда у него запой, не только бессмысленно, но и вредно для больного: всякие душевные волнения у алкоголика еще сильнее разжигают страсть к спиртному, ну... и... разумеется, с его стороны ничего, кроме оскорблений и неприятностей, ты не встретишь. Пойми одно, что это болезнь. Здесь нужна лечебница, а не духовный наставник. Не проповедь, а уколы, режим, наблюдение — вот, что может его спасти. Это мое твердое убеждение и мой последний совет. Непонятно только одно. — Ленчик отвернулся, в голосе его послышалось раздражение: — Что ты хочешь с ним делать? Ну, допустим, вы встретитесь, поплачете на плече друг у друга, вспомните старую дружбу, которую

уже ничем не воскресить, растравите друг друга и разойдетесь. Не понимаю, зачем вся эта филантропия с твоей стороны? К чему игра в милосердие?

На эти обидные слова Наташа не ответила, как ей хотелось ответить. Теперь она будет хитрей. Теперь она не вспылит, как раньше, и не покажет ему порог, пока не повидает Николая. Вместо пощечины, которую ей так хотелось залепить Ленчику, она только с укором, сжав плотно губы, покачала головой.

Перед уходом Ленчик пригласил Наташу на завтра в Большой театр. Она отказалась: без Ильи Филипповича не пойдет.

Ленчик самодовольно улынулся:

— Я уже предусмотрел и эту твою новую привязанность. Зайду завтра вечером. — Сказал и положил на стол три билета.

Оставшись одна, Наташа посмотрела на часы. Было ровно четыре. На это время Илью Филипповича вызывали в Кремль. С мыслью об Илье Филипповиче на нее пахнуло что-то свежее, уральское, таежное... Но это было недолго.

Впечатление от неприятной новости, принесенной Ленчиком, усиливалось усталостью от вчерашней вечеринки. В голове чувствовалось легкое кружение. Наташа прилегла на диван и, не мигая, уставилась в потолок. Хрустальная люстра множеством разноцветных огней отражала солнечный свет, падающий на нее с зеркала, лежавшего на столе. Мягкий, успокаивающий свет. В комнате все было как три года назад. На буфете в вечной боевой стойке замерли мамонт и зубр, выточенные из слоновой кости. По крышке рояля скакал быстроногий олень, гордо несущий над собой ветвистые рога. Между зубром и мамонтом, подперев бока руками, хохотал шут в красном колпаке. Над всем этим на высокой подставке возвышалась Хозяйка медной горы, сделанная из уральского камня-самоцвета по сказу Бажова. Ее российский сарафан внизу был оторочен позолотой, такое же золотое обрамление было и на ее высокой груди, и на широком поясе, который ловко схватывал гибкий стан красавицы. От лица, от всей фигуры, от гордого поворота головы Хозяйки медной горы веяло силой и красотой Урала.

Снова вспомнился Николай. Теперь он предстал таким, каким его однажды Ленчик встретил на Пресне. Он стоял у входа в продовольственный магазин, куда Виктор зашел за папиросами. Узнав Николая, он поздоровался с ним. Тот повернулся и, пьяно пошатываясь, пошел навстречу. Потом повис на плече Ленчика и рассказывал. Плакал и рассказывал, как его исключили из партии, уволили с работы, как он сошелся с вдовой... На прощание попросил «на сто граммов». «Так упасть! Так упасть... Нет! Что бы с ним ни случилось, я должна быть с ним рядом!»

Мысли Наташи были прерваны приходом Елены Прохоровны. Прямо с порога она озабоченно проговорила:

— Я только сейчас с избирательного участка. Отмечалась. Мне сказали, чтобы ты немедленно оформляла прописку.

— Почему их волнует моя прописка?

— Говорят, что без открепительного удостоверения и без московской прописки голосовать нельзя. А это нехорошо. Мало ли что могут подумать. Тем более ты комсомолка, поступаешь в аспирантуру... Неприятности могут быть.

— Я уже вчера заходила к начальнику паспортного стола. Он требует справку о допуске к вступительным экзаменам в аспирантуру.

— Ну представь ему эту справку.

— Заведующий аспирантурой вчера был болен, а кроме него, мне ее никто не даст.

— Значит, нужно обратиться к самому начальнику отделения милиции. Я надеюсь,

что он не такой буквоед, как этот паспортист.

Со шпильками в зубах и с распущенными волосами Наташа стояла перед зеркалом. Закончив прическу, она взяла сумочку и собралась уходить.

— Мама, к начальнику милиции я схожу завтра. Придут Тоня или Виктор — пусть подождут, а Илье Филипповичу скажи, чтоб вечером никуда не уходил. С ним мы идем сегодня в Кукольный театр.

7

Целую неделю Алексей писал Ларисе письмо. Послал его, но ответа не получил. Адрес ее он осторожно узнал от секретаря факультета, дряхленького старичка, который наверняка давно забыл, что на свете существует любовь, да к тому же такая беспокойная.

Третья московская весна была для Алексея особенно тревожной. Стихи он пописывал тайком и раньше, еще в школе, но теперь его словно прорвало. Он бродил до самого рассвета по тополиной аллее студенческого дворика и слагал стихи. Записывал на ходу, под фонарем старой часовни: где раньше молились монашки, а теперь студенты держали свои вещи. Даже в стихах к матери, которой он не писал уже несколько недель, Алексей больше говорил о своей любви к Ларисе. Забыв, что его могут слышать из открытых окон, он читал вслух:

*...Ты помнишь, мама,*

*Как я, упав в твои колени,*

*Оплакивал потерянный пугач?*

*Тогда в тебе одной искал спасенье,*

*Ты говорила мне: «Не плачь».*

*Но я все плакал, потерявший право*

*Быть атаманом вместе с пугачом —*

*Ведь и ребенок знает цену славе.*

*Ведь дорог и ему ребяческий почет.*

*...И, больше ничего не говоря,*

*Ты молча шалью клетчатой накрылась.*

*Меня, чумазого, оставила в дверях*

*И только к вечеру обратно возвратилась.*

*Всем детским существом своим*

*(О сердце не было тогда понятия)*

*Я знал, что с возвращением твоим*

*Ко мне пришло утерянное счастье.*

*Я помню, ты мне подала его —*

*«Всамделишный» и новенький пугач! —*

*Как будто символ счастья моего,*

*И ласково сказала: «На, не плачь».*

*О! Если б ты могла теперь  
Меня утешить, как бывало,  
Я б завтра распахнул ту дверь,  
Где начиналась жизнь моя сначала.  
Я б рассказал тебе — о мать! —  
Что девочка, как серна горная,  
Меня не хочет замечать —  
Такая гордая и непокорная!  
А еще... ты, мать, меня поймешь  
(Многие хоть этого не знают),  
Как нескошенная в поле рожь  
Золотыми зернами рыдает,  
Как роняет и роняет рожь  
Зерна переспелые к кореньям  
И по полю гибельная дрожь  
Пробегает криком о спасенье...  
Но не зерна я роняю, мама,  
Удобреньем в жирный чернозем —  
Стих мой, деревенский и упрямый,  
С перебитым прыгает крылом!  
...Я к неправде, мама, не приучен,  
Вот теперь — не лгу и не таю,  
Что волос ее каштановые тучи  
Застилают седину твою.  
А поэтому мои поклоны  
И мою сыновнюю любовь  
Реже тебе носят почтальоны...  
Мама! Я сегодня вновь  
Что-то потерял, но что — не знаю,  
И Москва мне кажется другой...  
Сердцем впряжен я в оглобли мая  
С бубенцом под расписной дугой...*

Проходя мимо грузовой автомашины, Алексей, не отдавая себе отчета зачем, заглянул в кабину и тут же отпрянул. Не то присмирел от счастья, не то заснув,

двое влюбленных, обнявшись, положили друг другу на плечи головы и не шевелились. По голубенькой ковбойке и спустившимся на лоб волосам Алексей узнал в юноше Зайцева. «Ишь куда Заяц забрался!»

Из-за кустов акации, которая шатром нависала над скамейками у центральной клумбы, доносились тихие переборы гитары. Так играть могла только Нина Ткач, студентка филологического факультета. Когда гитара смолкла, в дальних кустах дворика кто-то громко захлопал в ладоши. В тишине хлопки раздавались как выстрелы. Испуганные грачи, сотнями гнездившиеся на высоких старых тополях, подняли такой гвалт, что через минуту из некоторых окон полетело:

— Эй ты, шизофреник!

— Как вам не стыдно, ведь это же не день!

С четвертого этажа на Алексея выплеснули целый чайник воды. «Неужели думают, что я хлопал?» Он поднял голову, с третьего этажа кто-то сонным голосом пробасил:

— Слушай, друг, иди-ка ты спать, пока на тебя не упал нечаянно утюг...

Алексей промолчал. «Хорошо, что в городке четыре тысячи студентов и ни один из юристов не высунулся». Опасливо озираясь, он почти вбежал в вестибюль.

В комнате уже все спали. Алексей включил настольную лампу и направил сноп света на свою койку. На подушке лежал лист бумаги с карикатурой. Под карикатурой, в которой Алексей без труда узнал себя, было написано: «Влюбленный антропос». Рисунок изображал чеховского Беликова. Алексей догадался: это была работа Автандила Ломджавая. Свернул карикатуру и положил в карман. «Обожди, дитя знойного юга, завтра я тебя не так размалюю».

Разбирая постель, Алексей обнаружил точно такой же лист, приколотый к бумажному коврику на стене. Твердым, почти квадратным почерком Туза было выведено:

*Что ты бродишь всю ночь одиноко.*

*Что ты дворникам спать не даешь?..*

А чуть ниже тонким почерком Николая Латынина было написано четверостишие:

*Кажный зверь другую зверю любить,*

*И мне чегой-то грустно по любви.*

*Кто ж мне, беднягу, приголубить*

*И прижмет к своей больной груди.*

Латынин учился на филологическом факультете. Была у него одна непобедимая слабость: гордостью земли он считал Сибирь. Стоило Автандилу Ломджавая упомянуть хоть единым словом солнечную Грузию, как Латынин сдвигал свои рыжие брови, глаза его загорались и он принимался доказывать кавказцу, что Грузию в войне спасли сибиряки и Москву отстояла добровольческая сибирская дивизия. А когда однажды сосед по комнате, жадный и никем не любимый Ломако, язвительно поддакнул в споре Латынину, но тут же с усмешечкой напомнил миф о том, как гуси спасли Рим, Латынин побелел в лице и чуть ли не с кулаками наскочил на своего обидчика.

Из своей любимой Читы после каждой каникул (на горе уборщицам) Латынин привозил здоровенный мешок кедровых орехов и обделял ими товарищей по факультету. Кинофильм «Сказание о земле Сибирской» он ходил смотреть раз десять и не однажды водил с собой целую ватагу студентов из стран народной демократии, которым хотел показать, что такое Сибирь с ее могучей тайгой и



дикой, нетронутой красотой.

Алексей включил верхний свет. Широкоплечий Владимир Туз обнял подушку так, точно боялся, что у него ее отнимут. Длинные прямые волосы, как ржаная солома, рассыпались по подушке. Рядом с койкой Туза, прислоненный к стулу, стоял желтый протез ноги с многочисленными металлическими застежками и ремнями. На спинке кровати висела красивая трость ручной работы с цветным пластмассовым набором. Эту трость Тузу подарили шефы госпиталя — ученики ремесленного училища, когда он, раненный, лежал в Иркутске. Именным подарком он особенно дорожил.

Вернувшись с войны без ноги, Туз два года работал избачом в колхозе, сумел за это время закончить вечернюю среднюю школу. А когда получил аттестат, заявил председателю, что едет в Москву за протезом: надоело ходить на костылях. Однако кроме протеза у Туза была другая, тайная думка — поступить в университет. Но об этом он не сказал ни домашним, ни председателю, ни даже своей подруге. Уехал в Москву и пропал целый месяц. А в конце августа прислал домой и председателю по письму, в которых сообщил, что поступил на юридический факультет Московского университета.

С первых же дней Туз вцепился в науки зубами. Сдавал все на «отлично».

За койкой Туза стояла койка грузина Ломджавая. Это был заядлый танцор и щеголь. Каждый день он тоненькими аптекарскими ножницами подравнивал свои усики в стрелочку и душил их только «Шипром»: мужские духи, объяснял он. Ломджавая был стройный высокий молодой человек. В отличие от Туза, у которого залысины не по возрасту рано наступали на шевелюру, у Ломджавая густые волосы, о которые он ломал расчески — так были они густы, — надвигались подковой на виски и доходили по бокам узкого и низкого лба чуть ли не до бровей. Однажды в шутку Туз назвал его «питекантропом», на что обидчивый Ломджавая ответил только минут через пять: «Сам ты доисторический человек». Сказал и долго хохотал, считая, что ответ получился остроумным. А когда расхохотался и Туз, Ломджавая почувствовал себя настоящим остряком.

В сущности, Ломджавая был добрым и бесхитростным парнем, но иногда, особенно на экзаменах, незлобиво хитрил. Начиная ответ, он виновато напоминал профессору, что плохо знает русский язык. Сокурсники замечали, что на экзаменах он говорил хуже, чем обычно. Была у него и еще одна странность: на какой бы вопрос ему ни приходилось отвечать на семинарах по философии, он неизменно начинал с того, что материя первична, а сознание — вторично. Конец ответа, как правило, сводил к утверждению, что общественное бытие определяет общественное сознание. Когда же профессор заносил руку, чтобы поставить в зачетной книжке оценку, он еще раз напоминал, что плохо знает русский язык.

Ломджавая носил черную шляпу. Туз третий год подряд ходил в лоснящемся кожаном картузе с пуговкой на макушке. У Ломджавая было около десятка галстуков, у Туза — всего-навсего один, дежурный, в косую полоску. Из Грузии Ломджавая частенько с многочисленными родственниками, приезжавшими в Москву, присылали бурдюки с вином и ящики с фруктами. Туз, кроме солдатского вещмешка с крепким самосадом да доброго куска соленого сала, ничего другого из дому не привозил и жил только на стипендию.

На спинке стула, стоявшего рядом с койкой Туза, висела аккуратно расправленная, выцветшая военная гимнастерка. На правой стороне ее, чуть повыше клапана карманчика, темнели две одинаковые узкие полоски: когда-то на этом месте были нашиты две ленточки — желтая и красная. Два ранения: легкое — под Речицей и тяжелое — под Варшавой. Об этом Алексей узнал случайно, когда однажды в ноябрьские праздники выпили с Тузом и разоткровенничались. Несмотря на то что Туз был старше Алексея на шесть лет, он никогда не показывал своего старшинства, не кичился своим положением: он был членом факультетского партийного бюро.

На спинке стула Ломджавая висела шелковая белая тенниска и яркий галстук, привезенный, по его словам, из Чехословакии одним знакомым. Раскрытая пачка «Казбека» на тумбочке и кiset с махоркой на стуле в первый раз заставили Алексея по-новому взглянуть на разницу в условиях жизни Туза и Ломджавая.

Рядом с койкой Алексея — голова к голове — стояла койка Ивана Коврова, парня из-под Воронежа, прозванного «крепостным» за то, что тот во время ночных споров по философии или праву вскакивал с постели и, размахивая длинными руками, шлепал босыми ногами по полу. В коротких трусах и длинной, до колен, холщовой ночной рубашке, из-под которой не было видно трусов, он в эти минуты действительно напоминал парубка-простолюдина из кинокартин о далеком прошлом. Теперь он лежал с таким недовольным выражением лица, будто, засыпая, так и не доказал, что Гегель гений и что все-таки наши философы не до конца оценивают его величайший вклад в науку.

За гардеробом, отгороженная большой географической картой — это местечко называли «котушкой», — стояла койка Бориса Кайдалова. Он сладко всхрапывал. Высокий и тонкий, с девичьим голоском, по характеру женственный и нежный, безукоризненно честный, он был любимцем комнаты. Прозванный Ковровым «человеком в клетке» за обособленное положение в комнате, он, нежно улыбаясь в ответ, окрестил того однажды «крепостным» и эту кличку припечатал ему на все годы учебы. Борис всегда улыбался. Улыбался даже тогда, когда Туз отчитывал его за слабохарактерность и за то, что ему, как бывшему гвардейскому лейтенанту-танкисту, имеющему два боевых ордена, не к лицу попадать под башмак девушки с биологического факультета, о которой ходили не очень лестные слухи. В самые критические минуты гнева Борис мог только сказать: «Ну как тебе не стыдно!» или «Ну и ладно, подумаешь...». Но даже и за бесхарактерность его любили.

С товарищами по комнате Алексей сжился, знал слабости каждого и ценил достоинства. Перед Тузом он втайне преклонялся: умен, честен и прям. С таким можно пойти в разведку, такому можно рассказать тайну сердца.

Случайно взгляд Алексея остановился на вешалке, где рядом висели черная, заломленная на новейший манер шляпа Ломджавая и местами облупившийся, кажущийся в рассветный час серым кожаный картуз Туза. Кожаный картуз... Чем-то напоминал он Алексею картузы красногвардейцев.

Алексей потихоньку достал из папки лист бумаги. Стало уже так светло, что можно было писать без электричества. Он просидел около получаса. А когда из открытых окон послышались звонки первых трамваев и дворники зашаркали метлами по мостовой, он повесил на дверцы гардероба лист, на котором жирными буквами было выведено:

*Посмотрю я на вешалку ржавую,*

*И бросаются мне в глаза*

*Меньшевицкая шляпа Ломджавая,*

*Большевицкий картуз Туза...*

Над кроватью сибиряка Латынина он приколот к бумажному коврику лист со стихами:

*Чита — город областной,*

*Хорошо там жить весной,*

*Чита — город окружной,*

*Для народа он нужной.*

*Чита — город первый в мире*

*По Восточной по Сибири.*

*Куда хошь можешь пойтить,*

*Чего хошь можешь купить.*

Засыпая, Алексей слышал, как за окном на тополях кричали вспугнутые грачи, и крик этот унес его на пашню... За трактором тянулся многолемешный плуг, а по черным, отливающим нефтяной масленичностью бороздам, выискивая червей, важно и неторопливо расхаживали грачи...

8

До милиции было не больше десяти минут ходьбы. Мысленно обдумывая предстоящий разговор с начальником паспортного стола, Наташа не заметила, как поднялась на второй этаж и постучалась в дверь, на которой висела табличка: «Начальник паспортного стола лейтенант А. И. Севрюков».

Лейтенант был неумолим. Его вежливый и несколько насмешливый тон раздражал Наташу. Она возмущалась:

— Это же формализм! Вы понимаете — формализм. Я прихожу второй раз — и бесполезно.

— А вы не ходите, гражданка, без справки. От вас всего-навсего требуется маленькая справочка о допуске к экзаменам, — невозмутимо отвечал начальник паспортного стола.

— Я вам в третий раз объясняю, что заведующий аспирантурой болен, а кроме него, никто такой справки выдать не может. И потом я коренная москвичка!

— Справочку, справочку...

Возмущение Наташи достигало предела.

— Вы человек или!..

— Или милиционер, вы хотели сказать? Да, я человек и милиционер, но без справки не могу.

— Прошу не иронизировать. Я настаиваю на вашей визе о прописке или пойду в Окружную избирательную комиссию. Я буду жаловаться!.. Вам никто не позволит лишать меня избирательного права из-за простой формальности.

— Пожалуйста. Адрес Окружной комиссии я вам дам. Только заранее предупреждаю — зря потеряете время. Там вам скажут то же самое.

— Хорошо. Тогда как пройти к начальнику вашего отделения? — внешне спокойно спросила Наташа.

— Вот это иное дело. В порядке исключения начальник может разрешить. Только сам начальник сейчас в отпуске, его замещает другой товарищ, начальник уголовного розыска. Как выйдете — шестая комната направо.

Не замечая дежурного милиционера, который поднялся ей навстречу, Наташа, держа документы в руках, без стука вошла в кабинет начальника уголовного розыска. В дверях она остановилась и — окаменела... Начальник стоял к ней спиной. Голос его, широкие плечи, овал головы, прическа так напомнили Николая, что Наташа растерянно попятилась назад.

— Еще раз повторяю — никаких исключений! — гулко разносилось в просторном кабинете. — Что, что? Перины? Родители? Направьте эту делегацию сейчас же ко мне!

Начальник уголовного розыска повернул голову. Она увидела его профиль. Он! Николай!..

Наташа не почувствовала, как из ее рук выпали документы. Неслышно, на цыпочках, она вышла из кабинета. По коридору шла как во сне.

— Ну как, разрешил? — спросил попавшийся навстречу начальник паспортного стола.

— Да... нет... ничего... — Наташа хватилась, что обронила документы: — Я вас очень прошу, товарищ лейтенант, возьмите у начальника мои документы. Я их уронила... Мне что-то нездоровится... У меня закружилась голова...

— Не волнуйтесь, все уладится. — Несколько удивленный, лейтенант, оглядываясь, направился к начальнику.

Наташа вышла на улицу. Странное выражение ее лица обращало внимание прохожих. Одни на этом красивом лице читали только горе, другие видели печать глубокого раскаяния, третьих оно наталкивало на мысль о несчастной любви. И все они были правы. Но никто не прочитал на нем следа еще одного большого чувства — гордости... Гордости за любимого человека.

9

Оклеветанный Ленчиком и оплаканный Наташей, Николай Захаров не спился, не был исключен из партии. После успешного окончания двухгодичной школы милицейских работников в звании лейтенанта он прибыл в Москву, в распоряжение управления кадрами министерства.

Майор Григорьев к тому времени был произведен в подполковники и назначен начальником отдела милиции на том же вокзале вместо полковника Колунова, который вскоре после выступления Захарова на совещании работников транспортной милиции был понижен в должности.

Старшина Карпенко стал командиром взвода службы. С виду он почти не изменился. Встрече с Захаровым Карпенко так обрадовался, что на первых порах даже растерялся.

— Никола! Дружище! Да тебя теперь, дьявол ты этакий, голой рукой не достанешь. Смотри какой офицерище!

Гусеницин получил еще одну звездочку на погоны. После ухода полковника Колунова ругали его все чаще. В основном попадало за старые грехи, от которых он не мог никак отрешиться: за «формализм» и «бездушное отношение к людям», как записывали в протоколах собраний и в приказах. Сколь ни старался Гусеницин постичь, где нужно действовать по неписаным законам человеческой морали, а где по неумолимым параграфам инструкций, этой мудрости он так и не усвоил. За единственное ему делали скидку — он был безотказный служака и при выполнении приказаний начальства готов был вылезти из кожи.

Не обошли и сержанта Зайчика — ему присвоили звание старшины. Он возмужал и отпустил усики. Не изменился только в одном: в постоянной и все растущей неприязни к Гусеницину, которому мстил старыми приемами — по-прежнему продолжал тайком писать мелом две буквы «хв».

После ухода Захарова Карпенко сдружился с Зайчиком, и на ответственные операции, где нужна была смекалка и смелость, они ходили по поручению Григорьева вдвоем.

Напрасно подполковник Григорьев ездил лично в управление кадрами с ходатайством о том, чтобы лейтенанта Захарова направили к нему в оперативную группу. Просьбу не удовлетворили. Все его доводы о том, что теперешний начальник уголовного розыска стар и что ему через год-два нужна замена, что

Захаров их питомец и свое милицейское крещение получил не где-нибудь, а в их линейном отделе, — все это внимательно выслушали и все-таки отказали: Захарова в управлении хотят назначить в другое место.

Хмурый и злой Григорьев вернулся в отдел и, позвонив Захарову, излил ему свою досаду. Немного поостыв («выше головы не прыгнешь»), он пригласил его к себе домой.

Это была первая неофициальная встреча двух старых друзей. Осушали рюмку за рюмкой, вспоминали, сожалели, что расстались, но тут же успокаивали себя тем, что живут друг от друга в двадцати минутах езды.

Захаров, с которым Григорьев обращался, как с равным, даже после выпитого вина не переходил границы почтительности и не проявлял панибратства. Он прекрасно понимал, что он младший и менее опытный, а поэтому меньше говорил и больше слушал.

Когда речь зашла о Гусеницине, Григорьев махнул рукой и по старой привычке выразил свою мысль половицей:

— Не все сосны в лесу — корабельные. Уволить — жалко, у него семья, а сделать из него настоящего работника — трудно. Закостенел он, сызмальства заквасили на плохих дрожжах. Старается, а не выходит. То есть выходит, но не то. Чтобы быть хорошим милицейским работником, нужен, Коля, талант. Нужно иметь не только твердую руку, но и светлую душу.

Зажмурившись, Григорьев с минуту помолчал. Потом открыл глаза и, тоскующе глядя куда-то через плечо Николая, продолжал:

— Наша работа ждет своего поэта. Такого поэта, который рассказал бы, что мы не только хватаем и сажаем на скамью подсудимых, но и жалеем. Помогаем. И, если хотите, иногда даже... плачем. Да-да, плачем, но так, чтоб никто не видел. Плачем в собственном бессилии помочь человеку в беде. А такие случаи бывают. О них мало кто знает, но они есть...

Григорьев нагнулся, потрепал огромного Полкана, который лежал у его ног и, словно все понимая, смотрел умными глазами на своего хозяина и на его гостя. Заметив пса, Захаров вспомнил давний курьезный случай, связанный с регистрацией собаки, и улыбнулся. Он хотел было напомнить о нем, но раздумал: Григорьев устал, надо было дать ему отдохнуть. Все время Николай чувствовал какую-то значительную перемену в облике Григорьева, но уловить ее не мог. И только теперь, когда тот нагнулся к Полкану, он понял: за эти два года Григорьев стал почти седым.

Расстались они под утро.

Вскоре Захаров получил назначение на должность оперуполномоченного одного из отделений милиции Москвы и с первых же дней с головой ушел в работу.

Мать все чаще и чаще напоминала ему, что пора бы подумать и о семье, что она уже старая, заводила разговор о внучонке... А однажды намекнула, что Наталка из Ленинграда, которая заходила к ним в прошлое лето, возвращаясь с каникул в Ленинград, будет для него самой подходящей парой: и скромная, и умная, и сердце у нее, видать, золотое.

— Ты приглядишься к ней получше. Она ведь любит тебя, по глазам ее вижу...

Николай отмалчивался. По привычке сдвинув брови, он мягко прерывал ее и выходил из комнаты. На этом разговор заканчивался. Но через неделю-две он возникал снова. Эти сетования матери ворошили память о Наташе. В работе он забывал ее, но, когда ему напоминали об их прошлой дружбе, его начинало мучить чувство какой-то вины перед ней.

Характером Николай пошел в отца, который на резких поворотах жизни всегда руководствовался поговоркой: «Семь раз отмерь — один раз отрежь». Так получилось и у Николая с Наташей. Много бессонных ночей провел он когда-то в раздумье над тем, что делать: найти работу, которая нравится ей, или, отшвырнув ее мещанские предрассудки и ложный стыд, идти своей дорогой? Выбрав последнее, он потерял Наташу. Но временами ему казалось, что он просто убрал ее с дороги. Убрал потому, что она ему мешала.

Память о Наташе приглушалась временем. Но с приездом в Москву эта рана заныла, как перед большим несчастьем. Каждая скамейка на Тверском бульваре, где они подолгу просиживали, каждое дерево, к которому так любила прислоняться щекой Наташа, — все напоминало о ней.

Дома у Николая была единственная фотография Наташи. В коротеньком сарафанчике она выглядывала из-за кустов черемухи. Смотрела и улыбалась. Ни она, ни он не знали еще тогда, что в их любви будет столько горя.

...А через полгода Захаров был назначен старшим оперуполномоченным. На совещании работников милиции Москвы его имя упоминалось не однажды. Одни считали, что ему просто везет, другие, знающие его ближе, справедливо приписывали его успехи уму и энергии.

Подполковник Григорьев издали следил за Захаровым и искренне радовался его росту. А однажды, прочитав в приказе начальника управления о благодарности, объявленной Николаю за расследование сложного преступления, Григорьев собрал своих сотрудников и провел летучее производственное совещание.

Короткую речь он закончил словами, в которых не мог скрыть гордости за бывшего питомца:

— Вот как надо работать. А кем был? Простым милиционером, сержантом! А кто теперь? Теперь старший оперуполномоченный. Я уверен, что и на этом месте он долго не засидится.

После Григорьева выступили Карпенко и Зайчик. Они вспоминали, как уважал Захаров дисциплину, как он был смел и с какой ответственностью относился к приказу начальника. А главное — был чуток и внимателен к людям. В этих трогательных и искренних словах слышалось, однако, что-то от некролога: «был», «являлся», «показывал пример».

В глазах милиционеров, которые не знали Захарова лично, он становился героем: так ярко и с таким глубоким уважением обрисовали его Григорьев и «старички» — Карпенко и Зайчик.

Старший лейтенант Гусеницин все совещание молчал.

Предсказание Григорьева о том, что на должности старшего оперуполномоченного Захаров долго не засидится, сбылось через несколько месяцев.

Начальник уголовного розыска отделения милиции был повышен в должности, и на его место назначили Захарова. Старшим оперуполномоченным к Захарову направили Климова, спокойного, рассудительного сорокапятилетнего офицера, который как должное принял над собой власть молодого лейтенанта. А после того как Климов принял от Захарова дела и побеседовал с ним о работе, он понял, что молодой начальник выше его на целую голову во всем.

С первого же дня Климов проникся к Захарову уважением и всегда в трудных моментах без стеснения обращался к нему за советом.

Вскоре Захарову присвоили звание старшего лейтенанта. На обмывание новых погон и новой должности он пригласил старых друзей: Григорьева, Карпенко и Зайчика. Из новых сослуживцев позвал Климова, который в компании всем пришелся по душе за простоту характера.

Дом, где Захарову обещали комнату, еще не был достроен. Принимать гостей пришлось в старой комнатке. Хоть было и тесно, но тесноты этой никто не чувствовал, кроме Марии Сергеевны, которая на каждом шагу просила у гостей извинения то за то, что негде повернуться, то за нехватку стульев, то за подгоревшие пироги.

Никто из собравшихся раньше не видел Карпенко нетрезвым, кое-кто его считал вообще непьющим. Но в этот вечер он напился. Уронив свою большую голову на стол, Карпенко сжимал руку Николая и бормотал:

— Жми, Никола, жми! До тех пор не уйду в отставку, пока не будешь генералом. А ты им будешь, вот помяни меня — будешь!

Когда гости засмеялись над захмелевшим Карпенко, тот рывком поднял голову от стола и, сердито моргая, встал:

— Смеетесь? Смеетесь? Министром будет, не только генералом!

Повернувшись, Карпенко вдруг увидел Григорьева, о котором совсем забыл. Тот сидел молча, покуривая и ухмыляясь. Мысль о том, что его в таком состоянии видит старший начальник, мгновенно обожгла старшину. Вытянувшись по стойке «смирно», он отчеканил:

— Виноват, товарищ подполковник, трохи отяжелел. Прикажете идти домой?

Домой Карпенко увезли на машине Григорьева. Климов и Зайчик успели на последний поезд метро.

Когда вернулась машина, Захаров вышел проводить своего друга. Григорьев, подойдя к машине, остановился и в упор посмотрел на Николая:

— Карпенко не колдун, но он прав, Коля. Быть тебе генералом. Только смотри от народа не отрывайся. Помнишь, как Тарас Бульба со своим сыном Андрием поступил: «Я тебя породил, я тебя и убью!» Зазнаешься, оторвешься от народа — погибнешь. Вот так... — Последние слова он сказал уже в машине.

Шел снег. Было два часа ночи. Медленно порхая в морозном воздухе, кружились мохнатые снежинки. Они падали на свежий узорчатый след, только что оставленный машиной. Николай смотрел на след, на снежок и думал: «Есть ли в запасах народной мудрости такая пословица, которая выражала бы смысл, что время, как снег, запорошит любой след, любую боль?» П сам себе отвечал: «Нет! Есть такие следы, на которых время, как снежинки на огне, тает. Эти следы горячие — Наташа...»

И тут же вспомнилось другое. Ленинград... Новогодняя морозная ночь... В сугробах Марсова поля на холодной скамейке сидит девушка... Всеми забытая в эту праздничную торжественную ночь. И на глазах слезы.

Потом эта картина неожиданно сменилась другой. Это было накануне его отъезда из Ленинграда после окончания училища. Они пошли на каток. Чуть-чуть припорошенный ледок, кругом прожекторы, музыка, и она — тонкая, гибкая, разрумившаяся. Оставляя за собой два еле заметных следа, она мчится к нему. Тоже Наташа... Наталка из Полтавы... Но это не та Наташа... Она не заменит той, что мучит даже издали. А что, если заменит? Что, если вынесет из этого омута и заставит забыть ту, которая ушла? Что, если?..

Домой Николай вернулся продрогший. Пожелав матери доброй ночи, он лег спать. Как ни старался поставить в своем воображении двух Наташ рядом, новая куда-то уплывала, таяла и наконец совсем проваливалась... Оставалась одна Наташа. Та, которая на Каменном мосту сказала: «Или я, или милиция!»

С новой работой Николай Захаров освоился быстро и каждый день выкраивал несколько часов на подготовку к государственным экзаменам. Учебу в

университете он не бросил, хотя и пришлось растянуть ее на семь лет вместо шести.

В начале июля собирался недели на две пойти в отпуск без сохранения содержания, но дело об убийстве студента Васюкова заставило его задержаться. Сам Захаров с делом детально еще не ознакомился, но из доклада Климова знал, что к нему причастны четыре человека, которые в ночь на второе июля, выйдя из ресторана «Астория», сели в чужую «Победу» и помчались по Москве. У Никитских ворот они смяли «Москвич», но сумели скрыться в одном из арбатских переулков. В эту ночь шел дождь, и номер машины был забрызган грязью. Через полчаса молодчики на той же «Победе» выскочили на улицу Горького. Услышав свисток регулировщика, они на большой скорости свернули в Благовещенский переулок и наехали на человека. Жертвой оказался студент Васюков, единственный сын матери-дворничихи. В этот поздний час он помогал ей убирать мостовую. Санитары из подоспевшей «скорой помощи» положили на носилки уже остывающий труп. В этой же машине увезли мать. Ее без сознания подобрали на мостовой рядом с сыном.



Постовой милиционер видел, как шагах в пятидесяти от места происшествия из машины, врезавшейся в забор, выбежали четыре человека. Трое были задержаны, один успел скрыться в Трехпрудном переулке. Этого четвертого требовалось найти. На вопрос, кто был четвертый, все трое показывали, что им был неизвестный гражданин, сосед по столу в ресторане. Внешность его вполне интеллигентная, и называл он себя Леонидом. Рассчитавшись с официантом и оставив чаевые, Леонид пригласил всех троих покататься по Москве. Они согласились. У подъезда ресторана у Леонида стояла собственная «Победа».

Дело само по себе было несложное, и Захаров знал, что с ним вполне справится один Климов, но, желая ускорить расследование, решил заняться им сам.

Вызвав старшину из охраны камеры предварительного заключения, Захаров раскрыл папку № 317 и стал сличать показания задержанных Фетисова, Долинского и Дегтева, данные ими два дня назад, когда они сидели в разных камерах. Показания совпадали вплоть до мелочей. Такое сходство всегдастораживает: без договоренности здесь не обошлось.

— Как они ведут себя? — спросил Захаров.

— Долинский и Фетисов, товарищ старший лейтенант, опять отказываются от пищи.

— Почему?

— Говорят, что это не щи, а бурда.

Захаров с прищуром посмотрел на старшину:

— Поезжайте немедленно на рынок и купите свежих сливок. Шоколад и кофе захватите в елисейском магазине.

— Товарищ старший лейтенант!

— Вы что, не знакомы со службой? Новичок в органах милиции?

— Товарищ старший лейтенант, с ними трудно говорить. Это же студенты. Так вроде не хулиганят, а насмеваются. Забивают разными иностранными словами.

Некоторое время Захаров смотрел на старшину и о чем-то думал. Тот стоял перед ним навтыжку. Злая улыбка пробежала по лицу старшего лейтенанта. Ему стало обидно за этого малограмотного, но честного человека. Старшине уже перевалило на пятый десяток. Когда Захаров ознакомился с личными делами сотрудников, он



обратил внимание, что старшина был четыре раза тяжело ранен на фронте. Он и сейчас слегка прихрамывал на левую ногу, хотя старался, чтоб этого не замечали. У него два ордена Красного Знамени. Старый разведчик, он вдруг растерялся... Его забывают непонятными словами. И кто? Вот именно — кто!

— Так. Значит, насмеваются? Забывают иностранными словами? Ну что ж, хорошо. Поговорим и на иностранном, если забыли русский. Ступайте, старшина, я сам спущусь к ним.

Взяв под козырек, старшина молча вышел из комнаты.

Когда Захаров через минуту переступил порог камеры предварительного заключения, поднялся один только Дегтев. Долинский и Фетисов продолжали лежать на деревянных топчанах.

— А ты помнишь, эту... как ее... вспомнил, Стелла! Это же сила! А? Ты видал когда-нибудь такую фигурку, такие ножки? Недаром Виктор просадил на нее не одну тысячу.

Похабное смакование Долинского неприятно резануло Захарова, но он решил не перебивать.

— А мне она больше всего нравится тем, что не церемонится. Пьет даже сивуху. И главное — не отказывает ни в чем и ни при каких условиях. Люблю таких, — отозвался из другого угла Фетисов.

Сделав вид, что он только теперь заметил старшего лейтенанта, Долинский перелег на бок и лениво приподнялся на локте:

— О, мы так увлеклись, что просмотрели, как к нам пожаловали гости. Принимай, Эдик. Это по твоей части.

— С удовольствием, — в тон Долинскому ответил Фетисов. — Правила хорошего тона нас к этому обязывают. Прошу садиться, товарищ начальник.

— Будьте смелее, старший лейтенант, проходите, садитесь, — театральным жестом пригласил Долинский. — С вами мы, кажется, еще не имели чести быть знакомыми.

— У вас плохая память. Мы уже знакомы, — ответил Захаров, с трудом сдерживая поднимающийся гнев.

Любопытство и удивление на лице Долинского на этот раз были уже искренними.

— Что-то я вас не припомню. А впрочем, впрочем... ваше лицо мне тоже знакомо. Но я, право, затрудняюсь, Эдик, ты ничего не можешь сказать на этот счет?

— Где-то и я встречался с вами, но убей — не помню.

— Хорошо, я вам напомню. Встаньте, пожалуйста, нехорошо так встречать начальство.

Долинский и Фетисов с усмешкой переглянулись и продолжали полулежать.

— Встать! — негромко, но властно приказал Захаров.

Медленно поднимаясь, Долинский протянул гнусаво и с ехидцей:

— Пожалуйста! Если начальству так угодно, мы повинемся. Эдинька, встань, не гневай начальство. Начальство нужно уважать.

Долинский и Фетисов вразвалку стояли перед Захаровым и, вызывающе-нагло улыбаясь, смотрели ему прямо в глаза.

— Это было три года назад, — спокойно начал Захаров. — Вечером в летнем ресторанчике парка культуры и отдыха посетители пили вино, играл джаз. Напротив вашего стола с дорогими винами и закусками стоял маленький, скромный столик с одной бутылкой десертного вина и мороженым. За этим маленьким столиком сидел молодой человек, сержант, а с ним была девушка, его невеста. Вам она понравилась...

Захаров подробно напомнил историю, которая три года назад произошла в Центральном парке культуры и отдыха. Наигранный фарс, высокомерие и меланхолическое выражение точно ветром сдуло с лиц арестованных. Не вразвалку, а навтыжку стояли они теперь перед старшим лейтенантом.

— Вспомнил...

— Как сейчас помню...

— Вспомнили? Хорошо! — раздраженно и резко сказал Захаров. — Запомните и другое: как начальник уголовного розыска, я требую, чтобы вы строго выполняли режим тюремной камеры и ни словом, ни жестом не смели оскорблять дежурную службу. Студенты! — Захаров засмеялся: — Какие вы студенты? Мелкая шпана, убийцы, трусы!.. — Окинув взглядом камеру, он вышел.

Поднявшись к себе, Захаров увидел у дверей кабинета родных и родственников арестованных. Это были почтенные и уже немолодые люди, на которых обрушилось большое несчастье. Руки родственников были заняты пакетами с провизией и узлами с бельем и платьем. А одна из женщин держала даже большой сверток постельного белья. По тому, как с ней разговаривала дама с веером, можно было без труда догадаться, что это домработница.

Без вещей пришел лишь один седоусый полковник в отставке. Опираясь на палочку, он стоял у окна и курил трубку. Заговорил полковник только тогда, когда увидел, как седой Долинский, вздрагивая плечами, несколько раз всхлипнул:

— Профессор, не убивайтесь. Горю этим не поможешь.

Профессор, поднял влажное от слез лицо, как рыба, хлебнул ртом воздух и хотел что-то сказать, но в это время к ожидающим обратился Захаров:

— Прошу, заходите.

Пока Захаров молча листал страницы уголовного дела № 317, в кабинете стояла тяжелая тишина. Взоры всех были обращены на папку, как будто в ней одной содержался ответ на вопрос о судьбе их сыновей.

— Граждане, надеюсь, вы понимаете, зачем вас пригласили. По документам предварительного следствия познакомился с характером преступления ваших сыновей. — Говорил Захаров тихо, спокойно, внимательно всматриваясь в окаменевшие лица сидящих. — Скажу вам откровенно — утешить вас мне нечем. Но об одном хочу просить вас. Вы грамотные люди и, надеюсь, понимаете, что судьба арестованных теперь решается не вашим родительским участием, а советским законом. С заботой о своих детях вы опоздали. Это одно. Второе. Должен предупредить вас, что в Уголовном кодексе есть особая статья о взятках. Вам, гражданин Долинский, это известно?

— Простите, но я вас не понимаю... Что я такого сделал? — волнуясь уже за себя, пролепетал Долинский.

— Как вы могли пойти к матери убитого Васюкова и предлагать ей деньги? Разве может ваше горе сравниться с ее горем? Ведь она потеряла единственного сына! Она на грани помешательства, а вы пытаетесь dokonать ее какой-то грязной коммерческой сделкой!

— Товарищ начальник... — хотел возразить трясущийся Долинский, но Захаров

продолжал, не обращая на него внимания:

— Бесчеловечно! Уже не говоря о том, что это преступно. За убитого сына предлагать деньги! Смотрите, гражданин Долинский. — Захаров закурил и продолжал уже более спокойно: — Вы возмущаетесь, что ваш сын спит на твердом топчане. Вы даже сюда принесли ему перину. Прекратите это, гражданин Долинский, иначе вас лишат права свидания с сыном. По советскому закону тюремный режим для всех задержанных общий. А если говорить честно, то ваши сыновья не заслуживают даже такого отношения, которое они видят здесь, в камере предварительного заключения. Ведут они себя нагло.

— Товарищ начальник, Сеня больной. У него вегетативный невроз, — вставила Долинская, не переставая махать веером.

— Вегетативный невроз... — Захаров усмехнулся. — Не волнуйтесь, он кончился вместе с ресторанами и бессонными ночами. Вашему Сене здесь создали здоровый режим. — Захаров взглянул на часы, встал и обратился ко всем сразу: — Граждане, дежурная служба на вас жалуется. Вы мешаете ей работать. Повторяю, если вы и впредь будете здесь толпиться с узлами и постелями, вас лишат права свидания. Не понимаю одного: как оказались здесь вы, товарищ полковник? По вашим сединам, поганам и протезу можно читать ваше хорошее прошлое. Ведь вы — ветеран войны? Вы хорошо знаете, что такое дисциплина, порядок, режим. Так почему же и вы здесь? Неужели и вы пришли с узлами?

Полковник встал, опираясь на палочку:

— Я пришел к вам по делу, старший лейтенант.

— Слушаю вас, — стараясь быть более вежливым, сказал Николай. Он понял, что в обращении к полковнику излишне погорячился.

— Я пришел заявить вам, что отрекаюсь от сына.

Решительный и твердый тон, которым были произнесены эти слова, вызвал ропот у посетителей.

— Это ужасно!

— В такую минуту!

— И он считает себя отцом!

Больше всех возмущалась Долинская. Она даже пересела на другое место, чтоб только не быть рядом с таким жестоким отцом.

— Да, я пришел официально отречься от родного сына и если возможно, то просить написать об этом в газете.

— Это что? Легкий побег от позора, тень которого ляжет и на вас? Так я вас понимаю? — Захаров снова пожалел, что этой резкостью мог обидеть старика полковника.

— Нет, старший лейтенант, вы не так поняли. Это не побег. Это мера воспитания. Моя последняя мера. Не думайте, что я был плохим отцом. Пришел я сюда без перин и гостинцев. — Пальцы рук полковника крупно дрожали. Откашлявшись, он продолжал: — У меня два сына. Одного, родного, я уже потерял — он ваш подследственный и уголовный преступник. Другой сын, неродной, дома, студент. Я подобрал его в сорок втором году на Волховском фронте, в болотах. Тогда ему было одиннадцать лет. Всю войну он провел со мной — в блиндажах, на лафете, в окопах. Он никогда не опозорит моих седин. В этом я уверен. А этот... родной... — Голос полковника осекся, и он замаялся: — Скажите, старший лейтенант, вы можете исполнить мою просьбу и известить об этом сына? Сам видеть я его больше не хочу.

— Я помогу вам, товарищ полковник. Прошу вас остаться на несколько минут. А вы, граждане, — обратился Захаров к остальным, — вы, кажется, все поняли?

Молча, один за другим, посетители вышли из кабинета.

— Я говорила, что на сухую в такие места не ходят. Знаю я этих юристов. Не подмажешь — не поедешь, — шептала в коридоре Долинская Фетисовой.

— Да, но как это сделать? И потом, сколько дать? А вдруг... Ведь он ясно предупредил, что за это судят.

— Что-о? Как это сделать? Нужда заставит — сделаешь, и сделаешь не хуже других, — нараспев причитала Долинская.

— Нет, я этого сделать не могу. Это нехорошо. Владимир Сергеевич мне не позволит...

Минут через пятнадцать, когда полковник Дегтев закончил разговор с Захаровым и, припадая на левую ногу, направился к выходу, дверь кабинета открылась и вошел лейтенант Севрюков, В руках он держал какие-то документы.

— Вы уходите, товарищ старший лейтенант?

— У вас срочное? — спросил Захаров.

— Не сказать, чтобы очень. Но вот тут в порядке исключения нужно прописать гражданку. Кое-чего не хватает.

— Оставьте, посмотрю вечером. У меня сегодня торжественный день. Угадайте...

— День рождения?

— Нет.

— Вы выиграли десять тысяч по займу?

— Не угадали.

Лейтенант пожал плечами.

— Сегодня я получаю диплом об окончании университета.

— Ого! Поздравляю!

— Обождите, рано.

Когда Севрюков уже взялся за дверную скобу, Захаров вдруг вспомнил, что профессор Львов уезжает завтра на целый месяц в Ленинград.

— Костя! — окликнул он Севрюкова. — Ты, я вижу, свободен. Очень прошу, не в службу, а в дружбу возьми машину и поезжай в университет на юрфак. Передай, пожалуйста, этот пакет профессору Львову.

В реферате Захарова подробно излагалось то, с чем не хотел согласиться на государственных экзаменах профессор Львов.

Захарова Севрюков ценил и уважал, а втайне даже старался подражать ему. Эту просьбу он готов был выполнить с большой охотой. К тому же представлялся случай на обратном пути заехать домой и козырнуть перед женой и соседями, что он разъезжает на «Победе».

— Аллюр три креста! — с присвистом сказал Севрюков и, выходя, сделал жест, говорящий о том, что все будет в порядке.

Больше часа прошло, как Наташа вышла из отделения милиции. Не находя себе места и не поняв до конца, что случилось, она бесцельно, как будто оглушенная, бродила по Москве. Механически, по старой студенческой привычке она вышла на Моховую улицу. Из окон актового зала университета доносились звуки духового оркестра. Наташа знала, что оркестр в актовом зале играет раз в год — при вручении дипломов с отличием. Неожиданно вспомнился день, когда три года назад и она под торжественные звуки туша шла к большому столу, за которым сидело много почтенных профессоров. Академик Воеводин, стоявший у отдельного маленького столика, обеими руками пожал ей руку и от души поздравил. Ленчик тогда преподнес ей такой букет цветов, что ни один из встречаемых на улице не прошел мимо, чтоб не взглянуть на него.

Не раздумывая, Наташа вошла в актовый зал. Под те же звуки торжественного туша тот же самый, только заметно постаревший, ректор Воеводин вручал отличникам дипломы и нагрудные знаки. Его мягкая, добрая улыбка каждый раз была новой.

— Захаров Николай Александрович! — назвал председательствующий очередную фамилию.

Наташа вздрогнула и замерла, прильнув к мраморной колонне. Что это — слуховая галлюцинация? Расстроенные нервы или просто однофамилец? И вслед за этим она увидела, как по ковровой дорожке шел Николай. Лицо его было строгое, губы плотно сжаты, шаг четкий.

Наташа прижала руки к груди. В первую секунду ей хотелось подбежать, броситься ему на шею. Она уже рванулась, но что-то остановило ее, и она боязливо попятилась назад, за колонну.

Медленно переступая со ступеньки на ступеньку, Наташа вышла на улицу.

Как ни старались дворники поливать тротуары, в воздухе стояла такая духота, что даже в тени не ощущалось прохлады.

Всю дорогу Наташа шла пешком, а когда добралась до дому, почувствовала себя совсем разбитой.

— Что с тобой? — озабоченно спросила Елена Прохоровна.

— Болит голова. Наверное, от жары.

— Как с пропиской?

— Завтра обещали.

— Может, хочешь есть?

— Нет, не хочу. Я немного отдохну. Я так устала... Наташа сняла босоножки, поправила на диване подушки и легла.

11

Агитпункт избирательного участка размещался в одной из аудиторий юридического факультета.

Трое студентов-агитаторов, стоя, заканчивали стенную газету «Избиратель». Один приклеивал заголовок, другой дорисовывал карикатуру, третий стирал резинкой следы карандаша. Здесь же, рядом, руководитель агитколлектива Туз отчитывал Ларису Былинкину за плохую работу на участке:

— Как тебе не стыдно! За полмесяца ты не побывала у своих избирателей! Тебя не знают на участке! Ты что — ждешь, чтоб поставили вопрос на бюро? Предупреждаю, если за оставшиеся дни...

— Ах, пожалуйста, не угрожайте, я на десять частей разорваться не могу! У меня каждый день репетиции.

— Ну и что? — развел руками Туз.

— А то, что нас хотят послать в Будапешт на фестиваль студенческой молодежи! Я думаю, что подготовка к фестивалю не менее важна, чем встречи с домохозяйками.

— Лариса...

— Что Лариса? И вообще, Сергей, мое призвание не агитаторство, а хореография.

Туз начинал нервничать. Затушив недокуренную самокрутку, он встал и посмотрел на Ларису так, точно обжег ее крапивой:

— Скажи, ты думаешь работать по-настоящему, как подобает комсомольцу?

— Пожалуйста, не пугай лозунгами! Если ты хочешь сорвать мою поездку в Будапешт, то тебе это не удастся. Я буду жаловаться в вузком. Вот...

Туз хотел ответить, но вошел Алексей Северцев с рулоном плакатов под мышкой.

— Сережа, — бросил он с ходу, — я совсем зашился. Третий день ко мне ходит одна старушка. У нее в квартире течет крыша, а домоуправ...

— Одну минутку, Леша, мы не кончили с Былинкиной. Ну как, — обратился Туз к Ларисе, — ты думаешь работать на участке? Ты сама-то хоть знаешь, за кого будут голосовать твои избиратели?

— За Шохину и за Сидорова, — Лариса гордо подняла свою головку.

— За какого Сидорова?

— Ну, за этого самого... как его... фу ты, чуть не перепутала, за Филиппова...

— Эх, ты! — Туз покачал головой. — Иванов, Петров, Сидоров...

— Подумаешь, какое преступление! Ты великолепно знаешь, что по нашему участку кандидатами в райсовет выставлены ткачиха Шохина и милиционер Матвеев.

Туз молча развернул плакат и подал его Ларисе:

— Не Матвеев, а Захаров, старший лейтенант милиции Николай Александрович Захаров. На, запомни хорошенько его биографию сама, и чтобы сегодня же все избиратели знали, за кого они будут голосовать.

Портрет на плакате показался Алексею знакомым.

— Постойте, постойте... Где же я видел этого человека? Подождите, неужели это тот самый сержант, который три года назад?.. Старший лейтенант милиции, начальник уголовного розыска Николай Александрович Захаров? — Северцев был одновременно и обрадован, и удивлен. — Вот так встреча! Вот это здорово! Да ты знаешь, Сережа, что это за человек!

Лариса, даже ни разу не взглянув на Алексея и делавшая вид, что не замечает его, раздраженно дернула плечом.

— Ну, положим, обыкновенный человек, неплохой работник милиции. И чего тут удивительного? Разве мало бывает хороших людей и среди милиционеров?

Эта реплика покорила Алексея, но он решил не отвечать на нее. Несколько секунд он молчал, потом обратился к Тузу:

— Сережа, пусть Былинкина идет на свои репетиции. Ее избирателей возьму я. Они сегодня же будут знать, кто такой Захаров.

— Хорошо. Только зайди еще раз к домоуправу насчет крыши. Если будет упираться — припугни. Знаешь как?

— Да я из него окрошку сделаю!..

Захватив рулон с плакатами, Алексей почти выбежал из агитпункта.

— Вот это встреча, вот это встреча! — повторял он на ходу.

— Поздравляю, товарищ Былинкина. Одна гора с твоих плеч свалилась, — сказал Туз, роясь в письменном столе.

Лариса благодарно улыбнулась:

— Ты знаешь, Сережа, как я тебе признательна. Ты меня так развязал, так развязал. Этот избирательный участок мне не давал дышать, он не выходил у меня из головы даже на репетициях.

Туз поправил ремень на гимнастерке и строго сказал:

— Порадую тебя еще и тем, что и вторая гора с твоих плеч на днях свалится. Ни в какой Будапешт ты не поедешь! Об этом я тебе заявляю и как руководитель агитколлектива, и как член факультетского партийного бюро, и как твой товарищ...

— Сережа!..

— Да, да! Никуда ты не поедешь! Вместо репетиции сегодня пойдешь на комсомольское бюро. Будет стоять твой отчет о работе на участке. Бюро начнется ровно в семь.

12

Толстый, лет пятидесяти управдом в своей маленькой каморке ворочался, как слон в клетке.

— Все понятно, все ясно. Но на какие средства я сделаю этот ремонт? Смета! Согласно постановлению Моссовета капремонт в текущем квартале будет производиться только в тех точках, которые комиссией поставлены на первую очередь как аварийные. Дом, в котором живет эта богомолка, поставлен на вторую очередь.

— Меня не интересуют ваши акты, сметы. Я вас последний раз предупреждаю, что у старушки нужно починить крышу. После дождя у нее в комнате потоп. Старуха спит под клеенкой, вы понимаете — под клеенкой? — горячился Северцев.

— Не имею права, — развел руками управдом. — Для внепланового ремонта нет фонда. А постановление Моссовета и инструктивное письмо Мосгоржилуправления я нарушать не имею права.

Алексей пошел на последнее:

— Ну, знаете, товарищ управдом, я вижу, что вашу броню можно пробить только с помощью райкома партии. Как раз сегодня на совещании агитаторов будет первый секретарь. Вот там-то я и расскажу, как вы обложились копной инструкций, а на жильцов вам наплевать. За бездушие, — Алексей прищурился и проговорил угрожающе-гаинственно, — вам будут и капы, и спецы, и сметы. Чего доброго, придется познакомиться и с Уголовным кодексом. Заявляю об этом как юрист. Да-да, в Уголовном кодексе есть серьезные статейки. Ох и крутые статейки! До свидания.

Лишь только Северцев захлопнул за собой дверь, домоуправ заерзал на месте:

— Ишь ты, студент несчастный! Всю душу вымотал. — Домуправ, скрипнув стулом, поднялся и подошел к окну, — Эй, молодой человек, товарищ студент! Обожди...



В следующую минуту он был уже на улице.

— Чего ты горячишься? Ну, чего ты разошелся? Как барышня, обиделся. Это дело нужно обмозговать. Разве я отказываюсь? Нужно все-таки посоветоваться о сроках.

Алексей понял, что попал в точку, и продолжал наступать.

— Последний срок — завтрашний день. Больше ждать не будем.

— Не понимаю, о чем разговор? — Управдом басовито кашлянул. — Все будет сделано. Завтра же выпишу наряд.

— Не наряд, а завтра же починить крышу.

— Ну, ясное море, не блины же печь. К вечеру все будет готово.

— Вот это другой разговор.

— Законно и новеньким железом.

13

Наташа лежала неподвижно, бездумно глядя на бледные лилии стеновых обоев. Резкий звонок в коридоре заставил ее вздрогнуть.

— Ты лежи, лежи, я сама. — Елена Прохоровна пошла открывать дверь.

— Здравствуйте, — прямо с порога пробасил Алексей Северцев. — Я агитатор с избирательного участка.

— У нас же была девушка, — несколько удивленно проговорила Елена Прохоровна, жестом приглашая его пройти в комнату.

— Теперь назначили меня.

— Пожалуйста, присаживайтесь. Это моя дочь. Ей что-то нездоровится.

При виде больной Алексей несколько смутился и стал говорить тише:

— Я принес вам биографии кандидатов. Вы знаете, за кого мы будем голосовать?

— Нет. Нам еще не говорили — точно оправдываясь, ответила Елена Прохоровна.

О, голосовать мы будем за хороших людей.

— Интересно, очень интересно.

— Любуйтесь! — И Алексей развернул плакат. — Это знатная ткачиха Мария Шохина. А это начальник уголовного розыска старший лейтенант Николай Захаров.

— Захаров? Николай? Старший лейтенант? Позвольте, где же мои очки? — Елена Прохоровна засуетилась и никак не могла трясущимися пальцами вынуть очки из футляра.

Наташа, как пружина, соскочила с дивана и, бледная, подошла к Северцеву. С плаката, улыбаясь, на нее смотрел Николай.

— Наташа, это случайно...



— Нет, мама, это не случайно, это он. Читайте, здесь много написано.

Растерянность матери и дочери привела Алексея в недоумение.

— Простите за любопытство, он, случайно, вам не знаком?

— Да, знаком. И не случайно, тихо ответила Наташа и направилась в свою комнату, — Вы меня простите, но я вас оставлю. Беседуйте с мамой. Мне нездоровится.

— Пожалуйста, — виновато ответил Алексей, — Может быть я не вовремя? — спросил он, когда дверь за Наташей закрылась.



— Нет-нет, молодой человек, присаживайтесь, — Плакат с портретом Николая задрожал руках Елены Прохоровны. Она пыталась читать, но ничего не разбирала: буквы наскакивали одна на другую.

...Для Наташи за сегодняшний день это был третий удар. Только теперь перед ней раскрылась вся глубина ее заблуждений, ее ошибок. Воспоминание о том, как она три года назад настаивала и просила Николая бросить работу в милиции, обожгло позором.

— Как низко, как мелко все это было с моей стороны! — шептала она, уткнувшись в подушку. — Как я могла поверить в клевету Ленчика? Как мало я его любила! Не понимала, не ценила. А теперь? Что подумает он, если я приду к нему? Нет, нет! Ни за что!

Наташа дала себе клятву никогда больше не видеть Николая.

А когда под вечер пришел Ленчик, она молча протянула ему три билета в Большой театр и также молча показала на порог. По выражению ее лица Ленчик понял все. И эта его авантюра провалилась.

К ужину Наташа не поднялась. Не встала она и к завтраку. Участковый врач, молодая женщина с румяными щеками, прежде чем осмотреть больную, долго разговаривала с матерью. Острое нервное расстройство — поставила она диагноз.

— Но почему же у нее такие сильные головные боли? — спросила Елена Прохоровна.

Врач в ответ только пожала плечами. Больной был предписан трехдневный постельный режим.

14

В конце июня был сдан последний экзамен, и можно было ехать домой на каникулы, но комсомольское бюро факультета задержало Северцева на время предвыборной кампании. За работу на избирательном участке агитаторам на сентябрь были обещаны путевки в университетский дом отдыха в Красновидове.

В числе оставшихся агитаторов была и Лариса. Втайне Алексей радовался, что наконец-то он найдет возможность хоть раз поговорить с ней по душам. С этой тайной надеждой он и зашел на факультет. Лариса должна была сегодня дежурить.

Чуть приоткрыв дверь аудитории, где размещался агитпункт, Алексей увидел Ларису. Она сидела перед избирателем, солидным мужчиной средних лет, и что-то рассказывала. Бросив взгляд на скрипнувшую дверь, она заметила Алексея и опустила глаза. Голос ее внезапно дрогнул, через минуту она совсем замолкла. Так молча, с опущенными глазами, вся пунцовая, она продолжала сидеть перед недоумевающим от такой ее перемены избирателем.

Алексей, точно назло, продолжал подсматривать в дверь. «Ведь любишь же, — восторженно подумал он, — раз так вспыхнула и растерялась, значит, любишь».

Но того, что случилось в следующую секунду, Алексей никак не ожидал. Быстро встав из-за стола, Лариса почти подбежала к двери и выпалила:

— Подсматривать в щелки, между прочим, ваша старая болезнь! — И так хлопнула дверью, что Алексей опешил.

«Да, в первую встречу было то же. Но тогда ведь я не подсматривал. Вот и объяснился, объяснился до конца». Алексей отошел от двери. Он знал, что к Ларисе сейчас лучше не подходить.

По обрывкам разговора студентов, которые толпились у стенной газеты «Избиратель», Алексей догадался: они ждут Ларису, чтобы поехать за город. Значит, поговорить снова не дадут. Он вышел на улицу.

«Подсматривать в щелки... ваша старая болезнь!» Что может быть обиднее и оскорбительнее?

Проходя по Моховой, среди нескончаемого пестрого потока встречных Алексей заметил счастливую пару. В коротеньком платьице цвета подсолнечных лепестков, разбросанных в корзине с вишней, с большим букетом, который она прижала к груди, Нина Ткач со своей белозубой улыбкой и небесно-синими глазами походила на живой букет полевых цветов. Рядом с ней шел высокий загорелый молодой человек. Он поддерживал ее под руку и застенчиво улыбался. Это был венгр Янош, студент филологического факультета. Поравнявшись с ними, Алексей поздоровался, но его не заметили. До него ли им сейчас? Алексей с тоской посмотрел вслед счастливой паре. «Люди разных стран находят общий язык, любят друг друга, а тут вот...»

У цветочного магазина он остановился: «А что, если попробовать?» На последние деньги он купил большой яркий букет. Когда шел с ним к троллейбусу, ему казалось, что вся Москва на него смотрит и ухмыляется. В эти минуты он испытывал такое же чувство жгучей неловкости, какое пришлось пережить однажды весной, когда он первый раз в жизни надел шляпу и отправился в театр. Через месяц ему было даже смешно, когда он вспомнил этот свой стыд. Теперь ему казалось, будто в шляпе он и родился.

От напряжения Алексей даже вспотел. Своего имени лифтерше, которую попросил передать цветы Ларисе, он не сказал.

— И что же я скажу, если она заинтересуется, от кого букетик? — уважительно спросила пожилая женщина, любясь цветами.

— Скажите, что молодой человек в желтой тенниске.

— Ну что ж, как прикажете, так и передадим, — понимающе улыбнулась лифтерша.

Алексей вышел из подъезда и почувствовал, что с плеч свалилась гора. Самое страшное было сейчас встретить Ларису.

Вернувшись в общежитие, он, не разуваясь, лег на койку, положив ноги на стул, и закрыл глаза. Образ Ларисы вставал в мельчайших подробностях. Алексей вел ее своим воображением от факультета до дому.

...Вот она входит в вестибюль, подходит к лифту, спешит войти в кабину. Тут ее останавливает улыбающаяся добрая лифтерша и протягивает цветы. Протягивает и хитровато молчит. Лариса недоумевает. «От кого?» — спрашивает она, но лифтерша прищурилась и покачала головой: «Ой, как будто и не знаете?» Лариса допытывается, и, когда лифтерша, помучив ее добрых пять минут, наконец подробно описывает внешность Алексея, она догадывается. Ох, если б видеть в эту минуту ее лицо!

Так, почти не двигаясь, он пролежал около часу. В комнате никого не было. Все

разъехались кто куда: кто на вокзал за билетами, кто в Химки купаться, кто гулять в Сокольники.

Неизвестно, сколько бы еще пролежал так Алексей, если б не слабый, робкий стук в дверь, который оборвал ниточку его разгоряченной фантазии.

— Войдите! — крикнул он и в следующую секунду опешил.

В дверях стоял Ломако. В руках он держал обдерганный, жалкий букет. Тот самый букет, который два часа назад Алексей купил для Ларисы.

В общежитии Ломаку знали как ехидного и жадного парня, у которого не выпросишь взаимы рубля, хотя у него всегда водились деньги, а кое-кто даже видел у него сберегательную книжку. Возвращаясь в конце августа со своей утопающей в садах Полтавщины, он привозил мешок фруктов, но никто не помнил, чтобы он кого-нибудь угостил. Все у Ломаки было под замочками, на завязочках, в коробочках.

Студент Зайцев обнаружил однажды у него целую систему примет и сигналов. Закрыв тумбочку, Ломако незаметно заклеивал щелку створа хлебом. Если кто-нибудь в его отсутствие трогал дверку тумбочки, кусочек хлебной замазки отпадал. Ломако знал, что у него «были». Чемодан он метил тонкой ниточкой, которую протягивал от крышки к дну.

Разгадав эти хитрости, Зайцев иногда нарочно отклеивал хлебную замазку, отбрасывал ниточку. Ломако, найдя, что его сигнализация нарушена, часами рылся в своих вещах, но, не обнаружив никакой пропажи, молча и сердито сопел. Зато по вечерам этот полтавский яблочный король мстил всем жильцам комнаты. Зная, что полученный по карточкам хлеб на день студенты съедали в обед, Ломако приносил из кубовой чайник кипятку и доставал из сумки большой ломоть хлеба. Сахарок у него водился всегда. Ел он медленно, со вкусом. Падающую на стол крошку сметал на ладонь и ловко бросал в рот. В эти минуты Зайцев ненавидел Ломаку. Исходя слюной, он мысленно грозился взломать его тумбочку. Не выдерживая дальнейшей пытки, он тяжело вздыхал и с головой залезал под одеяло, чтоб только не слышать аппетитного чавканья.

Жадных в студенческой среде не любят. Не любили и Ломаку.

Не дрогнув ни одним мускулом лица, Алексей встал.

— В чем дело? — тихо спросил он.

— Узнаешь, Леша? — Ломако с ехидцей протянул общипанный букет.

Алексей молчал.

— Этот букетик Лариса Былинкина велела вернуть тебе и просила передать, чтобы ты наперед не тратил свою степешку на пустое дело.

Алексей подошел к Ломаке, молча взял букет и, выбросив стебли без бутонов, поставил его в стеклянную банку с водой, в которой стояли два маленьких пучка степных колокольчиков.

Закончив с цветами, он снова подошел к Ломаке, который, переминаясь с ноги на ногу, стоял у двери, удивляясь такому невозмутимому спокойствию Северцева.

— Теперь ты доволен? — спросил Алексей и, открыв дверь, показал на нее рукой. — Можешь убраться, у меня к тебе нет никаких поручений. Прореха!

«Прорехой» Ломаку окрестил Зайцев.

Ломако заметил в глазах Алексея искорки злобы и боком вышел в коридор.

Оставшись один, Алексей шагал по комнате. Такого удара он не ожидал. Первый

раз в жизни подарил любимой девушке цветы, и вот результат. Они возвращены с позором. Пока об этом знает один Ломако, но завтра будут говорить все, кто не уехал на каникулы.

Навалилась щемящая тоска, захотелось домой, в Сибирь...

Расхаживая из угла в угол, Алексей убеждал себя, что пора все это бросить и по-настоящему заняться учебой. На пятом курсе нужно писать дипломную работу, а там не за горами и государственные экзамены. Нужно заниматься, заниматься, заниматься! Из-за Ларисы он в последнюю сессию получил две четверки, тогда как раньше все тридцать два экзамена за три курса сдавал на пятерки.

«...Все! Кончено! С первого сентября буду работать, как вол! Буду сидеть в читальне до полуночи. Мямля, раскис, хотел выехать на букетиках... Эх, сейчас бы года на три махнуть в тайгу или на Северный полюс, чтобы только ее не было рядом...»

Взял книгу, попробовал читать, но ничего не получалось. Между строк вставляла она, Лариса...

15

Напрасно Николай ждал Наташу: за документами в паспортный стол пришла не она, а Елена Прохорова.

Недоумевал и лейтенант Севрюков, который должен был известить Захарова о приходе гражданки Луговой. Он догадался: тут что-то неспроста. Севрюков видел, как изменился в лице начальник, когда раскрыл паспорт Луговой. Не ускользнул от него и взгляд, каким тот посмотрел на страничку, где делается отметка о браке. На щеках Захарова выступили розовые пятна.

Когда Николай вернулся с обеда, дежурный старшина подал ему маленькое письмецо. Штампа на конверте не стояло, почерк был по-женски округлый и ровный, но не Наташин. Николай разорвал конверт. На голубеньком листке было написано:

«Здравствуй, Коля! Очень прошу тебя, навести как можно быстрее Наташу. Она приехала и серьезно больна. Ни о каких своих новостях, которые могут еще больше расстроить ее, не говори. Веди себя так, как будто вы только вчера расстались. У нее это на нервной почве. Виновник этой болезни ты. Всецело полагаюсь на твою деликатность. Наташа по-прежнему тебя любит. Прошу, об этом письме не говори ей ни слова. Навести ее как можно быстрее.»

Лена Сивцова.

Р. С. Очень хочу тебя повидать. Ведь мы все-таки друзья детства».

Прочитав письмо, Николай позвонил Луговым. Он представился старым школьным другом Наташи.

Елена Прохорова ответила, что Наташа больна и к телефону подойти не может.

Вечером, когда стемнело, Николай дважды порывался пойти к Луговым, но оба раза возвращался почти от самого подъезда их дома. Болезнь Наташи его огорчала. Хотя приезд ее и взбудоражил Николая и тронул старую, еще не зарубцевавшуюся рану, но это, однако, было уже не то волнение, которое он испытывал три года назад. Теперь он не поедет в парк культуры и не напьется с горя, как обиженный мальчишка...

Вернувшись в свой кабинет, Захаров раскрыл толстую папку с делом № 317 и просидел над ней до одиннадцати часов вечера. План расследования по делу об убийстве студента Васюкова был прост:

1. Снова рассадить всех по разным камерам и снова:

- допросить каждого о приметах «Леонида»: рост, цвет волос, глаз, одежда; особые индивидуальные приметы;

- необходимо, чтоб каждый из задержанных еще раз шаг за шагом рассказал весь день второго июля: с утра и до момента задержания; кто к кому заходил, в какое время, куда пошли и т. д.

2. Выяснить друзей, с которыми все трое встречались раньше, я взять у них пальцевые отпечатки. Полученные отпечатки сличить с теми, что обнаружены на баранке и сигнальной кнопке угнанной «Победы».

3. Допросить еще раз родителей. Выяснить, кто второго июля заходил или звонил к каждому из задержанных.

4. Допросить дворников из домов, где живут задержанные. Справка о друзьях и знакомых «тройки». Кто к ним ходит.

5. Выяснить по месту работы и учебы задержанных, кто с кем дружит. Может быть, этот путь приведет к «Леониду».

6. Если (а вероятность этого «если» очень маленькая) «Леонид» действительно личность случайная среди троих задержанных — немедленно объявить розыск по Москве».

16

Вечерняя Москва выглядела необыкновенно празднично. Здания утопали в огнях иллюминации, толпы москвичей загрохотали улицы, бульвары, скверы.

На фоне всеобщего веселья горе Ларисы Былинкиной бросалось в глаза. Она шла по улице Горького и всхлипывала.

— Лариса! Что с тобой? — окликнул ее знакомый голос.

Она повернулась и увидела рядом Алексея Северцева. Он неловко и растерянно улыбался:

— Тебя кто-нибудь обидел?

Лариса ничего не ответила и пошла дальше. Алексей шел рядом.

Ему стало стыдно за свое праздничное настроение. Причиной слез Ларисы он считал объявленный ей на бюро выговор и возненавидел себя за то, что вместе с другими голосовал за такое взыскание. Надо сказать ей...

— Лора, послушай меня.

Лариса стала всхлипывать еще громче.

— Почему ты плачешь?

— Меня не берут в Будапешт...

— И только? — На лице Алексея появилось деланное спокойствие.

Лариса гневно взглянула на него полными слез глазами и перестала всхлипывать:

— Да разве понять тебе своей агитаторской душой, что такое сцена? И все ты виноват! Ты со своим активизмом.

Она зло закусил губу и пошла быстрее. Маленькая ее фигурка легко скользила в потоке встречных. Поспевая за ней, Алексей иногда насккивал на прохожих, не

всегда успевая извиниться.

— Но при чем тут мой активизм? Да если ты хочешь знать...

— И не хочу знать. Все вы... — Она не окончила фразы, мешали говорить слезы.

Алексей взял ее за руку, она не отстранилась.

— Слушай, Лора, — сказал он взволнованно, — у меня идея! Можно помочь тебе с Будапештом.

Лариса остановилась. Рассеянный взгляд ее был обращен куда-то поверх домов, в черноту ночного неба.

— Леша, если б ты знал, как мне тяжело, — проговорила она после некоторого молчания. Проговорила беспомощно, горько, безутешно. — Если меня не восстановят в коллективе самодеятельности, я что-нибудь с собой сделаю. Я уйду с факультета. Я...

— Чудачка ты... — сказал Алексей, хотя в эту минуту ему хотелось сказать: «Милая!» — Все будет хорошо. Завтра мы пойдем с тобой в вузком комсомола и все расскажем. Я знаю первого секретаря. Он поймет и поможет. — Алексей был готов успокаивать ее хоть до утра. После жестокой пытки, которую она устраивала ему в течение двух лет, он первый раз слышит из ее уст «Леша».

— Леша, не бросай меня... Одной мне тяжело. — В голосе ее звучала покорность.

Алексей даже не заметил, как они очутились в скверике напротив Моссовета. «Присядем?» — спросил он глазами. «Я согласна», — отвечал ее покорный взгляд.

Присели на скамейке перед фонтаном.

— Леша, почему на меня все накинулись? Все сразу стали чужие, злые. Только ты один меня понимаешь. У тебя, наверное, добрая душа.

Минутное молчание. Алексей чувствовал, что его сердце сделалось таким непомерно большим, что ему стало тесно в груди.

А Лариса продолжала:

— И глаза у тебя добрые. Раньше мне казалось, что ты не такой, хуже...

В этот вечер Лариса и Алексей долго бродили по улицам Москвы. О чем они только не говорили! Об экзаменах, о том, что через год их направят на практику, о разных пустяках. Но то главное, о чем Лариса столько лет не хотела слушать, Алексею никак не удавалось сказать и в этот вечер. Только когда остановились у подъезда ее дома, он осмелился и начал:

— Лора, неужели ты не видишь...

Не обращая внимания на его слова, Лариса всплеснула руками и высоко подняла свою маленькую голову с мягкими пушистыми прядками на висках. В бездонном небе, усыпанном золотыми звездами, падала большая голубоватая звезда, оставляя за собой тоненький светящийся след.

— Я успела загадать! — воскликнула она и прижала руки к груди.

— Скажи, что ты загадала?

— Ох, если б ты знал, что я загадала! — Лариса вздохнула, ее лицо стало внезапно грустным.

— Скажи, Лариса... — Любуясь ее лицом, которое под лимонно-бледной луной казалось голубоватым, Алексей боялся произнести слово, точно оно может

расколоть эту хрупкую тишину глухого переулка.

— Ты хочешь знать, о чем я загадала? Поедем завтра в деревню к моему дедушке в гости, там ты все узнаешь. — При мысли о дедушке она сразу оживилась: — Ты ни капельки не пожалеешь, он такой чудесный старик! У него свои сети, лодка, ружье. Он нам расскажет такие сказки, каких ты никогда не слышал! Поедем?

Если б его язык в это время был способен произнести «нет», Алексей вырвал бы его.

В общежитие он вернулся поздно. Как олень, вбежал по лестнице на четвертый этаж и готов был пробежать еще двадцать этажей. Товарищи по комнате не понимали, что с ним случилось. Таким веселым и возбужденным они его не видели.

Искуриив за ночь пачку сигарет, Алексей насилу дождался утра. Вспоминая обстоятельства, при которых он познакомился с Ларисой, Алексей благодарил судьбу даже за то, что его когда-то ограбили в роще. Иначе не было бы шефства Ларисы. А если бы не шефство, не было сегодняшней встречи и завтрашней поездки.

17

Встретились они, как условились, в десять часов утра у метро «Маяковская». Лариса была в белой кофточке с короткими рукавами, в синей плиссированной юбке и таких же синих босоножках. В руках она держала маленький спортивный чемоданчик, в котором мать посылала деду гостинцы.

Алексей чувствовал себя настолько скованно, что даже не догадался взять у Ларисы чемодан, с которым она так и шла до самого поезда. В вагонной сутолоке и духоте разговор не клеился. Когда же они, сойдя с поезда, вышли на тропинку, которая огибала опушку леса и вела к деревне, где жил дед Ларисы, эта скованность и неловкость исчезли. Ступая по зеленой траве, он словно ощущал, что с каждым шагом земля отдавала ему часть своих неистощимых сил. А когда Лариса неожиданно стукнула его по плечу и с криком «Догони» пустилась бежать, он почувствовал, что обгонит орловского рысака.

Дед Ларисы оказался действительно интересным человеком. Маленький и шустрый, он был все время в движении. Чтоб показать свое охотничье искусство, он просил Алексея повыше подбрасывать бутылку с водой, куда для светового эффекта было подбавлено немного фиолетовых чернил. Три раза Алексей подбрасывал бутылки, и все три раза они падали на землю осколками стекла и фиолетовыми брызгами.

— Эх, птица в наших краях перевелась, а ехать на Смоленщину — годы не те, — сожалел дед, вешая ружье на стену.

После обеда Лариса и Алексей собрались кататься на лодке. Дед не пускал их, предупреждал, что будет дождь, но Лариса, схватив весла, уже бежала к реке, где на берегу сверху днищем, примкнутая железной цепью к столбу, лежала лодка. О ключе Лариса побеспокоилась заранее: она знала, где он хранится.



— Ну давай, давай, коза, помочи свою гармошечную юбку-то. Ишь вырядилась! — приговаривал дед, глядя из-под ладони вслед убежавшей внучке.

Когда Алексей подошел к реке, Лариса уже успела отомкнуть большой амбарный замок и пыталась перевернуть лодку, но силенок у нее не хватало. Алексей сделал это одним рывком и легко столкнул лодку на воду.

Он сел в лодку, поплевал на ладони и, найдя для ног опору, медленно занес весла. Уж где-где, а здесь-то он не подкачает: восьмилетнему, ему доверяли лодку, и не на какой-нибудь подмосковной речушке, а на Оби.

Плыли посередине реки. Деревня оставалась все дальше и дальше. С запада, где еще час назад небо было совершенно чистым, теперь надвигалась туча. С каждой минутой она темнела и разрасталась. Серые волны сильнее и сильнее ударяли в правый борт. А Алексей все нажимал на весла.

— Леша, бежим от тучи! — шутила Лариса и время от времени поворачивалась назад, тревожно посматривая то на небо, откуда вот-вот должен хлынуть дождь, то на деревню, которая теперь была уже далеко.

Алексей мысленно взмолился, чтобы дождь пошел скорее, и не маленький, а ливень. Зачем — он не раздумывал. На его лбу и на висках выступили мелкие капельки пота. Сливаясь в крупные капли, они струйками стекали по щекам, попадали в глаза.

Темп гребли нарастал. Опуская в воду руку, Лариса восторженно взвизгивала, наблюдая, как за ее ладонью кипел белый бурун. На некоторое время Алексей впал в полубезытье, какое обычно наступает при длительных однообразных и ритмичных движениях. Он видел только лицо Ларисы и ее маленькие загорелые руки, которыми она судорожно вцепилась в борта лодки. Каждый рывок весла точно эхом отдавался на ее лице. Глядя на равномерную игру мускулов Алексея и на летающие весла, она мысленно как бы вливала в них свою силу и в такт каждого его движения втягивала голову в плечи. С закушенной нижней губой она казалась такой напряженной и сосредоточенной, что можно было подумать: она, а не Алексей сидит за веслами. В своей беленькой кофточке, с розой на груди Лариса выглядела как маленькая девочка, которая хочет, но не может скрыть своей радости оттого, что ее вместе со взрослыми взяли покататься на лодке. И, несмотря на надвигающиеся тучи и сильные волны, она ничего не боится.

— Как хорошо, Леша!..

Перебирая руками по краям бортов, она осторожно подобралась к Алексею и, выждав момент, когда он, занося весла, наклонился вперед, вытерла с его лица пот маленьким платочком.

Деревня уже давно скрылась за холмами. На берегу не осталось ни одной души, все, кто загорал или купался, испугались дождя и убежали с реки. Лариса решила, что они очень далеко заехали, и уже подумывала предложить повернуть обратно. Извилистые зеленые берега с грустными левитановскими березками и кустарником, однообразный, тяжелый и все нарастающий плеск волн в правый борт, сгущающаяся преддождевая хмарь вселили в нее тревогу.

Внезапный мощный раскат грома, гулко пронесшийся по воде, заставил Ларису вздрогнуть. Первые капли дождя были крупные и редкие. По детской привычке Лариса вытянула руку кверху ладонью и пыталась поймать дождевики, но, как назло, тяжелые капли падали ей на лицо, ныряли в светлые прядки волос и никак не хотели падать на ладонь. Второй грозовой разряд, прочертивший небо огненной ломаной линией, был еще сильнее. Гром на этот раз зарокотал где-то вдалеке, за холмом, со стороны деревни, потом мягко перекатился через лесок и, достигнув лодки, оглушительно раскололся. Закрыв голову руками, Лариса сжалась в комок и плюхнулась на дно лодки.

Житель западносибирской равнины, Алексей видел большие грозы и знал, что оставаться на воде в грозу опасно — притягивает.

— Леша, гребь скорей к берегу, — взмолилась Лариса.

Алексей круто повернул лодку.

Когда сошли на берег, на Ларисе уже не было сухой нитки. За какую-то минуту дождь хлынул как из ведра. Грустно посматривая на свою потемневшую юбку, Лариса обиженно спросила:

— Что нам теперь делать?



Спрашивая, она смотрела на Алексея глазами, в которых светилась и мольба, и наивная вера в то, что он наверняка что-то придумает.

А дождь все усиливался. Небо заволокло сплошной завесой туч и ливня. Лариса все сильнее прижималась к Алексею. От холода она начала дрожать.

Алексей вытащил лодку на берег и опрокинул ее так, что, касаясь одним бортом земли, а другим упираясь в толстый березовый пенек, она могла служить надежным убежищем от дождя. Он даже пожалел, что не додумался до этого раньше. Первым под лодку залез Алексей, вслед за ним юркнула и Лариса.

Крупные капли дождя били по просмоленному днищу, и от этого под лодкой стоял монотонный, набатный гул. Трава была мокрая, но теплая. Разместившись поудобней, Алексей положил голову на скрещенные на коленях руки и стал прислушиваться к шуму дождя. Через минуту на правом плече он почувствовал руку Ларисы. Рука была теплая.

— Ты не уснул? — спросила она шепотом, точно боясь нарушить эту странную и печальную музыку над головой. Не дождавшись ответа, она еще ближе придвинулась к Алексею: — Ты сейчасходишь на врубелевского демона со скрещенными руками.

Он ничего не ответил.

Монотонный гул дождя все нарастал.

Пытаясь понять, что ее сблизило с Алексеем, Лариса начала вспоминать дни их первого знакомства и дошла до той зимы, когда с ней случилось несчастье. Это было накануне экзаменационной сессии в декабре, на втором курсе. Она так увлеклась гимнастикой, что все вечера проводила в спортзале. В один из таких вечеров она попыталась выполнить сложное упражнение на брусках. Излишне перегнувшись корпусом, Лариса сделала неудачное движение и, потеряв равновесие, упала. Встать не смогла. В пункт медицинской помощи еенесли без сознания. Врачи определили сотрясение мозга.

Три месяца Лариса пролежала в больнице, потом еще два месяца была на строгом постельном режиме дома. Вместе с другими студентами навещал Ларису и Алексей. Глядя на ее осунувшееся и бледное лицо, с которого смотрели большие печальные глаза, он не находил, о чем с ней говорить. Ему было неловко рядом с этой хрупкой девочкой ощущать свое могучее здоровье. Бессильный чем-либо помочь, он в таких случаях молчал.

«Леша, расскажи что-нибудь о факультете», — попросила она однажды.

Алексей нахмурился, не припоминая ничего интересного, потом вдруг вспомнил, что у декана инфаркт миокарда и что его положение, говорят, безнадежное.

«Эх, Леша, Леша, — вздохнула Лариса, — ты все такой же угловатый сибиряк. Неужели ты не знаешь, что о таких вещах больным не говорят? Ступай лучше на улицу и принеси мне снежок. Только смотри, чтоб никто не видел, особенно сестры».

Алексей был готов принести не снежок, а целый айсберг с Северного полюса.

В белом халате он казался еще выше и шире в плечах.

Вернувшись с улицы, он положил крепко скатанный комок снега на тарелку, и Лариса принялась нежно гладить его. Ощущение прохлады напомнило ей зимние морозы, улицу, каток, быструю езду — все то, что зовется жизнью и о чем она истосковалась в четырех стенах больничной палаты.

«Какой порядок в комнате? Наверное, без меня у вас полный хаос?» — спросила она, наблюдая, как постепенно тает снег под ее пальцами.

«Все так же, как было при тебе, только вымпел и приемник у нас на прошлой неделе отобрали».

«Эх вы, поросята, достукались, — слабо покачала головой Лариса. — Обождите, вот выздоровлю — я вам покажу. Наверное, опять стали курить в комнате?»

«Иногда, — кашлянув, ответил Алексей, — но это в основном ночью. Днем все выходим в коридор».

Лариса рассмеялась. «На сон, значит, окуриваете друг друга? Это вместо проветривания? Остроумно, очень остроумно».

Когда Ларисе разрешили ходить, за ней приехала мать. Выслушав строгий наказ врача, она увезла дочь домой.

Так прошла зимняя экзаменационная сессия, прошли зимние каникулы. Художественная самодеятельность факультета уже готовила концерт к 8 Марта, а Лариса все еще не появлялась.

Домой к ней ходили девушки, и от них Алексей узнавал о ее здоровье — сам, без приглашения, пойти не осмеливался. А когда врачи разрешили Ларисе посещать университет, стоял уже май. Было ясно, что догнать своих сокурсников невозможно: она пропустила шесть месяцев.

Декан Сахаров к этому времени тоже поправился и, внимательно выслушав Ларису, посоветовал ей летом хорошенько отдохнуть и с сентября снова пойти на второй курс.

Грустно было отставать от своих друзей, к которым она успела привыкнуть, но иного выхода не было: перенапрягаться и сдавать летом экзамены за весь второй курс врачи ей строго запретили. Чувствовала она себя еще слабой. Резкая смена больничного режима на напряженный студенческий распорядок быстро утомляла. Всплакнув, она в конце концов смирилась с мыслью, что осенью снова придется идти на второй курс.

Все лето Лариса провела вместе с матерью на побережье Черного моря и в Москву вернулась только к концу августа. А первого сентября она пришла на факультет самая загорелая, по-прежнему веселая и неутомимая. О своей болезни она уже забыла и, когда кто-нибудь из товарищей спрашивал о ее здоровье, только улыбалась и благодарила за внимание.

Заведующий учебной частью факультета зачислил ее в группу, где учился Алексей Северцев. Шефство над комнатой мальчиков Лариса по-прежнему не бросала. А ее первое появление в общежитии подшефной комнатой было встречено бурно. Целый вечер она рассказывала о юге, о море, о шлюпочных гонках...

После ухода Ларисы Автандил Ломджая и Алексей Северцев не ложились до двух часов ночи и готовили сюрприз — выпускали стенгазету-молнию, которую назвали «Даешь вымпел и приемник!». Передовая была посвящена Ларисе. Кончалась она витиеватым лозунгом: «Да здравствует и сто лет благоденствует наша Лариса!» Раза два она ходила с Алексеем в кино. Все больше и больше ее тянуло к нему. Примеряя новое платье или шляпку, Лариса невольно думала, понравится ли эта обновка Алексею, заметит ли он. И все было бы хорошо, если бы не тот вечер, когда он наступил ей на ногу. Нет, даже не тот вечер, а другой, когда она принесла ему эти злополучные лекции княгини Волконской... Если б она знала, что они будут причиной их ссоры, разве она принесла бы их? Потом эта скандальная история с номерком... Как она позже ругала себя за то, что закатила по пустяку такую истерику! Ей почему-то хотелось причинить ему боль, мстить, но этого у нее не получалось. А оттого, что не получалось, она злилась еще больше. Ей часто казалось, что Алексей не любит ее, а просто смеется и упражняется, как над подопытным кроликом. Даже букет цветов, который передала лифтерша, и тот ей показался демонстрацией, насмешкой... Разве так дарят? Даже не сказал своего имени. А сколько тайных слез было пролито над стихами, которые он прислал ей

по почте! Она их знает наизусть. Они и сейчас лежат в особом конвертике...

Как хорошо, что они вчера случайно встретились на улице Горького! Конечно, он думал, что она плакала из-за выговора. Как он ошибается! Она плакала оттого, что при голосовании за это предложение первым руку поднял он. Будапешт был так, отговоркой. «Как хорошо, что в жизни бывают хорошие случайности. А что, если бы мы не встретились вчера?» Откуда ей знать, что случайной эта встреча была только для нее, что Алексей в тот вечер три часа держал под наблюдением подъезд ее дома.

И вдруг все перевернулось: деревня, дед, лодка, дождь... И он рядом.

«А что, если это сон?» — испугалась Лариса и ущипнула себя за руку. Но это был не сон. Это была словно упавшая на нее глыба счастья, которую она еле держала на своих плечах...

А дождь все хлестал и хлестал о днище лодки.

Потеряв счет времени, Алексей сидел на мокрой, нагретой ими траве, обняв Ларису, как маленького ребенка. Он даже не заметил, когда обнял ее. И она, убаюканная протяжной и монотонной музыкой дождя, закрыла глаза и боялась шелохнуться. Ей хорошо было в горячих и сильных руках Алексея. Прильнув щекой к его груди, она слышала, как равномерно и чеканно билось его сердце. Она притворилась спящей. Столько лет ждала она этой счастливой минуты! Когда же Лариса своими губами почувствовала его горячие губы, у нее закружилась голова. Ей показалось, что она куда-то плывет и растворяется во что-то невесомое, воздушное и бесформенное... Первый поцелуй! С человеком, о котором не раз плакала бессонными ночами, искала для него самые нежные, самые ласковые слова, а при встрече не замечала его, злилась и гнала прочь.

Дождь постепенно кончился, но Алексей боялся потревожить Ларису. Он знал, что она не спит, но не показывал этого. И Лариса понимала этот его наивный обман. Им было хорошо обоим.

Она открыла глаза, и ее мокрые, пахнущие травой и дождем руки замкнулись на шее Алексея.

— Ты больше не будешь меня обижать? — спросила она шепотом.

— Никогда, — также шепотом, точно их кто-нибудь мог подслушать, ответил Алексей. Взяв в ладони ее голову, он принялся целовать ее глаза, рот, щеки, виски...

Лариса снова закрыла глаза и снова почувствовала, что куда-то медленно проваливается, плывет, плывет и растворяется.

— Милый, — проговорила она, и ей стало душно.

— Что ты вчера загадала, когда падала звезда? — спросил Алексей.

— О тебе. Любишь ли ты меня...

— Ну и что?

— Наверное, любишь.

— А ты?

— Леша, зачем ты спрашиваешь?

— Теперь ты не будешь убегать от меня?

— Никогда! До тех пор, пока ты сам меня не прогонишь.

— Поедешь со мной в Сибирь?

— Хоть на край света...

Когда возвращались назад, Лариса вся светилась новым, пронизывающим ее насквозь сиянием большого счастья.

— Леша, посмотри, разве это не символ? Мы въезжаем в небесные ворота.

Алексей обернулся. Через все небо, упираясь краями в горизонт, перекинулась двойная радуга. Промытая сверкающая зелень берегов искрилась под солнцем еще не высохшими каплями дождя.

Переполненный счастьем, Алексей налегал на весла. Он готов был грести до океана.

18

В понедельник утром Николай снова позвонил Луговым. Наташа еще не выздоровела и к телефону не подошла. На этот раз он назвал Елене Прохоровне свою фамилию, сообщил номер телефона и попросил, чтобы Наташа позвонила ему.

Но в понедельник Наташа не позвонила. Не позвонила она и во вторник, и в среду, и в четверг...

Николай уже решил, что встречи с ним Наташа не хочет и что записка Лены — очередной шаг экзальтированной особы, которая и раньше, в школьные годы, всех или мирила или ссорила. Однако такое заключение было развеяно новым письмом от Лены. Она писала:

*«Здравствуй, Коля! Очень жаль, что уезжаю из Москвы, а с тобой не удалось повидаться. Мужа из отпуска отозвали, и я, как верная жена, следую за ним по пословице: «Куда иголка — туда и нитка». С Москвой расставаться было немножечко грустно.*

*Но все это между прочим. Главное в том, что ты — порядочный свин. Пять дней назад получил мою записку, где я тебя слезно молила зайти к Наташе, но ты не нашел времени это сделать. Свою просьбу настойчиво повторяю и заклинаю школьной дружбой: немедленно навести ее. Она больна. И если в тебе осталась хоть капля от прежнего Николая — бросай все и лети к ней со всех ног. Твой приход заменит все лекарства. Но боже упаси, если твое появление еще больше ее расстроит. Думаю, что ты меня понимаешь — ведь ты всегда был умным. Если будешь в Ленинграде — заходи. Адреса не даю нарочно. Узнаешь у Наташи. С приветом — Лена».*

Как старого школьного друга Николая просили навестить больную. Можно ли отказать? Но странно: почему с этим письмом на него навалилось доселе неиспытанное, тяжелое чувство? И совсем не оттого, что Наташа больна... Нет. То, что она больна, — это, конечно, плохо, гораздо хуже, что она ждет его прихода. Он даже пугался этого. Как алкоголик, несколько лет назад победивший свой порок, боится выпить рюмку водки, которая может стать для него губительной, так и он, сумевший когда-то раз и навсегда взять себя в руки, теперь боялся, что встреча с Наташей снова вернет его к старому. Может быть, он боялся потому, что в эту встречу ему предстояло сказать о тех переменах в его жизни, которые, конечно, были важны для Наташи и о которых она не знала? А сказать о них нужно было во что бы то ни стало. Сказать всю правду, как бы ни была она тяжела.

Прогнав тревогу и сомнения, Николай решил навестить Наташу.

В субботу вечером он без телефонных предупреждений пришел к Луговым. Елены Прохоровны дома не было. Илья Филиппович, который кое-что знал о сердечных делах Наташи, знакомясь с Николаем, незаметно смерил его взглядом с ног до

головы. Догадываясь, что это тот самый человек, о котором Наташа горевала на Урале, он, одобрительно крикнув в ладонь, сказал, что ему нужно съездить в Центральный универмаг за подарками для Марфы Лукиничны. На груди его горел новенький орден Ленина.

Когда Наташа, еще окончательно не придя в себя от неожиданного появления Николая, вышла в коридор проводить Илью Филипповича, тот у самых дверей многозначительно шепнул ей на ухо:

— Вот это да! — И, закрыв глаза, покачал головой. — Молодец! Сокол! Наталья Сергеевна, голубушка, с огнем ищи, а лучше не найдете.

Два часа пролетели, как одна минута. Говорили об Урале, о старых друзьях, о работе, об Илье Филипповиче, о Ленчике. Но в течение всего разговора оба чувствовали какую-то недосказанность. А какую — каждый не мог и боялся понять. «Это всегда так бывает, — подумала Наташа, — после долгой разлуки друзья говорят о пустяках».

Пришла Елена Прохоровна.

Ее приход в первую минуту несколько смутил Николая, но выручила Наташа. Она обратилась к матери так, как будто между ними никогда не было никаких размолвок.

— Мама, как ты находишь — Коля изменился?

Николай подошел к Елене Прохоровне, пожал протянутую руку и по ее взгляду, в котором можно было прочесть и скрытую радость, и чувство собственной вины, понял, что это уже не та чопорная и горделивая женщина, которая хотела оградить от него свою дочь.

— Очень, очень изменился. Еще больше возмужал, а главное... — Елена Прохоровна замялась, подбирая подходящие слова.

— Главное, что делает головокружительную карьеру! — пошутила Наташа. — Ты это хотела сказать?

Всякий раз, когда Николая хвалили, он чувствовал себя неловко. Эту неловкость он испытал и сейчас, когда Наташа принялась рассказывать матери о его успехах.

Елена Прохоровна засуетилась, поставила на стол графин с вином, вазу с конфетами, достала из буфета праздничный дорогой сервиз и зачем-то две одинаковые нераспечатанные банки с вишневым вареньем.

Беседа за чаем была скованной. Елена Прохоровна избегала встречаться с гостем взглядом. Он это понимал и, насколько мог, разговором старался смягчить ощутимое напряжение. Меньше всего Николай говорил о себе.

После чая Наташа и Николай пошли гулять.

Дорогой, когда они проходили Столешников переулок, Николай вначале хотел хоть косвенно намекнуть о том, о чем не имел права молчать, но, вспомнив письмо Лены, решил пока не говорить.

Как всегда по вечерам в субботу, улицы были полны народом. У памятника Пушкину Николай и Наташа свернули к скверу и подошли к фонтану, напоминавшему гигантский костер, в котором языки огненных струи через каждые две-три секунды меняли цвета и оттенки.

С минуту они стояли молча, не сводя глаз с фонтана.

— Вот так бы всю жизнь! Не хочется даже уходить, — тихо проговорила Наташа.

Николай промолчал.

— Коля, тебе это не нравится?

— Наташа, у меня сегодня тяжелый день. Уже рябит в глазах.

— Тогда пойдем.

— А куда мы пойдем?

— Пойдем к тебе.

Николай замялся.

— Ты даже не сказал, где теперь живешь. Неужели ты не хочешь пригласить меня в гости?

— Вон мой дом. Видишь? — Николай показал в сторону нового десятиэтажного дома. — Всегда рад твоему приходу.

— Тогда пошли.

Напрасно Николай ссылаясь на то, что в квартире полный беспорядок и что ему будет стыдно, если Наташа все это увидит. Она настояла на своем и, взяв его под руку, почти потащила по направлению к облицованному розовой керамикой дому, который виднелся за несколько кварталов.

Массивные дубовые двери с медными резными скобками, бесформенные гранитные глыбы первого этажа, громадная люстра, заливающая своим светом весь вестибюль, гранитная мозаика пола — все говорило о том, что дом построен на века.

Рассматривая высокий потолок вестибюля, Наташа не заметила, как двери, у которых они стояли, раскрылись. Они вошли в просторную кабину лифта. Молоденькая лифтерша, не спрашивая, нажала кнопку против цифры 10 и уткнулась в книжку. Быстрый подъем Наташе был непривычен. Особенно неприятной ей показалась остановка. Почувствовав, как сердце опускается куда-то вниз, она прижала руку к груди:

— Ой! Я даже захлебнулась.

— Отвыкла, — улыбаясь, сказал Николай и вслед за Наташей вышел из лифта на залитую дневным светом лестничную площадку.

— Как у вас здорово!

Николай вставил ключ в замочную скважину, но Наташа остановила его:

— Обожди. У меня что-то кружится голова. Бессовестная, я даже не спросила, как здоровье твоей мамы. И потом... Я не знаю, как она отнесется к моему приходу. Ведь тогда я была так не права.

— Ее нет дома, — ответил Николай, не в силах оторвать глаз от лица Наташи. В эту минуту столько счастья было на ее лице. И он это видел.

— А где она?

— Я отправил ее в деревню.

Квартира была отдельная, из двух небольших комнат. Вся обстановка в ней состояла из круглого стола, покрытого белой скатертью, книжного шкафа рижской фабрики, кровати, тахты и трех стульев. В комнатах еще пахло краской и олифой.

С этой еще не обжитой обстановкой Наташа освоилась быстро, а через несколько минут она уже, точно хозяйка, ходила из одной комнаты в другую, забежала на кухню, рассматривала шкафы в стене, открывала мусоропровод, выскакивала на

балкон. Ей все здесь нравилось. А от ванной она пришла в восторг.

— Коля, иди сюда! Иди скорей!

— Я переодеваюсь, обожди, — донесся из спальни голос Николая.

Звонкий смех Наташи разносился по квартире.

— Что ты смеешься?

— Иди скорей, скорей. Я что-то вспомнила.

Когда Николай вошел в ванную, Наташа, глядя в зеркало, вытирала кулаком выступившие от смеха слезинки.

— Моя бабушка была очень суеверная. Когда я с мамой приезжала к ней в деревню, она боялась, чтоб меня не сглазили, и всегда спрыскивала с уголька. Тогда я была маленькая, и мне это ужасно нравилось. Сейчас мне так хочется, чтоб ты тоже спрыснул меня с уголька.

— Зачем?

— Я самая счастливая! Я снова тебя нашла и теперь боюсь потерять.

Николай тоскливо посмотрел на Наташу, и ему стало не по себе. В сердце что-то незнакомо заныло: «Как ей сказать?.. Ведь Лена просила не расстраивать ее. Да и потом — разве это мне хочется ей сказать?»

— Меня потерять нельзя, Наташа, — сказал он с горечью. — Я не иголка. А вот тебя твоему мужу придется закрывать на ключ, чтобы ты снова не убежала на Урал. А чтобы не спустилась на простынях, придется закрывать и окна.

Наташа стыдливо покраснела:

— А ты разве знаешь?

— О чем?

— О цыганке.

— О какой цыганке?

Наташа снова разразилась смехом и незаметно для себя стала крутить кольцо, перекрывающее холодную воду душевого зонта, который она нечаянно сдвинула с его обычного места. Холодный дождевой веер хлынул во всю силу. От неожиданности они оба присели, как приседают в степи путники, когда над ними внезапно разразится гроза.

— Ну, вот теперь нас никто не сглазит, — мокрая с ног до головы, сквозь смех проговорила Наташа.

— Что ты наделала? Где я достану тебе сухое платье? Как ты пойдешь домой?

— А ты меня гонишь? Я еще не собираюсь уходить. Ступай принеси мне свои спортивные брюки и какую-нибудь рубашку.

Наташа была счастлива. Ей, как ребенку, хотелось дурачиться. Чувство, которое, как ей казалось, Николай сдерживал где-то в глубине, у нее вырывалось наружу. Вся мокрая, повернувшись к зеркалу, она тихо запела:

*Можно ль наше прошлое*

*Замести порошею?..*

*Что с тобою, девочка,*

*Нежная, хорошая?*

*Расскажи, мне милая,*

*Плачь, но не таи,*

*В мои руки сильные*

*Положи свои.*

*Я тебя согрею*

*Голубиной лаской.*

*Расскажу хорошую,*

*Неземную сказку...*

*Что с тобою, девочка.*

*Нежная, хорошая?*

*Можно ль наше прошлое*

*Замести порошею?..*

Увидев в зеркале вошедшего Николая, Наташа оборвала песню и, зло прищурился глаза, спросила:

— А за клевету по вашим уголовным кодексам что дают?

— Ты опять о своем Ленчике?

— Да, о нем.

Николай посмотрел на часы:

— Через двадцать минут он будет арестован, а дней через десять его будут судить.

— Судить?

— Да, но только не за клевету, а за убийство.

— Убийство? — со страхом, почти шепотом спросила Наташа.

— Да. После кутежа в «Астории» он и трое его друзей угнали чужую машину и задавили человека. За рулем сидел Ленчик.

19

Ленчик стоял перед раскрытыми окнами своей комнаты и не сводил глаз с нового многоэтажного дома, который еще не был полностью заселен.

Виктория Леопольдовна, усевшись в кресле, рассматривала журнал мод.

— Сплошная безвкусица! Никакой фантазии! То, что в Париже уже сдали в архив, у нас выдают за крик моды! Ох, эти Ньюшки!

Виктор не слушал мать. Он думал о своем, но сказал, как бы отвечая на ее слова:

— Да! С тех пор как перед нашими окнами вымахало это здание, мне кажется, что мы живем в колодце.

— Полно тебе, Витенька. Как-никак мы занимаем больше семидесяти квадратных метров. Лифт, ванна, телефон, холодильник. Чего тебе не хватает?



— Дикари тоже радовались, когда научились в своих пещерах разводить костры. Но дикарям это простительно: они не знали, что жилища можно делать из дерева и обогревать их специальными печами. А я — человек, и радость дикарей меня не утешает.

— Об этом ты говори с отцом.

— Что с ним говорить? Разве он сам не понимает, что мы очутились на задворках у этого дома? Может ли тут родиться светлая мысль, когда взгляд закован в бетон? Вот уже два года, как я не написал ни одной светлой поэтической строки.

— А удобно ли отцу настаивать на квартире в новом доме, когда у нас довольно терпимые условия?

— Чепуха! Неудобно будет, когда с балконов десятого этажа на голову нам начнут бросать окурки.

— Я сама задыхаюсь в этом колодце, но что поделаешь, если у тебя отец такой бессердечный человек. Что ему семья, когда для него существует одна работа. — Неожиданно осененная какой-то мыслью, Виктория Леопольдовна подошла к окну: — Это ужасно! Это ужасно! Теперь-то я наконец поняла, почему у меня последнее время такое подавленное состояние. От нас загородили солнце! Да-да, загородили. Ты прав, мы очутились в колодце! Все понятно. Все понятно...

Когда Виктория Леопольдовна вышла из комнаты, Виктор поднес к глазам бинокль и направил его в сторону нового дома. Пока он бродил любопытным взглядом по балконам и заглядывал в окна квартир, Виктория Леопольдовна разговаривала с супругом по телефону.

— Вечные совещания! Я жду тебя, немедленно приезжай. Совершенно неотложный разговор. Наконец-то у меня открылись глаза на такие ужасные вещи, мимо которых я спокойно проходила два года.

На одном из балконов десятого этажа Ленчик задержал бинокль. Профиль и прическа девушки показались ему очень знакомыми. Он ждал, когда девушка повернется, чтобы лучше рассмотреть ее. Неужели она? А кто же тогда он? Словно мучая Ленчика, девушка долго не меняла положения. Наконец она повернулась. Это была не Наташа. Но то волнение, с которым он ждал ответа на свои предположения, не улеглось. Недоброе предчувствие, которое Ленчик испытывал все эти дни, не давало ему покоя. Тяжелый военный бинокль упал из его рук на зеркало, лежавшее на столе.

— Ведь все равно она обо всем узнает, — простонал он, склоняясь головой на треснувшее зеркало.

На стук прибежала Виктория Леопольдовна:

— О боже, что с тобой! Продолжается цепь несчастий. Разбито зеркало. Это не к добру...

Ленчик медленно, пошатываясь, встал и, не глядя на мать, процедил сквозь зубы:

— Если мы не переедем в новый дом, я сниму себе угол в сыром подвале и буду чахнуть. Только тогда вы оба с отцом, может быть, поймете кое-что. Но будет поздно!

— Виктор, что с тобой? Что ты хочешь?

— Двести рублей и машину на всю ночь.

— Витенька...

— Мне нужно рассеяться. Неси быстрее деньги и звони отцу, чтоб немедленно высылал машину.

— Я сейчас все сделаю, только ты успокойся.

Когда мать вышла, Ленчик тут же рывком дернул шнур гардин и, занавесив окно, опустил в кресло. Через минуту Виктория Леопольдовна тихо положила перед сыном деньги и собралась уходить. Но не успела она сделать и двух шагов, как Виктор остановил ее и попросил том энциклопедии со словом «галлюцинация».

— Только быстрее! Может быть, это просто игра воображения.

Через минуту в дверях послышались шаги. Ленчик открыл глаза и увидел перед собой не мать, а неизвестного человека средних лет.

— Вы будете гражданин Ленчик Виктор Андреевич? — спросил вошедший.

— Я...

— Вы арестованы. Прошу следовать за мной. — Неизвестный предъявил постановление на арест.

— Зачем? За что? — со страхом попятился Ленчик.

— Разберемся в отделении.

На улице Ленчика ждала машина, но только не отцовская, а милицейская.

20

Стоя на балконе, Николай Захаров заметил, как внизу, через дворик, усаженный молодыми липами, шел мужчина и, задрвав голову, смотрел на верхние этажи. Вот он остановился взглядом, кажется, на Захарове. «Чего он смотрит? Неужели думает, что я какой-нибудь ловкач, который въехал в новый дом с черного хода».

Повернувшись, Николай увидел на соседнем балконе пожилого, лет пятидесяти, человека. Одет он был в новую штапельную пижаму с красно-желтыми полосами. Положив свои крупные, узловатые кисти рук на перила, он смотрел вниз. «Чему он улыбается? Наверное, как и я первое время, чувствует себя не в своей тарелке от такой роскошной квартиры. А может быть, он переселился сюда из какого-нибудь тишинского полуподвала? Хороший сосед. А руки! Руки!.. Разве это не биография его?»

И действительно. Несмотря на то, что сосед в штапельной пижаме только что принял душ или ванну — это можно было заключить по его покрасневшему лицу, шее и еще не просохшим волосам, — на больших кистях его рук остались несмываемые никаким мылом следы масла и металла.

Захарову было приятно, что рядом, за стенкой, живет не какой-нибудь интеллигент с нервным и бледным лицом, а простой рабочий, один вид которого располагал к себе.

Ощущение физической силы, соседство с рабочим, у которого такое открытое русское лицо, высота, с которой он смотрит на город, приход Наташи — все это вместе сливалось в одно большое, невыразимое чувство, от которого Николаю хотелось что-то делать, с кем-то спорить, что-то утверждать. Он даже не заметил, как на балконе появилась Наташа.

— Ты о чем думаешь? — спросила она, видя, как твердо сжаты у Николая губы.

— О чем я думал? Ты хочешь знать?

— О чем, Коля?

— Сказал бы, да слов подходящих не подберу.

— А ты займи у других, — пошутила она.

— У других? Можно! — Николай прошел в комнату, взял с этажерки томик Горького и позвал Наташу.

— Если б актер, играющий горьковского Протасова, перед тем, как во втором действии выйти на сцену, мог хоть в десятой доле почувствовать то, что чувствую сейчас я, своей игрой он потряс бы зал...

Наташа подняла удивленные глаза.

— Ты что, не помнишь Протасова, этого влюбленного в жизнь человека?

— Я решительно ничего не понимаю. При чем тут Протасов?

— Может быть, тебе и трудно понять это чувство. А вот ему, рабочему, что стоит на соседнем балконе, оно будет понятно без труда. Оно им выстрадано, оно его ведет...

Строго посмотрев на Наташу, Николай раскрыл книгу и, с минуту подумав, точно что-то вспоминая, начал читать:

*— «Я вижу, как растет и развивается жизнь, как она, уступая упорным исканиям мысли моей, раскрывает предо мною свои глубокие, свои чудесные тайны. Я вижу себя владыкой многого; я знаю, человек будет владыкой всего! Все, что растет, становится сложнее; люди всё повышают свои требования к жизни и к самим себе... Когда-то под лучом солнца вспыхнул к жизни ничтожный и бесформенный кусок белка, размножился, сложился в орла и льва и человека; наступит время, из нас, людей, из всех людей, возникнет к жизни величественный, стройный организм — человечество!.. Тогда у всех клеток его будет прошлое, полное великих завоеваний мысли, — наша работа! Настоящее — свободный, дружный труд для наслаждения трудом, и будущее — я его чувствую, я его вижу — оно прекрасно. Человечество растет и зреет. Вот жизнь, вот смысл ее!..*

*Мы — дети солнца! Это оно горит в нашей крови, это оно рождает гордые, огненные мысли, освещая мрак наших недоумений, оно — океан энергии, красоты и опьяняющей душу радости!»*

Николай замолк. Глаза его были широко раскрыты и блестели.

Съежившись, Наташа затаила дыхание. Она боялась произнести слово.

Николай снова заговорил:

— Это более чем талантливо! Только за одно то, что Горький, как факел, поднял душу нового человека-творца, который осознал и видит, что он, а не кто-нибудь другой, хозяин жизни, за одно это Горький уже велик! Что ты так смотришь? Ты хочешь сказать, что Протасов — дворянин, сын генерала, а мы-де, мол, живем в другую эпоху? Все это так! Но пойми ты и то, что люди плачут и радуются, умирают и рождаются сегодня так же, как они радовались и плакали, умирали и рождались тысячу лет назад. Пойми, что я говорю о чувстве, о большом чувстве хозяина жизни. Это чувство знакомо мне и тому рабочему, который живет за этой стеной. Если ты будешь возражать...

Но Наташа не возражала. Она все поняла. А поняв, почувствовала себя точно раздавленной той силой, которая исходила от Николая.

Спустя несколько минут ей вдруг стало легко и радостно. Она приблизилась к Николаю, но, словно напугавшись чего-то, вдруг отшатнулась и вышла на балкон.

Солнце уже село. В окнах домов и на столбах зажигались огни. Москва дневная уступала место Москве вечерней. Николай только теперь вспомнил, что, входя в

квартиру, забыл поинтересоваться почтой. Третий день он ждал писем. Сквозь дырки железного ящика пестрела цветная обложка «Огонька». «Литературную газету» он узнал по шрифту заголовка. Кроме газеты и журнала в ящике оказались еще письмо и открытка. Открытка была от матери. Она писала, что едет благополучно и подъезжает к Ростову, но волнуется, как он там хозяйничает без нее. Дальше шли обычные наказания.

Письмо было толстое и местное. Почерк на конверте был незнакомый.

— Может, я мешаю? — спросила Наташа, заметив на лице Николая строгую сосредоточенность, с какой обычно распечатывают письма с незнакомым почерком.

Николай ничего не ответил. И только прочитав первые строки, улыбнулся:

— Слушай, буду читать.

В широких спортивных брюках и в большой мужской сорочке, рукава которой закрывали кончики пальцев, Наташа походила на подростка. Забравшись коленками на стул, она положила голову на ладони. Не спуская глаз с Николая, она была полна тихой радости.

Николай начал:

*«Здравствуйте, уважаемый Николай Александрович!»*

*Письмо пишет вам ваш бывший подследственный Анатолий Максаков. Как видите, вместо восьми лет пробыл в лагере всего два с половиной года. Работал с зачетом. Давал по 200—300 процентов в смену. Вот уже полгода, как вернулся в Москву. За хорошую работу был помилован. Все два с половиной года лагерной жизни я переписывался с Катюшей. То письмо, которое я просил вас опустить в почтовый ящик, она получила с вашей маленькой записочкой. Ее она хранит и сейчас. Вы советовали ей писать мне хорошие письма и подсказали, как можно найти мой адрес. Большое вам за это спасибо.*

*Катюша нашла мой адрес и писала мне очень хорошие письма. Сейчас она работает техником на заводе, помогла и мне устроиться на этот же завод слесарем-сборщиком. Вот уже четыре месяца, как я работаю. Работа мне нравится. Катя мой начальник. Зарабатываю неплохо. Уже месяц, как меня перевели по шестому разряду. Все хорошо, но есть маленькая загвоздка. Родители Кати против нашей свадьбы. Мать ее даже заявила: или я, или он. Вот и подумай — что тут делать. Причину, конечно, вы знаете, я отбывал срок, а это, сами понимаете, мало кому понравится.*

*Я просил Катюшу поговорить с матерью по-хорошему, но она горячится, возгордилась и ушла к тетке.*

*Вот уже полмесяца, как она ушла из дому и ни разу туда не появлялась. Пожениться мы, конечно, поженимся, но со скандалом, а обижать родителей мне не хотелось бы.*

*Посоветуйте, Николай Александрович, как нам поступить и как нам уговорить стариков по-доброму.*

*Это во-первых. Во-вторых, приглашаю вас на свадьбу, которую мы с Катюшей наметили на середину августа.*

*Еще раз большое вам спасибо за ту маленькую записку, которую вы вложили в письмо Катюше.*

*Ваш адрес я узнал у того усатого старшины, с которым вы меня привезли в отделение.*

*С приветом к вам Анатолий Максаков.*

*Катя тоже хочет что-то написать вам».*

На другом листке было написано уже другим, круглым почерком:

*«Дорогой Николай Александрович!*

*Если бы вы знали, как мы часто вас вспоминаем! Толя спит и во сне видит, что бы такое сделать для вас хорошего. Хотя в прошлом он и имеет большие провинности, но вообще он очень хороший, к тому же большой фантазер. А однажды он мне даже сказал, что, если бы он очутился с вами в бою и вас ранило, он вас вытащил бы из любого огня.*

*А то, что он пишет вам насчет моих родителей, — все это мы утрясем сами. Толя преувеличивает. Свою мать я знаю лучше, чем он, пошумит-пошумит и смирится. А нам жизнь жить. Вчера она не вытерпела и пришла сама, велела идти домой и сказала, чтоб я «не дурила». А тете, у которой я сейчас живу, сказала, что раз пришлось друг другу по сердцу, что же с ними сделаешь, пусть женятся. Меня ругает, а сама готовит приданое. Так что не утруждайте себя, Николай Александрович, советом, о котором вас просит Толя.*

*Самое главное — приглашаем вас с вашей супругой на нашу свадьбу, о дне которой я вам сообщу.*

*Прошу вас, ответьте на наше письмо хоть маленькой открыточкой.*

*С приветом к вам и глубоким уважением Катя».*

Ниже стоял адрес.

Когда Николай кончил читать, Наташа встала со стула и вышла на балкон. Тронутый письмом, Николай думал: «Вот любовь. Эх, если б тогда...»  
Повернувшись, он увидел, что Наташи в комнате нет. Он прошел на кухню и, не найдя ее там, вышел на балкон. Она стояла, низко опустив голову.

— Что с тобой? — Николай слегка коснулся плеча Наташи. — Чем ты расстроена?

— О Кате я немного знала и раньше, — тихо проговорила она. — Как-то раз после нашей ссоры на Каменном мосту, когда я не вытерпела и принесла тебе домой книги, я случайно заглянула в твой дневник. Он лежал на столе. Пока Мария Сергеевна на кухне готовила обед, мне тайком удалось прочитать в нем несколько страниц. Там было и о Катюше. Я еще тогда поняла, что она прекрасный человек. Ну а сейчас ты видишь сам...



Наташа умолкла и опустила взгляд в темноту еще не освещенного двора.

— Что же сейчас? — спросил Николай, начиная понимать причину такой резкой перемены в ее настроении.

— Что сейчас? — Наташа подняла голову, и лицо ее вдруг стало строгое и даже гордое. — А сейчас, когда я сравнила себя с Катюшей, то поняла, что я не стою ее ногтя. — Сказала и резко отвернулась.

— Не нужно об этом, Наташа.

— Не нужно? Нет нужно! Она сильная! Она не побоялась любить бывшего вора! Мне стыдно. Больно за себя! Ведь я тоже тебя любила. Но я испугалась, послушалась матери... А Катя не стыдится. Она из-за него даже ушла от родителей. А вот я тогда не могла этого сделать. Ведь ты об этом подумал, когда читал письмо? Скажи, об этом?

— Наташа...

— Нет, ты скажи — можно любить такую?

— Какую?

— Таковую, как я? Таковую, которая ушла от тебя, когда моя любовь тебе была особенно нужна, и которая пришла к тебе теперь, когда ты...

— Таковую, как ты, любить можно, — сухо перебил ее Николай и отвел взгляд в сторону.

Наташа подняла на него глаза и положила руки ему на плечи. Так она делала всегда, когда ей становилось невмочь сдерживать чувства. Взгляды их встретились.

— Коля, ты меня любишь?

Николай молчал.

— Любишь все так же?

Молча Николай продолжал смотреть ей в глаза.

Это молчание и пристальный взгляд, в котором, как ей показалось, затаились и любовь, и тоска, отмели все печальные думы. Наташа вся точно преобразилась. В одну минуту к ней вернулась ее восторженная радость, которой она кипела перед тем, как Николай прочитал письмо.

— Коля, милый, если б ты знал, как я сейчас счастлива. Как я завидую поэтам! Так и хочется говорить стихами! Смотри, — Наташа порывисто повернула голову, — вон Кремль. Вон купол нашего университета. Даже Каменный мост виден отсюда. Помнишь последнюю встречу на нем?

— Я помню каждую нашу встречу. Даже школьные. Могу наизусть повторить все, что ты говорила восемь лет назад.

— Коля, потуши свет. Посмотрим на Москву из темноты.

Николай потушил. Теперь город выглядел еще красивей. Он полыхал заревами световых реклам, переливался волнами разноцветных огней и казался бесконечным. Плечом к плечу они стояли у каменных перил балкона и молчали.

А цепи огней, то плавно поднимаясь, то круто опускаясь, обозначая контур земного рельефа и высоту зданий, убегали к горизонту и, образуя в ночном небе своим мягким отсветом подобие голубого сияния, тонули вдали. Вся жизнь и дыхание многомиллионного города, как в магическом кристалле, отражались в огнях. Огни зеленые, огни красные, огни желтые, просто огни... Они мерцали, плыли, дразнили, манили...

— Коля, — заговорила Наташа первой, — у тебя бывали такие минуты, когда большего, лучшего ничего не хочется, когда даже страшно подумать, что в твоей жизни может хоть что-нибудь измениться?

— Бывали.

— Часто?

— Не очень.

— А сейчас?

— Не знаю...

— А у меня это сейчас. Пусть будет так вечно! Красиво, и ты рядом.

Наташа повернулась к Николаю и снова положила ему на плечи руки.

— Нагнись, я тебе что-то скажу, — прошептала она.

Николай слегка склонил голову. Наташа прикоснулась губами к его щеке и так же шепотом, стыдливо проговорила:

— Если у нас будет сын, он обязательно станет таким, как ты. Я так хочу.

Николай хотел ответить, но промолчал и только мягко отстранил ее руки.

Его минутное замешательство и растерянность не ускользнули от Наташи, но истолковала она их по-своему.

Желая доказать, как она любит Николая, Наташа подошла к телефону и позвонила матери. Сказала, что ночевать домой не придет.

Этот разговор Николай слышал. Он вошел в комнату и включил свет.

— Наташа, не нужно, ты должна пойти домой, — сказал он виновато и впервые заметил у нее под глазами мелкую сетку морщинок. Раньше их не было.

— Почему? — Глаза Наташи округлились, в них застыло неясное предчувствие большой беды, которая уже чем-то дала знать о своем приходе. В какой-то миг она прочла во взгляде Николая совсем незнакомый ей холодок и страх. Это было выражение глаз человека, который скорее может пожалеть, чем полюбить. — Я люблю тебя! Я хочу быть всегда с тобой. Все эти три года я была верна тебе...

— Уже поздно... — Голос Николая прозвучал отчужденно.

— Как поздно? Ты о чем говоришь?

— Об этом лучше после, а сейчас я провожу тебя...

— Нет, ты об этом скажешь сейчас. Ты не имеешь права молчать, — с дрожью в голосе проговорила Наташа.

Николай достал папиросу, долго мял ее пальцами. Закурил.

— Я женат! — сказал он внезапно. Сказал сухо, резко, точно, размахнувшись со всего плеча, расколол тяжелым колуном сухое осиное полено. — Ты знаешь, что я любил тебя. И знаешь, как любил! Как бы мы были счастливы, если бы захотела ты. Впрочем, что говорить об этом сейчас, когда уже все решено...

В комнате повисла гнетущая тишина.

— Зачем же ты тогда пришел? — Наташа, как слепая, оцупала спинку стула и, не сводя глаз с одной точки, бессильно опустила на него.

— Лена написала, что ты больна, а больных друзей навещают.

«Женат...» Губы Наташи дрогнули в кривой и горькой усмешке.

Николай понимал, что нужно рассказать все, чтобы раз и навсегда разрубить то, что для Наташи было узлом, связывающим их судьбы. Он знал, что это жестоко, особенно после такой трогательной встречи, но это было необходимо. Избегая ее взгляда, он начал:

— Наташа, пожалуй, это наша последняя встреча. Так будет лучше и для тебя, и для меня. Ты помнишь, с каким чувством я уехал в Ленинград. Высмеянный твоей матерью, униженный тобой... А ведь в это время я всего сильнее любил тебя. Уж так, видно, устроен человек. Чем больше страданий ему причиняет любовь, тем он сильнее любит.

Первые полгода в чужом городе для меня были особенно тяжелы. С мыслью о тебе я ложился и вставал. Думал о тебе днями, а когда засыпал — ты снилась мне во сне. Временами мне даже казалось, что я схожу с ума. Но в письмах ты по-прежнему ставила условия. Ты требовала, чтоб я бросил свою работу. Ты прости меня, что на первые пять писем я не ответил. Вернее, я отвечал на каждое из них. Но по утрам сжигал написанное. Ты это знаешь. На последнее я ответил. Если ты помнишь, где я его писал и что я вложил в это письмо, то ты можешь понять, чем ты была для меня. Я отправил письмо и ждал ответа. По ночам, как лунатик, ходил по заснеженному Ленинграду и думал... думал... Думал о том, какое счастье нас с тобой ждет, если ты поймешь наконец меня.

Наташа подняла глаза. В них стояли слезы.

— Ты о каком письме говоришь?

— О том единственном, которое я послал тебе в декабре из Ленинграда в Горноуральск. О том самом письме, на которое ты ответила мне телеграммой. Ты даже не нашла времени, чтобы написать письмо, письмо друга. Я никогда не думал, что ты можешь быть такой жестокой. — Николай, разминая, сломал папиросу. Никак не мог закурить. Его пальцы дрожали.

— О какой телеграмме ты говоришь?

— О какой? Разве у тебя такая плохая память? — Губы Николая дрожали. Тщетно он пытался улыбнуться. Улыбка получилась болезненная, жалкая. Он достал из кармана пиджака партбилет и из-под кожаной обложки вытащил вчетверо сложенную телеграмму, потертую на сгибах: — Прочитай.

Наташа читала про себя:

*«Твое письмо получила. Сожалею глупом упрямстве. Только сейчас до конца поняла, что много лет ошибалась. Наступило просветление. Выхожу замуж. Прошу меня оставить покое. Можешь считать себя свободным. За все прости. Наташа».*

В первую минуту она ничего не могла понять. Потом словно кто-то ржавой косой провел по сердцу. Вспомнила, что в это время у нее гостила мать. Никакого письма от Николая из Ленинграда она никогда не получала. И ему не посылала никаких телеграмм.

Наташа чувствовала, что вот-вот потеряет сознание.

Положив телеграмму на стол, она закрыла лицо руками и долго оставалась неподвижной. — Теперь вспомнила?

Наташа молчала.

— Что мне было делать после такого ответа? — Николай встал и поглядел на Наташу в упор: — Запить? Броситься с моста в Неву? Я решил жить. В эти дни у меня даже выработалась странная философия отвергнутого. Она чем-то близка проповеди терпения, но в те дни она была для меня единственным утешением. Я терпел. И вот тогда-то я встретил девушку. Встретил совсем случайно. В ночь под Новый год она замерзала в ликующем Ленинграде. У нее произошло несчастье: умерла в деревне мать — единственный родной человек. Мне стало жалко бедняжку, и я отвез ее в больницу. Теперь ты можешь представить, как я веселился на Новый год. Это было как раз после твоей телеграммы. На второй день я навесил девушку, узнал, что ее зовут Наталкой, что она с Украины и учится на втором курсе медицинского института. Несколько дней спустя я еще раз зашел в больницу. Когда шел из больницы, я думал о тебе. Ты, как живая, стояла передо мной. Наталку я жалел, как младшую сестренку, как сироту. Потом она выписалась из больницы, и мы не видели друг друга. Может быть, пути наши никогда бы и не сошлись, если б не случайная встреча на первомайской демонстрации.



В первые встречи я исповедовался перед ней, рассказывал, как мне тяжело, как я люблю тебя. Если б ты знала, как она страдала, как хотела помочь мне... И тебе одно время она даже хотела написать и рассказать, что не совсем уж я плохой человек. Потом я уехал на два месяца в Москву, она уехала на каникулы. Осенью мы вернулись в Ленинград. Она пришла ко мне. И тут я впервые почувствовал, как она мне нужна. Мне было с ней легко, и как-то светло становилось на сердце. Тебя я старался всеми силами забыть, но это не совсем удавалось. Мы ходили в кино, в театр, я научил ее кататься на коньках. А через год я и сам почувствовал, что какой-то стороной души прирастаю к ней.

Николай глубоко затянулся папиросой, подошел к окну и, стоя спиной к Наташе, продолжал тихо, точно разговаривал сам с собой:

— Она из простой крестьянской семьи. Любит меня. О том, как она может любить, знаем только мы двое. Ранней весной мы поженились, сейчас ждем ребенка. — Николай сделал небольшую паузу, точно подбирая такие слова, которые бы причинили Наташе меньше боли. — Мне тяжело обо всем говорить, но я не могу лгать: с Наталкой я счастлив. Но твой приход... Он тяжел для меня. Ты это должна понять.

— Что ж, я рада за тебя, — почти шепотом, пересохшими губами произнесла Наташа, и собственный голос ей показался чужим, идущим откуда-то издалека. Закрыв глаза ладонью, точно загораживаясь от яркого света, она спросила: — Коля, а ты мне никакой телеграммы не посылал? Тогда же, перед самым Новым годом?

— Телеграммы? — Николай отрицательно покачал головой: — Нет, телеграммы я тебе не посылал никогда. А что?

— Да... я так. Перед Новым годом мне кто-то прислал странную телеграмму из Ленинграда... А имени не подписал... Я думала, что это от тебя. — Наташа замаялась. Только теперь она поняла, что сделала это ее мать.

Тревожно посмотрев на часы, Наташа встала и медленно вышла из комнаты. Через несколько минут она появилась снова, переодетая в еще не просохшее платье. Ей хотелось сказать на прощание что-то особенное, большое, то, что могло сохраниться в его памяти навсегда. В эту минуту Николаю было тяжело смотреть на ее скорбное, убитое горем лицо.

— Коля, — ласково и печально проговорила Наташа, — ты ни в чем не виноват передо мной. Но знай, что я люблю тебя. Любила всегда, любила одного и вряд ли кого смогу... — Говорить дальше она не могла: мешали слезы. Но, сделав последние усилия, она продолжала: — Я хочу, чтоб ты был счастлив всегда. Только прошу тебя, не думай обо мне плохо...

Устало повернувшись, Наташа пошла к выходу, но в дверях задержалась: никак не могла открыть английский замок. Ее руки дрожали, пальцы судорожно жали металлический рычажок в противоположную сторону.

Николай подошел и открыл дверь. Он сделал это, слегка наклонившись. Прядь его волос коснулась щеки Наташи.

Дверь была открыта, но Наташа не уходила. Дрогнуло что-то и в Николае. Дрогнуло и замерло. Что-то в нем точно опустилось и запеклось больным и горячим сгустком. Он видел только две большие светлые слезы, скатившиеся по ее щекам.

Наташа с тихим стоном обвила его шею руками. Поцелуй был прощальным.

— Не провожай меня, Коля. Мне так легче.

Николай долго стоял один. Ему вдруг стало страшно, что Наташа заслонит собой его жену, его Наталку. Всеми силами он старался подавить в себе это чувство,

старался думать только о жене, о ребенке, который уже бьется под ее сердцем. «Нет, нет, милая, это минутная слабость, она сейчас пройдет. Я верен тебе, я люблю тебя. Ты у меня одна, одна-единственная. Только ты можешь так любить», — говорил он сам с собой.

Он подошел к письменному столу и взял в руки фотографию Наталки. Высунув язык, она по-ребячьи дразнила его. Два месяца назад за городом, на лесной поляне, они играли в салки. Быстрая и неуловимая, Наталка измучила Николая. Когда он сел на пенек, притворившись, что больше не собирается ловить ее, она боязливо подошла к нему шагов на пять и высунула язык: «Э-э, э-э, не догнать, не догнать!» Тут он ее и сфотографировал. Но даже и в этой смешной позе ее лицо было для него таким милым, таким родным, как будто они прожили много-много лет и жить друг без друга не смогут.

Длинные, необычного тона телефонные звонки испугали Николая. Он не сразу понял, что это сигнал для междугородных разговоров. К телефону подошел с внутренней дрожью.

«Товарищ Захаров, вас вызывает Полтава», — послышался из трубки полусонный голос телефонистки.

«Полтава!.. Наталка, милая, как ты вовремя». Николай начал дуть в трубку, словно от этого Наталка могла быстрее заговорить.

И Наталка заговорила. Она говорила, что ждет не дождется его в отпуск, наказывала, чтоб он привез побольше сахару на варенье, просила, чтоб перед отъездом не забыл хорошенько смазать коньки...

Выждав момент, Николай прокричал в трубку:

— А как он?

— Кто «он»? — нарочно переспросила Наталка, словно не понимая, что «он» — это тот, кому они уже давно придумали имя.

— Егорушка.

— Бьет ножкой, — ответила Наталка и тут же капризно добавила: — Весь в тебя, такой же беспокойный...

Все тот же полусонный, безразличный к чужим радостям и бедам голос телефонистки, похожий на звуки хлопающего на ветру полуоторванного с крыши листа железа, обрезал разговор на самом волнующем месте.

Последние слова Наталки были: «Жду тебя, приезжай быстрее!..»

После резкого щелчка из трубки понеслись неприятные короткие гудки.

Николай облегченно вздохнул полной грудью.

— Бьет ножкой... Сын!.. Егорушка...

21

Наташа шла по пыльному неасфальтированному переулку, какие нередко еще можно встретить в Москве, свернув с широкой и благоустроенной улицы. Она даже не заметила, как очутилась здесь.

Начинался дождь. Первые капли его были крупные, редкие... Как мышата в мякину, ныряли они в теплую серую пыль, оставляя за собой неглубокие воронки. Ныряли бесшумно, бесследно поглощаемое разогретой за день удушливой массой. Гладкие камни мостовой здесь и там темнели чернильными кляксами от расплывшихся капель дождя.

Было около полуночи. Наташа шла, забыв о времени. Как и три года назад, в последнюю встречу с Николаем, слезы текли по ее щекам, перемешивались с дождем. Плакала она беззвучно, как только плачут от большого, безысходного горя. Сколько она прошла, сколько еще осталось идти — теперь ей было все равно.

Дождь усиливался. Запоздалые прохожие раскрывали зонты, забивались под арки домов, бежали в подъезды... А Наташа все шла и шла в легком тоненьком платье, ни на что не обращая внимания. Крупные, теплые капли дождя теперь уже не ныряли под ноги, бесследно пожираемые зноем сухости. В поединке с пепельной пылью они выходили победителями. Теперь это была уже не пыль, а земля. Посеревшая и пересохшая от дневной жары, она жадно впитывала живительную дождевую влагу. Вот она пьет, пьет, пьет... И кажется, никак не может напиться.

Не дойдя квартала до дома, она вдруг остановилась. Из распахнутого окна первого этажа доносилась музыка. Там, в комнате, было весело. Там танцевали и пели. И как крутые, с оттяжкой, удары ременного кнута по обнаженной спине, из окон плыли слова забытого теперь «Милицейского вальса»:

*...Ну а если случится — другой*

*Снимет с кос ее шелковый бант...*

*Спи, Москва, сбережет твой покой*

*Милицейский сержант.*

## **О.Михайлов. Книга атакующей силы**

Известный советский писатель Иван Лазутин в литературу входил путем несколько необычным, далеко не стандартным. За спиной его не было ни творческих семинаров в литинституте, ни многолетнего прослушивания лекций профессорско-филологов, ни участия в литературных объединениях, где прозаики, как правило, начинают с жанра короткого рассказа.

Детство писателя прошло в семье рабочего-плотника, которому пришлось выводить на крыло шесть человек детей. Третьим из пятерых братьев был Иван. Неурожайные годы с их голодовками, карточная система, суровый климат Сибири... — все это подготовило поколение И. Лазутина духовно и физически к Великой Отечественной войне. 1941—42 годы — служба на Тихоокеанском флоте. 1943—44 годы — Иван Лазутин солдат огневого взвода на легендарных «Катюшах», участвует в боях на Первом и Втором Белорусских фронтах.

После войны, будучи студентом юридического факультета МГУ, который он окончил с отличием, Иван Лазутин занимался в студии молодых поэтов, руководимой известным советским поэтом Владимиром Луговским.

Стихи он начал писать еще в детстве. Впервые публично они прозвучали по местному радио города Новосибирска, когда ему было тринадцать лет.

После окончания университета перед И. Лазутиным встала дилемма: юриспруденция или литература. К первому обязывал диплом и пять лет учебы на юридическом факультете. На вторую дорогу тянула душа.

Однако жизнь распорядилась по своему. Случилось все неожиданно и жестоко. Поздним вечером, в мае 1951 года, возвращаясь в студенческое общежитие из парка Сокольники, в глухой роще у И. Лазутина произошла встреча с четырьмя бандитами-рецидивистами. Преступление совершилось хоть и банальное (ограбление), которое и сейчас в уголовной статистике складывается в тревожные цифры, но оно потрясло прошедшего войну солдата.

Преступников нашли. Операцию поиска вел оперуполномоченный, сержант милиции, впоследствии ставший прототипом главного героя повести «Сержант милиции». Преступниками были матерые рецидивисты, имевшие три-четыре срока заключения. Юристу по диплому, будущему автору «Сержанта милиции» в качестве потерпевшего пришлось пройти все ступени процессуального расследования: допросы, осмотр места преступления, очные ставки в Таганской тюрьме, снова допросы, потом суд...

То были тяжелые послевоенные годы, когда образ милиционера, как и в смутные тридцатые годы, с легкой руки еще влиятельного обывателя и правонарушителя был недостаточно отмечен вниманием в литературе и искусстве.

И вот на этом фоне почти полного отторжения из поля зрения литературы личности милиционера, стоявшего на передовой линии борьбы с преступностью, Иван Лазутин, имея перед собой реальных людей, решил написать героико-романтическую поэму о милиционере. Работа захватила молодого поэта. Но груз есенинского влияния, от которого никак не мог избавиться, а также специфика поэтического жанра тормозили развитие сюжета, уводили в пространные лирические отступления. Поэма рассыпалась.

Иван Лазутин решил написать киносценарий. В 1953 году он завершил его и сдал на киностудию «Мосфильм». Рецензия была разгромной.

Хорошо, что на пути встретился добрый и чуткий человек. Им был кинорежиссер Михаил Константинович Калатозов, постановщик таких замечательных фильмов, как «Летят журавли» и «Неотправленное письмо». Прочитав сценарий, он сказал:

«В кино с этим не пробьетесь. Перерабатывайте в повесть. Может получится интересная книга».

Это напутствие и совет мастера воодушевили молодого писателя.

Есть в психологии такое понятие, как «рефлекс цели», который является вершиной целеустремленности человека. И этот своего рода динамический «рефлекс цели», вылившийся в страстное желание создать героико-романтический образ работника милиции, во всем многогранье его судьбы личной и служебной, заставил И. Лазутину отложить работу над завершением диссертации по философии. Читая лекционный курс логики в Московской юридической школе и преподавая психологию в школе (в те годы в школьной программе был такой предмет), снимая «углы» в полуподвалах и мансардах старой Москвы, он писал своего «Сержанта милиции».

Многое в повести автобиографично. Юридический факультет Московского университета послевоенных лет, знаменитый «Страмынград» (общежитие МГУ), из гнезда которого вылетело много известных в нашей стране ученых, писателей, деятелей культуры.

Трудными, но волнующе красивыми были эти послевоенные годы. Трудными потому, что дневной хлебный паек, получаемый по карточкам, съедался за один присест. На ремнях гимнастерок вчерашние солдаты прожигали гвоздем дырки поближе к пряжке. Красивыми потому, что еще не остыла в сердцах радость одержанной над фашизмом великой победы. И все это есть в повести «Сержант милиции», которая в 1955 году была удостоена премии МВД СССР и Союза писателей СССР на Всесоюзном конкурсе художественных произведений о работниках советской милиции.

Если поставить вопрос — в чем же заключен главный нерв читательского интереса к повести «Сержант милиции», то на это можно ответить твердо: не в интриге розыска преступной тройки, ограбившей в сокольническом парке Алексея Северцева, приехавшего поступать в Московский университет. В повести нет и следа кочующих из книги в книгу штампов милицейского детектива, которые в семидесятых и восьмидесятых годах получили широкое распространение в художественной литературе, в кинематографе и на телевидении. В «Сержанте милиции» перед нами в полный рост встает наш современник, который в годы войны в боях с фашизмом не щадил жизни за Отечество, а вернувшись, сменил солдатскую шинель на милицейскую и вышел на новый рубеж борьбы, где, как и на войне, на карту приходится временами ставить не только покой, здоровье, но и жизнь, как это было у главного героя повести Николая Захарова.

С профессиональной достоверностью, с конкретным знанием жизни преступного мира написаны в повести персонажи рецидивистов Князя, Толика и Серого. Все они разные по характерам и по своим биографическим истокам. Но есть и общее в их судьбе — всех сломало неблагополучное детство. Толик душой светлее глубоко упавших в омут преступности Князя и ничем не брезгующего Серого, он любит Катюшу, которая в конце повести своей ответной и выстраданной любовью спасает вернувшегося из заключения Толика. И в этом спасении есть немалая доля участия Николая Захарова.

Где молодость — там всегда живет любовь. Любит и Николай Захаров, только любовь его драматична, ее горькое завершение можно обозначить формулой отжившего в наше время социального несовпадения: «Он был титулярный советник, она — генеральская дочь...» Альтернативу, поставленную героиней повести, генеральской дочерью, Наташей Луговой, живущей на улице Горького, перед милиционером с Казанского вокзала, ютящимся в коммуналке полуподвала вдвоем с матерью-вдовой, «Выбирай: или я, или милиция?!», — Николай Захаров решает твердо: «И ты, и милиция!..» И это решение было не всплеском оскорбленного самолюбия, не жестом гордеца, а убеждением коммуниста, связавшим свою судьбу с долгом служения Родине, за которую отдал жизнь его отец-чекист, работавший с Дзержинским, за которую он пролил кровь на полях

Великой Отечественной войны.

Актуальность проблемы — охрана правопорядка в нашем обществе, — поднятой в повести «Сержант милиции», не потеряла своей остроты и на сегодняшний день. Пока в нашем обществе совершаются преступления — до тех пор борьба с этим социальным злом будет на повестке дня нашей жизни.

В этой связи не могу не вспомнить одну запомнившуюся мне встречу. Прошлой осенью в один из солнечных дней на многолюдной центральной улице Москвы навстречу мне неторопливо шли два патрулирующих милиционера. Оба высокие, статные, спортивные. На кителе у одного из них — орден Красной Звезды и золотистая нашивка о тяжелом ранении. «Орден, — подумал я, — это попятно: человек, рискуя жизнью, совершил подвиг при задержании опасного преступника или группы преступников. Но вот нашивка... Это же знак тяжелого ранения». Она-то и подохла мое любопытство. Чтобы не задавать лобового вопроса — за что получен орден, вначале я обратился к сержанту за справкой, как мне лучше всего добраться до Библиотеки Ленина, хотя дом этот, где я работал над диссертацией и своими книгами, мог найти из любой точки Москвы с завязанными глазами.

Ответ сержанта был быстрый и точный. Путь подсказан самый близкий и удобный. И я тут же подумал: «Этот, наверное, не из лимитчиков, раз такая мгновенная ориентация».

Поблагодарив за подсказку и видя располагающую улыбку сержанта, я задал свой главный вопрос:

— А это? — Взгляд мой упал на орден Красной Звезды. — Наверное, в схватке с бандитами, рискуя жизнью, совершили подвиг при задержании?..

Улыбка на лице сержанта сверкнула искрой остроумия.

— За подвиг — угадали, что рисковал жизнью — тоже угадали... И насчет бандитов правы. А вот с задержанием — ошиблись.

— То есть как? — недоуменно развел я руками. — Убежали?

— В Афганистане бандитов, которые из засады стреляют в мирных жителей и в советских солдат, не задерживают. Там, в горах, нет КПЗ.

Я от души пожал руку сержанту милиции и не удержался от второго вопроса:

— Москвич?

— Коренной. С Ордынки. У вас есть еще вопросы, а то у нас служба.

Поблагодарив патрулей, я еще долго смотрел им вслед, пока они не скрылись в людском водовороте. «Вот она, живая эстафета поколений, — подумал я. — Никакая черная сила не остановит ее».

И тут я невольно вспомнил прочитанную в годы юности повесть Ивана Лазутина «Сержант милиции». Удивительное совпадение: фронтовик, раненый, сержант милиции, москвич... Вот только годы другие, другая эпоха. И мне, как коренному москвичу, стало радостно на душе и гордо: надежные люди охраняют столицу. Особенно этот сержант с орденом и золотистой нашивкой о тяжелом ранении. Москва для него — не только столица государства, но и его маленькая Родина, его колыбель.

Через всю повесть И. Лазутина как бы камертоном лирического настроения звучит «Милицейский вальс». Песня простая, незамысловатая, по в ней звучит нежная и мужественная преданность Москве, седым векам, прошумевшим над ней, ее величавой красе:

*...Фонари одиноко горят,*

*Спят фонтаны и спит мостовая,*

*Москвичи утомленные спят,*

*Москвичи отдыхают.*

*В небе месяц повис голубой,*

*Как в косе ее шелковый бант...*

*Спи, Москва, бережет твой покой*

*Милицейский сержант...*

Не без интереса познакомился я с архивом писателя, в котором только по повести «Сержант милиции» и роману «Суд идет» хранится несколько тысяч читательских писем, адресованных на издательства, где они выходили. Поистине можно позавидовать такому активному выражению читательского интереса к творчеству Ивана Лазутина. Большинство писем — от молодежи. Особенно впечатляют письма воинов Советской Армии, которые, завершая срок службы, обращаются к автору с просьбой помочь после увольнения в запас поступить работать в московскую милицию. Письма искренние, волнующие. Причем хронологический диапазон этих писем простирается на три десятилетия: с 1957 года, когда повесть впервые вышла в Военном издательстве, и по сей день.

Хранится в архиве писателя много исповедальных писем от тех, кто по молодости оступился и, совершив правонарушение, очутился за колючей проволокой.

Прежде чем сесть за написание послесловия к «Сержанту милиции», мне нужно было перечитать повесть, чтобы освежить в памяти развитие ее сюжета. В моей личной библиотеке книги не оказалось: где-то застряла у друзей или родственников. Позвонил в несколько библиотек. Был задан один и тот же вопрос: — Есть ли у вас повесть Ивана Лазутина «Сержант милиции»?

Из одних библиотек мне ответили: было несколько экземпляров, но все «до дыр» зачитаны, а посему пришлось списать. Из других сообщили: остался один экземпляр, но и тот на руках, и «еле дышит».

Повесть «Сержант милиции» на русском языке выдержала более десяти массовых изданий и переведена на языки народов СССР, а также за рубежом. В конце 50-х и первой половине 60-х годов более чем в семидесяти драматических театрах страны по мотивам повести с успехом шла пьеса с одноименным названием. Был снят многосерийный телевизионный фильм.

Получил высокую оценку в центральной прессе и роман Ивана Лазутина «Родник пробивает камни», удостоенный премии Союза писателей СССР и ВЦСПС на Всесоюзном конкурсе произведений художественной прозы о современном рабочем классе. Роман был переведен на английский язык.

В 1979 году в Военном издательстве вышел роман Ивана Лазутина «В огне повенчанские», в котором отражен самый тяжелый (июнь — декабрь 1941 г.) период Великой Отечественной войны. Роман отмечен премией Министерства обороны СССР, был переведен на персидский язык, по его мотивам в драматических театрах страны шла пьеса «Помните!..»

Не остался незамеченным широким читателем и был положительно оценен в периодической печати роман И. Лазутина «Крылья и цепи».

В разное время в центральных издательствах выходили также его сборники повестей, рассказов и пьес: «Ордена павших», «Укротители молний», «Тысяча первый поединок».

Иван Лазутин, как порой принято у нас говорить, находится в расцвете творческих

сил. Ему много есть что сказать своему многомиллионному читателю. И мне от души хочется пожелать Ивану Георгиевичу здоровья. Все остальное — с ним: опыт писателя, знание жизни и «дар божий» позвать читателя туда, где торжествуют Правда, Добро и Справедливость. Только эта жизненная триада, как мы видим из творчества И. Лазутина, сама с неба не падает. За нее нужно бороться.

О. Михайлов